

ISSN 0130-7673

ЖИВОБЫИ
МИИР

10

ЖИВОБЫИ МИИР

1983

10

1983



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1983 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Перед грозой, стихи	3
ЕВГ. ВИНОКУРОВ — Из книги «Космогония», стихи	5
ВЛАДИМИР ОСИНИН — У дымного полустанка, стихи	7
НИКИТА ПАРАМОНОВ — Тишина, стихи	8
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Воспоминание о первой книге, стихи	9
ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ — Ремесло, роман	11
АРКАДИЙ САХНИН — Неотвратимость, повесть. Окончание	67

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЮРИЙ КАЗАКОВ — Мальчик из снежной ямы. Публикация У. А. Казаковой 130

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВЛАСОВ — Бумеранг страха. Политические заметки 175

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МАРК БАРИНОВ — Шаги в океан 184

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ШЕКИН-КРОТОВА — Становление художника. Предисловие М. Алпатова 207

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. ШКОЛЕНКО — Космос, человек, книги	228
М. Б. ХРАПЧЕНКО — Язык художественной литературы. Статья вторая	235
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Игорь Дедков. Под знаком беды...	
Маргарита Алигер. Встреча с трубадуром.	
<i>Политика и наука</i>	
257	
С. Кузнецова. Коренные проблемы современного Востока.	
Ст. Тютюкин. Заря российского марксизма.	
Борис Носик. Доктор из джунглей.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Галлина Гордеева. — Еремей Парнов. Витязь чести. Повесть о Шандоре Петефи ◆	
Андрей Василевский. — Александр Яшин. Границы души. Стихи из дневников. Строфы. Лирические записи. Поэмы. ◆	
Г. Петрова. — Николай Самохин. Сходить на войну Три повести. ◆	
Ст. Золотцев. — Давид Бромберг. Нити годов. Стихи ◆	
Л. Аннинский. — Вл. Тихвинский. Свет на горе. Повесть. ◆	
А. Турков. — Виктор Утков. Предвестники. Связь времен. ◆	
Александра Пистунова. — Юрий Александров. Москва: диалог путеводителей. ◆	
П. Бунич. — Александр Левиков. Весы доверия	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

В природе это действие так рождалось:
сначала
небо
 в стороны раздалось!
Оно раздвинулось
 неотвратимо
и местó для грозы
освободило.
Померкло солнце.
 Птицы не взлетали.
Захлопали калитки,
двери,
ставни.
Все было зыбким.
 Все тревожным было...
А туча
 на глазах
 себя лепила
из ничего!
Из призрачного света.
Из узловатого
 слепого ветра.
Из сумеречной тени над болотцем,
из темноты,
 укрывшейся в колодце,
из мглы,
 из пыли черной и летучей —
все в дело шло!
Все
 становилось тучей,
которая
торжественно жирела,
клубилась,
 разбухала,
 тяжелела.
Бурчала что-то,
 душу распаяя...
Повисла
над домами и полями.
Уперлась в землю.
Горизонт
 прогнула...
И первой молнией
весь мир
 перечеркнула!

Чай

Не сравнится
с воинственным маем
кроткий август,
но все же постой:
только в старости
мы понимаем
этот жизненный крепкий
настой!..
Только в старости
мы ощущаем,
в предзакатной такой тишине,
это блюдо
с дымящимся чаем,
остывающее в пятерне...
Прожил жизнь я,
но краски рассвета
было мне оценить недосуг!..

А сейчас мне нужна лишь беседа
да надежно усевшийся друг...
Прожил жизнь я,
а словно бы не жил.
Ничего-то как будто и нет!..
Я недавно увидел, как брезжил
не замеченный мною рассвет...

Мы, приятель,
чего-то да стоим!

И меня утешает вполне
это блюдо с отменным настоем
в растопыренной пятерне...
А что было,
то как не бывало:
ревность, гордость, безумие, страх!
Затихает, как эхо обвала,
что случился в далеких горах!..
Было: женщины,
дальние страны,
командиры и чудачки!..
Подбивают досадливо раны,
что, как в песне поют, глубоко...
Срок таким оказался вдруг куцом!..
Как простужена все же душа!..
Только пять этих пальцев
под блюдцем
остывают сейчас
не спеша...
И реально сейчас
только это...
Где-то взорван вдали динамит!..

И напиток багрового цвета
в растопыренных пальцах
дымит.

* *
*

Что ж, их жалейте,
коль сроднились с ними,
коль сжились, коль срослись уже в одно.
Наверно, нелегко стать вдруг родными,
такое, видно, не всегда дано.
Не думайте, что, дескать, век не прожит,
а ими полон круглый шар земной.
Никто, возможно, заменить не сможет
той, горько любившейся, одной...
Но все-таки скажите:
— Я покину,
коль будет надо, эту вот — одну!..—

Привязанность страшна и к кокаину,
и к женщине, и к славе, и к вину...



ВЛАДИМИР ОСИНИН

★

У ДЫМНОГО ПОЛУСТАНКА

У дымного полустанка
Горчил настой чабреца,
Когда о фашистские танки
Разбивались наши
сердца.

Кто были мы — глыбы иль крохи?
Не знал я всей истины той,
Что будут ветры эпохи
Шуметь над моей головой.

* *
*

Учусь держать без напряженья нервы —
Меня ничем не удивить уже.
А в жизни — все тот самый сорок первый,
И насмерть бьюсь на каждом рубеже.

Что нам другие предвещают сроки?
Но, если вновь окажется прорыв,
Эскарпами вдруг встанут наши строки,
Отечество великое прикрыв.

А если в грудь насквозь осколком рваным —
Судьбу свою ты все же не вини:
Курганы воздвигают безымянным
И зажигают вечные огни.

Стою на взгорке и кого-то жду

Луна висит у бездны на краю.
Дорога раздвигает темноту.
Стою на взгорке и кого-то жду —
Не юность ли упрямую свою?

Ушла — и даже слухов никаких.
А сколько же бесценных дней своих

Послал я к ней

И сердце покрывается рубцами:

в огонь войны

гонцами!

Благодарю

Кругом покой! Одна отрада.
Большой навес, в ромашках
луг,
И мирно дремлющее стадо,
И электрический пастух.
И чудится: среди рыжих кочек
Мальчишка — кепка набекрень...

Из дальних далей колокольчик
Мне сердце трогает: дзизнь-день!

Благодарю судьбу за милость.
С меня достаточно вполне,
Что это поле согласилось
Побыть со мной наедине.

НИКИТА ПАРАМОНОВ



ТИШИНА

Своя на фронте тишина,
Порой капризная, шальная,
Она всегда напряжена,
Как будто бы спираль стальная.

Ведя священную войну,
Мы долг свой выполняли строго,
В боях ловили тишину,
Чтоб где-то отдохнуть немного.

Близка и каждому нужна,
Нужна не для забавы вздорной
Живая в жизни тишина,
Трудом творимая упорно.

Да будет звонкой тишина
Во всех краях земли обширной,
И пусть над миром тишина
Синеет празднично и мирно!

Время

У времени одно лишь направление,
Сгорев, опять не оживет трава,
Ничье над ним не властно повеленье —
В зеленый лес не превратить дрова.

И все же, одержимые желаньем,
В дожди, в жару и в жгучий холод зим
Живое время будничным деяньем
Мы ускоряем или тормозим.

Его всесилью не найти предела,
Никто не может прошлое вернуть,
Но в мире остается наше дело,
И в этом деле вдохновенном — суть!

НАТАН ЗЛОТНИКОВ

★

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОЙ КНИГЕ

Грохотал литейный цех,
Печи яростно гудели.
Жил-был на виду у всех.
Дни летели и недели.

И как вечно было встарь,
И как вечно будет внове,
Лекарь ты или технарь —
Радость обреталась в слове.

Открывалась синева,
Близкие, родные дали,
И, как ласточки, слова
В дымном корпусе витали.

Чтобы времена веков
К одному свести мгновенью,
Незабвенный Ушаков
Гордому учил терпенью.

Что он разглядел во мне,
Трудно жившем и не сыто,
Там, в далекой стороне? —
От меня и ныне скрыто.

Знал немало бед и слез,
Но сам черт уж был не страшен...
А стихи в столицу свез
Нежный и угрюмый Яшин.

* *
*

Третью ночь штормит залив
До рассвета.
Что я выгадал, продлив
Это лето?

Встану рано поутру, —
Дверь намокла, —
Запотевшие протру
В окнах стекла.

Распогодится, видать,
Нынче даже,
И вернется благодать,
Зной на пляже.

Рощи южной стороны
Рады зною,

В них все листья зелены,
Как весною.

Там трепещет тот из них
И при штиле,
Где наш разговор возник,
Где мы были.

Где еще три дня назад,
Перед штормом
За тобою наугад
Брел покорным.

Так и лист: судьбы шальной
Рад проказам,
В шторм он с веточкой родной
Крепче связан.

* *
*

Что осталось, то осталось —
Нас не минет, не грусти.
Может, дачку где под старость
Вдруг удастся завести.
Не тоска по захолустью,
А иных кровей тоска...

Все-таки стремится к устью
Даже вечности река.
И вода течет потише,
Чем когда срывалась с гор.
И спокойным жаром пышет,
Ярко отшумев, костер.

Сядешь тихо ты на лавку
 У затейливых ворот,
 Вспомнишь толчею и давку,
 Вспомнишь дел невпроворот.

И о том вздохнешь недаром,
 Смирной памяти назло,
 Что нас жгло веселым жаром,
 Бешеной водой несло.

Заповедник

Заповедная черта
 Жизнь хранит дубовой роще.
 Жаль, что ездить стало проще —
 Роща сделалась не та.
 Раньше было далеко
 И накладно для кармана.
 Жил неделю, пил тумана
 Сцеженное молоко.
 Принимал за ерунду
 Тени робкого успеха.
 Веточку срезал ореха,
 Выправлял себе дуду.
 Раньше было тяжело
 Без припасов и поклажи.

Точно в поисках пропажи
 По свету меня несло.
 А природы матерьял
 Оскудел, осталась малость.
 Неужели отыскалось
 То, что раньше потерял?
 И за тридевять земель,
 Кажется, подать рукою...
 Но, как прежде — что такое? —
 Кружит сердце тот же хмель.
 Дую в старую дуду,
 Жизнь искать стремлюсь по следу,
 Все еще куда-то еду,
 Все еще чего-то жду.



ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ

★

РЕМЕСЛО

Роман

Накануне этого, как принято говорить, знаменательного дня звоню старому, с институтской еще поры, другу.

Голос на том конце провода очень знакомый, совершенно не изменившийся за двадцать лет, чуть возбужденный тенорок,— молодой голос моего слегка постаревшего друга. Только почему, не узнавая меня, он отчужденно говорит: «Кто его спрашивает?» Называюсь. Голос чуть теплеет: «Его нет, будет вечером, я обязательно передам».

Пока он произносит эти три фразы, я чувствую удивление; в сущности, меня удивляет то, что не должно удивлять, и то, что всегда ощущаешь с каким-то внутренним изумлением: лёт в р е м е н и, все нарастающую его скорость, вот уже и голоса не отличишь, юношеский голос его сына стал взрослым молодым голосом, да-да, именно взрослым молодым голосом, каким говорит мой друг и до сих пор, хотя в привычно бодрых, всегда оживленных его интонациях частенько звучат в последнее время нотки усталости.

Ловлю себя на ощущении, что не только главное, стержневое течение жизни так стремительно, но и мгновенна скорость его притоков, и, кажется, двадцать лет, так много в себя вместившие, это было позавчера, но ведь совершенно же недавно, вчера, я говорил с этим мальчиком, он спрашивал, куда поступает мой сын, говорил, что сам для себя не решил, куда ему идти, помню его юношески ломкий озадаченный голос, но ведь и после этого в ч е р а ш н е г о разговора прошло ни много ни мало четыре года.

Спрашиваю его:

— А ты сам надолго в Москве?

— Да нет, на неделю. У меня каникулы.

Сопоставив мысленно его каникулы с каникулами своего сына, удивляюсь несовпадению и тут же вспоминаю: он ведь в военном училище. У него другая учеба, другие каникулы.

— Передай отцу, пусть не забудет. Завтра семнадцатое октября... Мы едем к Борьке Никитину. Ты знаешь нашего друга Борьку Никитина?

Странно, что, разговаривая с мальчиком, я называю своего друга Борькой. Но как-то трудно даже мысленно произнести: Борис Иванович.

— Да, конечно,— говорит мальчик на том конце провода.— Слышал, слышал о нем... Кажется, вы вместе учились.

В ответе он уже слышится что-то формальное. Верно, его не интересует друг юности отца, а может, у него просто нет времени. Времени у них, молодых, мало. Меньше, пожалуй, чем у нас. А каникулы так коротки.

За окном красные, хлопающие, как флажки на ветру, листья. Мок-

рый асфальт, набухшая грязью лысая поляна озелененного двора. Пошло на вторую половину октября. Борькин день рождения последний. Сашкин был в январе, мой — в августе, его же — именно в эту ненастную пору, и дороги в том поселке, где он живет, наверное, размыло, расквасило, а небо, сшитое из серых темных лоскутов, низко легло над все растущим, все поднимающимся вверх районным городом, над редующими вокруг него лесами.

Что это? Вымученная традиция? Душевная необходимость? Ритуал, который трудно соблюдать, но и жаль утратить?.. Не знаю. По-разному это бывает.

Раньше, несколько лет назад, мы ехали весело, предвкушая встречу, мы готовились к ней заранее, таскались по магазинам.

А сейчас... Может, просто постарели или распалось что-то в железных звеньях нашей дружбы? Да нет, и так ведь не скажешь. И в конце концов не в том дело, как мы едем. Может, и со скрипом, все с большим трудом вырываясь из судорожного потока забот, дел, обязанностей, обязательств; поток этот все гуще с каждым годом, несет круто, размывает что-то не только снаружи, но и внутри; и все-таки мы вырываемся.

И я не знаю в конце концов, что важнее. Конечно, встречи наши реже и реже, постоянная потребность в общении, так властно владевшая нами в юности, как бы подсохла, затвердела ледяной корочкой. Но с другой стороны — сколько подобных дружб истлело на корню, а наша все же жива. Мы разбегаемся по своим углам, теряем друг друга из виду, но потребность видеть друг друга возникает вновь; значит, он действительно нужен нам, Борька Никитин, да и мы, верно, нужны ему.

Имя это, для вас такое обычное, одно из множества, для нас своего рода код, ключик к той части жизни, которая так быстро, почти незаметно, пролетела, проскочила, да и к другой, которая еще будет и обещает что-то и, как в самом начале, кажется бесконечной...

В конце октября, в день рождения Борьки Никитина, мы едем к нему в гости.

Прносятся станции, сначала более частые и людные, потом более редкие, пустые, мы помним здесь каждое название, дорога известна наизусть, как детское стихотворение. И каждый раз эта дорога вызывает в памяти послевоенную электричку, тесную и темную.

Теперь светло, народ вокруг чинный, негромкий, все с газетами и журналами. Дорога длинная, почти ночь езды, стучат убаюкивающие колеса, и вроде бы засыпаешь, задремываешь, а все равно все помнишь и видишь. И вот расстояние, казавшееся бесконечным, почти истаяло, и мы уже на подступах к той станции, к тому городку, где живет наш друг, «человек предместья», как он сам себя иногда любит называть.

Мы встретились с ним двадцать лет назад на вступительных экзаменах в Институт.

Это был странный Институт: вроде бы он предполагал готовить из нас тех, кем мы мечтали быть и кем — по глубочайшему нашему убеждению — уже были, и вместе с тем на всех консультациях, перед каждым творческим экзаменом Мастер, а за ним и деловитые ассистенты повторяли: «Нет, нет, нет, и не заблуждайтесь!»

Мастер, широкоплечий, свирепого вида, с неожиданно удивленной улыбкой, с маленькими, зоркими, широко расставленными глазами, говорил:

— Может быть, вы и художники, может быть. Но вы не те художники, кем мните себя видеть. Вы — оформители выставочных залов, а может быть, и магазинных витрин. Да, и не кривите лица, магазинных витрин: «Молочные продукты», «Изотопы», «Скобяные изделия». Чистая живопись — лишь закладка, лишь основа, только материал, а там дальше она растворится в Ремесле... Да-да, и не кривите снова ваши личики. Ремесло совсем не дурное слово; вспоминайте почаще наши древние русские ремесла и забудьте навсегда о понятии «ремесленник»...

Он говорил, а лаборантка заносила в какой-то конduit номера наших вступительных работ.

Что это были за работы? Гигантские холсты в наспех сбитых щелястых рамочках. Гравюры — темненькие квадратики на простынях листов. Школьные тетрадки с какой-то мазней, может быть, даже гениальной, но это навсегда осталось тайной, так как работы в подобном виде не принимались.

Каких тут жанров и сюжетов только не встречалось: натюрморты с дарами отечественных садов; геометрические мертвые кувшины, фигуры строителей Университета, который поднялся совсем недавно (поражая москвичей и приезжих своим органичным золотом и размахом), лица строителей метрополитена в сверкании автогенных вспышек, просто лица, портреты знатных работников сельского хозяйства и промышленности, портреты незнакомок и незнакомцев.

Лаборантка ставила номер, а лаборант, худющий длинный парень, пытавшийся поступить в Институт уже пятый год, таскал эти картины не глядя, как панели, как строительный материал, передавая их по цепочке, как на стройке, какому-то еще лаборанту, тот, в свою очередь, волок их в неведомый нам запасник. В большинстве своем их по прошествии предварительного конкурса возвращали. Это называлось «завернуть». Тогда это распространенное ныне словцо было новым и зловещей новизной резало слух.

— Заберите, пожалуйста, — говорила лаборантка или ассистентка. И — забирали.

А первой весточкой поражения был листок с краткой, одновременно и безликой и безоговорочной формулировкой: «Не допущен к творческому конкурсу».

Это был первый этап, первый акт многолетней драмы.

Я принес свои иллюстрации к «Возмездию» и «Двенадцати» Блока, к Есенину и к «Хорошо» Маяковского.

Мой друг Сашка, победитель всех конкурсов, лауреат изостудии Дома пионеров, человек широко известный в наших узких кругах, представил цикл линогравюр: «Новая Москва (Ленинский проспект, Черемушки)».

Когда мы пришли с ним в Институт, то наткнулись не на ассистентку, не на лаборантку, а на самого Мастера. Коренастый, похожий на старого боксера, ставшего тренером, с прижатыми к черепу ушами, приплюснутым носом как бы от многих жестоких схваток, это был сорокалетний человек (которого почтительно называли Мастером и никогда по имени-отчеству); его мы смутно знали по иллюстрациям к детским книгам, самым первым нашим книгам с нежными синими и розовыми чудо-птицами, так не вяжущимися с его суровым обликом.

Он просмотрел — быстро, с кажущимся безразличием — Сашины работы и сказал, бегло глянув на него:

— Годится. Допускается.

Я ждал, что он так же, без отяжки и проволочек, решит и мою судьбу, но чуда не произошло. Он бросил:

— Оставьте, поглядим.

И так прозвучало это «оставьте», что все, над чем сидел вечерами, ночами, все папки листов, исчерканных легким перышком, все из детства усвоенное раз и навсегда, вечно трудолюбивое «изводишь единого слова ради», показалось грудой макулатуры, некоего бумажного утиля, который мы собирали и сдавали на специальный пункт по приему, обходя десятки домов.

Оставил.

Словно нырнул с головой в вязкую, стоячую воду и тут же вынырнул, сказал себе: е р у н д а.

Минутная апатия, равнодушие, взгляд в окно, где молодая, не запыхавшаяся еще листва... «Мне что-то совершенно все равно, какое нынче вынесут решенье...»

Нет, не все равно.

Я пройду. И даже если этот с приплюснутым носом забракует, завернет, все равно п р о й д у, не сейчас, не здесь, но пройду. Другого не дано. Как принято говорить у нынешней молодежи: без вариантов.

Мы пили чай в институтском буфетике. Мой друг, давясь, будто у него было сужение пищевода, заглатывал пончики, говорил о постороннем — о футболе, о погоде, ничем не обнаруживая скрытую радость победителя. Я же был мрачен, хотя ничего и не произошло и поражение еще не витало под сводами буфета. Но всю жизнь с детских лет я привык ожидать худшего, и неслучившееся виделось мне как случившееся.

Нельзя сказать, чтобы я не радовался удаче друга. Мне нравились его работы, действительно нравились. Я верил в него, но еще больше, гораздо больше я верил в себя, и я старался радоваться, приучал себя к мысли, что надо радоваться, но впервые в жизни я ощутил то, чего не мог тогда объяснить и даже назвать: не зависть и не обида и даже не горечь несправедливости. Скорее всего это была боль непонимания, горечь оттого, что тебя не захотели узнать, поленились узнать, хотя это, казалось, было так просто: вытащить лист и посмотреть опытным взглядом, взглядом Мастера.

И тут в буфет вошел парень, худенький, невысокий, светлые волосы стрижены ежиком, взгляд по-комсомольски открыт и дружелюбен. Он волок всего две картины, незачехленные, открытые, без рамок.

Вид у него был растерянный, будто ему уже отказали. Увидев нас, он подошел и сказал с заметным нажимом на «о»:

— Можно оставить на минутку?

Мне даже показалось, что он нарочно окает. Думает, раз из глублинки, с периферии, значит, зачтется.

Не дожидаясь ответа, он направился к буфетной стойке.

Я глянул на его холсты, глянул небрежно, предубежденно — оценивающий, холодный взгляд этот эстафетой был мне передан тем самым боксерским Мастером. Да, с холодным равнодушием. Ни в кого и ни во что не веря.

Глянул и обомлел. И даже отошел, чтобы еще раз увидеть как следует, с дистанции, целостно.

Два портрета стояли прислоненные к металлическим голым куринообразным ножкам буфетного стула; два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным. На одном было наклеено «Отец», на другом «Мать».

Отец был молодой, чуть ли не моложе самого автора, в форме железнодорожного машиниста, с нарядными блестящими пуговицами, в фуражке. Голубые глаза мерцали молодым восторгом жизни, но в легком их блеске сквозило тревожное ожидание чего-то непоправимого.

А мать сидела прямо, напряженно; крестьянское лицо, городское платье, но чувствовалось, что живет не в деревне и не в городе, а где-то между, может, в пригороде, может, на разъезде, на полустанке, но из деревни — по рукам видно — недавно, руки ее выражали неловкость, будто не сын ее рисовал, а сидела перед фотографом и ей это было непривычно. Да и вообще непривычно сидеть, а привычно двигаться: стирать, кормить детей, ходить за скотиной. Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко посверкивало. Улыбалась она смущенно и с любопытством, будто это не вы разглядывали ее, а она, чуть робея и стесняясь, глядела на вас.

Выполнено это было предельно безыскусно и как-то удивительно... Я даже не мог понять, в чем тут секрет. Никакой сусальности, «утепленности». Ни манерности, ни подробнейшего реализма.

Мы переглянулись с моим другом. Я почти физически почувствовал, что и он, так же как и я, неслышно про себя ахнул — от ощущения зрелой силы этой кисти, особенно на фоне мысленно пронесшихся перед нами натюрмортов с пыльными кувшинами, с цветами почти как

настоящие, с тщательными огурцами в тщательных пупырышках, на фоне улыбок псевдосварщиков в защитных очках под неестественно ярким люминесцентным огнем, томных улыбок таких знакомых, примелькавшихся, с Крамского и Серова списанных незнакомок, среди всей этой громадной выставки потуг, претензий, бесцветных водяных знаков псевдожизни, непрожитой, невыстраданной, взятой напрокат в спецпункте, где есть все от классики до модерна, эти два портрета не то чтобы выделялись, были лучше, — нет, они просто были живыми. Живыми, и только.

Однако автор уже возвращался с громадным тяжеленным подносом, на котором одиноко высился стакан с чаем жидкого светло-табачного цвета и желтел бутерброд с сыром.

Я ничего ему не сказал, подавил в себе первый порыв, решил обмануть самого себя. Может, впервые я тогда ощутил прелесть этого лукавства: не выражать чувств, не дать человеку возрадоваться, возвыситься.

Сколь много надо разбивать колени, лоб, локти, падая и оступаясь, чтобы понять именно эту необходимость и вернуться к детскому: к невозможности сдержать вырвавшийся из горла крик восторга, искренность и силу первого порыва.

Немедленность и бескорыстность признания другого вовсе не унижат тебя, а быть может, только возвысят. Но это было утеряно в детстве и вернется еще не скоро, когда я повзрослею, может быть, постарею и перестану видеть себя бегуном на дистанции, готовым умереть, чтобы только не прийти вторым или третьим.

Но тогда, может быть под гипнозом холодного взгляда Мастера боксера, я промолчал.

А Сашка, мой друг (я тут же отдал ему должное), сдержанно, но веско произнес:

— Крепко сработано.

Парень, просветлев лицом, совсем не оспаривая этот вывод, это решение, доверчиво и радостно сказал:

— Да так, вроде бы ничего... Мне кажется, получилось вроде бы,

— А почему ты их таскаешь? Не приняли, что ли? — спросил я.

— Не приняли, — сказал парень.

Мы оба так и застыли в удивлении.

— Да нет, не то чтобы не прошел. А вроде бы по срокам поздно. Сегодня, оказывается, последний день. А я только с дороги. Я из Щербакова, ну из Рыбинска. Вздумал, черт, тащиться по каналу, пейзажики смотреть, плесы, то да се... А пароход сколько тащится. Вот я с Химок прямо сюда. А они все счета закрывают. Девчонка из комиссии так и сказала: поздно, черта подведена... Вот так по-дурному получилось.

— Да ты пойдй к Мастеру, — сказал мой друг. — Немедленно найди его и покажи. А то ведь действительно не примут. И прямо сейчас иди, он еще здесь, мы его встретили.

Парень неловко подхватил свои холсты и торопливо пошел к выходу.

Вдогон ему я крикнул:

— А почему отец у тебя такой молодой?

Он обернулся, остановился. Вроде бы и забыл, что надо спешить.

— Я бату только так и запомнил... Не вернулся, а где полег — не узнали. У других определенность, а тут — без вести. Ждали, ждем-пождем вот уже сколько лет, все уж ясно как будто, а мать и сейчас к почтальону бегаёт... Ну да ладно.

Он пошел, подхватив свои портреты.

Мы выходили на площадь, просторную, полную ранней июньской свежести, особенно пряной и светлой после затхлости этих коридоров. Шли медленно, молча, постепенно расслабляясь, будто тяжкую вахту

отстояли. Шли каждый в рассуждении своей судьбы. И вдруг услышали издали тонкий мальчишеский тенорок:

— Эй, мужики, робяты, погодите-ка!

Мы обернулись.

Догоняя нас, в синеве, в мареве июньского дня катилась маленькая хрупкая фигурка, летела над сухим московским асфальтом. И вот уже видим лицо с расширившимися, пьяно счастливыми глазами и маленькие, крепкие руки, словно бы вальсирующие. Руки были налегке, свободны.

Картин не было.

— Взял Мастер,— почти кричал парень.— Смотрел-смотрел, нюхал-нюхал, даже рукой потрогал, а потом говорит: «Хорошо».

— Так и сказал? — спросил я в изумлении.

— Так и сказал. «Допускаешься»,— говорит. А вы-то уж конечно допущены?

Друг деликатно промолчал, а я сказал жестко:

— Он — да, а я — нет.— И добавил с неизвестно откуда взявшейся уверенностью:— Но не отвертится! Слушай, а как тебя зовут?

— Борька Никитин.

Что было еще в этот день?

Пили пиво в какой-то закуской. Холодное свежее «Жигулевское». Заедали говяжьими сосисками. Разговаривали много, громко. Сначала о художниках, потом о себе. О Мастере. Двое из нас были уже ему благодарны. Я должен был эту благодарность вырвать, заслужить. И если я не заслужу ее, то мне надо будет доказать сначала себе, потом моим друзьям, потом Мастеру или другим Мастерам, что я могу, имею право ее заслужить.

Мы сели в троллейбус, взяли у кондуктора билетки, каждый деловито посмотрел номер, ни у кого не сошлось...

Отправились в зоопарк. Борька Никитин был там первый раз. Он вообще впервые в жизни был в зоопарке. Он обалдел от пива и кричал, что всех зверей надо выпустить, а посадить туда людей, которые их загнали туда. Когда человек попадает в такой большой город, в такой большой зоопарк, мысли его путаются.

Борька Никитин впервые был в Москве. Самый крупный город, который он видел до этого, был Горький. Он там учился в физкультурном училище и имел диплом преподавателя младших классов по физкультуре. Мы не поверили ему — так он был худ. Но он напружинил свои руки, сжал кулаки.

— Попробуй,— сказал он.

Я положил руку на его бицепс и ощутил железную твердость небольшого круглого ядра.

Запах июньской травы, терпкий запах вольеров, усталые сонные львы... О, как любил я их когда-то, этих имперских зверей.

В том городе, где я провел эвакуацию, был зоопарк и были львы. Они были худые, питались впроголодь, как и люди.

Мы шли и шли по аллеям, мимо слонов, пони, деревьев, детей, шли и рисовали черной тушью по синему воздуху.

Откуда появилась эта вечная мука, эта страсть, это навязчивое желание: малевать, разрисовывать, придумывать, изображать?

Воссоздание отдельной от тебя жизни...

А главный конкурс был впереди — бег с препятствиями, выбыванием, и еще неизвестно, какую оценку поставит Мастер и дойдем ли мы вообще до финиша.

Да, впереди долгий нескончаемый конкурс с меняющимися условиями, меняющимися судьями.

Но в тот день мы не думали об этом (лишь с возрастом думаешь о предстоящих трудностях), мы беспечно шагали по теплой земле, по

чистому прогретому московскому асфальту раннего лета, который я так любил, о котором так мечтал когда-то в эвакуации, в разлуке.

Теперь московская земля станет и Борькиной.

Две девушки сидели на скамейке, неторопливо, с физически ощутимым наслаждением мелкими кусочками ели мороженое, где на вафлях были написаны имена «Миша», «Сережа»; мы сидели так близко и прицельный взгляд наш был столь зорок, что разглядели даже это.

Сейчас такого мороженого не выпускают.

Мы сидели рядом на лавке, не решаясь кадриться, но втайне надеясь на успех.

Громко говорили, стараясь обратить на себя внимание: о графике, о Пластове, о голубке Пикассо, о Лактионове, о Горяеве, об иллюстрациях Густава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», о чудовищной по несправедливости победе «Спартака» над командой «Динамо» в чемпионате на первенство страны.

Девушки равнодушно, аккуратно вытирали одним платком пальчики, передавали его друг другу. Никакого видимого внимания к нам.

Они смотрели на пони, мохнатых карликов лошадиного рода с повозками, в которых кишели крикливые, обезумевшие от счастья и невданного риска каникулярные дети.

«Не эти девушки, так другие,— подумал я.— Жизнь еще такая долгая».

Сейчас нам она не кажется такой уж долгой.

Но сейчас мы еще не знаем своих судеб. И то, чему суждено быть, не скоро случится, а может, и не случится никогда. Сейчас — только зоопарк.

День ярок, но уже идет к вечеру: меняется цвет площадок, посыпанных золотым песком, цвет попугаев, кричащих назойливо, гортанно, как зазывалы на восточных базарах, цвет смирных хищников, ждущих пищи из рук человека,— полосатых тигров и песочных львов.

Меняется все, тускнеет, темнеет, и мы уходим, растворяемся в многомиллионном городе: трое друзей, трое абитуриентов...

Львы, тигры в зоопарке, цирк всегда были моей слабостью и любовью.

В вечернем зимнем городе, куда меня увезли от войны, я увидел на кирпичной стене чудесный плакат: пять огромных львов и женщина в серебряном одеянии. Стоял, смотрел не отрываясь. Потом стал сдирать афишу со стены, никого вокруг не было. Темнело, стояла морозная тишина, и только недалеко из госпиталя были слышны голоса, смех. Клей смерзся, плотная довоенная бумага не отдиралась. Львы тоже были довоенные, с добрыми сытыми мордами... Наконец я отдрал кусок афиши и, счастливый, побежал домой. Подшитые кожей валенки скрипели на жестком, почти остром снегу со слепящей синеватой крошкой.

Вдруг то ли голос, то ли рык львиный, прислушался — ругань, густая, сочная. Обернулся: мужик какой-то гонится, настигает, еще миг — и ударит страшной львиной лапой. Резко поворачиваю, ныряю в подворотню, прячусь. А мужик проскочил мимо. Я еще долго глядел ему вслед и, приглядевшись, понял, что это не мужик, а большая, в туплупе и сапогах мужеподобная женщина.

Я потом еще несколько раз встречал ее. С дробовиком она ходила возле складов, они были неподалеку от этой стены. Обычно она никого не трогала, но когда выпивала, становилась не в меру бдительной.

Дома я склеил разорванного льва и в слабеньком свете керосиновой лампы нарисовал его. Остроугольный, квадратный, он не походил ни на льва, ни на собаку, ни вообще на живое существо. Я рисовал снова и снова

Бабушка качала головой, разглядывая моего льва.

— Другие уже читают, а ты, сынок, все ерундой занимаешься.

Она любила называть меня «сынок». Сколько раз в своей жизни я

еще услышу эту фразу, только без бабушкиного «сынок»: «Другие то-то и то-то, а ты все ерундой занимаешься».

Подмалевывая холст, глядя на пустой лист, не зная, как начать, сколько раз я готов был поверить людям, что занимаюсь ерундой, не тем, для чего предназначен. Но из расплывчатого, угластого чудовища неясно возникало, проявлялось нечто напоминающее льва.

Еще один удар, одно усилие — и родится лев.

После войны шпана московская крепко дралась, картежничала, воровала, и чтобы увести, отодрать от дворовых дружков, спасти от грядущих неприятностей, бабушка привела меня в Дом пионеров.

Тихие и чистые ребята важно ходили там, говорили о чем-то существенном, незнакомом мне, были объединены каким-то общим занятием, устремлены ввысь, к неведомым далям. Обстановка была торжественная: тонкие мальчишеские голоса слагались в хоры, певшие песню о родине, доносилась из-за закрытых дверей чья-то восторженная декламация. Два голоса — один читал, другой вторил. Они исполняли таким образом стихи акына Джамбула.

Было ясно, что все они готовились к празднику Первомая.

Я никого здесь не знал, и никто не знал меня. Я был очень одинок, а они занимались делом, а я был ни при чем. Захотелось назад, на улицу, в компанию Пеки Демина, в его ватагу, шлаться без дела по улицам, заводить толковищу и слушать бесконечно повторяющиеся, но всегда интересные военные истории.

И тут бабушка сказала с надеждой: «Может быть, изостудия?»

И открыла с надеждой высокую белую дверь.

Там, склонившись над большими белыми листами, время от времени подымая глаза, впиваясь ими в белый кувшин и вновь склоняясь над листами, неторопливо трудились пятнадцать—двадцать типов, или, говоря точнее, детей младшего и среднего школьного возраста.

Они рисовали кувшин.

Но меня-то интересовал череп.

На полке среди множества каких-то других, незначительных, предметов белел череп.

Я воткнул в него удивленные глаза.

Тогда я не мог понять, почему так неотвязно он приковал к себе мой взгляд. Понял позже. Просто в нем впервые открылась пугающая и как бы безобразно окарикатуренная тайна смерти.

Я смотрел и смотрел, а на втором плане, помнится, шелестел чей-то осторожный женский голос, видимо, старосты или секретаря студии. Голос объяснял:

— Надо представить работы, здесь свой конкурс, много желающих, надо пройти отбор...

Иногда вся жизнь кажется мне бесконечным конкурсом, сдачей экзаменов: справки, документы, работы. Как в детском маленьком бильярде — катишься сквозь загородки, петляешь, гремишь шариком, обходя ловушки, стараешься попасть в лузу, где больше всего очков.

Череп, тишина, склонившиеся над листами притихшие мальчики и девочки.

— Садись и рисуй с другими.— Это говорит худой бледный человек, возраст которого не определишь: может, ему сорок, а может, шестьдесят. Гимнастерка без погон, белые волосы, лежащие венчиком на тусклом парафиновом лбу.

— А что рисовать? — спросил я.

— Что хочешь, хоть вот этот череп... Ты ведь не можешь от него оторваться.

— А из головы можно? Ну по памяти!

— Череп — это и есть голова,— спокойно рассматривая меня, сказал человек в гимнастерке.— Впрочем, что хочешь, то и рисуй. Что тебе

в голову взбредет, что тебе воображение подскажет. Как у тебя с воображением?

— Не знаю,— сказал я.

Однако череп мне не захотелось рисовать, на него было интересно смотреть, но он отпугивал как предмет изображения. И я стал рисовать атаку на фашистский танк. Боец с гранатой полз навстречу танку с черным крестом.

Все уже разошлись, а я еще рисовал. Преподаватель сидел на стуле, что-то читал и не торопил меня. Бабушка ждала за дверью. Закончив, я робко подошел к нему. Он внимательно сначала посмотрел на меня, будто не видел или не замечал меня в течение того часа, что я рисовал, потом посмотрел на мою работу.

Он еле заметно покачал головой. Я почувствовал, что подвиг бойца, изображенный мной, ему не показался.

Он склонился надо мной; я чувствовал его дыхание: запах ленинградского «Беломора», который мы смолили лишь по особо торжественным дням (повседневно курился «Прибой»).

Он спросил меня:

— Хочется?

Я не понял, смотрел на него выжидающе и даже чуть-чуть со страхом.

— Рисовать хочется?

Еще час назад я и не думал об этом занятии. Оно воспринималось как вид приятного, но не обязательного баловства. Но сейчас я уверовал: да, конечно, как же жить без этого? Наверное, это и есть моя судьба. Впрочем, тогда я вряд ли знал это слово, может, слышал и знал по звучанию, но не понимал его смысла.

И я сказал убежденно:

— Да. Очень.

— Тогда,— деловито проговорил он и встал,— приходи сюда в следующий четверг, в семь.

Каждый четверг мы рисовали кувшины, пирамиды, уж не помню что еще. Помню только, что чаще всего рисовали птиц.

Станислав Степанович, которого сокращенно звали Эс Эс, вовсе не вкладывая в это никакого зловещего смысла, ставил перед нами чучела птиц... Где он только их добывал? Некоторые говорили, что он охотник и сам набивает чучела, но вряд ли он мог убить орлов и грифов. Да и воробья он едва ли мог убить.

Возможно, по совместительству он был специалистом-орнитологом.

Если в изображении других предметов он допускал известные отклонения и неточности, то едва дело доходило до пернатых, он становился придирчив и неумолим, требуя неукоснительного сходства.

Вначале это было любопытно, потом скучно.

Признаюсь, пернатые истуканы порядком надоели мне, и однажды я стал рисовать нечто иное, отдаленно похожее на птицу,— только во сне я мог увидеть такое или в музее, где показывали вымерших ископаемых: чешуйчатое, с хищной головкой кондора, с золотым широким клювом попугая, с пестрым опереньем колибри, с голыми мосластыми лапищами страуса. Это существо виделось мне мощным, как самоходка, и стремительным, как истребитель (военные образы не исчезали, не уходили). Чудо-птица, плод моего воображения. Я все придумывал и придумывал новые диковинные черты. Мне так понравилась собственная птица, что я даже боялся отдать ее Эс Эсу.

Обычно он разбирал каждую сданную работу в аудитории, при всех, а тут в конце занятия, разобрав рисунки, он бросил мне сухим, простуженно-недовольным голосом:

— А ты останься.

В студии был полупогашен свет, зловеще темнели беркуты, таин-

ственные приземистые совы с приплюснутыми человеческими лицами в круглых, светящихся пенсне.

Эс Эс был странен. Он расхаживал по комнате, время от времени поглядывая на меня так, словно я чем-то обидел его или даже предал. И вот теперь он не знает, с чего начать тягостный разговор.

Наконец, с удивлением глянув на меня, он произнес фразу, реального смысла которой я тогда не понял. Может, поэтому и запомнил ее навсегда:

— Так не пойдет, мой друг. Сам того не понимая, ты находишься в плену формализма.

Слово «формализм» пахло на меня чем-то клейким, спиртовым, наподобие формалина. Я понятия не имел, что это такое.

Он еще что-то говорил, то поучительно и спокойно, то раздраженно. Порой невнятно, почти бормоча, порой отдельно, значительно чеканя слова, словно не для меня одного, не мне, а кому-то, продолжая какой-то невидимый, неизвестный мне спор. Мне даже показалось, что он вовсе забыл обо мне и старается кого-то убедить, а может, и не кого-то, а самого себя. Особенно часто встречалось в его монологе слово «выкрутасы».

Его широкие скулы с еле заметными оспинами, придававшими лицу выражение спокойствия и доброты, вдруг нервно задвигались, как лопасти:

— Ты, парень, не без способностей, но так дело не пойдет...

Я решил больше не ходить в изостудию.

Честно говоря, я даже радовался этой возможности: сколько времени теперь высвобождалось! Но вот прошло несколько четвергов, и стало пусто, чего-то явно не хватало, и с каким-то новым, угнетавшим меня чувством потери я старался обходить особнячок Дома пионеров.

Я видел, как в светлом помещении мои старательные товарищи рисуют зверей и птиц, машины, великих людей, а я был за пределами поля, как игрок, выгнанный за нарушение правил. Точнее, я сам покинул его.

В конце нашей улицы, впадавшей одним из ручейков в Покровку, собирались инвалиды войны — неподалеку был районный собес, куда они ходили. Частенько приходили сюда ребята из соседней школы. Здесь иногда пели военные песни — и те, что передавали по радио, и какие-то другие, вроде бы самодельные, печальные и одновременно светлые. Меня тянуло в этот дымный, накуренный улей, где все будто бы давно знали друг друга.

Здесь я и увидел Эс Эса. Он стоял, с кем-то разговаривая. Я смотрел мимо него, стараясь не встретиться с ним глазами, мне вовсе не хотелось, чтобы он видел меня. Наверное, и ему было бы неприятно, что я увижу его.

Я не учел только его зоркости орнитолога, охотника, любителя птиц. Он окликнул меня по фамилии. Я покорно подошел к нему, и он сказал тихо: «Проводи меня».

Шел он медленно, лицо его время от времени подергивал тик, и он с усилием преодолевал это подергивание, старался справиться с какой-то неведомой, изнутри подымающейся болью; время от времени что-то неразборчиво говорил.

Наконец мы пришли в Армянский переулок. Дворами мы подошли к подъезду его дома, долго поднимались по узким темным лестницам.

Я сам был жильцом большой коммунальной квартиры, но такой коммуналки, в которой жил Эс Эс, я в жизни не видел. Бесконечные коридоры, перегороженные шкафами и шкафчиками, с раскладушками, невидимо притулившимися к стенам, на которые ты постоянно натывался, с едким запахом керосина, с выскакивающими из многочисленных дверей детьми.

Казалось, он с трудом ищет и не может найти свою комнату.

Наконец мы вошли в нее: маленькая, почти без мебели, вся обклеенная рисунками, обвешанная картинами и картинками одна чуднее другой.

Женщина с измученным желтым лицом, непричесанная, в байковом халате,— мне показалось вначале, что это его мать,— грозно встала навстречу.

— Опять, опять, опять,— твердила она, цепкими руками успевая снять с него пиджак, проверить содержимое карманов. Потом она так же властно, но осторожно, словно боясь повредить, приобняв, повела и посадила моего учителя на диван.

Я был так напуган всем этим, что не мог разглядеть его рисунков и картин, хотя при первом же взгляде они ослепили меня дивной яркостью, синим и золотым излучением.

Она даже не спросила, кто я, как сюда попал. Видно, это было в порядке вещей, возможно, каждый день его кто-то приводил сюда.

— Ему это нельзя, ему это смертельно,— доверительно, как взрослому, говорила она мне.— Если б не это, его работы в лучших музеях страны висели бы, а его отчислили из института... Способнейшего из всех... Из-за водки.

— Не из-за водки,— вдруг ожив, цепко, трезво глянув на меня и на нее, сказал он.

Он сидел на высоком диване, поджав худые ноги со спадающими, как у ребенка, носками в растянутых обручах перевернувшихся резинок. Я никогда не видел его таким жалким.

Веки его отяжелели, глаза смотрели рассредоточенно, мутно, он как бы засыпал и снова просыпался, не чувствуя, не видя никого.

— При такой контузии совершенно нельзя... Это же смертельно,— по-прежнему тихо, доверительно полусептала-полуговорила его жена.

Казалось, все успокаивается, я уже приготовился нырнуть за дверь; хотелось уйти из этой душной комнаты, из огромной квартиры. Мне было жаль, что я не разглядел как следует его рисунков, но желание освободиться, вырваться из чужой, неясной мне, больной жизни было сильнее.

И вдруг с неожиданной ловкостью он вскочил на диван и стал срывать свои картины.

— Ты что, ты что?! — кричала жена, спасая то, что можно было спасти от его бессмысленных рук.

Я тоже суетливо нагибался, подымал листы, не глядя на них.

Вытянув лицо, скалясь, словно передразнивая кого-то, он произнес с мукой: «Вы-кру-та-сы...»

Еще год после этого я ходил к нему в студию. Он изменился ко мне, был ровен, приветлив и больше никогда не ругал за некоторые отступления от натуры, которые я себе позволял.

Его замечания были конкретны, точны. Иногда он водил нас в Третьяковку, в Музей изобразительных искусств и говорил о картинах не так, как экскурсоводы, без заученных красотостей, кратко, с подчеркнутой технологичностью, все время объясняя, что нерукотворное рукотворно, а значит, создается, делается. Он обнажал прием, но тайна не исчезала. Те картины, которые мы знали наизусть, обретали какой-то второй план, словно из черноты негатива проявлялось что-то неожиданное, что мы пропустили, во что не смогли или не сумели взглянуться.

Как-то мы шли с ним к Киевскому вокзалу. На вокзальной площади он остановился и сказал: «Смотри».

Вокзал светился огромным аквариумом. Люди неслись, торопились, движение их было одновременно беспорядочно и целенаправленно, как движение рыб.

— Слушай,— сказал он.— Нарисуй вокзал. Я всю жизнь мечтал нарисовать вокзал, но не получалось... Когда-то начал одну картину — «Киевский вокзал. 1941 год»... Начал еще тогда, да так и не закончил.

Весной он долго не приходил на занятия. Пришел только в мае. Его трудно было узнать. Изжелта-бледный, с уменьшившейся, как бы усохшей детской головкой на такой же худенькой детской шейке. Седые густые волосы посерели, стали прямыми и редкими.

Не помню уже, о чем он говорил. Кажется, о портрете.

На следующее занятие он не пришел.

Это была первая смерть в моей жизни, и она поразила страшной обыденностью,— администратор Дома пионеров распределял, кто понесет гроб, кто венки, кто крышку, другие студийцы получили задание закупить продукты для поминал.

Я смотрел на его парафиновый высокий лоб, на поредевшие, аккуратно причесанные волосы и все не мог понять, осознать до конца: как же это?

Пройдет еще много лет, будут и другие потери, и всякий раз буду задавать тот же вопрос, зная, что не услышу ответа, что ответа на это нет и не будет. Никогда.

Детское видение черепа, окарикатуренная суть смерти, ее школярски обнаженная тайна...

В крохотной комнате на всю огромную коммунальную квартиру гудят поминки.

Говорят, говорят, пьют, едят и снова говорят, и это тоже впервые и тоже поражает меня: жевание, говорение, зеркало, закрытое простыней.

Говорят о нем так хорошо, так хвалят его, что я не понимаю: то ли они сейчас прозрели, то ли при жизни он был ими признан, но только не смог о своем признании узнать.

Висели на стенах его рисунки, большой незаконченный холст без рамы... Видно, это и была та картина, о которой он вспомнил на вокзале.

На переднем плане стриженный новобранец; лицо странное, невыписанное, скорее цветковое пятно, только рот поющий и плачущие глаза выделены. А сзади — еще десятки поющих ртов. А с перрона смотрят на него мать и девушка.

Этот холст, зеленоватый по тону, со светящимися пятнами лиц в сумраке, темнел среди удивительных, пестрых рисунков Эс Эса, среди его полыхающих праздничным огнем натюрмортов.

Но больше всего я вглядывался именно в тот холст. Я никогда не видел таких новобранцев. На полотнах того времени были могучие, с суровыми лицами, подробно выписанные, с оружием и амуницией парни, разговорные от вражеских пуль. Эти же были юны, угловаты, улыбались; бесстрашие и детскость были в их взгляде.

А народ все гудел, говорил, народу все прибывало. И так расшумелись, разговорились, раздвигались, что некоторые рисунки посыпались со стен, по ним ходили, наступали на них, нагибались и поднимали, но водка притупила точность движений, и катились по полу белые листы, не давались в руки.

Куда они делись потом? Не слышал, чтоб была посмертная выставка моего учителя... Сейчас-то я стал похитрее и, может, сохранил бы на память хоть один его рисунок, а тогда только подбирал и складывал на окно.

Голова кружилась от шума, от сознания того, что ни мать, ни невеста не увидят своего солдатика, своего новобранца.

И что я тоже никогда его не увижу.

Что это? Ведь только что был зоопарк и девушки на скамейках, а теперь они уже позади и канули безвозвратно и, оказывается, мы с Борькой Никитиным идем теперь от Красных ворот к Красносельской, оттуда к Сокольникам, и это уже другой день, но, кажется, продолжается все один, в котором мы не расстанемся ни на миг и утро в нем вяло переходит в вечер.

Обсаженная тополями улица полна юношеских соблазнов: коробы с золотыми пирожками под брезентовыми навесами, колбы с газированной водой, тетки под навесами управляют вручную, суют мокрую сдачу, старенький кинотеатр «Шторм», таинственный пивбар.

Отчего так полно и волнующе это ощущение улицы? Оттого ли, что давно позади она?.. Но скорее иное — просто молодые глаза наши, помнящие разор войны, были чутки и радостно воспринимали обыденные проявления мирного быта. Ведь еще и десятка лет не прошло с окончания войны... И все же не только этим отмечена радость неторопливой бездельной прогулки — в самой улице было то, что потом утратилось: ручная работа, а не массовый поток, многообразие, а не однотипность; конструктивистский клуб тридцатых годов соседствовал с деревянными домами, с палисадниками, лез в небо один из первых высотных домов Москвы у Красных ворот, а здесь стоял трехэтажный ампирный особнячок, райуправление культуры и белокирпичная церковь, нескончаемая трамвайная улица, а дальше сады вокруг сокольнических больниц и разудалый, небезопасный для гуляния без конца и без краю лес, или, говоря по-научному, лесопарк, имя которому Сокольники.

Сегодня я вижу его стеклянно-бетонным, геометрически расчерченным, культивированным, со множеством точек питания и торговли, с павильонами игр, с грохочущими импортными автоматами, с зонами культуры и отдыха, многолюдны его некогда диковатые, дремучие дорожки, и кажется он сегодня легко просматривающимся насквозь, сильно уменьшившимся. А тогда мы шли по его аллеям и дорожкам в постоянном ожидании чуда, которое вот-вот должно случиться.

Мы без конца рассказывали друг другу о себе, почти исповедовались, ибо считали, что каждый должен знать жизнь другого как свою собственную.

Деревянный полупустой павильончик, портвейн и купаты, и ни слова о сегодняшнем. Ведь мы еще не окончательно зачислены и из суеверия не говорили ни слова об Институте. Да и вообще, казалось, сегодняшнее мало волнует нас.

Прошлое — вот что объединяло, хотя у каждого оно было таким разным. Как это ни странно звучит, время и война позаботились о том, чтобы у нас, еще не достигших двадцати, было прошлое, прошлое, в котором слово «смерть» далеко не всегда носило отвлеченный характер. Может быть, потому, что она была так реальна, часта и близка, мы воспринимали ее как нечто напрямую связанное с жизнью. «Мы» — это относится к поколению. Меня же она пугала всегда, любая смерть, о которой я узнавал, подавляла, казалась чем-то неестественным.

Впрочем, хотя смерть и просачивалась в наш опыт, присутствовала в наших рассказах, ощущение бесконечности жизни от этого было, может быть, еще более острым: вечеряющий Сокольнический парк с его чудо-молодцами, слоняющимися стайками по пустым аллеям, с его чудо-девицами, белеющими кофточками на ближних скамейках, с бодрыми песнями, несущимися из громкоговорителей, с гитарными переборами и хриплыми блатноватыми голосами, с густой бесформенной стеной леса, в глубине которого вспыхивали иногда огоньки и ощущалось зорпливое движение, — все это говорило о жизни, которой нет конца.

В тот вечер Борька впервые рассказал мне о своем немце.

Потом не раз в дальнейшем нашем многолетнем общении так или иначе вспоминал он своего немца. Этот немец стал для меня привычен, будто старый родственник, то и дело встречающийся на перекрестках жизни.

Борька жил с матерью в деревне. Неподалеку от Рыбинска. Там пленные немцы строили железную дорогу. Мать Борьки пригоняла конвойным цистерну с питьевой водой. Часто и он увязывался за ней.

Борька любил наблюдать за пленными. То есть что значит любил? Слово «любил» не могло стоять тогда рядом со словом «немец». И даже

не то что было ему интересно смотреть на них, хотя он смотрел на них неотрывно: тяжелое любопытство было в его взгляде. Он видел, что они люди, но он понимал, что они какие-то другие люди, не такие, как наши, что все они страшные люди. Война ожесточила не только взрослых.

Он замечал, что работали они быстро, точно, что переговаривались спокойно, деловито, и это были совсем не те лающие голоса, пугающе знакомые по фильмам и радиоспектаклям. Да и вообще, как ни хотел, он ничего страшного не мог найти в них, хотя и искал все время. Усталые, мокрые от пота, в выцветших френчах, они выглядели скорее измученно, чем устрашающе. Но он постоянно, ежесекундно держал в голове: «Это они убили отца».

Он уже не вспоминал другого: ленинградских дистрофиков, которых привезли в деревню для поправки, с маленькими, ссохшимися головами, коричневыми лицами, не вспоминал он и плач баб из его деревни, однообразный, жуткий, вспыхивающий то в одном, то в другом доме и тянущийся бесконечно... Это вошло в него с первыми проблемами сознания, но не об этом он думал, глядя на них. Тогда все сузилось и сошлось на одном: «Они убили отца». Впрочем, не было известно, убит ли, написано было по-другому: «Пропал без вести» — и потому и мать ждала и он, но уже война кончилась и уже все говорили, что ждаты бесполезно.

Он то вспоминал, то забывал отца. Вот он сидит у отца на коленях, они пьют молоко, вот отец на комбайне, комбайн раскаляется и дрожит. Вот они на улице с отцом слушают репродуктор. И он спрашивает отца: «Там что, человек сидит?» А отец смеется и качает головой. Помнит он отца и в гневе. Отец кричит громко, бьет по столу так, что хлеб прыгает, и кажется, все разорит сейчас и порушит, а он лежит на печке, но не боится, знает: отец все может разорить, а его не тронет.

И помнит, кажется, даже уход отца. Отъезд в грузовике в город, помнит, как мать взобралась в кузов, как оголилось ее колено и как с высоты кузова она глянула ужасными, бесцветными глазами на Борьку, будто и она покидала его насовсем. Отец втянул ее силой, решительно подмигнул Борьке. И крикнул, улыбаясь: «Борька, сынок!»

Первый раз он так назвал его — «сынок», обычно просто Борька да Борька.

И покатила машина, подняла пыль, уже и не видно почти, только здесь, на пустоши, гармошка взвизгивала, замирала, снова расходилась, будто в истерике, никак не могла остановиться.

Еще много чего об отце помнил Борька, и мать медленно, по слогам читала ему отцовские письма, два года читала, а потом письма перестали приходить.

И вот теперь он наблюдал за немцами: переговариваются, стучат лопатами, расчищают завал, греются на солнышке. Люди как люди, только говор не русский.

Однажды Борька сидел у цистерны с водой. Подошел немец, худенький, рыженький, как клоун, попросил воды. Конвойный не слышал, дремал, пригревшись, сидел на земле, чего не полагалось по уставу. Борька же обстругивал ветку. «Вассер, вассер», — вежливо просил немец и показывал глазами на цистерну.

Борька не хотел будить конвойного. Он сам мог дать немцу кружку, но сделал вид, что не понимает, не хотелось ему, чтобы немец пил, не зачем ему... Снова попросил немец воды, и вновь Борька не моргая, молча смотрел мимо светлых, словно бы больных глаз. И тут что-то независимое, отдельное от Борьки, как бы не он сам, а какая-то пружинка в нем дернулась, и рука его сама собой потянулась к кружке. Нацедил Борька воды. Пленный бережно взял кружку, долго, медленно пил, тяжело дыша, екая, морщась от наслаждения.

Он поставил кружку, кивнул Борьке и вдруг, опустив глаза, жестом попросил ветку, кивнул Борьке и вдруг, опустив глаза, жестом попросил ветку, которую обстругивал Борька, и ножик. От растерян-

ности Борька дал. Немец присел и сидел так, методично работая ножом, не разгибаясь. Минут через пятнадцать он вернул Борьке не ветку, а тоненький мундштучок для курения, только дырка была плохо вырезана: времени было мало, да и нож тупой.

Постепенно Борька стал привыкать к своему немцу. Он таскал ему картошку, а несколько раз даже и молоко, хотя немцев кормили неплохо, но Борьке казалось, что его немец недоедает, такой он худой и болезненный.

Как-то Борька раздобыл немного самогону, принес его немцу. Вольфпил самогон из кружки помаленьку, будто это было молоко. А Борька вдруг ощутил странное беспокойство. Он встал, огляделся, увидел вдали ряды аккуратных домиков за колючей проволокой, и ему показалось, что от горизонта к нему меж вырубленных сосен, к насыпи дороги идет отец.

Он шел четко, хотя и медленно, и когда приблизился, Борька увидел, что туловище у отца живое, а лицо мертвое. Мертвый отец шел куда-то — жестко, прямо, не видя сына, подняв белое лицо с пустыми глазницами. И сзади будто бы шел кто-то с оружием, почему-то Борьке показалось, что это его немец. В сознании его вдруг стало все двоиться. Сидящий на теплой земле с кружкой Вольф, и тот немец, что шел вслед за отцом, и спокойный теплый ветер, и запах нагретой сосны, и какой-то другой, мерзлый ветер, и лицо отца с провалившимися глазницами, не узнающее, чужое, и вдруг Борька закричал дико, тонко, так что немец, испугавшись, вскочил и расплескал драгоценный самогон.

Борька с ненавистью изmaterил его. Вольф, не понимая, в чем дело, наклонился над ним, смотрел круглыми участливыми глазами, как врач на больного.

Борька с силой оттолкнул его — метил в грудь, а попал в живот, — и тот от неожиданности сел на землю. Борька побежал, слыша сзади его прерывающийся ласковый голос.

И вдруг Борьку оглушил выстрел. А потом он услышал крик.

И остановился как вкопанный. Прямо на немца с автоматом наизготовку бежал конвойный. Вольф неподвижно сидел на земле, и Борька подумал, что он убит. На руке у него действительно была кровь. Борька сорвал с себя рубашку, бросился к Вольфу, готовясь перевязать ему руку.

— Назад! — остановил его конвойный, теперь он стоял между Борькой и немцем. — Встать!

Немец сначала не шевелился, а потом привстал, ничего не понимая.

От страха Борька забыл даже имя немца. Он смотрел на него и переводил взгляд на конвойного. Уже кто-то бежал к месту происшествия. Рука немца была оцарапана, и сам он был оглушен.

— Это я, я, — испуганно причитал Борька и плакал. — Он ни при чем...

После этого случая Борька долго не приходил на стройку, где работали пленные. «Теперь, — думал он, — и не пройдешь. Теперь и не подпустят». Да и идти ему не хотелось.

Возвращался из школы, пригонял корову, пилил с матерью дрова, а ночью, когда мать засыпала, в копотном, косматом свете коптилки малевал что-то на бумаге.

Мать, пригревшаяся на печи, пугливо просыпалась, привставала, сквозь разводы копоты он видел белое, тревожно метнувшееся пятно ее лица. «Это че, почтальон?» — всхлипывая со сна, бормотала она.

Уже не первый год снился ей ночной почтальон. Что он ей приносил?

— Да не почтальон никакой, — нарочито буднично, даже ворчливо, будто ребенку, говорил Борька. — Ты спи-ка.

Она засыпала, а он все сидел и рисовал. И чем дольше сидел, тем меньше хотелось спать.

Мать снова просыпалась, смотрела слепыми, непонимающими глазами, спрашивала испуганно: «Ты че? Ты че?»

— Уроки, мать,— говорил он, и она успокаивалась, затихала.

Он рисовал домики и хатки, коров и лошадь на водопое, и получалось похоже. И еще, вспоминая немца, он рисовал старинные замки и диковинных охотников в шляпах. Но иногда вдруг охотники превращались в обыкновенных солдат, а башенки старинных замков в круглые, врытые в землю дыты.

Вновь и вновь рисовал он солдат — идущих в атаку, бегущих и лежащих на земле. Живых и мертвых. Иногда ему хотелось нарисовать своего отца. Вроде бы он и помнил его лицо, но недостаточно для того, чтобы его изобразить, да и лицо это все время менялось: то оно было молодое, то старое, то, как новобранец, отец был острижен наголо, то, как вечный странник, оброс седыми волосами и бородой.

Он не хотел срисовывать с маленькой карточки, висящей на стене. Там отец в белой рубашке обнимал за плечи мать. Видимо, они только что поженились.

Он нашел еще несколько фотографий отца, они лежали в брошюре, посвященной XVIII съезду ВКП(б). Отец Борьки был человек грамотный, комбайнер, партийный, и у него было много таких книжечек с густым серым шрифтом и в мягких обложках. Многие строчки в них были подчеркнуты отцом.

На фотографиях отец всегда смеялся, а глаза напряженно смотрели в аппарат, будто ждали, что из него птичка вылетит...

Немцев расконвоировали. Иногда они забредали даже в деревню. Говорили, что их скоро отправят домой, в Германию, и они будут строить там новую жизнь. Борька нашел своего немца и показал ему рисунки. Тот внимательно посмотрел, тонким пальцем ткнул где неверно, где нарушены пропорции, похвалил лошадок и замки, а увидев военные рисунки, нахмурился и сказал:

— Зачем это? Надо забыть. Я хочу забыть... Ты хочешь забыть. Рисуй дерево, корова, лошадь, рисуй деревня, а криг — нет.

Он провел ладонью по горлу: вот она где, война!

Вскоре немцы стали партиями уезжать. Кончился их плен. Вольф взял адрес Борьки и дал ему свой.

Было непонятно, радуется он тому, что должен вскоре освободиться, уехать на родину, или нет. Другие весело ходили, разговаривали, лица у них были румяные от возбуждения, будто они крепко выпили. А Вольф ходил тихо, выглядел жалким, болезненным. Может, его никто не ждал дома, а может, он просто скрывал свои чувства, а может, из суеверия — боялся взглянуть.

И вот посадили их на грузовики, вот расселись они чинно, аккуратно, помахали руками, а деревенские в ответ тоже. Будто и не немцы уезжают, а какие-то постояльцы, сезонники.

Старик один, дядя Борькиной матери, сказал:

— Во время войны каждого бы как гниду давил, а опосля войны все ослабло... Работные мужики, что есть, то есть.

Борька вспомнил, как немец учил его перерисовывать на пленку цветы и зверей, а с пленки сводить на материю:

— О, это... всегда есть рубль, есть марка. Малер — всегда рубль. Всегда кормить. Кисточка — всегда кормить.

Года через два пришел к Борьке почтальон, говорит:

— Письмо тебе. Из Германии. Из ихней демократической республики. И посылка. Так что распишись.

Борька торопливо вскрыл посылку, и увидел блестящие яркие тюбики, и сразу понял: краски. И фото. Немец Вольф в доме отдыха.

Стоит у красивого двухэтажного домика и смотрит. Лицо пополневшее, а взгляд задумчивый. И непонятно, доволен он жизнью или нет.

И записка на русском, с ошибками, конечно, но понять можно. Сообщал, что работает на конфетной фабрике, вернее, в тресте конфетных фабрик, делает эскизы для конфетных оберток. Еще он писал, что «немного рисовал для себя и однажды даже выставил на выставка свободных немецких художников картину „Русский подросток”». И фотография с картины: белокурый мальчик, одновременно напоминающий ангелка и Борьку.

Сообщал свой подробный адрес в Германской Демократической Республике и приглашал «друга послевоенных лет» навестить его.

Конечно, неплохо было бы съездить в гости. Но в то время частные приглашения не имели силы. Так и не побывал Борька в Германской Демократической Республике. Да, кажется, нигде за границей он не побывал в своей жизни.

С первых дней знакомства меня удивляло в Борьке, таком же юном, как и мы, спокойное приятие не только жизни, какой бы она ни была, но и смерти. Из тех же первых вечеров остались в памяти отрывочные его рассказы о том, как заболела мать и как он работал в райцентре на кладбище художником, делал на пластмассе, на эмали портреты усопших на памятниках.

Мне казалось, я не был способен на такое. В его же устах слово «покойник» было столь же обыденно, как «новорожденный», «урожай», «покос» и т. д., смерть была для него одним из проявлений жизни, для меня же, напротив, стояла над жизнью, вернее, противостояла жизни и потому отталкивала.

В ту пору я проводил навсегда только трех людей: учителя рисования, Калининна и бабушку.

Калинин был первым. Мы, дети, малолетки, знали, что он не просто Председатель Президиума Верховного Совета, но и Всесоюзный староста и любовно звали его «дедушка Калинин». Именно дедушкой он и выглядел на портретах: худой старик с добрым взглядом и острой бородкой. И еще мы видели его в кадрах кинохроники. Он вручал ордена. Улыбался и что-то неслышное нам и, очевидно, приятное им, награжденным, говорил.

Когда он умер, мы с бабушкой стояли в долгой очереди в Колонный зал.

Люди шли, тихо переговариваясь. Я же мысленно представлял себя в январе 1924 года, черный дым на белом снегу, ощущал себя частицей бесконечной осиротевшей толпы.

И здесь, в Колонном зале, в этом скорбном потоке я словно бы шел не только к дедушке Калининну, но и к нему. Мрамором и алебастром светились таинственно стены, отражались огни в них, словно во льду. Пахло хвоей — запах этот для меня навсегда стал запахом похорон, — часовые стояли как железные, не моргая, не дрогнув ни мускулом, горели игольчатые кончики штыков.

А бабушку мою отпевали в церкви... Измученное, желтое, такое родное лицо. Отпевали, а я слышал ее голос: «Сынок, пора домой... Сынок, обедать... Сынок, за уроки».

И свежая земля, стук комьев по крышке гроба — это потом, на кладбище, — и все гуще эта земля, и моя бабушка навсегда уходит в землю, в корни, в черные, отрезанные лопатой ломти чернозема.

А вдали еще люди, конвейер бесконечен, мелькают венки, чужие рыдания слышатся, а здесь так быстро вырастает холм, слишком большой для моей маленькой, такой живой, непривычной к неподвижности бабушки.

Борька со всем этим был знаком почти с детства. Он рисовал иконки и продавал их в церкви, как батюшка велел. Батюшка все тянул Борьку в церковь, а Борька только помогал ему; батюшка го-

ворил со значением: «Пойдешь учиться туда» — и показывал куда-то пальцем. Поступить туда было трудно, но он обещал помочь.

В гулкой сумеречной пустоте Борька рассматривал древние лики. Но батюшку ему неинтересно было слушать, батюшке он не верил. Батюшка говорил одно, а делал другое. Батюшка и любил другое, это Борька чуял нутром, и когда люди стояли в очереди, а батюшка их миром мазал, то Борька слышал не только благовоный душный запах, но и запах перегара из батюшкиного рта и слышал не тихий шелест: «Прости и помилуй», а грубую ругань, что извергал батюшка днем на службу, да и на жену свою.

Нет, сильно отрезвил батюшка Борькину душу, хотя и хотела Борькина душа очищения и праздника.

А когда один стоял Борька в церкви и боковой свет, ломаясь, сочился вниз и в нем плавали мириады пылинок, то виделись они ему не пылинками, а живыми существами, плывущими, раскинув крохотные руки, и среди них, может быть, плыли его отец и те, кого срисовывал он с маленьких фотографий для кладбищенских памятников.

Матери его не нравилось, что он зарабатывает такой работой, что, по сути дела, не учится (целый год он не ходил в школу), но разговоры о том, чтобы отдать его в другое место, оставались разговорами.

В конце концов повезла она его в другой город, где был интернат, да еще с художественным уклоном; таких переростков, как Борька, туда не записывали, но у матери был такой большой и несчастный вид, она так плакала и говорила, что Борька вскоре останется круглым сиротой, пропадет, что в конце концов директор, бегло глянув на его рисунки, дал команду зачислить Борьку.

Так Борька очутился в интернате с художественным уклоном.

И непонятно было по его рассказам, хорошо ему там жилось или плохо. Вроде и не бывает в интернатах хорошо, но иной раз послушаешь Борьку и позавидуешь: такие чудеса там творились, такие ребята были рядом, так замечательно они лепили, рисовали, так хорошо их учили, что хоть прямо из интерната зачисляй в Суриковское училище.

Но однажды Борька признался, что житье было нелегкое, там были и сироты, и дети, брошенные родителями, и дети тех, кто работал далеко от этих мест, что педагоги все время менялись. В родительские дни не всех забирали домой.

Некоторые все ждали, надеялись, слоняясь по коридорам, выглядывали в окна, говорили возбужденно: «Сейчас мой приедет».

Но не ко всем и не всегда приезжали.

Уже в Институте Борька показал мне свою жанровую картинку «Ожидание».

Стриженный мальчик расставил шахматные фигуры-гиганты, такие бывают в парках культуры, в детских садах, в интернатах. Итак, огромные, нелепые фигуры, между которыми затерялась маленькая стриженная голова на тонкой шее... Мальчик смотрит в окно. Там последняя мать увозит последнего ребенка на каникулы. Булыжная мостовая, уходящие женщина и ребенок.

Вот такая картинка. Мне запомнилось лицо мальчика меж странных слонов, коней, пешек, улыбка, уже гаснущая на губах, но еще подсвечивающая глаза.

Переход улыбки во что-то иное, чему и название трудно найти. Может быть, обида, может быть, отчаяние, словом, не определишь.

Если б можно было определить словом, то рисовать незачем.

Борьку как-то особенно трогало одиночество детей.

Город этот, где поселился Борька после Института, был невелик, мы знали его не хуже собственного района, собственной улицы. За эти годы сколько раз наезжали сюда! Одно время Борька был чуть ли не главным художником районного управления культуры. Мы еще с Сашкой дразнили его: «Ты главный, а Репин да Суриков просто...»

Бывало, я оставался у Борьки на несколько дней, работал в его

мастерской (коллективной, одна на трех художников, двое, впрочем, почему-то всегда отсутствовали). А иногда без дела ходил по улицам города. Или городка — по сравнению с Москвой он и был городок, этим и притягивал к себе.

Но относительная близость Москвы все равно чувствовалась. Сюда добирались столичные грибники, до Москвы — здешние экскурсанты.

Борька приезжал в Москву редко. Он полюбил свой городок, привязался к нему, и действительно здесь был свой влекущий дух — в крепких приземистых домиках, иногда со скупым бедным декором, а иногда и с колоннами, с мелкими, изящно обрамленными оконцами, сохранился здесь и гостинный двор, где были магазинчики, пусть с небогатым выбором, но зато с нестандартными названиями, один назывался «Сукноаршин», верно, на переломах истории его так и забыли переименовать. Да и в местной фотографии было что-то неизбежно провинциальное, домашнее, казалось, весь город, как выпускной класс, усажен перед объективом.

Вставали в ряды и новые дома, и люди переселялись в них с радостью, жить там было удобнее и просторнее, но лик города определялся все же этим старым центром.

Конечно, в последние годы дела и заботы брали свое, я наведывался сюда реже, но тем более радостен был мне этот город, я приезжал в него почти как на родину, внимательно подмечал все перемены в нем. И если попадалось мне где-нибудь название города или что-нибудь писали о нем, читал с пристрастием, как чужак читать не станет.

В первые годы, особенно после некоторых событий, произошедших в Борькиной жизни, мы изо всех сил вытаскивали Борьку в Москву, поближе к нам. Возможности такие были, но вначале он колебался — то отказывался, то был уже близок к переезду, хотя и с сильным внутренним сопротивлением, а потом неожиданно для нас женился здесь, и когда жена отвергла Москву, что называется, уперлась, он не стал уговаривать ее, согласился с ней. Мне даже показалось, с легкостью, с радостью внутренней — оттого, что выбор уже сделан как бы без него и вариантов нет. Человеку ведь иногда легче без вариантов, без выбора. Хотя на самом деле решение — и, видно, давно — принял он сам.

Не приводил он затасканные доводы о суетности московской жизни, какие нередко слышал я от периферийных коллег; иногда бывали эти доводы искренни, иногда отдавали кокетством, ибо, чего греха таить, суетность не масштабами города определяется и даже не ритмом его жизни. Сколько суетных было и в провинции, а несуетных — в Москве. И сколько осуждавших эту самую суетность с удивительной непреклонностью, буквально изнемогавших в краткой командировке от тоски по своим покинутым далям, с легкостью, как только представлялся случай, перебирались в столицу, в ту самую губительную суету, и обнаруживали недюжинные способности к данной суете приспособиться.

В отличие от них Борька не ругал Москву за суету. «В нас самих суета», — говорил он. Он любил Москву и знал ее, как немногие москвичи. Мы с ним вдоль и поперек исходили любимые наши улицы и переулки. Впрочем, любили мы разное. Моими были Покровка с Чистыми прудами, Замоскворечье и, как у всех коренных москвичей, конечно, Арбат.

Я любил старую Москву, но мне было все равно что XVIII век, что XIX, все это и была для меня старая Москва, даже мой Машков переулок с домом, построенным в конце XIX века, воспринимался как старое. Борька же любил более глубокую старину, в те времена она была крепко забыта, улицы переименовывались, некоторых мемориальных досок, что сейчас появились, и в помине не было, Москву надо было узнавать ногами, разговорами со старыми, все помнящими моск-

вичами, сидением в библиотеках над старинными планами и пожелтевшими справочниками. А Борька знал многое: от Филиппьевской церковки XVII века до Малого Палашевского переулка. Мне, например, название этого переулка мало что говорило, и только от Борьки я узнал (где-то он это вычитал), что здесь в XVII веке проживали палачи. И сразу же переулок стал восприниматься по-другому. Теперь он виделся мрачным, бывшее гиблое место, хотя, как выяснилось, палачи жили здесь не настоящие, они не убивали насмерть, а только кровавили должников кнутом или батогами.

Но одно дело пребывание, другое — житье.

Вероятно, и к Москве бы он привык и отлично приспособился. Он и думал одно время о переезде, а потом отказался, и тогда мы отстали от него с этим, да и верно — иная была его судьба...

И не привычка, не самовнушение были тому причиной, не даже некоторая «гордость провинциала», которой Борька иногда козырял, может быть просто из духа противоречия. Я раньше других перестал его убеждать в том, что столица «даст ему большие возможности для творческого развития».

Более того, я сам иной раз завидовал ему. Я приезжал сюда нередко и потому знал его здешнюю жизнь, отлично понимал, что она не безоблачна, что масштаб города ограничивает его, что на маленьком пятачке гремят свои страсти, часто весьма далекие от искусства, и отстраниться от них труднее, чем в столице.

Нет мира ни под оливами, ни под березами, если нет его в нас самих. И все же маленький клочок земли — районный город — был его городом. А он был его художником, его мастеровым, а не одним из... Доводящий до изнурения темп, к которому я привык как к норме, пугал моего друга, и, может быть, он был прав, что месяцами не вылезал отсюда, несмотря на все наши призывы.

Городок спасал его.

У меня не было такого городка. У меня был только мой гигантский и все разрастающийся город. Но я родился в нем и не мог его судить как чужой. Мне казалось, я знаю его, хотя знать его было почти невозможно, так он был разнолик, разнопланов, из стольких разных городов состоял; я изнывал, уставал от него, и, убегая, ускользая, вновь ощущал необходимость в нем, и, возвращаясь, испытывал счастье; здесь, в этом великом многолюдстве, был мой дом, и хотя улица, где я родился, и весь район менялись, все менее напоминая старую Москву, все же память о ней и атмосфера, которую они хранили, были моей почвой, а все остальное — местами пребывания, домами для приезжих.

Борькин же дом был в том городке, далеко отстоящем от его родного, но чем-то, вероятно, хотя бы самой малостью, напоминавшем его.

Часто он ругался и говорил, что мы, московские, не понимаем здешней жизни, здешних условий.

И все же, очевидно, именно они были ему необходимы.

Мы встретили его неподалеку от дома. В довольно густой неспешной субботней толпе, курсирующей по торговой улице, мелькнула его фигурка, а может, просто кто-то похожий на него, и растворилась, исчезла.

Я обернулся к Сашке и спросил:

— Ты видел?

— Да, кажется, он. Вынырнул, как черт из табакерки, и пропал.

Меня вдруг охватило странное ощущение, что это уже было, что когда-то где-то в другом городке, в другой толпе, в другой реальности вот так же точно я увидел вдали своего друга, но не успел даже окликнуть его, позвать, как он исчез.

Да, где-то это уже было: человек в толпе, мгновенный промельк лица, и ты ищешь, ищешь и не находишь. И теперь уже не найдешь

никогда, а будешь только вылавливать по крупинкам, складывать, вспоминать.

Впрочем, он так любил: появиться и исчезнуть. С самого начала нашей дружбы было предощущение разлуки...

Мы неторопливо шли к его дому, и уже в который раз я отмечал отличие здешних людей от столичных. Они не летели, не рвались куда-то, а гуляли, возможно, и небездельно, с заходами в магазин или на рынок, но это были именно гуляющие люди.

Шли, узнавали друг друга, здоровались, беседовали неторопливо, покупали товары, какие бог послал и местные снабженцы.

И даже в том отделе, где стояла на полках пшеничная водка, никто не отталкивал друг друга локтями. Спокойно и благородно стояли в очереди, ибо каждый знал здесь другого и неудобно было суетиться и лезть вперед.

Мы тоже отстояли свое, сделали полезные приобретения и пошли дальше, мимо каких-то самостоятельных торговых точек, вокруг которых время от времени вскипали небольшие водовороты любопытствующей толпы. Но и здесь она проявляла достаточное терпение. А продавали в основном самодельные календари на холсте, или сумки из мешковины с портретами различных певцов — от Аллы Пугачевой до Джо Дассена, или столы сладких в далекие послевоенные годы леденцовых петухов, насаженных на палочки.

Вот именно здесь, между двумя маленькими водоворотами любопытствующей толпы, покупающей изделия частников, мы увидели как бы в стоп-кадре нашего друга.

Издали он казался суров, стоял в раздумье, в руке портфель, до отказа набитый, возможно, книгами, альбомами, пособиями, и походил (и это было совершенно неожиданное сходство) на чрезвычайно занятого человека, спешащего на совещание, только лохматая и какая-то излишне легкомысленная кепка да сигарета в углу рта придавали ему странный, залихватский вид и наводили на сомнения как в серьезности намерений данного работника, так и в том, работник ли он вообще. Следующий, более внимательный и углубленный взгляд, охватывающий всю фигуру в целом, замечал и плоские ботинки — лыжные, не по сезону, — и совершенно не подходящие уважающему себя работнику мятые матерчатые штаны, нечто среднее между джинсами местного пошива и домашними брюками; да и сам портфель, важный, деловой, буквально лопался от напряжения, кожаные его челюсти разомкнулись, оттого что заполнен он был, увы, не книгами, не альбомами; а, судя по всему, бутылками и снедью.

Вот он увидел нас, ухмыльнулся, погасил первый блеск и первый порыв, посмотрел вниз, никаких объятий, никаких слов; вот глаза поднялись — не голубые, как всегда, а серые, почти бесцветные в сероватом бесстрастном свете дня; лицевые мускулы как бы зажали радостно расплывавшуюся улыбку; почти безразличие: мол, приехали, ну что ж...

Я знал — это своего рода самооборона, не любит, не хочет открываться, так или иначе обозначать свое одиночество... Впрочем, произвольная игра эта длилась недолго, Борька улыбнулся нам, сразу став моложе и легче, тяжелый портфель словно бы отлетел от него, и чем-то, может быть, совсем отдаленно, он напомнил нам немного обрюзшего, слегка постаревшего Сергея Есенина. Его светлые, почти льняные волосы потемнели и словно бы огрубели, стали жестче, — золотистый лен побелел под дождями, под белой известковой пылью жизни, даже не побелел, а посерел.

Уже на подступах к квартире, на лестничной площадке, чувствовался острый, перцово-луковый, очень домашний и теплый дух. И мы сразу поняли и узнали: пельмени. Фирменные Екатерины Ивановны пельмени, пельмяши, как ласково называл их Борька Никитин, ценив-

ший несколько радостей бытия, в том числе и вышеназванные, домашней ручной работы, вылепленные из тонкого теста пельмени.

С тех пор как Катя появилась в его жизни, появились и непременно в день рождения пельмени — традиция, символ прочного домашнего образа жизни.

Впрочем, никто из нас с днем рождения Борьку не поздравлял. Мы знали, что он не любил этого: не поздравлений не любил, а осознания нового возраста. Глядевший правде в лицо гораздо беспощаднее, чем мы, в этом он был суеверен и уже с молодых лет темнил, сбавлял себе пару годочков, тем более для этого были основания: неточность в метрике. Но дело не в неточности, просто он суеверно боялся, особенно с годами, этих цифр, все настойчивее округляющихся. Вообще он острее, чем другие, чувствовал время: переход от одного времени в другое, оконченность, завершенность какого-то этапа в жизни, определенность ее рубежей, реальное для самого себя ощущение ее будущего, может быть, недалекого конца. О смерти он говорил спокойно, не видя в ней или притворяясь, что не видит, трагедии... Только одна смерть навсегда потрясла его. Он не любил знать наперед своего будущего.

Однажды, когда мы добирались в Ростов из Гремячинского района с первой своей институтской практики, нас в поезде окружили назойливые и агрессивные ростовские цыганки.

— Дай руку, миленький, погадаю.

Колдовали они недолго, сделав быстрое заключение об успехах в жизни, в любви, о женитьбах, о длительности жизни. У нас с Сашкой выходило, в общем, неплохо. Особенно в любви. А у Борьки...

Молоденькая, с нагловатыми, быстрыми и, как нам казалось, необыкновенно прозорливыми глазами цыганка, подержав на весу, как врач, Борькину ладонь и перечислив все ждущие его удачи, вдруг с легким удивлением запнулась и, запнувшись, молвила, еще раз с недоумением очертив взглядом его ладонь:

— Линия жизни...

— А что? — тревожно спросил Борька.

— А то, — сказала цыганка. — Живи да не печалься, заработай себе пети-мети, гуляй, ни о чем не думай... Спешу, милый.

Борька ей даже монетку не захотел дать. И только когда она так насупилась, что, казалось, сейчас прорвется такое пророчество, от которого не будет ни сна, ни покоя, бросил ей монетку. Но был растерян и расстроен надолго.

Тщетно убеждали мы его, что припугнула на всякий случай, догадывалась, что может не заплатить за гадание, знает его слабость — не любит швырять денег на ветер, прижимист малость.

Но это не успокоило его. С тех пор, насколько я знаю, он не хотел слышать о своей судьбе никаких сомнительных прогнозов, и даже в лесу, когда неожиданно вступала кукушка, четким своим голосом безразлично и монотонно куковала, он говорил нарочито громко, хохотал, чтобы только заглушить ее. Не любил он этого счета.

И сегодня, вытаскивая подарок, мы не говорили о поводе. Будто просто так собрались все вместе, будто просто так уставлен стол бутылками да яствами.

А стол был прекрасен. Тарелки с пирогами, сквозь плоть которых проглядывала, лохматясь, капуста, желтоватая от яйца, или пироги с черной прослойкой грибов — след здешних лесных прогулок, след Борькиного охотничьего азарта, ведрами он таскал грибы — не из жадности, из любви к искусству.

Ничего на столе, кроме водки, не было фабричного, а все свое: соленья, сушенья, варенья, и не с участка, никакого участка у них не было, а из окольных лесов, дары земли — стол зайдлого грибника, рыболова, стол женатого человека, у которого женщина знает толк в еде и может выставить гостям пельмени, сработанные на диво, по всем

правилам и чуть-чуть по-своему; нигде я не ел таких замечательных пельменей.

Она вышла поздороваться, улыбнулась приветливо и одновременно с укором:

— Что-то давно вас не слышно, забыли, забыли дорожку. Не то что раньше... Э-эх, мальчики.

И вновь вернулась на кухню. Я следил за ней: пальцы работали, как бы автоматически закатывая тонкие листы теста, заполняя их чем-то пахучим, теплым, легко и ловко придавая этому бесформенному мессиву точную, единственную форму,— словно белые, крохотные лебедки, прижав к спине шеи, выплывали и строились в ряд.

Я смотрел на это с восхищением. Любое умение в какой-то своей стадии становилось мастерством и приводило меня в восторг.

Я был в одной арабской стране и стоял у лотка уличного торговца. Тот обжаривал мясо, срезая жир. Я смотрел, как работают его тонкие, загорелые, грязноватые пальцы, как гигантским ножом обрезают, точно полируют, кусок мяса. Мне не советовали есть у уличных торговцев, но так красиво было, что я рискнул. За его искусство я готов был заплатить какой угодно болезнью. Это было не приготовление пищи, а нечто иное, гораздо более важное. Зачем, во имя чего? Чтобы, мгновенно обжигаясь, перемолоть зубами, насытиться?.. Уличный торговец об этом не думал. Именно так ему было надо, так делалось из века в век. Так было красиво, таков был обряд.

Но обряд обрядом, а мы были голодны с дороги, и ожидание у этого как бы еще перевязанного ленточкой, но уже открытого для обозрения стола, стола-натюрморта, начало слегка тяготить нас.

— Сейчас, сейчас, еще немного,— улыбнулась Екатерина Ивановна. Она казалась сейчас очень уютной, даже милостивой в своем фартуке, тонкий черный свитер скрадывал ее по-мужски широкие плечи.

Почему-то мы всегда называли ее по имени-отчеству, Екатерину Ивановну, жену нашего друга. И ведь не в шутку. Может быть, когда-то вначале это произносилось с оттенком иронии, но сейчас — нет.

И ведь была отнюдь не стара, а все же не Катя.

Сейчас она была приветлива, и радовалась нам, и, видимо, ждала нас.

В былые времена она встречала нас совсем не так, никогда не давала себе труда скрыть отчуждение, неприязнь.

Впрочем, это были трудные времена и для Борьки. Ему не работалось, это было как болезнь, и тогда он становился отчужден, груб, мрачен, между нами возникала стена. Именно в эти периоды у него обострялась язва; он старался не выдавать своих мук, и знаки участия, сочувствия вызывали в нем тихую ярость.

Видимо, от этого она так настороженно относилась к нам, да, верно, и не только к нам.

Но когда я приехал сюда и буквально силой потащил Борьку на этюды на здешние озера, где и простудился жестоко, опасно, заболел двусторонним воспалением легких, она ходила за мной как за малым ребенком — безропотно, молчаливо, с необыкновенным умением ставила банки, категорически запретила звонить в Москву, пугать моих близких...

Вот наконец Сашка поднялся с бокалом, стал говорить что-то странно и несколько витиевато, рюмки с холодной водкой стыли в наших руках, звучал его монотонный голос: «Мы верим, что ты будешь счастлив и знаменит».

— Впрочем, счастлив ты и сейчас,— добавил он и посмотрел на вспыхнувшую под его взглядом Екатерину Ивановну (она и в хорошие и в плохие минуты не умела скрывать своих чувств),— живя с такой верной, доброй,— он снова со значением посмотрел на нее,— и красивой женой... (Она потупилась, запунцовела; что-то неистребимо дет-

ское появлялось иногда в этой не такой уж юной женщине.) Мы знаем, музеи будут драться за твои работы. (Тут уже Борька поморщился. Последнее время он стал болезненно относиться к этой теме.) Впрочем,— продолжал Сашка,— кто надо и сейчас знает Борьку Никитина, а кто не надо, узнает позднее. И потому — ура!

Под дружный вскрик хорошо пошла холодная водка, уже ничего не хотелось говорить, дымились, таяли во рту благородные сибирские пельмени.

Все шло хорошо и славно, только время от времени Борька посматривал на дверь и хмурился. Не было еще одного человека, чье присутствие здесь было обязательным. Не было Егора.

Для Борьки он был не просто ученик, свой человек в доме, а как бы приемный сын. Хотя у Егора в этом же городе жил родной отец.

Наконец он вошел, запыхавшийся, с дичинкой в растерянных глазах. Казалось, он долго убежал от кого-то и вот добрался до дому.

Борька встал ему навстречу, помог снять курточку, напряжение и диковатость ушли из глаз,— Егор знал нас, в нашем присутствии чувствовал себя свободно.

Напряжение оставило и Борьку и его жену, мы выпили, нас потянуло к воспоминаниям.

Вспомнился почему-то сухумский ресторанчик «Рица», безлюдное Бесплетское шоссе, холод родниковой воды, млечно белеющая на взгорье наша сакля, в которой снимали комнату вдвоем с Борькой (Сашка жил в городе у родственников).

Да, вот мы входим в этот уснувший дом, закрываем дверь, снимаем обувь, босиком проходим к своим раскладушкам.

До этого момента в воспоминании все хорошо.

Но еще шаг в глубь этого дома, еще один блик той юношеской давно отгрохотавшей жизни — и лицо Борькиной жены тускнеет. Она отдаляется от нас, от нашего прошлого.

Да, еще несколько шагов — и мы окажемся в трудной зоне, зоне высоковольтного напряжения, сжигающей радость наших общих воспоминаний.

Я смотрю на стену. Там висит Борькин набросок, рисунок тушью: лицо юной женщины. Одной линией очерчены продолговатые глаза, темные волосы, нежная тонкая шея.

Я помню это лицо. Но для меня оно было иным. Я и изобразил его по-иному. Оно как бы светило дальним светом, уже с другого, давно покинутого берега...

Лицо молодой женщины, Бориной жены, матери его так и не рожденного ребенка.

То была первая наша так называемая производственно-творческая практика в селе Гремячем Воронежской области. Нас прикомандировали к районной газете «Путь к коммунизму» и оттуда распределили по полевым станам: издавать стенные газеты, выпускать агитлистки, делать зарисовки и портреты передовых, карикатуры на отстающих. В свободное время мы шустрили на разных мелких подсобных работах.

Жили мы очень славно, квартировали у глуховатой Аниски, вставали на зорьке, до обеда пеклись в поле. Борька чувствовал себя в деревне прекрасно и не хотел отсюда уезжать.

Месяц мы пробыли в колхозе имени Ворошилова, председатель, встречая нас, улыбался. Мы сделали художественную диаграмму для его кабинета.

Дела шли на убыль, практика заканчивалась, пора уезжать.

В последний вечер гуляли допоздна: стараясь не спугнуть нашу хозяйку, вошли в хату — в лучике света поглядывала богородица, белое вышитое красным полотенце.

Хозяйка наша Аниска ворочалась, не спала. Молчаливая, угрюмая с виду, она относилась к нам по-матерински. Вставала она еще до зорьки, во тьме, старалась нас не будить, днем оставляла молоко.

Мужик ее бросил, ушел в соседнюю деревню — к другой женщине. Дети ее подростки работали в городе.

Иногда он приходил, не давал нам спать, пьяно скребся, скулил, просил его пустить, но она не пускала. Лежала затаив дыхание — ни движения, ни шороха, будто и нет ее.

Он ругался, сначала ожесточенно, потом горестно, и уходил.

Она так тихо лежала, что не по себе становилось. Жива ли?

Я видел, что она и не лежит, а, согнувшись, сидит на кровати, опустив лицо, чуть покачивая поседевшей головой.

Над высокой кроватью висела их увеличенная свадебная фотография, она и Федор, еще в гимнастерке, год сорок шестой.

Когда мы уезжали, она достала домашнего вина, верно, настойка эта вишневая давно стояла в подвале. Хорошее было вино, видно, ее Федор сильно понимал в этом деле. Мы выпили по стаканчику и простились.

Мы уходили с пожитками к проселочной дороге ловить попутку и, оборачиваясь, видели, что она стоит у низкого плетня.

Далеко мы уже отошли, а она все стояла — высокая, плоская, как бы плыла, чуть темнела в беспощадном дневном мареве. Один раз мне показалось, она подняла руку: то ли махнула на прощание, то ли перекрестила перед дальней дорогой.

Помнится, мы еще долго крутились по деревням, останавливались на денек, ночевали. Никому, конечно, не нужны были наши рисунки, а вот руки были нужны: сгрести, убрать сено... В этих воронежских деревнях, теплых, зажиточных, было нам привольно, всем, не только Борьке, в деревне выросшему, но мне и Сашке.

Было такое чувство, что я уже был здесь когда-то, спал на этой прогретой за день соломе, сложившись вчетверо под тулупчиком или подранным, с торчащей из дыр ватой одеялом, что уже были эти рассветы, прохладные, розоватые, с острыми и теплыми запахами листвы, земли, жилья, с первыми человеческими голосами, с выпрыгивающими неизвестно откуда и скачущими над твоей головой курами.

Это странная вещь: ощущение давней знакомости жизни, которой ты не жил. Только, может быть, в сибирской деревне Ивановке, куда бабушка привезла меня после тяжелой болезни в военные времена, было что-то похожее. Помню, что меняла она отцовские вещи на молоко. И я, больной, пил его, парное, сладковатое, поначалу неприятное, потом привычное, необходимое, пил так, чтобы ни одной теплой капли не пролить, не потерять.

А может, и не давняя детская явь рождала это ощущение, а откуда-то из дальней прадедовской жизни была эта земля, запах тепло-кислой овчины, ветерок, идущий будто бы от листьев корявой липы, и сквозь них — все светлеющее, все поднимающееся вверх утреннее небо.

Каждое утро я просыпался с ощущением тайной надежды. На что? На то, что будет, должно быть что-то очень важное, единственное, меняющее всю жизнь.

А было ли что? Конечно. И немало. Но не менее важным, чем то, что происходило в повседневности, было ожидание — с каждого первого проблеска света, включавшего в жизнь сознание, с того мига, как ты ощутил себя ожившим, прозревшим.

Вечерами, под водительством Борьки, мы шли на «мотания». Именно так назывались в тех краях танцы под гармошку.

Недавно только кончилась эпоха патефонов. Наступила эпоха радиол. Но эти гремящие радиолы с одной-двумя надоевшими пластинками вскоре смолкали, и напротив старенького клуба, на вытопанной

площадке, начинались мотания. Парней было значительно меньше, чем девушек,—после армии уходили в город,—в основном пацанва лет пятнадцати—шестнадцати. Поэтому мы, приезжие залетки, были вне конкуренции.

Борька, приглядевшись, приглашал самую гластенькую и самую лучшую. Потом уж мы вступали в дело.

Я помню красивую девушку Валю, она все время спрашивала, поглядывая на меня: «Вы так считаете?»

Не помню, что уж там я считал, только помню, что она была стройная, крепенькая, говорила вразяжку, и не поймешь, где шутит, а где всерьез. И когда я поцеловал ее, она не вырывалась, не сопротивлялась, а только заметила:

— Это вы со всеми так?

— Нет,—удивился я.—Почему со всеми? — И тут же, дразня ее, добавил: — А может, и со всеми.

— А еще художник,— сказала она.

Допоздна мы ходили, она то робела, то смелела, я вел ее, слабо упирравшуюся, к реке, там на холодной земле обнимал, чувствуя все более прерывистое дыхание, удивительно свежие и податливые губы; но это недолго длилось, вырвалась она резко, неожиданно, побежала, я догнал ее, и уже молча мы шли позади двух понуро удлиняющихся теней.

До дома она не позволила себя проводить. Посмотрела серьезно, даже сурово:

— Вы дак завтра отъедете, а нам тут жить.

Как она догадалась, что именно завтра мы собираемся уезжать?

А уезжать не хотелось... Остаться бы здесь на день или на неделю. А может, на год. Навсегда.

Но надо ехать дальше, никакого «навсегда». Навсегда только прощание, вся жизнь — цепь маленьких прощаний, маленьких «навсегда».

И еще помню, как протянула она мне руку, как улыбнулась и вдруг, блеснув глазами, озорно просияв лицом, спела чистым, сильным, сдерживаемым из-за позднего времени голосом местную частушку:

Меня милый провожал,
Провожал до мостика.
А я милому сказала:
«Ты — мартышка с хвостиком».

Наутро мы бросили свои рюкзаки в попутный грузовик и покатали дальше.

И сколько раз я все-таки вспоминал эту девушку и думал, что вернусь в эту деревню, что как-нибудь, мимоходом, судьба снова забросит меня в те края. Не вернулся, не забросила. Ведь и не осталось ничего в этой деревне, ничего и не было, а так тянуло туда.

Из Новых Лисок мы добрались до Ростова, там пожили два дня и оттуда решили рвануть на юг. До занятий еще оставался месяц.

На остановках поезд стоял подолгу, после Туапсе все выскочили и, торопливо суетясь, забыв даже снять майки, полезли в море. Мне не хотелось так, я даже не выходил из вагона. Наша первая встреча с ним должна быть другой, слишком долго я ее ждал, где-то я вычитал: «У того, кто впервые видит море, открывается половина души».

И поэтому только после приезда, уже в Батуми, я ринулся на свидание с ним.

Я дождался, когда мои друзья уснули в сырой комнатенке, столь непохожей на жилое помещение, в каменно-холодной, узенькой, как ниша в скале, с мокрицами и гигантскими тараканами (комнатенка эта изумила даже нас, готовых к любому неуюту, радостно принимавших неустроенность, воспитанных в духе скитаний). Друзья заснули, а я выскочил из комнатки, побегал узенькими улочками мимо белых крепких одноэтажных домиков, у некоторых стояли похожие на больших мышей «Победы». Все это я замечал мимоходом, новая реальность,

чужая действительность удивляла, отпечатывалась в сознании, фиксировалась как бы механически.

Но главное, что я чувствовал, что вызывало сердцебиение, было приближающееся мощное дыхание чего-то огромного и живого.

Наконец я увидел его.

Штормило. Конечно, штормило, именно таким и полагалось быть морю. У берега оно закипало, накатывалось, подползало к ногам. Поразили простор и запах. Зазывный и одновременно гибельный размах: войди и останешься. И запах—солончатый, поразительно свежий, дразнящий гортань и ноздри. И несовместимая с этим будничность почти пустого берега, несколько голых тел, никто не купался, вяло загорали на уже вечернем солнце.

Потом, уже в Институте, мы писали пейзажи, маринистские этюды. Мастер говорил: «Пробуйте передать образ природы, не копируйте, пытайтесь донести, передать ее сущность. Вспоминайте то, что видели, но рисуйте таким, каким почувствовали». Всякий раз море выходило у меня роковым, античеловеческим.

Если лес виделся чем-то слитным с человеком, то море готово было забрать человеческую жизнь, всегда, в любой момент; в самой его природе и красоте таилась гибельность.

Не знаю, с чего это у меня пошло. Может быть, с мальчишки, который купался в то лето вместе с нами каждый день и утонул?

— Ну и что? — говорил мне мой Мастер. — Да, тонут, да, замерзают — в лесу, в снегу. Так что же, изображать снег враждебным человеку? Нельзя так воспринимать природу. Художник не может ее так видеть. Человек уничтожает человека, а природа не уничтожает, она берет к себе снова.

Пожалуй, я поверил ему, хотя позднее я видел, как природа уничтожает, видел вероломство не только моря, но и земной тверди, попав в ташкентское землетрясение.

После того лета бесконечно бился над морскими этюдами, пытаюсь соединить лазурь и голубизну с трагедией, пытаюсь соединить воедино гармонию и катастрофу.

Маринистика, даже классическая, казалась мне устаревшей. Я видел в ней эффект моря, а не тайный смысл его. Я мог часами стоять перед лесными пейзажами Констебля в Эрмитаже, или перед Левитаном, или перед всегда любимым мною Шишкиным, однако меня оставляли равнодушными гигантские феерии Айвазовского или лунные эффекты в чернильной тьме Куинджи.

И, как всегда кажется в юности, я был убежден, что открою свое море, как открыл его сегодня, на этом пустынном берегу.

В сакле между тем мои друзья брились, обрызгивали друг друга ядовитым цветочным одеколоном...

Первый наш вечер на южной земле уже темнел в окнах, уже трещал цикадами, уже обещал что-то неизъяснимо прекрасное, о чем можно было только смутно догадываться.

Итак, почитившись и нагладившись, мы отправляемся в город, в большую вечернюю жизнь.

Недалеко от нашей сакли жил старик Арчил. Он был сапожник, как и большинство айсоров. Инвалид войны, одноглазый, он говорил нам, что временно работает один, а раньше работал с сыном.

Мы никогда не видели этого сына. Только на фотографиях — они висели на всех стенах в комнате Арчила. С фотографий глядело улыбающееся темноглазое лицо кудрявого отрока.

Отрок с учительницей в толпе таких же темненьких, хорошеньких, с любопытством глядящих в объектив детей, как бы замерших в ожидании птички, что сейчас вылетит из черного нутра аппарата в разрыве магнeвой вспышки.

С удивительной нежностью и гордостью, почти с восторгом, будто

сам впервые видит или забыл и вот снова вспомнил, щуря глаза от счастья этих воспоминаний, Арчил показывал, точно экскурсовод в музее.

— Вот поглядите, это в третьем классе. А это в пятом. Видите какой? А это с папой и мамой в Батуми.

Ангелоподобный отрок, только с черными кудрями, на берегу моря, у белого павильона, меж молодым Арчилом с его пиратской повязкой на лице и мамой в светлом платье, горестно опустившей глаза.

Отчего она так печальна, счастливая мать? Может, догадывается, что это последняя фотография, что вскоре неизвестно откуда нагрянет, нападет темная, неизлечимая болезнь и она тихо уйдет из жизни, оставив навсегда мужа и сына?

В большинстве грузинских, абхазских, айсорских семей трое, четверо, а то и больше ребят, а здесь — единственный Артем. Вот почему, наверное, так молодо блестел и оживлялся уставший от жизни, всегда работающий с двойной нагрузкой карий глаз Арчила.

Он угощал нас чачей, мы, кривясь, обжигаясь, пили ее, незаметно и счастливо хмелея, только в юности так счастливо хмелеют. Мы гасили огонь этого зелья огромными, лопающимися от зрелости, от избытка плоти, мякоти и сока помидорами. Мы пили, закусывали и слушали бесконечные рассказы Арчила о детстве, юности, отрочестве Артема.

О взрослом Артеме, о его настоящем Арчил говорил почему-то редко и неохотно и всегда по-разному. То Артем находился в Рустави, трудясь в огненных цехах металлургического завода, то неожиданно перекочевывал на строительство железной дороги в Сибирь, то учился в вузе в Ереване, то вставал на вахту вместе с т кварчельскими горняками, то вообще исчезал неизвестно в какие края, а может быть, даже и в заоблачные выси, откуда и писем никаких не приходит, как бы растворялся в вечернем сгушенном воздухе, обретая свойство миража.

Идеальный мальчик Артем, печаль и гордость ушедшей в лучший мир матери, радость и надежда еще привязанного к этой земле Арчила, был нашей единственной и главной темой.

Глухо говорил Арчил, пил, не пьянея; узнав, что мы учимся в художественном вузе, он неожиданно обрадовался, стал взад-вперед ходить по комнате, таинственно поблескивая лукавым глазом. И вдруг откуда-то из-за шкафа достал несколько запыленных холстов.

Натюрморты с помидорами и луком. С баклажанами, тыквами, помидорами и огурцами. Во всех натюрмортах неизменно присутствовали помидоры.

Оглушенные чачей, слегка обалдевшие от рассказов о житии святого Артема, мы смотрели на это буйство овощей, затаив смехок.

Борька первый очнулся, его вспыхнувшие, расширившиеся зрачки с неожиданной силой оттолкнулись от наших вялых и лукавящих глаз, будто мы спали, а он хотел нас разбудить. Он крикнул:

— Вы посмотрите сюда, на эту кровь!

И действительно алые помидоры словно бы истекали живой кровью; если всмотреться внимательно, то они походили и не походили на настоящие; со странными, неровными дольками, с обрывком зеленого хвостика, не рыночные, не огородные, не театральные с гипсовой тяжестью муляжа, не из раздела «томатов» — из совершенно иной сферы, области, может быть, из неземных видений, маленькие солнца, неожиданно принявшие облик земных помидоров.

Да и остальное, изображенное этой кистью, тоже, если взглядеться, удивляло фантазией. Длинные огурцы плыли на блюде, как аэростаты. Иногда светящиеся и розоватые, чаще же всего — обжигающие, с колющей изумрудной бородавчатой кожей.

— Да это же... черт те что, — восхищенно бормотал Борька. — Я такого еще нигде не видел... Как это так получается, как это можно, а, дядя Арчил?

— Ай, так, баловство, — скрывая удовлетворение, говорил Арчил, стирая рукавом пиджака пыль со своих картин. — Таскал на базар, туда-

сюда, продавал по трешнику... Люди говорят: «Что за помидор, это не похож на помидор, зачем такой помидор неправильный?» А я им тоже говорю: «Зачем вам такой помидор?» — Он взял со стола настоящий помидор и поднес к нашим глазам. — Зачем такой помидор рисовать? Такой кушать надо, а рисовать такой не надо. Жена покойная ругала: «Зачем малюешь, время тратишь? Лучше к Артему в школу сходи, опять учительница беспокоится — непорядок там». Да, — затих старик Арчил и, помолчав, добавил: — Для себя рисовал, понимаешь, не на рынок рисовал... Что мне их трешка-мрешка? Для себя... Да только что толку. — Он досадливо махнул рукой.

Вскоре после этого он куда-то уехал. Вернулся дней через десять, осунувшийся, постаревший, словно все эти дни, что был в отсутствии, тяжело болел. Был он хмур, озабочен, в гости нас не приглашал, да и на работу почти не ходил — пустая стояла его будочка на углу Беслетского шоссе.

Однажды он позвал Борьку, одного, без нас. И Борька подолгу стал пропадать у него, приходил поздно, трезвый и вяловатый.

Через несколько дней Борька обратился ко мне, именно ко мне, а не к Сашке. Сашка у нас считался самым правильным, и потому, возможно, Борька не стал искушать его.

— Хочешь деньги заработать? Приходи к Арчилу. Артель составим, да и не в деньгах даже дело, полезно руку поупражнять, ремесло отработать.

Днем я зашел в комнату Арчила, Арчил и Борька работали. Работали деловито, молча, быстро.

Я посмотрел на их труды с удивлением: куда девались эти багровые, царственные, сияющие, просвеченные изнутри живой кровью плоды? На холстах были намалеваны пестрые рыночные натюрморты: цветы, груши и яблоки, кувшины с вином — химическое картонное пзобилие.

— Зачем? — спросил я.

Не оборачиваясь Арчил бросил с раздражением:

— Зачем — затем. Не хочешь — иди. — И добавил уже тише, умиротвореннее: — Деньги нужны.

Хозяйка наша была грузинка, повар на турбазе, иногда от казенных щедрот доставались туристские котлеты, туристские каши. Мы были вечно голодны, как вечно зелена растительность субтропиков.

Она была грузинка, что называется, русского разлива, разбитная, курила, говорила по-русски почти без акцента. Она любила нас за то, что мы ровесники ее дочери, а поскольку дочери, Нору, не было сейчас с ней, неизрасходованный запас материнских чувств изливался на нас.

Нору мы ни разу не видели, но знали, кажется, как сестру. Южане как никто любят показывать фотографии своих детей, как-то по-особенному гордятся своими детьми, вот и показывала нам Беата — так же, как и дядя Арчил своего Артема, — дочь Нору: в школе, на каникулах, в пионерском хоре.

Два-три раза мелькнула фотография стриженного человека — отца Нору, и однажды наша хозяйка рассказала, что он немец, политэмигрант, приехал в Россию еще до войны и всю войну провел здесь.

Где он сейчас, мы не спрашивали.

Мир чужих фотографий ничего не открывал. В нем одновременно соединялись загадочность и обыденность. Навсегда ставшие картонками, бессловесно глядели оставшиеся где-то позади, в другой жизни лица, а Нора вспорхнула с картонки и появилась.

Вечером хозяйка устроила пир.

Куски баранины мерно жарились на мангале, источая душный, острый запах, огурцы с помидорами были достойны арчиловских натюрмортов, свет в каменном дворике был уютен, красен, и все возбужденно занимались приготовлениями, ходили, носили, передавали и давали советы.

Сама Нора — центр внимания — установила с нами простецкие отношения, отношения с жильцами, соседями, чуть приправленные долей врожденного, сдержанного кокетства.

Не знаю отчего, но каждый ее жест, каждое ее движение, хозяйской дочки, признанной красавицы с едва уловимым восточным ароматом, отталкивали меня. В самой этой красоте (как ни странно, вполне совпадающей с оценками матери) уже угадывалось множество свойств, трудных для равного общения. Мне казалось, она носит себя: поворот головы на тоненькой обнаженной шее, округлые движения крепких загорелых рук, низкий голос, медленный грудной говор, как бы уклоняющийся от встречи, мимо тебя скользящий быстрый взгляд серых глаз,— и я сознательно вышел из зоны ее притяжения, из игры, хотя никакая игра еще и не думала начинаться.

Впрочем, в ту пору жизни появление любой девушки, а тем более такой хорошенькой, даже по-настоящему красивой, обещало что-то именно не плоское, не плотское, а больше; здесь слово «игру» можно было заменить на «судьбу».

Итак, все озабоченно носились, и в этой суете я нечаянно столкнулся с Норой, колдовавшей над мангалом; движением профессионального духанщика она разгоняла дым и вдруг улыбнулась. Улыбка показалась мне вопрошающей и несколько незащитной. Я прочитал ее примерно так: «Да, я здесь, у себя дома, в честь моего приезда жарится шашлык... А вы кто? Случайные жильцы? Непрошенные ухажеры? Чего мне ждать от вас?» Ибо ясно: ждать надо, потому что если т а к а я она приехала и трое шакалов слоняются по двору с видом якобы безразличным и вместе с тем почти услужливым, а сами сбоку поглядывают на нее и каждый уже мысленно отталкивает другого, то ясно: ж д а т ь, ждать чего-то.

Да и вся жизнь — ожидание. Заканчиваешь работу — ждешь новую...

Но я ведь не участвовал в этой игре, я уже заранее отстранился, пропустив вперед себя своих друзей, в первую очередь Борьку, стоявшего сейчас с напрягшимися скулами, с потемневшими, горящими глазами, зачарованно глядящими на нее.

Чего же ждал? Слова ли какого, жеста? А может, случайно сорванного в миг всемирной доброты и нежности поцелуя или чего-то еще более влекущего, важного — в том возрасте, в том вечере, в том звоне и верещании цикад, похожем на звуки ночного радиоэфира?

Все это были лишь частности ожидания, его составные, вливавшиеся в океан Главного ожидания.

Что за мистика, что за Главное ожидание? Оно и составлялось из каждого солнечного мига юной жизни, из душевного вечера, так и не кончившегося дождем; каждое просыпание, вступление в день — все это и было ожидание: работы, дела. И чего же еще, в конце концов? Счастья? Нет, это слово мне неизвестно, не любимо мною, оно выплывает синей тушью на ватмане из гомона тематического утренника, где взрослые в зале будут, покашливая, объяснять, какое оно и в чем заключается.

Счастье пищало девчоночьими голосами, задавая вопросы радиотете, радиотетя отвечала цитатой, а я ждал и не мог дожидаться, когда кончится диспут о счастье.

Мне объясняли тогда, в чем оно, говорили с полной осведомленностью, а для меня оно состояло в том, что я больной лежал на диване, освобожденный от школьных занятий, с просветленной от таблеток наркотической головой, день был раздвинут, распахнут, открывал многое, я мог читать, рисовать, мне виделся одновременно реальный и бесплотный образ женщины, возможно, с лицом вот этой Норы, с шелковыми ногами учительницы немецкого языка, с душой неведомой, непознанной, но уже летящей в мировых безднах к моей душе.

Постоянная влюбленность в никого. Вечное ожидание.
Даже и сейчас, даже и сегодня. Всегда.

И потому разве в Норе было дело? Но вернемся именно к ней, к тому вечеру.

Итак, шашлык уже готов, дым рассеялся, напрягшийся Борька, меланхолический Сашка, отстранившийся от соревнования я.

Почему-то я знал, что обречен на поражение, я даже сам не понимал почему. Я был не робкого десятка, язык был подвешен недурно, я был более светский, чем Борька, поднаторел на школьных вечеринках с танцульками под звуки джаза. Хотя я был не первостатейный танцор (лучше всего я танцевал сам с собой, и пел я лучше всего в одиночестве, особенно в вагоне поезда), но и с партнерами не ударял лицом в грязь и представлял себе эту первоначальную азбуку кадreja со всеми его ухватками.

Но я чувствовал, что сегодня проиграю Борьке, потому что в нем была решимость, которой не было во мне. Он уже что-то решил для себя, и я смутно ощущал это. А я был обидчив и раним, и если мне казалось, что она не слушает, не воспринимает, что-то еще «не», то я был готов легко отступить. Я плохо воспринимал поражения, даже самые малые. Они оглушали меня, отбивали веру в собственные силы.

Борька же наоборот. Как танк — на вражеский дот, чтобы подавить его своей огневой мощью. Так во всем — отважно, до конца.

Конечно, это образно — танк. Суть танка. А обличье, напротив, скромное, глаза васильковые, подход осторожный, даже робкий, говорок неторопливый, окающий, приятный. Никакой не танк, а божья коровка.

Впрочем, бывало, и он обижался неизвестно из-за чего. Из-за неведомого, непонятного, нечувствительного для других укольчика.

В наших студенческих компаниях он был то самым молчаливым, то умел привлечь к себе внимание всей честной компании. И еще он пел, и не какие-нибудь полублатные песенки, испорченные городские романсы, как мы все, а что-то свежее, нами не слышанное, с наивными и удивительными словами.

Но это было на наших студенческих посиделках в общежитии. А сейчас мы были в новой обстановке, в чужом доме, на чужой земле, с девушкой Норой и ее мамой...

Тяжелое ковровое небо просторно лежало над нами, прорезанное небывало огромными звездами, рвалось и ухало невдалеке море, мощно вибрировала радиолка: «О, голубка моя...» Шашлык дурманно пах молодой бараниной, и даже свет лампы во дворике, раскачивающийся, струистый, давал ощущение какого-то чужеземного патио, нездешней жизни.

Нора рассказывала, как она сдавала экзамены в театральный вуз.

— О, я так старалась, — гортанно говорила она, — я читала отрывок из «Витязя в тигровой шкуре», читала стихи Тихонова, Симонова. Потом один из жюри сказал: «Изобразите получение письма». Я не поняла сначала, какого письма. Он пояснил: «Письма с важным поручением». И я стала изображать.

— И как же ты это делала? — с удивлением спросила мать.

— Ну, не буду же я сейчас, — потупив глаза, скромно сказала Нора.

— Да и вообще это трудно, — поддержал ее Борька. — Вот бы нам так сказали: «Изобрази эту грушу».

— Ну и что, и изобразишь, если скажут, — угрюмо сказал я.

— Нет, ни за что, так это не делается.

— Конечно, «пока божественный глагол...», — вторил ему Сашка.

— Вы погодите, ребята, а дальше что было? — спрашивала мать.

— А потом басня.

— И ты что?

— Ну, я и прочитала современную басню — Михалкова.

— Ну а он?

— Говорит, неточен характер.

— Кого же?

— Бобра, про бобра седого читала. Ну того, который с молодыми девушками.

— Ну и что?

— Не понравилось ему. Говорит, не понимаете вы характер бобра. Неясен вам этот характер. Вы еще слишком молоды, чтоб это постичь. Нужно знать жизнь. А репертуар надо выбирать по себе. Актер — он и бобер, он и лиса, он и Катерина из «Грозы», он и Платон Кречет... А вы школьница, десятиклассница, и вы еще не почувствовали чужую, взрослую жизнь бобра.

— Ну и долдон, — сказал Борька. — У нас тоже такие есть.

Глаза ее блеснули влажно, блеском ночной морской воды, казалось, влажная обида глядит из них, обида на тех, не понявших ее дар, издевавшихся над ней. И мы все дружно поддакнули этой обиде: «Да-да, бывают же такие, и ведь всюду».

Но она продолжала свой рассказ:

— А другой говорит мне: «Теперь прочитайте про любовь». «Классику или современное?» — я спрашиваю. А он: «Современное лучше». Ну, я Щипачева прочитала. Знаете Щипачева? «Любовью дорожить умеете» и прочее. И тогда другой педагог говорит: «А вы любви этой, то есть щипачевской, не понимаете. Не пережили вы ее, а раз не пережито, значит, нет искусства». Итог: в бобра я не перевоплотилась, любовь щипачевскую не пережила. Что же мне делать?

И она вновь посмотрела на нас как бы с недоумением, словно мы знали ответ. Усмешка скривила ее губы. Не понять было, печалится она или издевается. К своему поражению она относилась и с огорчением и с юмором, и было ясно, что у этой девочки есть какая-то своя, скрытая точка зрения на все с ней происходящее. Было трудно определить ту черту, где смех у нее переходит в плач и наоборот.

Поэтому я и решил про себя, что они там, в театральной студии, чего-то недопоняли насчет отсутствия у нее дара перевоплощения.

Шашлык созрел, хозяйка и Борис уже стягивали, сваливали в кастрюлю обвившиеся вокруг железного раскаленного ствола шампура тугие, пахучие куски мяса. И наконец все примолкли и дружно навалились на шашлык. Он был действительно волшебен — не для непритомливых туристов, без дела шатающихся по горам, трудилась хозяйка. Мы запивали его молодым, обманчиво слабым, но бьющим в ноги вином.

Мы не привыкли к такому вину. Мы теряли ощущение реальности, впадали в состояние блаженства. Казалось, это вино можно пить без конца. Я впервые узнал и почувствовал вкус настоящего сухого вина; я любил лишь сладкое вино, потому что, в сущности, еще не расстался с детством, а ведь в детстве мы любим сладкое и только потом постигаем вкус кислого, соленого и горького... Говорят, старики вновь любят сладкое.

Я вспоминаю, как Борька, уже потом, мне сказал: «Ты одаренный художник, но ты не будешь великим». Тогда мне показалось это дурной шуткой, позднее я задумался над его словами и понял, что он имел в виду. Видимо, готовность идти до конца, идти в беспредельность.

«Беспредельность» — это было его любимое слово. Он считал, что я слишком разумен, что оно делает меня половинчатым. Он выше всего ценил порыв к беспредельности. Пусть она даже погубит, но даст прозрение.

Заглохшая было радиола вновь ожила, засветилась красной лампочкой, и тоненькие пленочки загремели на всю округу. На этих гнущихся, сырых пленках были записаны новейшие роки.

Сколько боролись с этим музыкальным наваждением и в печати и на собраниях, сколько карикатур появлялось и фельетонов, как обличались узкие брючки и тарзаньи прически... В школе проходили мы бальные танцы: падекатр, падепатинер, падеграс и еще какие-то паде. Дефилировали по школьному залу под ручку, словно по дворцовому паркету, а

вечерами в домашних компаниях яростно плясали роки. Их взрывной гул перекрыл тихое бальное журчание неспешных и старательных танцев, разучиваемых под руководством специального педагога.

Точно так же позднее боролись с твистом, не пускали его на танцплощадки, в школьные студенческие залы, высмеивали, обличали.

А сейчас тихую местность оглушали блюзы, новомодные рок-н-роллы, струился свет волшебного фонаря и появилась возможность перехватить инициативу. Борька не был мастаком по части современных танцев. Площадка была пуста. И я пригласил Нору.

Начали мы вяловато, приглядываясь друг к другу, приспособливаясь к движениям другого. Мы только одни танцевали на всеобщем обозрении, будто на сцене, я так и чувствовал на своей спине иронические взгляды друзей.

Звонко стучали туфли о каменный пол двора. Я ускорил ритм, она ответила тем же. Осмелев, я яростно бросил ее на себя, как полагалось в роке, и крутнул так, что она завертелась волчком. Получалось у нас все лучше и лучше, но вот запас тоненьких пленочек исчерпался и пошли другие танцы: грузинские и армянские. Они были словно родные для Норы, с такой плавностью она входила в этот медлительный поток, так хорошо подбоченивалась, так свободно и легко, раскинув руки, плыла по этой реке.

Так я не умел. Вертеть, бросать, крутиться и закручивать — пожалуйста, это на московских вечеринках было отработано, а плавно плыть по чужим рекам, закинув голову, как лебедь, — это...

Я пытался что-то симпровизировать, уловить ритм незнакомой мелодии, но движения мои были вульгарны, резки рядом с легкой, природной пластикой этой девчонки. В конце концов я отошел в сторону, и она танцевала одна, все более входя в роль, становясь застенчивой и одновременно неотразимой тоненькой горянкой.

Мать курила и с гордостью смотрела на нее, иной раз, не сдержав восхищения, звонко ударяла в ладоши. И тут же замолкала, мрачнела... Может, об отце вспоминала, может, еще о чем, разве было нам понять немолодую одинокую женщину, мать красивой восемнадцатилетней дочери?

Неожиданно зашел Арчил. Хозяйка усадила его, налила ему вина. Он произнес несколько слов, выпил, потом посидел еще минут десять заметно мрачный, недоверчиво оглядывающийся, будто был среди чужих, враждебных людей и ждал какой-то подлости.

Нора была очень ласкова с ним, называла дядей Арчилом, говорила, что мечтает с ним станцевать лезгинку. Но он только качал головой. Этот словоохотливый человек был сегодня неразговорчив. И ушел он тихо, без шума, мы и не заметили, как он ушел.

— Какой несчастный человек, — сказала хозяйка.

Я, помню, подумал: «Почему? Почему он несчастный? Ведь рисует так хорошо и у него такой прекрасный сын...» Но не стал спрашивать, выяснять. До старика ли было в тот вечер?

Наше соперничество с Борькой было еле заметно, скрыто. Шло оно неровно. Я набрал очки в танцах, а теперь терял их в разговоре. Каждое его слово, шутка, улыбка легко и свободно входили в зону ее внимания и тут же получали ответ. Я же старательно посылал свои сигналы, но их словно бы забивали чужие станции, и зона становилась все более непроходимой для меня.

Потом мы пошли к морю — по темным, перекопанным улочкам, под нарастающий грохот и рев августовских цикад. Этот рев только подчеркивал тишину, он сливался с приближающимся равномерным плеском моря, и человеческие голоса на этом фоне, возбужденные, смеющиеся, казались лишними, чужеродными.

Решили купаться. Смелчак Борька полез первым.

Сверкнула белая спина, замелькали длинные, до колен, трусы. Я еще

не знал, полезу в воду или нет. Смотрел в море вслед Борьке, но боковым зрением видел, как раздевается Нора, вот парашютом упал на гальку ее сарафан. Она тоже, видно, не собиралась купаться и была не в купальнике, так и пошла, в трусиках и лифчике, белевших в чернильной тьме. Тоненькая, провалившаяся вдруг во тьму фигурка. Я бросился в воду, стараясь ее догнать, плыл, все время слыша впереди плеск и ощущая, что она отдаляется, отдаляется быстро. Потом я услышал уже более сильный плеск, двойной, слаженный, и смех, голоса Норы и Борьки вдалеке.

Догнать я их не мог, да и не хотел.

На берегу тихо сидели Сашка и хозяйка. Он был простужен и купаться не решился, она, казалось, дремала. И, одевшись, влажной кожей чувствуя холодок, я пошел босиком по гальке, очень крупной и острой, по земле, не приспособленной для ходьбы.

Что я испытывал тогда? Едва ли боль, я и не знал по-настоящему, что это такое, скорее всего обиду, кислый привкус поражения. Именно гордыня мучила, а не ощущение какой бы то ни было потери. Вот, казалось, приду первый, но, как всегда, что-то происходило, чтобы первым я все-таки не пришел. Но все равно мне было хорошо. Может быть, от обиды еще лучше, еще острее я чувствовал холодок земли, скрип гальки, бурно дышащую, осыпающую брызгами бездну...

Я вижу море и не знаю, как его написать. Проще всего написать его так, как есть, но оно слишком прекрасно, в нем самом скрыта такая сила, что писать его таким, как есть, как я сейчас вижу, нельзя: оно неохватно, и у меня нет сил, умения, это будет лишь слабая фотография, жалкое воспроизведение.

Лунные светозффекты Куинджи, валы Айвазовского передают его красоту, его мощь, его тепло, его гармонию. А как же передать эту громадность, эту безразличную к человеку массу, готовую его мгновенно проглотить или выплюнуть, если он не умеет приспособиться к ней? А как нарисовать женщину, идущую в море?

Вставали дейнековские физкультурницы, крепко сбитые, полные оптимизма купальщицы, воплощение душевного здоровья и силы. Они нравились мне, но мне хотелось бы нарисовать другое. Что? Я чувствовал, но не знал.

Обида, одиночество... Ерунда. Это как раз забудется, пройдет. Другое важнее... То, как во тьме, в кипящее, бурливое пространство, как бы светясь в этой тьме, бесстрашно входит девушка. Надо передать ее незащищенность, ее малость перед этой огромностью, перед стихией и способность укрощать, приспособливаться, подчинять.

Вот что надо передать. Но как это сделать? Теперь я стал думать об этом... Мне показалось, что я вижу способ, как это сделать, и я успокоился. Теперь мне как бы было неважно, я или Борька, Борька или я, поражение перестало существовать, перестало раздражать душу. Другое теперь, во сто крат более важное, поднимало и отстраняло все остальное.

Я пошел домой. Хозяйка уже вернулась. Сашка лежал, ворочался. Только Борьки и Норы не было.

Я пошел погулять. Спать не хотелось. Казалось, земля сотрясается от храпа, от сонного дыхания курортников, заполнивших каждый метр более или менее приспособленной к жизни площади.

В окне у дяди Арчила ярко, слепя глаза, горел огонь.

«Почему он не спит, ведь поздно, может быть, работает?» — подумал я.

Окно было приоткрыто, я тихо окликнул его, ответа не было.

Я еще раз позвал дядю Арчила. Ни движения в ответ, ни шороха, ни звука. Я постучал в дверь. Никто не ответил. Тогда я вновь подошел к окну.

— Дядя Арчил! Дядя Арчил!

Я залез на подоконник и спрыгнул в комнату.

В комнате в странно изогнутой позе, свесив руки с дивана, будто

хотел что-то достать на полу и не дотянулся, лежал дядя Арчил. Потухший глаз открыт, неподвижно уперт в белый потолок.

— Дядя Арчил! Дядя Арчил! — кричал я без голоса, звал его и боялся подойти.

Он не отвечал, нелепо свесившийся, лишившийся голоса, движения, цвета...

Через минуту я ворвался в дом, разбудил хозяйку, ничего не мог объяснить, бормотал, задыхаясь:

— Убили, убили.

— Кого? — спросонья сердито, даже раздраженно спрашивала она.

— Дядю Арчила.

Теперь мы бежали с ней вместе. Она остановилась на пороге и крикнула, всплеснув руками:

— Ты что, не видишь? Не видишь?!

— Что? Что? — спрашивал я с какой-то дикой надеждой: может быть, она видит то, чего я не вижу, может быть, она видит его ж и в ы м.

— Это Артем... Артем ему сердце расколол! Ты ничего не понимаешь! — кричала она.

-- Я не понимаю, не понимаю, — бормотал я.

Я не понимал, при чем здесь Артем. Я ничего не понимал.

Мимо каменных грузинских домиков с погашенными окнами мы бежали к милиции. Около милиции в полукруге света сидели два рослых сержанта; ели сулугуни, запивали молоком. На скамейке стоял приемник, комментатор сообщал результаты последних футбольных матчей на первенство страны. Милиционеры слушали очень внимательно. Когда мы появились, у них сделались недовольные лица: мы отвлекали их; тбилисское «Динамо» победило минских одноклубников со счетом два один, они поцокали языками, довольно покачали головами, подняли кружки с молоком и чокнулись.

— Ну и что там? — спросил один из сержантов. — Вечно вам не спится. Подрался кто? Сдают черт те кому.

— Нет, нет, — перебила хозяйка. — С дядей Арчилом.

— Ну и что с дядей Арчилом? — поморщился милиционер. — Ты дело говори. Зачем здесь плакать? Дома плачь. А нам дело говори.

— Дядя Арчил умер.

У обоих вытянулись лица.

Они не стали спрашивать адрес, здесь все знали друг друга.

Один побежал в помещение, чтобы звонить в больницу, другой уже оседлывал мотоцикл.

Мотоцикл, нагреваясь, гудел и дрожал, вот-вот сам сорвется и полетит.

Мы сели, хозяйка в коляску, я сзади, и помчались. Что-то подобно движению частиц под микроскопом кружилось и распадалось в резком свете фары. Это распадающееся, вспугнутое и было единственным сигналом тревоги, ее следом в уснувшем, неколебимо спокойном мире. Никто не знал, что в комнате лежит человек; все живые были отделены от него и от тайны его смерти.

Вот что поразило тогда меня больше всего: тишина, разорванная цикадами, теплая влажность ночи, всеобщий покой — и то пугающее, что через несколько секунд неотвратимо сменит все это и ворвется в нашу жизнь.

И кто бы мог сказать,
Что жить им так немного...
Немолчный звон цикад.

Это позднее я прочитал японское трехстишие — хокку.

Провожали Арчила много людей — грузин, русских, абхазцев, армян, айсоров. Вроде бы и не сапожник умер, а большой, важный человек. Тихо журчала разноязыкая речь, шла к местному кладбищу густая, разнородная толпа.

Потом говорили речи, по-русски, по-грузински. Музыка будто вскрывала душу.

Нора плакала навзрыд, не сдерживая себя. Она не знала так уж близко Арчила, но она оплакивала человека.

Говорили о том, какой добрый был дядя Арчил, какой хороший художник, как он любил сына.

А я уже знал правду, хозяйка рассказала. Артем, его единственный сын, попал в тюрьму за попытку ограбления, по сути дела это была даже не попытка ограбления, а бессмысленное хулиганство. С компанией таких же восемнадцатилетних подошел к человеку, попросил закурить, тот не дал, тогда они, пьяные, избили его, сняли часы, потом, как выяснилось, выкинули. Зачем им часы? Они искали приключения, вот и нашли. А часы им не нужны, такие даже тогда не носили — старенькая, первого выпуска «Победа».

Ему дали небольшой срок, срок подходил уже к концу, и тут с какими-то старшими, матерыми он попытался бежать и получил гораздо более серьезный срок.

Вот тогда и поехал Арчил в те края, пытался упрямить начальство, но ничего не смог добиться, закон есть закон.

Артема с детства все считали дурным, непутевым. Но что делать, если больше всего на свете он любил своего непутевого Артема?

Он жил бедно, скромно. Вот и подрабатывал иногда продажей картин. Но лучшие его работы так и остались в пыли за шкафом. Кто-то говорил, что надо выставку устроить... Да кто ее здесь будет устраивать, кто в этом селении разбирается в живописи?

Негде и не на что было даже справить поминки. Тогда все собрали в складчину деньги, и вновь мы сошлись за тем же столом во дворе у нашей хозяйки.

Говорили длинно, подробно рассказывали о нем, все хвалили его как отца, а сына почти не упоминали, не упоминали, кто сын, где сын... Просто жили на свете прекрасный отец и неизвестный сын. Вот и все.

Люди постепенно забывали о том, что именно собрало их за этим столом, говорили все громче, пили все больше, ели все смачнее. И, казалось, начали забывать об Арчипе, о том, что он вообще когда-то жил на этой земле. Уже и тамаду не слушали. Тамада, дальний родственник Арчила, вел поминальный пир неумело, корабль застолья качался, зарывался носом в волны.

Рядом со мной сидела Нора, вначале я вообще не думал о ней, забыл, думал только об Арчипе, о его смерти. А теперь горький, то расширяющийся, то сужающийся комок в глотке, запиравший дыхание, начал рассасываться — вино рассосало его.

Нора молчала, ни слова не проронила за весь вечер. Она была еще там, ближе к Арчипу, чем к нам, ее скорбь, не выветрившаяся так быстро, как у меня, как у всех, словно отделяла ее от окружающих живущих людей.

Неожиданно Борька попросил слова у тамады. Тамада не слышал, но Борька снова и снова настойчиво требовал слова, у него сделалось обиженное бледное лицо. Наконец дали.

Выпятив грудь, резко, горловым голосом Борька проговорил:

— Я недавно знаю дядю Арчила. Но я хочу сказать. Об этом здесь мало говорились. Вот тут упомянули, что он художник, но говорили вскользь, говорили больше, какой он сапожник, какой он отец, это все, конечно, хорошо. Но главное-то вы забыли, кто он был. — Борька с вызовом обвел глазами стол. — Вы думаете, малевал помидоры, огурцы... Нет уж, извините. Это он создавал образ... Образ земли. Да, земли, — еще раз с тем же вызовом повторил он. — Она дает, она и забирает. Он был художник. — Борька снова обвел всех глазами и добавил: — Великий художник.

Все притихли. Возможно, переваривали его слова. Известно, что всерьез никто Арчила художником здесь не считал. Картинки его бра-

ли так, по дешевке, скорее из симпатии, и платили соответственно. Разве так платят за картины настоящим художникам?

Но никто не стал спорить и поправлять. На поминках вообще не спорят. Здесь каждый имеет право на преувеличение.

С бородкой, тогда вовсе не в моде, в венце длинных, завивающихся, заметно седеющих к затылку волос взошел на кафедру Юрий Иванович Цесарский. Взошел и обвел нас всех внимательным, до каждого доходящим взглядом сквозь толстые старомодные линзы выработанных для сильной близорукости очков.

Кто был он? Зачем он пришел сюда? Ведь у нас был Мастер, один решавший наши художественные судьбы... Но Мастер наш часто уезжал, иногда вообще отключался от общения с учениками, у него было много своей работы, своя, отдельная от нас и непростая жизнь, и потому для усиления постоянной, ежедневной работы в помощь Мастеру был придан новый педагог, сразу же получивший прозвище Цезарь — то ли по контрасту, то ли по дальнему сходству фамилий.

Известно о Цесарском было немного. Окончил наш вуз, сначала занимался графикой, преимущественно газетными рисунками, потом стал пописывать статьи общетеоретического содержания.

Он был с самого начала ровен, доброжелателен, никого не выделял, придавал очень большое значение теме, замыслу. Его разборы не походили на разборы Мастера. Мастер, весьма сдержанный в оценках, разбирал работу, редко пользуясь технологической терминологией, как бы выводя плод наших усилий и воображения за рамки учебного упражнения, в пространство живой жизни. Мастер говорил так (скажем, был нарисован мужчина): «Вот взгляните, как он идет, он кособокий, топчется, нарушены пропорции не только тела, но и самого движения. Посмотрите внимательно, какие вы изобразили руки. Это гипсовые руки. Манекенные, они не живут, не натружены... Забудьте все, как страшный сон, начинайте снова».

Новый же наш педагог разбирал и объяснял все научно: композиция, замысел, воплощение... И не скажешь, что в своих замечаниях он был неточен, он тоже точно подмечал, но говорил как-то обтекаемо, общо, замечание перерастало у него в объяснение. Он всегда знал, как именно надо и как не надо, и облакал свое знание в подробную многословную рацею.

Если Мастер видел, что рисунок не получается, то он констатировал, как врач, не только наличие болезни, но и способ ее излечения. Цезарь же говорил вовсе не о болезни и не о лечении, а о здоровье вообще. Казалось, его интересовало не исполнение, не соответствие данного приема данному замыслу, а задачи искусства вообще.

У Мастера были свои привязанности и антипатии. Одних великих любил, других не принимал. Он не боялся ни своих привязанностей, ни антипатий.

Этот же любил вроде бы всех, даже формалиста Пикассо, когда тот отзывался на социальные нужды времени и рисовал «Голубку».

Он говорил абсолютно правильные вещи: «Надо видеть лицо простого человека, лицо труженика» — или: «Не бога вовсе писал Феофан, а лицо простого человека его времени».

Это лицо в его объяснениях было расплывчато, неопределенно, лишено неповторимости, и неясно, чем оно отличалось от другого лица, чем отличалось у Рублева от Микеланджело, у Ярошенко от Серова, у Серова от Кузьмина.

Мы перекладывали его оценки на свои работы, как бы вставляли их в чугунные мощные рамки. Работы терялись, задавленные мощью великих и поистине невыполнимых задач.

Никого из нас он не выделял, всем говорил: «У вас несомненные способности, но кому много дано, с того много и спросится». Казалось, курс был единым механизмом, состоявшим из одинаковых и точно пригнанных деталей.

Иногда терминология была предельно проста и газетна, другой раз витиевата и туманна, и тогда речи его стирались в памяти, как мел с черной школьной доски,— одна лишь пыль курилась, развеивалась известковым дымком.

Его мы не боялись, но и не принимали всерьез. С ним не было того ощущения, что возникало с приходом Мастера.

Иногда очень угрюмый Мастер как бы дремал, рассматривая работу, и ты физически чувствовал, что она слаба, не получилась, видел ее его глазами, знал, что сейчас он ткнет в сердцевину и сердцевина окажется гнилой. Вялый, как бы равнодушный взгляд, свет голубоватых, покрасневших от бессонницы глаз вдруг собирался и концентрировался, становился прицельным, беспощадным.

У Цезаря же была прекрасная память, едва глянув на работу, он цитировал по памяти классиков. Самое интересное, что цитаты были к месту, хотя порой он употреблял слова длинные и загадочные; так, например, мы впервые услышали от него сравнительно по тем временам новое слово «концептуальность».

Его карьера развивалась довольно стремительно, и вскоре из заведующего кафедрой он стал деканом.

На ежегодную институтскую выставку я представил две работы. Первая называлась «Конвейер», вторая «Двое».

Скромный заводской конвейер, неторопливо несущий всякую железную мелочь, над которым нависли человеческие руки; руки как бы символизировали характеры, конвейер же был воплощением механической силы.

Эта работа, честно говоря, мне не долго нравилась. А вот вторую я делал с удовольствием и очень в свое время гордился ею.

Дело в том, что на заводе, где мы проходили очередную практику, я заметил девушку из ОТК. Я все время собирался с ней познакомиться, с интересом посматривал на нее, да и она подымала свои синие глаза от проверяемых изделий и одаривала меня улыбкой, словно бы что-то обещавшей.

Однажды я встретил ее на троллейбусной остановке. Она совсем не походила на ту, которую я привык видеть в цехе. Обычно в халате и шапочке, теперь она была в широкой юбке парашютом, которая открывала нарядные легкие ноги, эти ноги в белых чулках буквально летели над весенней мокрой землей. Навстречу ей спешил, словно бы тоже летел, рослый мальч, они взялись за руки нежно и привычно, и ветерок чужого счастья обдал меня, как обдает на миг запах духов от бегущей мимо тебя на свидание женщины.

Этот миг чужого счастья почему-то навсегда запомнился мне, и я попытался его передать.

Я написал их сзади, со спины.

Он и она, держась за руки, приблизив друг к другу головы, уходили. От меня, от вас, от зрителя. В полутьму, где уже померк свет дня и еще не возник свет вечера, но где уже горят первые фонари...

Борька же представил несколько этюдов, портрет старого рабочего и незаконченную картину «Получка».

Декан, видимо, ждал от нас другого. Но поскольку он не был председателем жюри институтской выставки, а только членом его и окончательное решение было не за ним одним, то он стал искать кого-то еще, чтобы посоветоваться. Случайно попалась председательница месткома. Она к нашей мастерской никакого отношения не имела, на выставке занималась организационной работой.

Лицо декана, выражавшее до той поры неопределенность и сомнение, неожиданно посуровело.

— Эту работу не выставлять,— заключил он, показывая на Борькину работу «Старый рабочий».— И вашу,— он посмотрел на меня,— скачущую неизвестно от кого парочку тоже. Вы не поняли задания.

— Я не согласен,— сказал Борька.— Пусть мне объяснят на об-суждении.

— Тебе объяснят на комитете комсомола,— сказал староста уже не дружески и вовсе не доверительным тоном.

На комитете присутствовали декан и несколько педагогов. Заседа-ние было суровым. Неповиновение наше должно было дорого нам стоить, чтобы прозвучать предупреждением для остальных.

Упор делался на Борьку Никитина. Гихий, шелестящий голос де-кана, его осведомленность о всех наших грешках и прегрешениях не обещали ничего хорошего.

Имя нашего Мастера не произносилось, но все время витало в воздухе.

Время от времени звучали такие определения, как «натурализм», «бытовизм», «пренебрежение жизнью».

— Будем ставить вопрос о профнепригодности,— сказал декан,— вплоть до исключения.

Тут я поднялся.

— Как же можно говорить о непригодности самого способного на курсе человека? Мастер говорил, что у него техника врожденная, что у него удивительное чутье...

Декан оборвал меня.

Мой взгляд потянулся к толстым линзам его очков, ударился о них, как бабочка о стекло, заметался в жидковатом, как бы на глазах сгуща-ющемся стальном свете.

Сашка, собиравшийся с силами, готовившийся заступиться, глубже двинулся в спинку дивана, стоявшего у стенки.

Вечером мы втроем сидели в ресторане «Иртыш», был тогда такой в центре Москвы, почти напротив «Метрополя».

Мы сосредоточенно жевали шашлыки, о случившемся говорили ма-ло, показно улыбались, смеялись, приглашали девиц с чужих столиков.

В ресторане было что-то трактирное. Низкие потолки, духота, про-нырливый официант в красной рубашке. Такими мне представлялись трактиры, куда заезжали, возможно, Саврасов, Поленов, куда заходил выпить стакан крепчайшего чаю Аполлинарий Васнецов.

Под низкими сводами гудит народ, в основном командировочный. Играет джаз-оркестр. Черный плечистый человек поет нежным, чуть хрипловатым голосом: «А я счастье свое отыскал на широком примор-ском бульваре...»

Сашка не пьет ни глотка, и сейчас в ответе нашего несчастья он, тихий, корректный, кажется мне воплощением всемирного приспособ-ленчества.

А в чем он был виноват? В том, что был аккуратнее в своих работах, чем мы?

Я так глядел мимо него, так обращался к Борьке через его голову, что он почувствовал это.

— Ну я пойду, ребята.

— Давай.

И мы остались вдвоем, как было нам положено. Впереди у каждого из нас еще будут и непонимание, и обиды, и острые ситуации, но тот вечер останется навсегда, как наше боевое крещение.

И приближая лицо к распаренному лицу друга, я бормочу с мукой и наслаждением:

— Как же это так, Боря?.. Мы же действительно... Это ведь Мастер нас учил: способов тысяча, ищите тысяча первый, свой... А где он, наш Мастер, Борька? Куда он делся? Где он отсиживается, наш учитель?

— А ты как хочешь? Привыкай сам отвечать.

Борька не глядел на меня. Глаза его, совершенно трезвые на покрас-невшем и почему-то опухшем лице, разглядывали, прощупывали, пыта-лись охватить зал.

«Нет, как же это,— говорил я уже себе,— как получилось, что из всей груды ученической чепухи выбрали лучшее и по нему именно нанесли удар?»

Так хотелось думать, так думать было лестно для себя, но холодный, трезвый голосок вступал, шептал внятно, приглушал джазовый грохот: что же здесь нового? Более или менее приличные работы, но, в общем, вполне заурядные, далекие не только от смелости, но и от подлинного профессионализма. Борькины чуть лучше, мои, наверное, послабее. И если нас выкинут из Института, то через три дня нас забудут со всем нашим доморощенным новаторством.

— Чего ты там шепчешь, будто молишься? — говорит Борька. — Чего переживаешь? Ну выгонят в крайнем случае, ну и что? Работать пойдем. Надоели все эти лекции, зачеты, весь этот детский сад. Домой хочу, на свободу. Правильно мать говорила: «Чем тебе плохо дома, покупай краски, малой, сколько хочешь, подрабатывай и получай зарплату за два притопа. три прихлопа».

— За что?

— За физкультуру под музыкой.

— «Физкультура под музыкой»... Это ничего. Это вроде судака под майонезом...

Ресторан закрывался в два часа. Мы ушли последними.

Долго шатались по темной ночной Москве. Первый свет, даже не свет, а проблески света приоткрыли Главпочтамт, медленно идущую поливальную машину с выставленными вперед водяными усами. Мы шли по умытой, безлюдной Кировской, мимо золоченого чайного магазина, стилизованного под пагоду, потом прошли церковь в Потаповском переулке. Мы еще долго бродили по этим переулочкам, каждый из которых я знал наизусть, которые, кружась, впадая друг в друга, выводили на еще тихое, молочно белевшее Садовое кольцо.

В ту ночь одна красота владела нами и одна судьба, казалось, связала навсегда. Да, навсегда. Конечной остановки нет. Дорога только началась, сколько еще переулков, улиц, площадей мелькнут и растают в утреннем тумане.

Общие поражения сближают, может быть, больше, чем общие радости. И в ту ночь мы были близки беспредельно.

Было неясно, как с нами поступят. Как сказал наш декан: «Весь комплекс этих вопросов должен быть со всей полнотой поставлен и рассмотрен на факультетском собрании».

Что нас ждало на этом собрании?

Тот подъем, что владел мной в первые дни, чувство общности судьбы и ее разделенности с другом, так поднимавшее и как бы бодрившее, внутреннее сопротивление — все это ослабевало, перетиралось, оставались неопределенность положения и вопрос, который я не мог произнести вслух, но которым изматывал себя: «А что будет дальше?»

Вечером мне казалось: ерунда, пронесет, а утром режущим холодком по спине пролетало: ты влип, и, кажется, довольно крепко. Ведь все не так уж безобидно. Наши смелые речи, братание на ночных улицах — это час, миг, а исключение из Института — это навсегда.

Я завидовал Борьке. Не то чтобы он был спокоен. Нет, конечно. Но он мог работать. Случившееся было для него помехой лишь внешней, а ее в конце концов преодолеешь. Для меня же — внутренней, мешающей думать о работе вообще.

Собрание должно было начаться в час, а минут за двадцать до начала мы встретили в коридоре нашего Мастера.

О, как мы обрадовались! Ведь его уже не было видно в Институте два или три месяца. Одни говорили, что он заканчивает большую работу, другие — что болеет, третьи — что пьет.

Кто узнает истинную правду творческого процесса?

Но сейчас все это было неважно для нас, важно лишь то, что он здесь, с нами, и мы бросились к нему, точно увидели не руководителя семинара, а отца родного, спасителя.

В расстегнутом пальто, со сбитой набок шапкой из дорогого енотового меха по моде тех лет, он шел, перебарывая одышку, и особенно издали определенно напоминал классика XIX века.

Наши ожившие лица, расцветшие взгляды он встретил без отклика. Казалось, он с трудом узнавал нас, сопоставляя с теми, кого полузабыл, старался припомнить, да не мог... Впрочем, кто его знает, нашего Мастера? Взгляд его остановил нас, как бы приказал держать дистанцию и поубавить эмоции. Он бегло кивнул и пошел дальше.

Совсем не старое его лицо было бледным, истощенным, как после болезни, как бы старалось выразить равнодушие ко всему, но выдавало неведомую нам усталость, тоску.

Все же он остановился и издали, чуть усмехаясь, сказал, почти пробормотал: «Ничего... Не такое бывало».

И пошел дальше. Мы переглянулись. Что это означало?

Равнодушную констатацию?.. Нет, это все-таки не походило на нашего усталого Мастера.

Скорее всего он ободрял нас. Не очень, не очень энергично, да ведь это и не было в его характере.

Важно было, что сегодня он пришел, а значит, он с нами. Мы мало общались с ним, по-настоящему его работа, его болезни были нам неведомы.

В Институте у него было особое положение. Он отрывался от преподавательской работы на долгие сроки. Другому бы этого не простили, но здесь, в течение многих лет, прежнее руководство сохраняло его, поскольку его творческие силы, по общему мнению, нужны были не только Институту, но и всей культуре, народу.

Его сказочные звери, птицы, вспорхнувшие с плотных детгизовских страниц, не были похожи на реальных синиц или воробьев. Также не походили они на традиционно сказочных сорок-воровок или синих птичек. Его диковинные птицы были скорее птицами воображения, они смотрели на вас добрыми или злыми, но обязательно осмысленными, обязательно человеческими глазами. Он находил удивительный цвет, золотой, но не рыночный, не аляповатый, а приглушенный, почти карий. Он замечательно рисовал небо, кусочек неба, отсвет неба, вспышку голубой лазури. Серый волк, в одном случае плохой, зловредный, похожий на немецкого солдата, крепко помятого нашими партизанами, в другом случае напоминал стареющего, строгого на первый взгляд, но доброго доктора. Лиса Патрикеевна выглядела у него стройной красавицей с узким гибким телом, с обаятельно лукавыми глазами... Говорили, что есть у него и взрослые сюжеты, что последние годы он много занимается скульптурой, но никто из нас этих его работ не видел. Он редко и неохотно говорил о своем творчестве, да и самого этого слова «творчество» избегал.

И еще одно наблюдение: он не любил ставить оценки в зачетки, всегда морщился, прежде чем вывести «хорошо» или «отлично». Видно, для него «хорошо» и «отлично» было что-то другое, недостижимо высокое, никак не соответствующее той шкале, по которой он вынужден оценивать наши творения. И вообще он не любил подписывать листы, не любил всего того, что имело отношение к бюрократическому процессу. Этот процесс его раздражал.

Когда ему нравилось что-то в наших работах, он вначале хмурился, как бы недоумевая, не веря, а потом становился приветлив, почти нежен. И вообще, когда он постоянно бывал в Институте, между нами устанавливалась связь, даже своего рода родственность. Когда же исчезал, то словно забывал о нашем существовании, и в первые дни после появления эта связь с трудом налаживалась...

Общий разговор, шедший на собрании, нас вначале не касался; ус-

певаемость, сроки курсовых, задания на практику и т. д. Эта обыденность успокаивала и усыпляла, я уже начал думать, что все опасения преувеличены, поговорили да перестали, а теперь, может, и вовсе не вспомнят.

Река вяло текла, несла щепки и щепочки повседневной институтской жизни. И вдруг вялое течение этой реки напряглось, обозначились буруны, полетели первые клочья пены.

«Тревожные сигналы... Не упущения, но ошибки, изъяны в воспитательной работе... Недостаточная требовательность... Неверное понимание задач художника...» Эти и подобные им определения одно за другим вылетали из уст декана.

Старейший наш преподаватель по рисунку, работавший в Институте чуть ли не с его основания, пробормотал в паузе, но так, что все слышали:

— Уж что-то больно мрачная картина.

— Нет, я нисколько не сгущаю краски.— Декан посмотрел сквозь толстые стекла своими обманно-близорукими глазами, на самом деле все примечающими.— Я бы мог вам рассказать, как вели себя некоторые наши студенты на практике, на заводе. Мы видели их работы. И если мы сейчас не сделаем должных выводов, то...

Стало тихо. Фраза как бы повисла на середине. Никто ее не подержал, но никто и не возразил.

— Может быть, руководитель мастерской, Юрий Николаевич, выскажется? — не поворачиваясь к нашему Мастеру, сказал декан.

Мастер не вставая сказал своим ворчливым тенорком:

— А что тут высказываться? Собственно говоря, я не вижу предмета для обсуждения.

Декан широко развел руками:

— Вот как мы относимся к нашей творческой смене.

— Относимся действительно не лучшим образом. Только я о другом думаю. Мало мастерских. Плохо с натурщиками. Формально проходим, пробегаем даже, историю искусств, историю живописи. Художникам, будущим профессионалам эта история толкуется ученически, упрощенно, дилетантски. Не знаем собственного прошлого, своих памятников, великих взлетов нашей культуры, зодчества, живописи... Вы много говорите о современности, о связи с жизнью,—Мастер быстро, резко глянул на декана,— но мы ее с вами понимаем по-разному. Я за точность видения, за свой взгляд. Вы — за приблизительность. А приблизительность в искусстве не проходит, она ему противопоказана, здесь если не выстрадано — значит, пусто. Очень мне жаль, что меньше стало в Институте классных преподавателей, знающих мастерство, умеющих конкретно показать студенту, как надо делать...

— А те, которые есть,— бесстрастным, нарочито стертым голосом сказал декан,— появляются редко, не знают, чем заняты их студенты.

— И с этим я согласен. Я принимаю на свой счет. Но художнику и самому хочется поработать, пока работается.

— Значит, надо, как бы это поточнее сказать... выбирать...

— А выбора нет. Я бы, может, ушел из Института, да выходит — нельзя уходить. Нельзя отдавать способных людей в руки, от нашего дела далекие.

Кашлянув, вступился до сих пор молчавший ректор:

— Мы сейчас, уважаемый Юрий Николаевич, не педагогов обсуждаем. Мы студентов обсуждаем. Так что ближе к теме.

Так же, не подымая глаз, острым своим, как бы раздраженным голосом, Мастер сказал:

— Педагогов тоже иногда обсудить не худо... А что касается студентов, то Никитин у меня самый сильный, да и не только на курсе... И работа, представленная им на выставку, очень занятна.

— Вот именно, занятна,— сказал декан.

— Ну, это уж моя терминология. Я бы мог сказать «талантлива»,

«самобытна», но я опасаясь таких слов. Во всяком случае, в Никитине я вижу художника. Что же касается второго, Афанасьева, то он тоже одаренный человек, у него есть фантазия, я бы сказал, прирожденная техника... Правда, он несколько книжный, но и это не беда, пройдет.— Казалось, его сейчас поведет в спор, в какую-то неслыханную дерзость, такое у него было лицо, но сказал он спокойным, как бы типично преподавательским тоном: — Не знаю, как по другим дисциплинам, но по моей я спокойно могу поставить им хорошую оценку.

В зале прошел шумок. Побледневший декан встал.

— Может быть, эти студенты действительно не бездарные люди. И я вовсе не желаю им зла. Но они должны получить урок, который будет понят и остальными, потому и отношусь к этому со всей серьезностью и прошу всех отнестись так же. Считаю необходимым поставить вопрос об отчислении.

— Этот вопрос мы будем решать на ученом совете,— нарочито неторопливо, как бы снимая накал, напряжение, сказал ректор.

Неопределенность затянулась и стала привычной. Никто нас не выгонял с лекций, мы готовились по-прежнему к зачетам, но проходя каждое утро мимо доски приказов, останавливались.

Мы ждали приказа, а приказа все не было. Мы оглядывали эту доску бегло, но цепко, мы не показывали даже друг другу, что ждем... Нет, не ждем, все будет в порядке.

Но я ждал. Не знаю, как Борька, но я ждал. Меня еще не исключили окончательно, но я сам словно бы исключил себя. Мне это было противно, я восставал против этого, но еще не случившееся виделось как случившееся.

Мы провожали друг друга из Института, то он меня до дома, то я его до общежития. Говорили о самых разных вещах, только не об этом. Вроде все уже давно рассосалось... Но висело, висело. Мы и сами это хорошо понимали. И потому Борька, чуть кривляясь, говорил мне, когда прощались: «Старичок, не бойся».

Выражение дворовых огольцов послевоенной поры. Нормальное слово «не бойся» как бы выворачивалось, приобретало другой смысл: лихость, напористость, бесстрашие.

Такой корявенький, успокаивающий девиз.

Секретарша, жалевшая нас, рассказала нам потом об ученом совете.

Ректор говорил весело, рассудительно, как всегда.

— Ну что ж, и так бывает. У двух уважаемых педагогов две противоположные точки зрения. Думаю, что каждый по-своему прав... Студенты, о которых идет речь, люди одаренные, безусловно перспективные. Но их, что называется, несколько занесло. Но на то мы и педагоги, чтобы их поправить, подсказать. У них есть сильный творческий руководитель, известный мастер... Юрий Николаевич прав, заботясь о творческой индивидуальности, о самобытности, о том, чтобы наши студенты были не копиистами, а художниками, мастерами. Только тогда они сумеют передать дух времени, его движение. И поэтому, я думаю, надо вести разговор шире, не сводя к работам двух отдельных студентов, надо говорить об учебно-методическом процессе, о наших практиках, о порядке в наших общежитиях, о каждодневной воспитательной работе....

И обсуждение пошло по совершенно другому руслу.

Мы мало знали нашего ректора. Нам всегда он казался очень осторожным и далеким от художественных интересов человеком. Только через много лет мы оценили его византийскую мудрость. Впрочем, если бы он не был мудр, он бы не был ректором.

На последнем занятии Мастер подводил итоги за семестр.

Начал он с самых слабых и скучных работ. Потом отвлекся, **сам**

вид этих работ рождал скуку, и, чтобы забыться, Мастер стал рассказывать о японских гравюрах, об их технике. Он сравнивал их с японскими трехстишиями и даже прочитал одно наизусть:

Долгие дни весны
Идут чередой... Я снова
В давно минувшем живу.

Оно поразило нас с Борькой своей простотой.

И еще нас удивило, что Мастер знает стихи. Почему-то казалось, что, кроме живописи, все ему чуждо.

На том и кончилось то странное занятие. Мастер попросил зачетки. Мы с Борькой были где-то в середине. Я подошел и, не глядя на него, сунул зачетку и отвел глаза. Я уже говорил, что меня всегда не покидало ощущение, что в последний момент что-нибудь сорвется, что судьба отвернется от меня.

На этот раз рукой Мастера судьба старательно выводила журавлик пятерки.

Потом подошел Борис. Он выложил свою зачетку и усмехнулся.

Мастер тоже усмехнулся. Мне даже показалось, он подмигнул Борьке. Оценка была та же.

Странная слабость и теплота, близкая к дурноте, охватили меня... Хотелось что-то говорить, благодарное, может быть, даже жалкое. Хотелось сказать, что раз есть Мастер, значит, есть и справедливость. Но мне показалось, что это слишком громко.

Благодарного — не получалось. Жалкого — не хотелось. К тому же сердечные излияния не были приняты в нашей мастерской. У нас был деловой стиль, и Мастер редко нарушал его.

Значит, и нам не пристало.

Наш Мастер вовсе не переменялся, так же исчезал и появлялся, но авторитет его все рос, даже вне зависимости от его собственных новых работ. Да, кажется, они почти и не появлялись. И каждое новое поколение, приходившее в Институт, подхватывало старые легенды: о его твердости, принципиальности, о том, как он грудью прикрыл своих студентов, защитил от несправедливых обвинений, от зарвавшегося администратора.

Быль всегда смешивается с легендами, а легенды становятся былью.

Ленинград. Петербург. Питер.

Мы срывались на три дня, жили у одного нашего приятеля по Институту на Литейном проспекте, в ленинградской коммуналке с высокими, в вензелях, голубоватыми, как небо, потолками, с огромными окнами, в которых долго и серо занималось петербургское утро.

Знакомый до слез город. В ту пору я любил его больше всех городов, больше родной своей Москвы.

Мы пропадали днями в Эрмитаже и Русском музее.

Богом моим был тогда Нестеров. Полузабытый, лаконично отмеченный петитом в наших школьных программах, еще не переживший новую, позднюю свою славу, даже моду.

Три его портрета буквально околдовали меня: «Портрет дочери», «Портрет Сергия Радонежского» и особенно «Великий постриг».

В «Великом постриге» крылась тайна, никогда мною не разгаданная; с годами лишь я подошел, пододвинулся к ней. Тайна преображения — не судьбы, а души. Душа, измученная обидой или, может быть, ошибкой, почти раздавленная, но одновременно способная на великое чувство. Но кому нужно это чувство? Теперь она ищет успокоения.

Я подолгу всматривался в это нежное, очень юное лицо, уже познавшее боль. Оно смирилось, но еще что-то давнее, полное надежды живет в нем. Только что? В этом и была тайна. Казалось, она понима-

ет, что постриг не принесет избавления, скорее он попытка избавления, попытка выхода. Лицо выражало и страх перед самой жизнью, перед ее неразберихой, и готовность к смирению, служению, скрытую тревогу, растерянность, как у ребенка, которого отдадут в казенный дом.

Вспоминалась героиня «Чистого понедельника» Бунина. Рассказ этот поразил меня пряной горечью, звуком, цветом, живописью. В нем была златоглавая, трактирная, театральная, немного романтическая старая Москва, идущая к невиданным переменам, к неслыханным мятежам. О такой Москве мы знали, догадывались. Готовые к сносу, не представляющие исторической ценности, уже пустые, разоренные домики Замоскворечья пытались рассказать что-то, да мы не всегда умели услышать. В одном из подобных домиков, когда-то нарядных, жила героиня рассказа такой с виду счастливой и яркой жизнью.

Оказывается, страх перед жизнью иногда сильнее, чем страх перед смертью.

Борька — одновременно суеверный и верящий в могущество человеческой воли — в повседневном своем поведении не только отрицал всякую мистику, но и потешался над ней. И любил он другие полотна, хотя и к этим был явно равнодушен. Дольше всего он простаивал у сравнительно малоизвестного портрета Зеленова «Мальчик у стола».

Портрет как портрет. Такой можно было встретить и у Сороки и у кого-нибудь еще.

Деревенский мальчик сидит за столом с ложкой, ждет похлебки. Вот и все. Блеклый тон, тьма избы, тьма жизни.

Только в глазах ясность, скрытое, но какое-то радостное удивление, удивительная чистота, улыбка. Вот в ней и было все дело, вся тайна портрета.

Чему он улыбается, мальчик, в котором, наверное, Борька видел себя? Тому ли, что мамка пришла с поля, а он наголодался и ждет, что его сейчас накормят, и само ожидание — маленький праздник?

Этому ли на самом деле? А возможно, никакой мамки нет и он сирота, уж больно он одинок. Одиночество в его позе, еще в чем-то неуловимом.

— Выходит, опять мистика,— говорю я Борьке, продолжая старый спор.

— Никакой мистики. Просто он благодарен за то, что он есть, за то, что так получилось, что он живой, существует на этой земле. Он живет плохо, но радуется тому, что живет, в отличие от твоей возлюбленной.

— Какой возлюбленной?

— Нестеровской... монашенки.

В институтской мастерской мы сидели втроем и отработывали обязательный курсовой натюрморт. Противоестественно яркие муляжные яблоки, груши лежали перед нами. Там же стоял букетик цветов.

Сашка делал это все технично, быстро: цветы так цветы, и они были как живые. Мы втайне смотрели на его работу свысока, нам казалось это похожим на фотографию. Позднее мы поняли, что он рисовальщик-профессионал, что он умеет изобразить натуру, и это немало, когда вокруг бродят стада дилетантов, не способных натуру воспроизвести и выдающих за образ лишенный гармонии и мысли случайный набор световых пятен.

Было жарко. Борька старательно макал кисть, малевал что-то кирпично-красное на фоне зеленых травинок. Я не понимал, чего он хочет, куда ведет. Лень было понимать.

Я трудился, проклиная все на свете, ненавидя это обязательное упражнение.

В голом окне был виден сквер, пропылившийся московский скверик с вытопанной травой. На этих пролысинах копошились дети. Я отвернулся от окна, походил по мастерской, с мукой взирая на возрастаю-

щее усердие друзей, и увидел, словно впервые, пол, выщербленный, в подтеках краски, ворох окурков в консервной банке, газовую плитку с почерневшим, много раз сгоравшим, но так и не сгоревшим кофейником. На каждом из нас спортивные, заляпанные краской штаны, на подоконнике угластый репродуктор, на стене «Весна» Филиппо Липпи. Весь этот ставший тягостным набор освещался солнцем, свободно, жгуче входящим в мутно-стеклянный, как бы парниковый потолок.

И тогда не прощаясь, освобождаясь от всех обязательств перед собой, перед Институтом, перед искусством вообще, я бежал из мастерской почти счастливый от возможности такого простого, хотя и малодушного выхода.

«Завтра все придет», — успокаивал я себя.

Сколько раз потом в жизни я учился преодолевать эту беспомощность, тупость, леность, преступную вялость, неспособность, а скорее даже нежелание пробудить в себе живое чувство.

Натюрморт с полусохшими цветами...

А сейчас — какое счастье! — земля, асфальт, трава. Взаправдашний, терпкий, реальный мир, а не тот мертвенный, полудохлый, что скопирован тобой.

Воображение, своей силой обгоняющее жизнь. Но как сделать, чтобы оно подняло тебя, если ты ползаешь по полу и видишь лишь то, что попадает на глаза? И какое рабство нагнетать его в себе!

Правда, бывали и другие, счастливые, лихорадочные минуты, часы, подобие радостной болезни. Возникали они не сразу, а через вялую муку начала, через темную первую пробу, и вдруг тепло догадки, может быть, счастливой, и тут же страх сбиться, пойти не туда, а дальше уже как бы от тебя не зависящее движение руки, словно мозг переселился в нее и диктует, потеря ощущения времени, даже не радость от работы, нет, не радость, а естественность, единственность этого состояния, такого же необходимого, как сон или, наоборот, пробуждение.

Так бывало, и не раз. Легче всего мне было тогда, когда работал постоянно, каждодневно, подавляя собственное безволие. В эти дни, казалось, его и нет, не может быть. Жадность к работе, тяга, азарт, радостное ожидание завтрашнего дня.

Но бывало и по-другому.

Безволие имело разные формы. Иногда форму откровенной лени, особенно в юности. Знаете это: завтра, завтра, все начнется завтра. Потом иное, уже более серьезное: боязнь начала новой работы, бесконечное топтание на подступах...

Это лишало покоя, уверенности в себе. Ты завидовал даже тем, кого считал слабее, бездарнее. Они что-то делали, трудились, у них было рабочее состояние. А ты забыл, что такое рабочее состояние. Оно так долго не возникало, что ты забыл, на что оно похоже, что это вообще такое. И ты жил воспоминанием о той, прежней работе, как живут воспоминанием о прежней, уже ушедшей жизни.

А сейчас я видел лишь шланг, дохлой змейкой свернувшийся в саду.

Попробуем представить, что это сад, а не обычный московский скверик, сад из еще только начавшейся твоей жизни, где был дачный кооперативный поселок «Красный строитель». Дед и бабка, поливающие сад. Сейчас нет ни деда, ни бабки, ни сада.

Но прочь воспоминания, нет ни прошлого, ни будущего. Ты один в своем настоящем, еще очень молод, свободен, так возьми маленькие радости жизни в надежде на большие. Хотя бы детский вкус газировки, которую наливает женщина в халате. Над ее белой спиной, над ее чудо-аппаратом навес от солнца. Густой рубиновый сироп за сорок копеек, сейчас такой не найти. Автоматы хоть и отмеривают точнее, но не подарят вам забытого детского блаженства.

Что же дальше? Домой? Нет. Не хочется из одной темницы переходить в другую.

Да и что делать в пустом доме? Родители в экспедиции, ты сам себе хозяин.

Итак, смесь горечи и сладости, глоток газировки, огромность города, всегдашнее одиночество, в котором все-таки ты связан со всеми и чего-то ждешь от них так же, как они чего-то ждут от тебя. Так только в молодости бывает.

Ожидание чего? Неизвестно. Это даже трудно объяснить. Это состояние точнее назвать ожиданием ожидания.

Может быть, это и чушь для сегодняшнего молодого делового человека, уже запланировавшего заранее все свои деловые и неделовые встречи. Но мы-то другое поколение. Понятие о цене минуты, о точном маршруте дня, месяца, года, запрогнозированность будущего у нас другие. Мы и часы-то заимели поздно, собственные, личные часы, собственную «Победу». Какая взрослость и какая роскошь!

Итак, ожидание ожидания — это вообще. Это состояние.

А конкретнее если, то ожидание встречи. С кем? Неизвестно. Образ неясен, двойтся, тройтся, четверится. Важно, что эта встреча изменит все, навсегда.

В тот день ничего, естественно, не произошло.

Троллейбус. Какая-то смазливая девушка, хочешь подсесть, познакомиться и одновременно чувствуешь натянутость и пошлость такого знакомства, особенно по сравнению с тем великим ожиданием. Так и не познакомился, дурак.

Вышел на своей остановке. Пыль и гарь летней Москвы. Улетающие парашюты ярких платьев по моде тех лет. Куда они летят? Где снизятся, где упадут с шуршанием?

Все чужое и вместе с тем, если посмотреть со стороны, все свое, очень знакомое, свой, обжитый город. И странная робость перед жизнью и такая же уверенность, что она состоится именно так, как ты задумал.

Кисть уже обмакнута в краску, рука уже поднесла ее к холсту; но не знает, не ведает, может быть, и умеет, да не решилась. А может, просто сознание, что все это еще черновик, необязательный набросок, все можно переписать, забелить, начать сначала.

Беловик еще далеко... Оказывается, он начинается раньше, чем мы думаем.

Итак, ничего не произошло, ничего не происходит.

А произошло на следующий день.

Обыкновенный телефонный звонок, только, может быть, чуть более долгий и настойчивый. Его настойчивость заставила меня, уже запиравшего дверь, вернуться назад (вопреки привычке никогда не возвращаться), пробежать через всю квартиру и буквально поймать, подхватить уже последний, наверное, звук длинной, энергичной трели.

— Это ты, Юра?

— Да.

— Ты не узнаешь?

— Нет. Если можно, поскорее.

Но словно не чувствуя того, что я тороплюсь, спешу, незнакомый голос продолжал эту незамысловатую, почти детскую игру:

— А ну-ка припомни.

Голос был певучий и словно непривычный к телефонным разговорам, неуловимо провинциальный.

— Угадайка-угадайка, интересная игра,— передразнил я невидимую собеседницу.— Извините, но я опаздываю в институт.

— Это Нора, слышишь? Ты что, забыл?

Грудной голос, еле ощутимый грузинский акцент, неожиданная детскость тембра. Нора.

Обрадовался ли я? Скорее удивился. Это было недавно, но уже как бы из другого мира.

Я абсолютно ясно увидел ее загорелое лицо, освещенное солнцем, счастливую улыбку. Оно было отделено от мрака, ужаса той ночи, когда я увидел обескровленные губы Арчила, белый лоб, услышал крик: «Дядя!» — ощутил что-то еще более страшное, чем сама смерть, что-то более противоестественное, чем она.

Сила чужого отчаяния. Только в молодости легко удается отогнать та кое, жить как ни в чем не бывало.

И голос ее я не забыл, просто другие голоса накладывались и забывали, словно в междугородном телефоне, и совсем заглушили, хотя только год прошел.

Да, я помнил ее голос, помнил скрип гальки, тишину южного вечера с теплым ветром и влюбленность, лишнюю ответа, нелепое соперничество с другом, что-то унижительно мальчишеское и вместе с тем неотвязное.

По настроению, что называется по химическому составу чувств, все это походило на первую любовь, хотя на самом деле моя первая любовь была далеко и после нее уже были эпизоды, встречи и прочее. А сама эта первая любовь не походила на то, что набрасывают художники легкой пастелью.

Учительница немецкого языка в средних классах, Алла Петровна. Когда она входила в класс с журналом, я не мог оторвать взгляда от ее голубых глаз, от ленивых движений ее рук, наманикюренных пальцев, сжимающих мелок, стройных ног, слепящих капроновым блеском.

— Ruich! Тишина! — звучал ее сильный голос, в котором я чувствовал не только учительскую власть.

Это была та любовь, о которой никому не рассказываешь, которая так и остается в плохо освещенном туннеле подсознания.

Впрочем, какая там учительница!.. Нора в Москве, вот неожиданность.

Интересно, что мы с Борькой не говорили о ней ни разу.

Но об этом лучше сейчас не думать... Сейчас мы в Борькином доме, подаем пельмени, приготовленные его женой, из столовой на кухню дверь открыта, и я вижу, как ее крепкие руки ловко подбирают мясо, заворачивают в теплую тонкую наволочку теста; нескончаемый конвейер несет кораблики пельменей, целый флот, в наши рты, в молоти наших желудков.

Нельзя сказать, что она некрасива: у нее ясные холодновато-серые глаза, прекрасные волосы, чистый овал лица, у нее тонкая талия, кустодиевская грудь, но в походке, в руках, в плечах — что-то неженственное, даже мужское.

Я видел, как она гребет. Мы плыли на рыбалку, очень рано, почти на рассвете. Борька сидел на корме; воспаленные глаза, серое, пористое, как губка, лицо выдавали то, что он пытался скрыть улыбкой, редкими всплесками энтузиазма, когда Сашка рассказывал о поездке на Алтай.

— Здорово! Завидую, братцы! — говорил он и вроде бы ждал новых рассказов, а мы чувствовали: он замкнут, по-настоящему не слушает нас, измотан бессонницей. Общение с ним подменялось видимостью общения.

Сколько же таких дней выдержала она?

И вот сейчас рыбалка, и мы, как когда-то, гребем к плесу, не столько в ожидании добычи, сколько в предвкушении прекрасного вечера, костра, разговоров, свежего запаха жареной рыбы.

Ничего этого, впрочем, не будет. Пить в его присутствии нам нельзя и не хочется. А рыбалку она затеяла лишь для того, чтобы вывести его из состояния болезни и угнетенности.

И глядя на мужской размах легко, сильно работающих рук, я спрашивал себя: почему именно она стала женой нашего Борьки? Ведь за долгие годы его одиночества были и другие, более женственные, более

красивые... Они так хорошо говорили ему о его даре, о славе, которая обязательно (только еще немного подождать) придет. Но они исчезли, отпали. Она же прошла все, ступила на долгий путь, где финал и не виден.

Чем она взяла?

Она никогда не говорила ему о его таланте. Я знал, что он не верит словам, не придает им значения, иногда они даже раздражают его, но ему как художнику необходимо признание, пусть хоть друзьями, пусть хоть женой, но искреннее и беспредельное.

Кстати, я редко слышал, чтобы она говорила с ним о живописи, об искусстве. Слушала — да, но не говорила. Возможно, в ней было непонятное, недоступное мне очарование; возможно, ее простота, прямота, некоторая грубоватость давали Борьке ощущение прочности тыла, защищенности от бед и неудач.

А скорее всего она вошла в его жизнь в тот единственный момент, когда и надо было войти, в тот момент, когда он начал терять то, что всегда держало его на плаву: уверенность в своей творческой силе, постоянную и мощную работоспособность.

Вот тогда она и появилась и осталась, чтобы его спасти, и он это понял и принял.

Не случайно вспомнилась та рыбалка. Борька не хотел никуда ехать, но она настояла; была не лучшая для рыбалки погода, лодку сносило, но она гребла очень спокойно, и это спокойствие передавалось всем. Она никому из нас не доверила весла, сама вела лодку, на корме которой с бледным, равнодушным, злым лицом сидел Борис. Но через несколько часов он стал приходить в себя, глаза его обрели цвет, ожили, прояснились. И вот он уже нырнул в воду, поплыл.

Ныряли глубоко, до дна, зная, что выйрнем, что нам еще не время тонуть.

Лодочки, кораблики, челны.

Пельмени по-сибирски, теплый дом.

Все вроде бы налаживается, и потому ни слова о делах, тем более дела не очень хороши, выставка его, которую мы с таким трудом организовали, кажется, срывается, но говорить ему об этом мы не станем.

Я скашиваю глаза на рисунок в деревянной рамке, одиноко висящий на стене. Интересно, что на стенах нет ни одной Борькиной картины, кроме этого рисунка. Зато фотографий множество, как в деревенской избе: Катя с отцом, Катя с матерью, Катя с Борькой. И в стороне, над ними, чужой им, точно из другого альбома, из другой реальности, незаконченный рисунок.

Портрет Норы.

Она сверху, чуть прищурившись, смотрит на нас. Мы разговариваем, встаем, садимся, позвякивает посуда, а я чувствую все время ее взгляд, словно ей от туда надо разглядеть нас: Борьку, меня, Сашку, Борькину жену Катю.

Сколько же всего было, сколько же лет, как бы разверстанных в пространстве, разделили нас и ее.

Словно поезд, из которого она вышла, а мы сидим, те же пассажиры, только изменившиеся до неузнаваемости. Поезд то мчится, то катится медленно, то стоит на остановках, но он все дальше и дальше от туда, где она осталась навсегда.

— Нора,— говорит она мне певуче и почему-то с более заметным по телефону грузинским акцентом.

Трубка повешена. Нас разъединили, и слышно только шелестение, разряды, неясные шорохи темного бездонного эфира...

Мы встретились у кинотеатра «Аврора» на Покровке.

Но времени, пространства и событий, разделивших нас на год, будто и не существовало. Кажется, вчера или позавчера расстались.

— Может, в кино? — предложил я.

Она усмехнулась и покачала головой. И тут я впервые увидел, что глаза у нее другие, чем там, на юге, дома, несколько потухшие, и вся она смотрелась иначе, неуловимо угадывалась какая-то неуверенность, лицо стало меньше, не смуглое, как дома, а желтоватое, словно загар побледнел, выцвел.

У меня не было денег, чтобы повести ее в кафе, но мы пошли в рыбный магазин наискосок от «Авроры» и у мраморных столиков поедали бутерброды с рассыпающимися, младенчески розовыми крабами, перевитыми гирляндами майонеза.

Она ела, стараясь сохранить осанку и безразличие к еде, ела красиво, неспешно, и каждое движение ее было красивым и внешне спокойным, но я чувствовал неуловимую растерянность; ее гортанная речь с чуть заметным орлиным клекотом была на сей раз смягчена и даже чуть искательна. Может быть, это наш огромный город придавливал ее?

— Ну как ты, где ты? — спрашивал я.

— Я все-таки поступаю туда, куда хотела. Уже прошла предварительный творческий конкурс.

— Значит, все хорошо?

— Да, конечно, кажется, все неплохо.

Мы вышли из магазина, шли вверх мимо казарменного здания пожарной охраны с его старинными узенькими оконцами-бойницами, мимо ярко горящих на солнце яичным желтком домиков с колоннами. Я хотел ей показать свою Москву — от Чистых прудов до Большой Ордынки, потом вернуться к Гоголевскому бульвару, в Филипповский переулок, показать церкви, извилистые московские дворы, холодные черные скамейки.

Она слушала, смотрела, восторгалась со мной вместе, но скорее механически, была чуть рассеянна, и я ощущал все время то ли тревогу, то ли скрытую, но разъедающую ее заботу.

Я думал с удивлением и гордостью: «Она все-таки мне позвонила, а не Борьке», пока не сообразил: Борька живет в общежитии, а у меня есть телефон; вот как все просто, вот почему я, а не он.

Она ни разу не спросила меня о нем, будто его и не существовало. Это даже настораживало, наводило на мысль о том, что я чего-то не знаю в их отношениях.

В буфетике на Пятницкой пили вермут, она морщилась: «Разве это вино, разве это можно пить?»

Я незаметно захмелел, так как пил за двоих, и, осмелев, взял ее за руку, приобнял, она не сопротивлялась, была рядом и одновременно далеко, приветливая, почти ласковая, но очень чужая.

— Но ты здесь... Как странно, что ты здесь.

Странность и вместе с тем закономерность ее появления совсем из другого края, видящегося отсюда далеким, душным и пряным ботаническим садом,— вот скрытый лейтмотив того вечера. Оттуда.— на будничной московской асфальт.

Никогда там, на ее родине, мы не были с ней вдвоем, но почему-то казалось, что сегодняшнее бесцельное блуждание по вечеряющей летней Москве — продолжение чего-то уже бывшего. В огромности этого города, одинокие и вместе с тем удивительно слитные, быстро привыкая друг к другу, мы приращивали к этим двум часам хождения по Москве месяц той, далекой, уже нереальной жизни и год разлуки.

И в тот момент, когда я уже не думал ни о ком, кроме себя и ее, когда никого уже и не существовало, она спросила о Борьке.

Вовсе не хотелось сейчас говорить о нем.

— Как он? Ну как он... Нормально.

Это стереотипное, ничего не выражающее словцо инстинктивно было произнесено мною, оно должно было сбить, точнее занизить ее интерес к нему; именно то, что она сначала ничего не говорила, а потом спросила, именно то, что он не существовал и вдруг появился,

сразу как бы зачеркнуло все наши разговоры, хождения, превратив все это в заполнение паузы, в бессмысленное убивание времени перед чем-то более важным и существенным для нее, перед встречей с ним.

— Если хочешь, сейчас к нему поедем — в общежитие.

Я говорил вполне искренне... Если так, то поедем. Если это ей надо, то поедем. Троллейбусом «двойка» до самого конца, и пешком немного. Там еще не спят.

Она помолчала и сказала:

— Да нет, в другой раз.

Шли, болтая о чем-то неважном, необязательном. Такой разговор только разъединял. Зачем-то я ей рассказал о том, как нас исключали. Она слушала очень внимательно, чуть испуганно.

Теперь она вновь доверчиво шла за мной, мы успели посидеть на всех чистопрудных скамейках, потом пошли в переулочек Стопани, к Дому пионеров, где все у меня начиналось, вдоль диковинных машин у швейцарского посольства, вдоль хрустально светящихся нарядных его окон, сквозь сад Дома пионеров. Очутились в тупике, в котловане строящегося дома, через треснувший забор перелезли на Харитоньевский.

Устали до одурения. Хотелось еды и тепла. И тогда я предложил:

— Зайдем ко мне?

Она постояла в нерешительности, затем молча кивнула головой.

Комната моя в коммунальной квартире, в доме в Машковом переулке, была пуста, родители с ранней весны уехали в экспедицию. Да и вся квартира к этому часу должна была затихнуть, прижавшись по комнатам к толстым линзам, водянисто светящимся над маленькими экранами.

Я нащупал в кармане последнюю мятую десятку, ее в обрезхватило на бутылку дешевенького сухого и двести граммов колбасы в дежурном магазине на Кировской.

Оснастившись таким образом, я решительно повел ее за собой.

Вечерний торжественный подъезд с мраморными лестницами, старинный лифт фирмы «Карл Гоффман», нервный тычок ключа в гнездо замка, насыщенная и скрипучая тишина ночной квартиры, и вот наконец твоя дверь, ограждающая от всех и спасительная.

О чем-то неважном, несущественном говорили, завели проигрыватель, станцевали арабское танго, но, видно, у нее не было настроения для ночных танцев, и, вежливо, но твердо отстранив меня, она села на диван.

— Идти уже пора.

— Так ведь метро работает до двух часов... Я тебя провожу.

— Проводишь? Куда?

— Как куда? Туда, где ты живешь.

Она не ответила, усмехнулась.

— Дай закурить, — неожиданно сказала она.

Я достал сигареты, молча удивившись.

— Вот какая история, — тихо сказала она. Затянулась, закашлялась, сломала сигарету, роняя клочки горящего табака. — Я не поступила, я снова провалилась.

— Ну и что? В следующем году поступишь.

— Слушай, я потеряла уже три года на эти театральные дела. Я, наверное, бездарна, но никто мне не сказал правду. И вы тоже с Борькой только хвалили меня... Я оказалась дурой. Абсолютной дурой. У матери на турбазе отдыхал администратор театра. Мать вздумала меня ему показать. Что-то я там читала, изображала. Он похвалил. Обещал помочь, говорил, что связан с училищем. В Москве я с ним встретилась. Он быстро смекнул, что я помешана на этой идее. Он долго объяснял мне, что все можно устроить, что все оценки зависят от меня... Нет, не от моих способностей. От другого. Ты ведь понимаешь?

Мне не хотелось понимать, но я понимал.

— Провинциальная дурочка, одержимая... Должно быть, он решил, что я готова на все. Первый мой порыв был прогнать его, сказать ему, что он не за ту меня принял, высказать все, что я думаю о нем, о его так называемой «тактике приручения». Это он мне говорил, что не хочет форсировать событий, что влюблен в меня и постепенно меня приручит... Я с отвращением наблюдала это постепенное приручение. А с другой стороны, представь: снова бесславное возвращение, ожидающее лицо матери... Еще один потерянный год... Что было делать?

Я мысленно соперничала ей, входя, как в мутную илистую воду, в эту ее ситуацию, когорая, хотел я или не хотел, но с момента, как встретил ее здесь, в Москве, у «Авроры», стала и моей.

— Я хитрила, старалась выиграть время. Этот человек, сначала такой бескорыстно заинтересованный в моей судьбе, все более открывался... Специалист по таким провинциальным дурочкам. Мне хотелось немедленно послать его подальше и высказать при этом все, что я о нем думаю, но я сдерживалась. И от этого презирала себя. Мне были навязаны правила игры. Конечно, я их не приняла, но все-таки, все-таки... Я не выходила из игры. Я разговаривала с ним, улыбалась ему, хотя понимала, что он скотина. Я боялась его, знала, что если пошлю подальше, он перекроет мне все пути. На первом этюде я получила четверку. Я выложились, как могла, и, кажется, на этот раз получилось. Вся комиссия сидела тихо, они смотрели на меня внимательно, серьезно, не было иронических подшушукиваний, как в прошлом году. Я была убеждена, что получу пятерку. Но не судьба. И все-таки еще были надежды. Я готовилась ко второму экзамену, но тут меня выперли из гостиницы, куда он меня устроил, чтобы мне легче было готовиться... Не знаю почему. То ли он подсобил, то ли иностранцы какие-то приехали. В общежитие оформляться уже было поздно. Он стал звать меня к какой-то своей сестре, возможно, несуществующей. Сказал, что институт в кармане, если не буду идиоткой... Со мной была истерика. Я ругалась так, как никогда в жизни... Все казалось гнусным: этот гостиничный номер, куда он меня устроил и откуда теперь гнали, ощущение зависимости. Впрочем, когда я высказалась ему, вся зависимость прошла. Теперь я ночевала у девочек в общежитии без пропуска, нелегально. Одна из них говорила, что я старомодная дура, дескать, театральный институт стоит и не таких затрат... Там, в общежитии, разная публика. Я завалилась на следующем экзамене. То ли нервы не выдержали, то ли еще что. В общем, все.

— Хочешь, я найду этого человека и набыю ему морду?

— Зачем? — тихо сказала она. — В конце концов я благодарна ему за урок. Жила-жила себе, закрывая на все глаза, почему-то всегда веря в чужую силу, в чью-то поддержку, в доброго дядю. Вот он и повернулся, добрый дядя... Как это мы учили в учебниках? «Свинцовые мерзости жизни». Вот я чуть-чуть и хлебнула. Ну ладно, идти пора.

— Куда?

— Попробую в общежитие.

— Оставайся, я прошу тебя. Куда ты сейчас пойдешь? Ты ляжешь вот здесь, на диване. Завтра встанешь. Утро вечера мудреней ведь. И в конце концов ничего не случилось.

Она покачала головой. Потом опустила голову на руки. Я погладил каштановые жестковатые волосы. Я знал: останется, потому что некуда деться. И даже не потому... Может быть, единственный человек в Москве, который может ее понять сейчас и выслушать, это я. Понять и выслушать. Больше ничего. А что дальше... Ничего дальше. Я не могу, не должен обидеть ее. Сейчас она как будто моя младшая сестра, и все, и только.

Она встала, бойко спросила, скрывая смущение:

— Где у вас... тут?

— Сейчас я провожу тебя.

Она пошла за мной по темному тоннелю нашего коридора. Возможно, она впервые в жизни видела ночную московскую коммунальную квартиру.

Кухня пропахла луком. Днем она становилась рабочим цехом. У каждой домохозяйки свой стол, а станок — это плита, и она одна на всех. Входя в кухню, я видел, как они трудились, и шум был действительно почти фабричный, стучали молоточки, мясорубки со скрипом проворачивали фарш, булькала вода, время от времени женщины переговаривались. О чем? Я не вникал в их разговоры, но доносились обрывки; казалось, это был один и тот же разговор, растянутый на много дней.

Высокие своды кухни были закопчены. Иногда их сотрясал крик ссорились. Ссорились редко, но все, это было как эпидемия, краткая, но бурная.

А сейчас тишина, инструменты начищены, чуть поблескивают в темноте, на столах.

В маленькой закухонной комнатке свет: не спит, молится старуха Феона; она больна, приготовилась умирать, все собрала для последнего обряда. Но при всей своей давней безропотной готовности к иному существованию она живо откликается на события повседневной жизни. Во всяком случае, и сейчас она выглянула и зыркнула на нас своими старыми, быстрыми глазами; все узрела и все поняла именно так, как ей надо было. И мне даже показалось, что глаза ее подмигнули мне, а тонкий рот понимающе ухмыльнулся.

Я подсознательно чувствовал: Феона лишь с виду смиренна, но страсти ее раздирают. Она выпивала тайком, в одиночку, я это знал, я как-то писал ее портрет и чувствовал исходящий от нее мужской водочный запах, да и в давно отцветших глазах словно бы блуждал какой-то бес... Вот этого беса я никак не мог передать, поймать, благодетельность, внешнее смирение, готовность к иной жизни — все это пожалуйста, все это как бы лежит на поверхности, но я чувствовал, догадывался: это первый слой, за ним другой, горький, юродивый, скрытый до поры до времени.

Бывала она и буйна и ругалась, если ее обижал кто, но такое случилось очень редко. Обычно она была молчалива, приветлива, улыбалась как бы блаженно, но с легкой ухмылкой. Аккуратно ходила к заутрене, на пасху пекла прекрасные, самые нежные, какие я ел когда-нибудь, куличи.

Она жила еще долго, лет десять, уже все соседи разъехались, обменялись, построились, получили новые квартиры в новых районах, а она все продолжала жить в этой маленькой комнатке для прислуги, иногда жалела, плакала, что не пошла в монашенки, как сестра ее, уже давным-давно преставившаяся, а так и осталась здесь, в коммуналке. И одна, без родных, гасла, переживая соседей, готовясь к смерти, которая все ее обходила.

Она не преминула мне как-то сказать после того вечера:

— Я-то думала, ты тихонькой, робкой, а ты эвон какой скорый. Но бог простит, ты молодой, а быть молодцу не в укор.

Любопытство удивительным образом сочеталось в ней с отрешенностью.

Я помнил ее взгляд весь тот вечер, ее необидную ухмылку и сам ухмылялся над собой, когда стоял у ванны, слушал шум воды, ждал Нору, чтобы проводить ее... Как и старуха Феона, я был, возможно, одновременно и свят и грешен.

Я знал, что я не должен обидеть ее ничем, что я не могу, не имею права. Я понимал, что она впервые в своей жизни душевно оскорблена, лишилась домашней защищенности, вышла из уютного окружения, впервые увидела притворство и подлость. И раз так, и она в моем доме, и ей тяжело, то во имя нашей дружбы я буду человеком и сделаю

для нее все, что смогу... Так я говорил себе, ожидая ее, прислушиваясь к тому, как шипела газовая колонка, как она наконец, фыркнув, отключилась.

Стало так тихо, что я услышал шелест Нориного белья, платья и снова почувствовал почти физически, как я раздваиваюсь... Конечно, я уже все решил и ничего такого себе не позволю; если бы я не был чист в своих помыслах, то я не решился бы оставить у себя девчонку, давая им всем пищу для сплетен. Но, с другой стороны, зачем это острое, изнуряющее ожидание? Это поднимающееся волнение? В том-то и было противоречие, что я ничего не хотел и не ждал, но подсознательно ждал всего и хотел всего.

Она вышла, сказала, улыбувшись:

— А я чуть не взорвалась.

И протянула мне мокрое полотенце.

В лице ее я не увидел ни смущения, ни неловкости: наоборот, ясность и спокойствие. Теперь у нее был ночлег и она могла отдохнуть.

И вновь я вел ее по коридору, мы скользили двумя тенями: одна легкая, как бы свободная парящая, вторая сутуло-напряженная (я весь сжался, готовый к отпору, если вылезет кто-нибудь из наших не в меру любопытных, а то и бесцеремонных соседей).

Но мы прошли без препятствий, тяжелая, обитая войлоком и кожей дверь закрылась, отделив от зримо и незримо присутствия чужих; и такой славной и светлой показалась мне сейчас моя старая, порядком надоевшая комната.

В домах напротив уже почти все окна погасли, только наша комната тепло и празднично светилась, и чувство отделенности от всех сближало меня с нею и опьяняло. Я без умолку говорил, читал стихи:

Ночь нема, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел,
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел...

— Какой-то ты странный сегодня, что-то все время читаешь, а ведь уже бог знает сколько времени... Давай укладываться.

В этом так просто сказанном «давай укладываться» не было ни намека, ни самого малого обещания, но было что-то доверительное, милое и опять же сближающее нас. И еще раз решив для себя, что я буду безупречен по отношению к ней, я стал вытаскивать из матерчатого рваного чехла старую раскладушку.

Все так же радостно я растягивал эту скрипучую, намертво сжавшуюся раскладушку, вытягивал ее длинный, ржавый скелет. Но когда я наконец отладил свое убогое ложе и посмотрел на Нору, то понял, что она не разделяет моей приподнятости, всех этих детских восторгов... Она сидела на диване в какой-то неудобной позе, положив на его высокий валик голову, я видел ее полузакрытые большие сонные глаза.

Уже погасив свет, я слышал, как она вздыхает, ворочается...

Нас разделяло несколько метров, всего несколько метров босиком по поблескивающему крупному паркету, — граница между двумя людьми, двумя состояниями: моим детским самодовольным покровительством и ее одиночеством в чужом городе, в чужом доме.

Я заснул быстро, неглубоко; сквозь клочковатый сон увидел ее. Стояла босиком у окна, в моей рубашке, достававшей ей до колен.

Большое, вполкомнаты окно уже предрасветно светилось. Виден двор, а в нем трехэтажный особнячок постпредства, квадратный, с подстриженной травой газон, еще немного солнца — и он будет изумрудным, а пока он еще седовато-зеленый. Когда я приходил поздно, а точнее рано, я видел его именно таким, постепенно проявляющимся, как негатив.

Я тоже встал — она не обернулась, все так же стояла и неотрывно смотрела, будто была только одна, — тихо подошел к ней, осторожно дотронулся до ее плеча. Мое прикосновение было скорее знаком дружбы, чем нежности, но она резко отодвинулась и сказала: «Не надо».

Я отстранился, ее реакция обидела меня своей банальностью.

— Да ты не беспокойся,— сухо сказал я.— Мне ничего от тебя не надо.— И добавил: — Кажется, к Борьке ты была более благосклонна.

— Он нравился мне.

— Нравился? Почему в прошедшем времени?

— Потому что сейчас мне не до него. Мне вообще ни до кого. Понимаешь?

— Ну не поступила, ну и что из этого? Что за горе?

— Не в этом дело. Просто мне некуда деться. Возвращаться назад, домой, я не могу.

— Почему?

— Тебе, наверное, кажется, что там рай... Да, на месяц, может быть, Там можно отдыхать, но жить там тяжело. Праздность, многолюдье, пустота. Мне, во всяком случае, там нечего делать. Я хочу совершенно другого, а у меня не получается... Я не знаю, куда деться.

— Я уверен, что мать прекрасно устроит тебя до следующей весны. А потом снова попробуешь... И я уверен, выйдет.

— Мать и так уж загубила жизнь из-за меня. А сейчас у нее есть возможность выйти замуж... Есть человек. Может быть, это ее последний шанс. И я не хочу, не могу возвращаться туда.

Не до конца мне понятное, сдерживаемое с трудом отчаяние словно бы росло в ней, ширилось, вот-вот готовое взорваться истерикой. Я видел это по ее ярко, сухо блестящим глазам, по резко, безжизненно побелевшей коже смуглых щек.

— Не надо, не надо, не надо.— Я пытался заговорить ее, как ребенка, троекратно возвращая ей эту ее же бессмысленную, ничего не означающую фразу.— Не надо, мы все для тебя сделаем.

— Кто «мы»?

— Я и Борька.

Она усмехнулась и, успокаиваясь, тихо сказала:

— Да... вы хорошие, но при чем тут вы?

Моя широкая клетчатая рубашка сидела на ней как хитон, щедро открывала загорелую нежную шею, начало высокой груди...

Она стояла босиком, нежно, легко поставив на пыльном полу маленькие, аккуратно вырезанные загорелые ступни, и я мгновенно забыл о роли друга-хранителя, обо всем на свете и притянул ее к себе.

Целуя ее, я слышал тихое, приглушенное: «Не надо, нехорошо так».

Но я уже не знал, что хорошо, а что нет, уже другая сила управляла мной. Подсознательно я чувствовал: моя нежность, страсть не захватывают ее, не передаются ей, она мертвая, чужая, это только натиск, который она терпит, но в конце концов оттолкнет, убежит... А может, и хуже. Может, и оскорбит меня. Но я уже ничего не мог с собой поделать.

Она не оттолкнула. Она была и безучастна и странно податлива,

— Что ты творишь? — тихо и как-то обреченно сказала она.— Ты же не любишь меня.

— Люблю,— счастливо, уверенно не то прошептал, не то выкрикнул я.

Я много раз потом наново переживал, словно бы проигрывал тот вечер, стараясь не забыть ничего. Я спрашивал себя: врал я тогда или нет? Нет, в моем таком поспешном, легко сорвавшемся с языка ответе была все-таки правда.

Запомнились мне с детства строчки: «Часто говорят люблю те, которые не знают, сколько букв от Л до Ю».

Я произносил это слово чрезвычайно редко. Слово это не было расхожим для нашего поколения. Наша жизнь была с детства так организована в отдельных женско-мужских школах, что этой самой любви будто и не существовало. А если и существовала, то в каком-то особом виде, скорее всего в виде дружбы и товарищества, отличной учебы и взаимовыручки, а также в виде совместных женско-мужских бальных танцев,

Мы приходили в соседнюю 613-ю школу чинной группкой, поднимались маршами мраморных лестниц, и на нас с любопытством смотрели сотни девчачьих глаз; девчонки подхихкивали, будто мы были существа не только другого пола, но и с другой планеты.

Это любопытная вещь: на улице, во дворах, где мы жили, мы встречались с этими девчонками неоднократно, трепались, шутили, а когда приходили в их школу как бы официальной делегацией, то становились уже не мальчишками и девчонками, а представителями двух замкнутых миров и смотрели друг на друга по-новому, будто в первый раз видели.

Потом торжественный падекатр, салонный падепатинер и, наконец, вихревая мазурка объединяли нас. Мы протягивали друг другу руки, влагали в теплые ладони свои трепещущие пальцы. Ход отдельного обучения как бы мгновенно нарушался. В шелестении торжественных бесполох танцев мы чувствовали вдруг смутную тайну пола.

Мы важно танцевали под чужой ритм. А популярные в те времена ритмы звучали дома, в комнатах коммунальных квартир, эти мелодии слетали, задыхаясь, с тоненьких кругляшей пленки, с самодельных пластинок, которые продавали в подъездах странные типы в кепочках-малокозырьках с продольной полосой, в ботинках на толстом каучуке, типов этих обычно звали Бобами, Джонами, Григами. На самом деле они были Борьками, Иванами или Гришками.

Впрочем, это был один слой, один тип компании, это были джазовые ребята. Но существовали и другие. Они собирались в музее Скрябина или просто у кого-нибудь дома. Сидели допоздна, читали стихи.

Скромные вечеринки пятидесятих годов; малоизвестные стихи, недоступные, хотя и очень близкие девочки, какое-то особое пространство между нею и тобой, сильно сокращенное следующим поколением.

Его не сразу преодолешь, невозможно сделать шаг, чтобы обнять, поцеловать, нет, сначала надо иначе, как бы бесплотно пройти это пространство, заполненное чужими, своими стихами, разговорами, цитатами. Любовь упрятана, прикрыта, закрыта, закамуфлирована общими интересами, бальными танцами, диспутами, спорами.

Многие из ребят старались казаться старше, опытнее, а победы болтливых и хвастливых мальчишек были сильно преувеличены.

Модно одеваться, пижонить тогда было очень трудно. Стиляги выделялись в толпе как белые вороны.

Я вообще не представлял, откуда у этих парней роскошные светлые пыльники, туфли на толстенных, рафинадного цвета подошвах, шляпы котелком. Я ходил во всем отцовском, перешитом на меня. Самыми пижонскими вещами были перелицованное габардиновое пальто и американские, солдатского вида ботинки на микрופоре.

А эти проплывающие мимо девчонки в широких пиджачках, открыто покуривающие, всегда улыбающиеся и грустные, если приглядеться? На них интересно было смотреть. Но любить следовало других. А кого?

Торжественно, с неприступным видом юных графинь плыли под звуки духового оркестра наши старшекласницы. И мы быстро придумывали себе предмет любви, выскакивали из душного зала, слонялись по пахнущим вечным, неистребимым запахом среднего образования коридорам, выскакивали в весенние дворы, неумело, торопливо целовались.

Целуясь, чувствуя головокружение, вылетая из школьных стен, убегая от всех на свете табу, мы все-таки избегали слова «люблю».

Потому что еще смутно представляли себе, что это такое.

(Окончание следует)

АРКАДИЙ САХНИН

★

НЕОТВРАТИМОСТЬ*

Повесть

Пока Мария Владимировна беседовала с Крыловым, в кабинете главного редактора появился Калюжный с бумагой в руке. На нем костюм, к которому не прикасался утюг, должно быть, со дня сотворения этого образца массового пошива устаревшей модели. Лицо сухое, измятое.

— Опять Крылов! — сказал он хмуро, не поздоровавшись.

— Что опять натворил Крылов? Давайте-ка его сюда на ковер. — У Германа Трофимовича было хорошее настроение, да и не очень большое значение он придавал словам Калюжного.

— Не он, а мы! — с пол-оборота заводясь, ответил Петр Федорович. — Неужели, кроме Крылова, некого послать в заграничную командировку?!

— Во-первых, Петр Федорович, не командировка...

— Ну, это для маленьких детей, — прервал Калюжный.

— И для больших! — отрезал редактор. — Командировки он, верно, добивался настойчиво, но я отказал. Решительно отказал, хотя, откровенно говоря, возможность послать у нас есть. Кстати, отказал не только потому, что не видел особой необходимости в ней, но и предвидя, как на нее отреагируют некоторые наши товарищи. — Намека Калюжный не понял или сделал вид, что не понял, и редактор закончил: — А отпуск — тут, как говорится, дело хозяйское: хоть на Северный полюс, хоть в космос...

— Нет, вы подписали, — потряхивая бумагой, упрямо возразил Калюжный. — Значит, не отказали, а поддержали... Как только сенсационный материал — поручить Крылову. Интересное письмо — Крылову. Самые выигрышные темы — Крылову, заграничная командировка — Крылову...

— По-огнал лошадей... Во-первых, большинство тем, как вы говорите, сенсационных он находит и предлагает сам. В отличие от других в письмах читателей роется сам и улавливает интересное там, где ловит ворон отдел писем. Ясно? На процесс же, повторяю, я его не посылаю. Что еще?

Калюжный замаялся. После небольшой паузы сказал:

— А я все-таки кого-нибудь послал бы. Дело важное, политическое.

— Что мы играем в кошки-мышки?! — запальчиво сказал Герман Трофимович. — Ты сам, что ли, хочешь ехать?

И опять Калюжный замешкался с ответом.

— Мог бы, конечно, и я, — ответил наконец, — но можно и Дремова, например. Человек проверенный, немецким владеет...

— Немецким, может, и владеет, не знаю, а вот с русским у него бо-ольшие нелады. До Крылова ему ой как далеко. Короче — на этот процесс никого не могу послать, не вижу целесообразности. Что касается Крылова... Или ты ему не доверяешь политически?

Петр Федорович недобро вскинул на него глаза, потом сел к столу и подписал характеристику.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

Грюнер приехал в международный аэропорт во Франкфурте-на-Майне задолго до прибытия московского рейса. Нервно поглядывая на часы, то на свои, то на стенные, ходил по залу. Ему явно было не по себе. Попастъ на процесс не удастся. Хотя кто может знать, сколько он продлится. Снова посмотрел на часы — время истекло. Неужели опаздывает? Пошел к справочному бюро.

— Сейчас прибывает,— ответила девушка из окошка.

И как бы в подтверждение этих слов по залу разнесся голос диктора:

— Самолет «Москва — Франкфурт-на-Майне», рейс 196, совершил посадку.

Грюнер устремился к таможенному залу. Дождался наконец окончания досмотра, и радостно засветились глаза, когда увидел Крылова. Обнялись, расцеловались. Грюнер не дал ему и слова сказать — сильно опаздываем, надо бежать. Они и пошли очень быстро вверх по эскалатору, обходя спокойно стоявших людей. Поднявшись, ступили на траволатор — движущийся тротуар — и еще более ускорили шаг.

— Разве ты не мог приезжать завтра... нет, извини, вчера?

— Никак не мог, Дитрих, только сегодня визу получил, едва на самолет не опоздал... Когда начинается процесс?

— Уже начинался сейчас.

— Ну и черт с ним. Мне ведь главное — документы Фау Фау Эн, а не процесс, хотя, конечно...

Спрыгнув с траволатора, почти бегом устремились к выходу, вскочили в маленький «фольксваген». Как бы оправдываясь, Грюнер сказал:

— До Мюнхена надо скоро спешить, успеть там быть.

Далеко не новая машина Грюнера неслась по самой левой, скоростной полосе трехрядного шоссе. Одну за другой они настигали более солидные марки, и дисциплинированные немецкие водители, не дожидаясь сигнала, уступали дорогу.

— Дитрих, твой «роллс-ройс» вот-вот развалится.

— Это хорошо,— подмигнул Дитрих,— мы тогда полетим на крышку того «мерседеса»,— показал на идущую впереди машину.— Там можно немножко ложиться отдыхать.

Оба смеются.

— Так какие, ты говоришь, документы о Панченко есть?

— Много документы. Я все тебе прочитать буду, а какой надо — ксерокс возьмем.

Летит малолитражка по широкому автобану. Крылов с интересом смотрит по сторонам. Перед глазами бесконечные потоки машин, поля, как газоны, горы с древними замками и крепостными стенами. Над автобаном мелькают синие и зеленые щиты с названиями населенных мест, лежащих впереди. И вот уже указатель: «Мюнхен — 10 км». Как только въехали в город, Дитрих остановился у телефонной будки.

— Серьежа, почти минута, на дороге надо один ваш товарищ заберите, тоже хотел суд смотреть.— И выскочил. Быстро набрал номер, что-то сказал.

— Кого ты хочешь взять, Дитрих? — недоуменно спросил Крылов, когда тот вернулся.

— Трудная фамилия, он — Юра, в отеле ждал, директор сахарной индустрии. Это совсем нам мимо, никакой задержки не будет.

Вскоре, едва Дитрих затормозил, с ловкостью кошки в машину вскочил человек.

— Как же вы в таком месте встречу назначили? — показал новый пассажир на знак «остановка запрещена».

— Это вы главный правил плсхо учили. Если близко нет полицейский, ни один знак нет действительный.— И рассмеялся.— А теперь я буду советские люди знакомить... Пожалуйста.

— Прохоров,— протянул руку сидевший позади.— Юрий Алексеевич.

— Прохоров... Прохоров...— повторил Крылов, морща лоб, вместо того чтобы назвать себя.— Из Липани?

— Вам Дитрих сказал? Он и мне о вас говорил. Заочно, выходит, познакомил. Впрочем, вас-то все знают.

— Как там Петр Елизарович поживает?— перевел Крылов на другое.

— Нормально. Сегодня разговаривал с ним, я здесь оборудование принимаю... Вот Дитрих говорит, процесс открытый, а я все сомневаюсь, не будет ли недоразумений— почему советский гражданин пришел? А послушать хочется, мне этот процесс особенно интересен.

Крылов посмотрел на него, промолчал.

— Знаете, мне пришлось косвенно заниматься этим делом в связи с нашим местным предателем Панченко...— Прохоров— Крылов не сомневался в этом— приглашал поддержать разговор.

Но Сергей Александрович снова промолчал.

Припарковались— как только Грюнер нашел щель между машинами и сумел в нее втиснуться— у тяжелого мрачного здания суда с непривычно узкими длинными окнами. У входа— статуя Фемиды. Здание очень старое, да и Фемида изрядно пожила на свете. На ее тунике мелкие выбоины, точно от осколков. А может, и в самом деле следы войны. И как страшный символ— отбита одна чаша весов.

Они поднялись по широким каменным ступеням.

— Момент,— остановил своих спутников Грюнер и направился к человеку в форменной одежде у двери.

— Узнайте еще раз,— уже вдогонку сказал Прохоров,— можно туда иностранцам?

— Нет беспокоится, можна, можна.— Он спросил о чем-то служащего и жестом позвал их.— Еще не кончился,— сообщил Дитрих,— прокурор речь взял.

Миновав короткий коридор, остановились у массивной двери, бесшумно открыли ее, тихо по одному вошли.

Зал маленький и, несмотря на высокий потолок и высокие окна, полутемный. Стулья большие, тяжелые, почерневшие от времени. На спинках герб. Людей мало, но трех свободных мест рядом не видно. Наши наконец, пригибаясь, расселись.

Судьи в черных мантиях— на возвышении. На них широкополые, точно сплюснутые белые шляпы. Председатель суда— седой, плотный старик— восседал на каком-то сооружении, скорее похожем на трон, чем на кресло. Внизу за перегородкой— обвиняемый.

С большим пафосом держал речь прокурор. Грюнер, наклонившись к Сергею Александровичу, торопясь переводил, коверкая русский больше обычного, но Крылов хорошо понимал его. Тоже наклонившись к Грюнеру, внимательно слушал Прохоров.

— Я подтверждаю!— торжественно говорил прокурор.— Материалами дела, показаниями свидетелей, архивными документами неопровержимо доказано, что в районе Липани, находящемся на территории Советского Союза, за период сорок первого— сорок третьего годов было расстреляно 367 мирных жителей.— Видит бог,— поднял он руку, повысив голос,— я говорю истину!

Крылов извлек блокнот, держа его на коленях, быстро стал писать.

— За то же время.— продолжал прокурор,— было сожжено шесть хуторов и деревень того же района. Это убедительно показали свидетели, это подтвердили фотографии, приобщенные к делу, это установили назначенные судом эксперты, выезжавшие на место событий. Видит бог,— снова взметнулась рука,— я говорю истину! И я обвиняю!— Голос звенел угрожающе. Прокурор сделал паузу, как бы призывая присутствующих к особому вниманию.— Я обвиняю бывшего коменданта района, бывшего майора Иоганна Бергера...

На некоторое мгновение зал замер, и тут же прокатился недовольный ропот.

— Ты правильно переводишь, Дитрих? — шепотом спросил Крылов.
 — Да-да, он виноватит Бергера.

Судья молча ударил деревянным молотком по толстой резиновой плитке, и зал стих. Прокурор продолжал:

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том, что он не справился с возложенной на него миссией охранять покой населения.

— Интересно,— прошептал Крылов, но Грюнер, боясь прослушать оратора, никак не отреагировал на реплику.

— Я обвиняю Иоганна Бергера в том,— с пафосом вещал прокурор,— что он оказался мягкотелым, более того, подпал под дурное влияние, что недостойно чести немца.

— Что это? — снова не выдержал Крылов.

— Слушай пока ..

— Да,— картинно развел руками прокурор,— мне нечем возразить обвиняемому и его защитнику — моему уважаемому коллеге-адвокату,— вся полнота власти в районе действительно находилась в руках бургомистра Ивана Панченко, человека жестокого, который беспощадно мстил за то, что до войны его выбросили из коммунистов. Я обвиняю Иоганна Бергера как в том, что он не сумел остановить кровавую резню, которую безжалостно учинял этот варвар Иван Панченко, так и в том, что не смог остановить организуемые этим дикарем поджоги.

— Да что он несет, черт побери?!— Крылов закрыл блокнот.

— Потерпи, Серьежа...

Шепот привлек внимание соседей, и Прохоров прервал его:

— На нас смотрят.

— Доводы моего коллеги-адвоката,— гремел голос прокурора,— документально подтвердившего, что в Липани не было немецких гарнизонов, а штат обвиняемого исчислялся единицами и дислоцировался в соседнем районе, являются не оправданием, как утверждал мой уважаемый коллега, а лишь смягчающим обстоятельством. Естественно, ему трудно было охватить своим влиянием весь район. Но информацию о преступных акциях озверевшего Ивана Панченко он был обязан иметь. И тот факт, что он не располагал подобной информацией и все делалось за его спиной, отнюдь не говорит в его пользу. В этом состоит его вина, хотя он чистосердечно здесь признался в ней, чего, естественно, суд не может не учитывать, так же как и глубокого раскаяния обвиняемого в своих ошибках.

— Хватит, Дитрих, дорогой, хватит, уже все ясно...

Крылов сел ровнее, давая понять, что не слушает перевод. Обведя взглядом зал, остановился на Бергере. Нет, это не толстомордый, откормленный бюргер. Длинный и тощий, он сидел точно вбитый в стул, прямой, как доска, не шевелясь, не поворачивая головы, покрытой редким ежиком седых волос, похоже, приклеенных.

Точно почувствовав взгляд, Бергер обернулся. Глаза их встретились — насмешливо-торжествующие Бергера и полные презрения Крылова. В безмолвном поединке победил Бергер — Крылов отвернулся.

Закончив на высокой ноте речь, прокурор отошел к своему столу. Судья объявил перерыв. Зал пришел в движение, люди потянулись к дверям.

— Что будет дальше? — нетерпеливо спросил Крылов, когда они направились к выходу.

— Дальше скажут приговор, и Бергер будет иметь оправдание. Это не есть правда, Серьежа. Не есть правда прокурор говорил. Они всех оправдают будут военных фашистов

— Конечно, неправда! — с досадой поддержал Крылов.— Сволочь он, твой прокурор.

— Ты не надо волновать себя. Документы Фау Фау Эн не обратили для дела. Их смотреть будем, я тебе много переводить сделаю.

— Да, прошу тебя, хотя мне и неловко. Ты теряешь на меня столько времени...

- Почему потеряю? Мне тоже надо, я себе газету писать буду.
- Они спустились с лестницы. Крылов не мог успокоиться:
- Какой бред! Какой чудовищный бред он нес!
- Но повод ему дали,— робко вставил Прохоров.— Панченко ведь и в самом деле был фашистским холуем. Даже вы писали об этом.
- Писал, писал,— пришел в раздражение Крылов.— Да, пусть фашистский холуй, но только холуй, а не «вся полнота власти». Ишь, какую картинку нарисовал! Паразит!.. Дитрих, есть возможность прочитать весь протокол суда?
- Конечно, я это устраиваю потом, еще не готова...
- Сейчас поедем документы Фау Фау Эн смотреть?
- Сейчас поздно, Серьежа.— Дитрих посмотрел на часы.— Уже все ушли. Надо потом предупредить, тогда ехать.— Помолчав немного, сказал:— Теперь думал... нет, предлагал Гофбройгауз смотреть, ты давно хотел смотреть... Совсем близко...
- Я пас,— покачал рукой Прохоров.— Видел эту пивную, где начинал Гитлер, а главное, надо еще подготовиться, завтра тяжелый у меня день. Да ведь мы еще увидимся. Вы где остановились?
- «Оправдывается, будто его просят»,— подумал Крылов, а вслух сказал:
- Еще нигде не остановился, прямо с аэродрома.
- Они подошли к машине, и Прохоров стал прощаться.
- Обязательно расскажу о процессе Петру Елизаровичу,— сказал, пожимая руку Крылову.— Ему это тоже будет интересно.
- Мы подвозим вас,— предложил Грюнер, когда Прохоров обернулся к нему.
- Нет-нет,— покачал рукой Юрий Алексеевич.— Мне близко.— Еще раз раскланявшись, направился к переходу.
- Грюнер достал ключи от машины.
- Ты говоришь, это недалеко — может быть, пройдемся? Не могу сейчас сидеть на месте.
- Конечно, конечно,— согласился Дитрих.
- Они пошли по широкому красивому проспекту. Крылов никак не мог прийти в себя.
- Абсурд! Бред, идиотизм! Просто фашистский суд.
- Да, Серьежа, еще новые фашисты есть... А есть и Фау Фау Эн. И еще тоже есть людской народ... Они понимают, сейчас есть не эпоха фашизмуса...
- Незаметно подошли к зданию Гофбройгауза. Поднялись в зал, где находились человек пятьсот. Ударил в нос специфический запах. Бесчисленное количество длинных некрашенных столов, отшлифованных временем. В проходах снова посетители в поисках свободных мест. Точно ледоколы пробивались сквозь них тучные официантки, прижимая к своим необъятным бюстам по восемь литровых глиняных кружек — в каждой руке по четыре.
- Как они их удерживают? — поразился Крылов.
- О, совсем легко,— улыбнулся Грюнер,— одна кружка, налитая пивом, весит всего два килограмма.
- В зале стоял невообразимый гул. Песни, выкрики, смех, громкий говор заглушали оркестр, и музыканты в кожаных шортах и жилетах, с тирольскими шляпами на головах, покинув эстраду, в одиночку бродили среди столов, наигрывая по заказу. Разные мелодии смешивались, создавая противоестественный аккомпанемент гулу голосов. Они поднялись во второй зал, потом в третий, но там было еще теснее. Пришлось снова вернуться на первый этаж.
- Двенадцатиместный стол — с каждой стороны лавка на шесть человек,— стоявший торцом к стене, был огражден шнуром. И никто не посягал на него — заказан. А рядом, тоже у стены, почти вплитык, маленький столик, но возле него ни стульев, ни лавки не было. Не обслуживается.

— Один минутка,— поднял палец Дитрих,— здесь постоять.— И исчез.

К зданию пивной подкатили три «мерседеса». С шумом вывалились возбужденные пассажиры. Среди них Бергер.

— Идем, идем! — кричал он.— Вальтер сам все машины припаркует.

Веселая компания — люди пожилые и даже старые — бодро поднималась по лестнице, говорили все сразу, энергично жестикулируя, перебивая друг друга. Несмотря на возраст, сохранилась у них военная выправка. К тому времени, когда они появились в зале, Грюнер уже успел договориться с официанткой — им поставили стулья, принесли пиво.

— Как фамилия того подпольщик, что я донесение гестапо тебе дал? — спросил Дитрих.— Кажется...

— Не помню,— резко, даже недружелюбно прервал Крылов.

Оба помолчали, отхлебывая пиво.

— Тебе эта история карьеру портит, Серьежа, да?

Крылов не успел ответить. Его внимание привлекла компания Бергера. Обгоняя уважаемых клиентов, торопилась официантка, сдернула шнур, ограждавший стол.

— Смотри,— показал на них взглядом Крылов.

Бергер плюхнулся на лавку, едва не столкнув Дитриха, но даже не взглянул на него.

— Давай пересядем, Дитрих.

— Неткуда, Серьежа... И нехорошо,— показал на кружки.— Она уже вюртсхен... нет, как это... сосиски приносить будет.

Шумно рассеившаяся компания утихла — жадно схватилась за кружки, лишь изредка перебрасываясь короткими репликами. Сергей Александрович окинул взглядом зал. Через два стола от них тесно сгрудившаяся молодежь, размахивая кружками, пела фашистский гимн. Кто-то, выбрасывая вверх руки, кричал: «Хайль!» Снова шумно стало за столом Бергера. Уже успели вытянуть по две кружки и запели «Дойчланд, Дойчланд, юбер алес».

— Как в тридцатые годы, ползучие гады,— не сдержался Крылов.

Едва ли Бергер расслышал слова Крылова, но русская речь донеслась до него, и он резко обернулся, остановил на Крылове долгий взгляд.

— Зови официантку, прошу тебя,— полез Крылов в боковой карман.

— Нет, спрячь,— забеспокоился Дитрих.— Москва ты платил, тут я платил.— И стал искать глазами официантку.

Расплатившись, поспешно вышли из пивной.

Среди множества стоявших у пивной машин отливали стальным блеском три «мерседеса». Грюнер перехватил взгляд своего друга, бережно взял его за локоть:

— Ты не предполагай, Серьежа, что в ФРГ все такие.

— Что ты, Дитрих, конечно...

— Да-да, ты смотришь цветы Штукенброка и понимаешь наш народ. Это один раз за год случается, скоро будет.

— А что это?

— Это надо смотреть, так не объясняется... Два часа расходовать будешь, я знаю, тебя заинтересовывает будет, ты хочешь писать, советские люди не знают, надо им знать.

Пленных гнали в концлагерь Эдельсхайде через всю Германию, подалее от наступавших советских войск. Лагерь находился на северо-западе страны, близ границы с Нидерландами, между местечками Штукенброк и Хефельсхов. Пленных там не кормили, поэтому они постепенно умирали.

Глубоко в лесу близ Штукенброка, на поляне в несколько гектаров

вырыли длинный ров, куда сбрасывали трупы. Когда ров заполнился, параллельно ему выкопали второй, потом третий... Тех, кто долго не умирал, убивали, и их тела тоже сбрасывали в ров. А всего в этих рвах закопали 65 тысяч советских людей, всех, кого сюда пригнали. Это успели сделать до прихода войск союзников. И после войны о лагере Эдельсхайде мало кто знал даже в самой Западной Германии.

Потом местные коммунисты, деятели Фау Фау Эн и прогрессивно настроенные жители близлежащих районов решили, что так не годится, и образовали комитет «Цветы для Штукенброка». В него вошли учитель Вильгельм Г. Нимеллер, служащая Эльфрида Хаус, художник-декоратор Вернер Хенер, священники Гюнтер Дангер и Генрих Дистельмайер, журналист Хельмут Нетцебанд, ассессор Ганс-Иохен Михельс и другие антифашисты. Люди разных мировоззрений, разной партийной принадлежности и беспартийные.

Кто мог предвидеть — у комитета еще и помещения не было, а его уже осаждали толпы. У каждого, кто приходил, были свои счеты с Гитлером: отцы, сыновья, братья, родные и близкие, перемолотые жерновами войны, не забывались — они тоже были жертвами фашизма, слепым, как стихия, орудием в его руках.

В воззвании комитета говорилось: «Не забудем! Нации Земли во второй мировой войне потеряли 55 миллионов человек. Немецкий народ оплакивает 3,8 миллиона убитых, 12 миллионов раненых, 2,7 миллиона гражданских лиц, погибших в результате бомбардировок».

55 миллионов взывали к действию. И вот — комитет. Его поддержали тысячи западных немцев, независимая газета «Ди тат», общественные организации, представители религиозных культов. На том месте, где нашли последнее пристанище замученные советские люди, на добровольные взносы соорудили мемориал, чтобы время не стерло память о них и новые поколения знали бы, как страшен фашизм.

Решили каждый год собирать здесь митинг и возлагать к могилам 65 тысяч цветов — по одному на каждого погибшего. На митинг под девизом «цветы для Штукенброка» — какой уже по счету! — и вез Дитрих Сергея Александровича. Чем ближе они подъезжали к мемориалу, тем теснее становилось на дороге. Люди ехали на легковых машинах, автобусах, шли пешком, и не оставалось сомнений, куда они направляются, — все с цветами.

Обогнав два ярко раскрашенных грузовика с цветами, Грюнер затормозил у опушки леса. Друзья миновали просеку, и Крылов невольно остановился, замер. Впереди простирался, казалось, необозримый нежно-зеленый газон, огражденный мочучими деревьями, на нем бесконечными рядами стояли невысокенькие обелиски. Под ними и лежали солдаты. И у каждого обелиска — а их сотни и сотни, может быть, тысячи, они терялись где-то далеко-далеко — горели на солнце цветы. Среди них купы деревьев или вдруг одинокая печальная береза.

Мемориал открывался высоким массивным обелиском, увенчанным пятиконечными звездами, образующими шар. У подножья — горы цветов, а по бокам замерли девушка и юноша с факелами в руках. Их лица торжественно-строги, одухотворены, они как часовые, охраняющие мир на земле.

Сергей Александрович прочитал высеченную на памятнике надпись на русском языке: «Здесь покоятся русские солдаты, замученные в фашистском плену. 1941—1945». Склонив голову, он застыл у монумента как в почетном карауле, пока Дитрих не тронул его за руку:

— Пойдем...

Крылов поднял голову. Взгляд схватил мрачное, уродливое изваяние из черного железобетона толщиной в шкаф, пронизанное квадратными отверстиями, стоявшее особняком, за пределами мемориала.

— Что это?

— Это есть решетка тюрьмы, — ответил Дитрих. — Символ фашизма, его знамя, его герб... Пусть смотрит молодежное поколение.

Никто не смотрел на фашистский символ: Цветы покрыли уже всю площадь мемориала, а люди все шли и шли, и несли цветы, и бережно укладывали их, расправляя веточки и бутоны.

— Пойдем,— еще раз сказал Дитрих,— надо купить цветы.

Двигались медленно, глядя по сторонам. В параллельном ряду девушка в нарядном платье, приседая, клала к могилам белые и красные гвоздики, которые подавал ей юноша, извлекая из огромного букета... Шел совсем дряхлый старик — ему уже не нагнуться с цветком,— то и дело останавливаясь, читая надписи и грустно качая головой. Многие из них на русском языке: «Здесь лежат гордые сердца», «Вы погибли с горячей верой в победу вашей родины», «Но нас будет больше», «Ваша смерть — долг для живущих».

— Смотри,— кивнул Дитрих,— Люсе было меньше, как ему, на срок лет...

Сергей Александрович обернулся — на обелиске, похожем на раскрытую книгу, слева было написано: «Люся Лобова. 1928—1944» — а справа: «Максим Тарасенко. 1888—1944». Крылов не ответил.

— О чем ты молчишь, Серьежа?

— О том, что ты сказал: ей шестнадцать, ему пятьдесят шесть. Они шли рядом... Спасали родину и мир от фашизма.

Вскоре цепочки людей по призыву из микрофонов потянулись по тропкам лесопарка к огромной поляне, где предстоял митинг. Сюда собралось шесть тысяч человек.

— Кто они?

— Все люди,— пожал плечами Дитрих.— Можно не спрашивать, тут все профессии — чиновники, слесари, также инженеры и крестьяне. Все люди. Это есть все ряды народного населения западных немцев.

С трибуны говорил пастор Ганс-Иохен Швабедиссен:

— Под ветвями сосен и берез, между цветущими кустами вереска,— он протянул руку в сторону мемориала,— расположены могилы русских солдат. Мы должны говорить от имени тех, кто не успел этого сделать, от имени тех, кто стал жертвой ужасающих фашистских преступлений. Должны выступить против сытого самодовольства людей, не желающих вспоминать о прошлом. Лучшая память погибшим — борьба против сил войны. Но борьба не с оружием в руках, а оружием разума, силой убеждения.

Как изменился мир! Крылов не раз бывал в Западной Германии и всегда встречал к себе самое теплое отношение даже незнакомых людей только потому, что был из Советского Союза. Но то были частные случаи. А тут...

Точно разгадав его мысли, Дитрих сказал:

— Это все есть ваши друзья, Серьежа. Бергер сюда не приходит.

— Бергер?!

На следующее утро Крылов и Грюнер отправились в Фау Фау Эн. Дитрих отбирал документы, где встречалась фамилия Панченко, и переводил текст. Фрау Клюге занималась своими делами, роясь в шкафу, а Генрих, забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, что-то искал на стеллаже под самым потолком.

Папка уже подходила к концу, и настроение Крылова портилось. Ясности не было, хотя фамилия Панченко, как и говорил Грюнер, встречалась часто.

— Видишь, сколько много Панченко,— заметил Дитрих.

— Верно, много, но, как бы это сказать... абстрактно, что ли. Ты читаешь: «В конце августа майор Бергер и бургомистр Панченко посетили такие-то хутора». Но это ни о чем не говорит. Из этого неясно, предатель Панченко или подпольщик.

Грюнер посмотрел на него с удивлением.

— У тебя есть самый главный документ. «Жесткий допрос не дал результаты... снабжал оружие... главарь банды». Разве мало?

- Неясно, что это за документ.
- Ясно, совсем ясно, донесение начальника гестапо полковника Тринкера.
- Значит, Тринкер гестаповец?
- Конечно.
- А теперь подумай. Мог ли быть при коменданте-майоре гестаповец в чине полковника?
- Грюнер задумался.
- Нет.
- Конечно, нет. Выходит, сначала кто-то из более мелких чинов гестапо донес Тринкеру, а уже тот в Берлин. И хорошо бы поэтому найти первый донос.
- Такой документ нет, Серьежа. Только протокол от допроса, одна страница, наверное, от пожара, видишь, края горели.
- Ты ничего не пропустил? Нет ли данных о том, что стало с Панченко? Жив он или нет?
- Нигде не известно, я совсем внимательно смотрел. Теперь никто не знает.
- Нет! — вырвался у Крылова неожиданно резкий жест. — Один человек знает. Точно знает!
- Кто знает?
- Бергер.

18

В тихом районе Мюнхена, где воздух достаточно свеж, а в густой зелени, обрамляющей редкие особняки, распевают птицы, расположен отель для собак Иоганна Бергера.

Огромный щит на высоком шесте издали гарантирует «любовь и ласку» светящейся симпатичной морде пуделя. Впрочем, эта реклама — единственная дань современности; и литая кружевная ограда с надписью «Hunde Hotel», и само здание, приземистое, темно-вишневое, с башенками и разновысокими окнами в частых переплетах, и ухоженный парк за домом — все обещает самым изнеженным клиентам обслуживание на солидной добропорядочной основе без всякой примеси презренной синтетики и прочей заразы современной эпохи эрзацев.

Начищенный до зеркального блеска «фольксваген» Грюнера остановился у отеля рядом с другими машинами, но, увы, среди них — шикарных, респектабельных — выглядел довольно жалко. Из него вышли Линда с собачкой, Грюнер и Крылов.

В большой гостиной отеля их встретила Эльза Биттер, средних лет женщина, аккуратно, со вкусом, но неброско одетая. Встретила так, будто только их и ждала.

В подобного рода отеле Крылов оказался впервые. На стенах фотографии прекрасных в своем уродстве собак, подстриженных самым немислимым образом. Стрижка сделала головы животных круглыми, как шар, или квадратными, даже многоугольными. Причудливую форму обрели хвосты, ноги, корпус. Целую стену занимал застекленный шкаф, заполненный предметами собачьего обихода. Различного рода и размера обувь на шнурках, «молниях», кнопках, попоны, штанишки с бахромой, шортики с золотистыми металлическими пластинками, чепчики и шапочки, множество всевозможных ошейников и поводков — все это лежало на полках, висело в шкафу. У другой стены — кресла, диванчики, пуфики для хорошо воспитанных собак, впрочем, других сюда и не приводят.

Пока Крылов рассматривал гостиную, Грюнер объяснил фрау Биттер, что ему необходимо дня на два определить собаку и он хотел бы узнать, в каких условиях она будет находиться.

Изящно присев, Эльза ласково потрепала собачку.

— Главный наш принцип, — разъяснила она, — индивидуальное об-

служивание. Собачке мы создаем те условия, к которым она привыкла дома. Нам необходимо лишь знать ее характер, привычки, вкусы. У нас лучшие повара, они приготовят любимое блюдо. Наши ветеринары внимательно наблюдают за их самочувствием.

Эльза мило улынулась. Казалось, глаза ее говорили: «Что еще вы можете придумать? Все у нас предусмотрено».

— Сколько это будет стоить? — осведомился Грюнер.

— Общий стол и общий режим — двадцать пять марок в сутки. Надеюсь, — снова обворожительная улыбка, — вы предпочтете индивидуальный уход. К сожалению, сейчас мне трудно назвать точную сумму. В зависимости от услуг, но не более ста марок.

Пока шел этот разговор, Крылов посматривал на двери. Их четыре. Видимо, за одной из них — Бергер. Выйдет ли он? Озабочен и Грюнер. Не собачку же устраивать они пришли. И он спросил:

— Можем ли мы посмотреть вольеры и места прогулок?

— Разумеется. Но наш принцип — не тревожить лишний раз собачек. Надо получить разрешение хозяина. Одну минуточку. — И — вошедшая любезность — она исчезла за дверью.

По короткому коридору вышла на большую, всю в зелени площадку, где служащие в белых халатах прогуливали собак, так похожих на своих собратьев, запечатленных в гостиной отеля господина Иоганна Бергера. Вдали угадывались вольеры.

Эльза приблизилась к высокому забору из камня, покрытому вьющимися растениями. Отворила калитку, которую никак нельзя было предположить здесь, и попала в иной, неожиданный мир. Все было серо и мрачно. Высокие шлакоблочные стены ограждали территорию размером с хоккейное поле. На нем множество сооружений словно для тренировки пожарников — кирпичная стена с зияющими провалами окон, лестница, приставленная к сараю, узкие мостки, щиты, разной высоты заборы шириной в несколько досок. Чуть дальше — водоем.

Справа — затянутые металлической сеткой вольеры. В них нервно перебирали ногами огромные овчарки. Поблизости стояли несколько человек из тех, что были в пивной, и Бергер.

Он рывкнул короткое, как удар, слово, указав куда-то рукой. Распахнулась решетка одного из вольеров, и из него рванулся волкодав. Мгновенно набрав немислимую скорость, вытянувшись чуть ли не в прямую линию, перемахнул через высокий щит, сверкая оскалом, устремился на человека в специальном костюме, похожем на водолазный. Тот стоял, широко расставив ноги, но ему бы все равно не устоять, не увернись он ловко, точно матадор от быка. И снова прыжок на грудь. Началась борьба.

Эльза приблизилась к хозяину.

— Господин Бергер, — сказала она несмело, — клиенты хотят посмотреть отель.

— Черт бы их побрал! — недовольно буркнул он. — Идите, сейчас.

Вскоре он появился в гостиной. Первый взгляд бросил на собачку, а потом уже на ее хозяйку и Грюнера, а Крылова, стоявшего в стороне, и вовсе не заметил.

— Добрый день, добрый день, — засияла на его лице улыбка. — Хотите посмотреть? Пожалуйста... Фрау Эльза, покажите гостям наш рай.

Готовясь к визиту в отель, как ни ломали голову, не могли придумать, с чего начать разговор с Бергером, как подступиться к нему. Махнув рукой, Крылов наконец сказал: «Поедем, и все. Там видно будет». Ему верилось — этому выродку тоже захочется поговорить. Захочется покуражиться, поиздеваться над русским, торжествуя свою победу на суде. Поиздеваться, конечно, не даст, а покуражиться?.. Черт с ним, любую цену готов уплатить, только бы узнать правду о Панченко.

Когда Бергер появился в гостиной и заговорил, Грюнер вопросительно посмотрел на Сергея Александровича. Не знал, как вести себя — переводить или ждать, пока Крылов сам проявит инициативу. Его взгляд перехватил Бергер, и он увидел Крылова.

— O, das sind Sie?!¹ — Почти неуловимо в глазах вспыхнула настороженность и тут же погасла, уступив место стойкому благодушию.

— Извините, — вежливо сказал Сергей Александрович, — немецким не владею.

— Немецким трудно завладеть, мой таинственный русский детектив, — двусмысленно заметил Бергер. — Держу пари, вы здесь не случайно... Это уже наша третья встреча. Вы ведь из России?

— Да, из Советского Союза, — подтвердил Крылов. — Журналист Крылов Сергей Александрович. И я действительно здесь не случайно — моим друзьям надо пристроить собачку.

Бергер обернулся, но Эльза уже увела гостей.

— Прекрасный экземпляр, хотя жрет много сладкого.

— Я восхищен вашим русским языком.

— Это не мой язык, — выпалил Бергер и уже мягко, с подчеркнутой иронией добавил: — Значит, приехали из России помочь устроить собачку?

— Нет, приехал по культурной программе — посмотреть ваш вевиль в здании суда.

— И как? Понравился?

— Опытный режиссер ставил.

— Что же вам от меня надо? Собираетесь писать «Репортаж из фашистского логова»? — Слова выплеснулись глухо и жестко.

— Отнюдь. Просто его величество случай привел в ваш отель. Впрочем, в силу профессиональной привычки мог бы и побеседовать с вами.

Бергер метнул острый взгляд, но безмятежный вид собеседника ничем не грозил, и, широко улыбнувшись, он развел руками:

— Ну что ж, давно не практиковался. Чашечку кофе?

Бергер распахнул задрапированную дверь, и Крылов очутился в кафе. Всюду висели, стояли, лежали изображения собак — фотографические и фарфоровые, деревянные и бронзовые. Спинки кресел венчались собачьими головками. На лужайке — она хорошо просматривалась сквозь стеклянную стену — тоже собаки, но живые, совершали ритуал прогулки. Иначе не назовешь этот парад выхоленных представителей собачьей аристократии под присмотром белых халатов.

Хозяин испытующе посмотрел на гостя и, видимо довольный произведенным эффектом, указал в дальний, сравнительно пустынный уголок:

— Прощу вас.

Пока они шли между столиками, лоснящиеся бургеры, экзальтированные старухи и томные дамы, расплываясь в улыбках, приветствовали Иоганна Бергера; это насытило его тщеславие, и, устроившись в кресле, он не глядя бросил кружевной официантке:

— Два кофе, Эрика, два коньяка.

— Хорошее у вас кафе. — Долгожданная фраза прервала паузу.

— Благодарю. Это самое удачное предприятие в моей жизни. Бог подарил мне на склоне лет место, где я могу отдохнуть душой среди этих замечательных людей... — Поймав вопросительный взгляд Крылова, пояснил: — Все они заядлые собачники... — И помолчал, пока официантка ставила угощение. — Без преувеличения — все их проблемы замыкаются на благополучии их четвероногих любимцев. — И указал на лужайку. Засопев, достал из кармана большой плоский портсигар.

— Наверное, немало людей согласились бы не иметь иных проблем.

¹ О, это вы?

— О! Русский! Свернуть любую тему на политику, разодрать себе душу до крови по любому поводу, да еще отравить этой заразой человечество — вот ваша отличительная черта.

— Что ж, если политика — это забота о завтрашнем дне человечества, а не борьба за господство на костях другой нации, то стоит и, как вы говорите, разодрать душу.

— Знаете, далекое будущее покажет, кто был прав. Когда глоток воды станет дороже золота, а ваша любимая махорка будет выдаваться по большим праздникам — человечество вам спасибо не скажет!

— К счастью, человечеством в целом движет созидание, а не потребление, иначе общество уже давным-давно пришло бы к тому, что вы только что нарисовали.

— Сдаюсь! — поднял руки и загоготал. — Бегу записываться в коммунисты. — Отхлебнув кофе, увидел царапину на поверхности стола и озабоченно погладил ее пальцами. — И все-таки странные вы люди. — Задумался, устремив тяжелый взгляд на собеседника. — Если бы вас не было на земле!

— Да, решить эту задачу вашему гению с усиками не удалось. И если бы вы, господин Бергер, не были так запрограммированы, то, естественно, задали бы себе вопрос «почему?».

— Давно известно почему: генерал мороз плюс Англия и США были на вашей стороне.

— Не надоело? Вы сами только что ответили почему. Потому что мы странные люди, такие, например, как Панченко. — Крылов вдруг поймал себя на том, что боится ответа.

А Бергер не торопился. Видимо, раздумывал и он, как вести себя.

— Курите, господин Крылов, — раскрыл он портсигар.

— Спасибо, сигары не курю.

— Панченко, говорите, — равнодушно сказал Бергер. — Надежный человек, он и сейчас работает на меня.

Крылов стойчески выдержал удар, ничем себя не выдав. Медленно отхлебнул глоток коньяка. Глядя сквозь двери на собачий рай, спокойно даже безразлично спросил:

— Разве он жив?

— Гм... жив. Размазня он, ваш Панченко, на третьем допросе дух испустил... Жаль, очень жаль. Он заслужил допросов десять.

— Не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Испустил дух, а потом стал работать на вас?

— Конечно, вы это сами видели. Видели, как на процессе он всю вину взял на себя, — оскалился Бергер.

Крылов закурил. Задумчиво сказал:

— Это был настоящий герой.

Бергер не ответил. Тщательно прицелившись, откусил щипчиками кончик сигары, не торопясь раскурил ее.

— Нет, дело не в нем. Просто подлецом оказался Тринкер. Скажи он мне, что раскрыл банду Панченко, а не рвись втайне от меня к начальству, чтобы выслужиться, все было бы по-другому. И генеральское звание и новый пост... — Бергер вдруг умолк, точно спохватившись. — Впрочем, — он отхлебнул глоток кофе, — грех жаловаться, о лучшей жизни трудно мечтать. Как видите, — победно обвел взглядом свой рай, — живу неплохо. Даже участвую, как вы выразились, в спектаклях... Но это был последний. Премьеру мы дали там, у вас. И последующие спектакли проходили у вас. Я ни в чем не могу упрекнуть себя, моя совесть чиста — за доставленную мне неприятность я взыскал дорогую плату, сполна рассчитался с вашими героями, включив их в свои спектакли. Кроме главаря Панченко, мы уничтожили целый пласт ваших героев из-его шайки и дотла сожгли их жилища. О-о, это было прекрасное зрелище, жаль, вам не довелось его увидеть. Зато насладились последним спектаклем.

У Крылова хватило сил сдержаться.

— Нет, это не последний,— сказал он спокойно.— Последний еще предстоит, такой, как Нюрнберг. А насчет цены вы правы — мы дорого заплатили, чтобы мир увидел вас. Взгляните в зеркало — именно в таком виде вы предстали перед человечеством.

Голова Бергера как бы помимо его воли дернулась, и он увидел свое отображение на зеркальной стене — разъяренный оскал, обезумевшие, налитые кровью глаза. Лицо мгновенно изменилось, и на нем появилась гримаса, должно быть от усилий улыбнуться.

— Еще чашечку кофе?

— Нет, извините, мне пора.— Крылов поднялся, обернулся к официантке.— Рехнунг, битте.

19

Жизнь надломилась. Разве только надломилась? Рухнуло все. Все, к чему стремился, чего достиг за долгие десятилетия. Авторитет, уважение, слава, высокое и устойчивое положение в обществе — все, добытое трудом и талантом, стерто, сметено.

Надо начинать сначала. С первого шага, с первой ступеньки, на которую поднимается человек, вступая в жизнь.

Начинать... Хорошо начинать, когда тебе двадцать и все впереди. А в шестьдесят с запятанной биографией начинать поздно. В шестьдесят люди уже думают, как достойно завершить. Теперь не получится достойно. Поздно... По вине такого-то оклеветан герой. Это прочтут все. В учетной карточке в графе «Взыскания» появится запись, если, конечно, саму карточку не отправят в архив.

Не надломилась — рухнула жизнь. Из редакции придется уйти... На паровоз? Так нет же теперь паровозов... Куда девать глаза, когда появится в редакционном коридоре, в кабинете главного?

При любой болезни весь организм человека мгновенно мобилизуется на борьбу с недугом. Сам организм вырабатывает противоядие. Это относится не только к физическим болезням. Помимо воли Крылова где-то в глубинных недрах сознания зрели, пробивались иные мысли и возбуждали энергию и желание действовать, бороться, все настойчивее оттесняя на задний план те, что были так безысходно мрачны.

Нет, не за себя бороться — за истину. За попранную истину, за героя растоптанного и раздавленного. Кто это сделал? Кто уже мергвого патриота облачил в отрепье предателя?

Он распутает весь клубок, какими бы тугими узлами его ни затянули, куда бы ни спрятали кончик ниточки. Это станет целью жизни...

К дому он подъезжал, уже имея твердый план действий. Продумал и линию поведения с женой.

В Шереметьеве самолет приземлился рано утром. У стойки таможенного досмотра женщину, стоявшую впереди него, спросили, почему везет так много шарфиков.

— Это сувениры,— ответила она.— Семья, родственники, масса друзей, не могла же я вернуться без подарков.— В ее голосе было недоумение.

Крылов с досадой поморщился. Надо было, конечно, что-нибудь Ольге привезти, хотя ему, понятно, не до подарков... Но разве объяснишь?

В здании аэровокзала обошел несколько ларьков и киосков и, к радости, обнаружил изящную имитацию жемчужной нити, сделанную в Чехословакии.

Он жил у Речного вокзала, и лихой таксист довез его минут за пятнадцать. Ольга еще спала. Он так и думал, что еще спит. Отпер дверь, поставил чемодан, привычным жестом не глядя повесил плащ, забросил на полку шарф.

— О-оля! — Он направился в спальню. — Петушок пропел давно.

Ольга раскрыла глаза, приподнялась на постели.

— «Какое чудесное жемчужное ожерелье у мадам Крыловой! Как, вы разве не знаете? Это ей муж из ФРГ привез».

— Сережа! — Ольга отбросила одеяло, прыгнула с постели, обняла его. — Какая прелесть! Как настоящий жемчуг. Недаром ты мне всю ночь снился.

— Нихт ферштейн! Не понимайт руссиш фрау.

Они стояли у зеркала и смеялись.

— Сейчас будем завтракать, посмотри пока почту, там целая гора.

Писем и в самом деле было много — отклики на очерк о Максимчуке, просьбы обиженных, приглашения на различные заседания и вечера. Мельком просмотрев их, пошел в ванную. Ольга уже хлопотала на кухне.

— Ну что тут у вас нового? — спросил, растираясь полотенцем. — Кто женился, кто развелся?.. Кто звонил?

— Твой главный — без тебя жить не может. Герман Тихонич...

— Трофимович... Не должен был звонить.

— Ну да, Трофимович. Сказал, чтобы по возвращении немедленно явился.

— Не говорил зачем? — входя в кухню, спросил он.

— Нет. Еще Константин твой бесценный звонил. Полчаса донимал, чтобы твой адрес дала. Сумасшедший, откуда я могу знать?

Они сели завтракать, но еда не шла ему в горло. Поковырял немного вилок, закурил. Ольга настороженно посмотрела на него.

— Ты, часом, не болен? Какой-то ты не такой.

— Такой я, такой. Спать в самолете не умею, ты же знаешь. — За натянутой улыбкой он прятал напряжение. — Оленька, свари кофе покрепче... или вот что — рюмочку коньяка.

— У тебя неприятности? — Она достала темную бутылку и маленькую рюмочку.

— С чего ты взяла?

— По всему вижу. В такое время, например, никто не пьет. — Она остановила на нем долгий взгляд, сказала ровным, почти безразличным голосом: — Может, хватит играть в прятки? С чем ты вернулся?

— С жемчужным колье. — Шутка прозвучала неуместно. — Разве оно тебе не понравилось?

— Понравилось, а вот ты...

— Ну хорошо, — поднялся он. — Соберись с силами, Ольга, и будь умницей. Мне очень нужна твоя поддержка... Панченко не предатель, а герой. Установил точно.

— Та-ак... — Наступила долгая пауза. — Документально подтверждается?

— Документов пока никаких, но убежденность полная.

Сергей Александрович встретился со взглядом, полным удивления и возмущения.

— Так подшей свою убежденность к делу... — Она нервно заходила по комнате. — И что дальше?

Сергей Александрович налил в рюмку коньяк, не торопясь выпил.

— Дальше? Найду, как ты говоришь, документальные подтверждения и выступлю.

— И кто в этом выступлении предстанет клеветником?

— Хватит, Ольга! — Нервы его не выдержали. — Неужели ты не понимаешь?..

— Не понимаю! — не дала она договорить. — И как человеку, если он не сумасшедший, понять! У тебя громадный авторитет, только что орден получил, тебе верят, как пророку, и вдруг ты сам на всю страну... И все как в пропасть. — Она говорила, едва сдерживая слезы. — Только-только из долгов вылезли после покупки машины, встали наконец на ноги, а ты опять за свое. — И залилась слезами. Неожиданно быстро

пришла в себя, сказала спокойно и твердо: — Сережа, тебя же никто не заставляет писать, ведь никто ничего не знает.

Она смотрела ему в глаза. И он смотрел на нее пристально, не мигая. Прошло всего несколько мгновений, но обоим они показались бесконечно долгими, потому что в эти мгновения в их жизни решалось что-то большое, главное.

— Ты понимаешь, на что идешь? — тихо спросила Ольга.

— Понимаю. Но если гестапо замучило героического человека...

— И что? Ты вернешь ему жизнь? Ведь ничего не изменится.

— Да, не изменится, — загремел он, — на века герой останется предателем. Это будет переходить из поколения в поколение. И дети его, и внуки, и правнуки будут потомками предателя. И виной тому будет воинствующее мещанство, стремление любой ценой, даже ценой подлости, уберечь свой уют, свое гнездышко...

Он умолк и тут же снова заговорил. Голос стал мягким, просящим:

— Это же не катастрофа, Ольга. У меня еще есть и руки и голова...

— Нет, головы у тебя нету. Ты болен! У тебя мания величия! Ты возомнил, что можешь искоренить все зло на земле. Ты вечно балансируешь на краю пропасти, лезешь в дела, которые умные люди за версту обходят. Тебе просто везло. Хватит! Остановись! Будь как все люди. Ты даже тряпку паршивую боишься попросить у директора магазина, хотя все это делают.

С какой-то усталостью в голосе Крылов сказал:

— При чем тут магазин, тряпки?.. Впрочем, тряпки для тебя всегда были главными в жизни.

— Не намерена отвечать на провокацию, — спокойно сказала она. — Ничего дурного не вижу в том, что люблю красивые вещи и хочу жить без извержений вулканов. Это моя жизнь, и она у меня одна, другой не будет.

— Одна живем?

— Да, если хочешь. Я никому не приношу вреда. А ты со своими красивыми лозунгами методично изводишь, мучаешь человека, который зависит от тебя материально.

Еще несколько минут назад у Сергея Александровича теплилась надежда, что Ольга поймет его. Теперь рухнуло все.

Похоже, понимала это и Ольга. Она вышла в другую комнату и, закрыв рот платком, разрыдалась.

Прохоров возвратился из ФРГ на три дня позже Крылова. В день отъезда пригласил Грюнера на проводы. Беседа шла оживленно. Юрий Алексеевич то и дело наполнял рюмки добротной русской водкой «на винте», сам готовил бутерброды, толстым слоем накладывая икру. Расспрашивал, как провели они время с Крыловым, где удалось побывать, с кем встретиться. Спрашивал, похоже, для приличия, между прочим, больше делясь собственными впечатлениями. Грюнер охотно рассказывал об отеле для собак, с возмущением поведал о наглости, с какой Бергер беседовал с Крыловым.

— Вы втроем были? — безразличным тоном спросил Юрий Алексеевич.

— Нет, мы с Линдой поджидать его возле отеля Бергера, он потом говорил для меня подробности.

По приезде в Лучанск, прежде чем отправиться домой в Липань, зашел к Гульге. Выслушав его, Петр Елизарович заходил по кабинету.

— Выходит, не так прост этот борзописец, — нарушил молчание Прохоров.

Гульга, ушедший в свои мысли, не уловил слов. До него дошел только звук голоса.

— Что? — остановился он.

— Крылов, говорю, глубоко копает.

Гулыга не ответил. Снова зашагал из угла в угол. Потом уселся в свое кресло на колесиках, корпусом подтянул его к столу, устался на Прохорова.

— Выходит, пора, Юрий Алексеевич.

— Самое время, пока не поздно.

20

Тяжело было на душе у Крылова, когда он вошел в кабинет главного редактора. Но в глаза это не бросалось. Свежая рубашка, чисто выбрит, внешне спокоен.

Герман Трофимович стоял у открытого окна, безучастно смотрел на тихую, почти безлюдную улицу.

Услышав приветствие, обернулся, сказал тоном, не предвещавшим ничего хорошего:

— Что же это ты, неделя как приехал — и глаз не кажешь?

— В отпуске я, Герман Трофимович, в отпуске.

— Как съездил? На Западе без перемен?

— А у вас? Вы звонили?

— Звонил. Садись.

Указал на стул и сам пошел к своему месту у стола. Достал сигарету и попросил у Крылова спички. Сергей Александрович щелкнул зажигалкой. Прежде чем прикурить, Герман Трофимович внимательно посмотрел на нее, многозначительно взглянул на Крылова, вернул ее.

— Хорошая зажигалка.

Вошел сотрудник с газетной полосой, покосился на Крылова.

— По номеру, Герман Трофимович, можно?

— Через три минуты. — И направился к сейфу. Извлек три конверта с подколотыми письмами. — Садись вон там и почитай, — протянул Крылову письма. — Только молча, без восклицаний.

— Что это?

— Почитай-почитай.

Сергей Александрович отошел к столику в дальнем углу кабинета, уселся, пролистал письма, отыскивая подписи. Одно большое было от Гулыги и два маленьких — от Чепыжина и Хижнякова. Начал с письма Гулыги, предчувствуя недоброе. Ему хотелось побыстрее пробежать это письмо, но читал медленно, произнося про себя каждую фразу:

«Уважаемый товарищ редактор! Нелегко мне было решиться на это письмо, но иначе поступить не мог. Если человек знает о преступлении и не сообщает о нем, хочет он того или нет — становится соучастником преступления. Только эти соображения и побудили меня обратиться к Вам. Я обязан написать Вам тем более потому, что Ваш корреспондент тов. Крылов весьма высоко оценил мои скромные заслуги, и если не сообщить о его более чем недостойных проступках, а речь пойдет именно об этом, значит, принять его выступление как плату, а точнее — взятку за молчание. Совесть не позволяет мне этого.

Итак, по существу. Дней десять тов. Крылов находился в Лучанске и с первого же дня установил интимную связь с некоей Зарудной Валерией Николаевной. С возмущением говорили об этом люди, знавшие, что фактически он проживал не в гостинице, а у нее. Предоставленную ему автомашину для поездок в совхозы и на заводы использовал для загородных прогулок с Зарудной. Однажды, зная, что водитель не обедал, не постеснялся продержать «Волгу» у дома Зарудной несколько часов.

Писать о таких вещах неприятно, стыдно, и ни за что не стал бы пачкать руки, не служив связь с Зарудной объяснением более недостойных действий Крылова. Год тому назад была отвергнута ее политически вредная диссертация, искажавшая наше героическое прошлое, где, в частности, она пыталась возвести в герои предателя Родины Панчен-

ко, чьи руки обгарены кровью многих советских людей. Делала это в угоду своему сожителю — сыну предателя.

Я не знаю, с каким заданием редакции тов. Крылов приезжал в Лучанск второй раз, но вот чем он у нас занимался, известно доподлинно. Пользуясь своим высоким положением, вернее, злоупотребляя им, очевидно, под влиянием Зарудной уговаривал людей подтвердить, будто Панченко был патриотом.

Приведу еще факт на первый взгляд настолько мелкий, что и писать о нем неловко, но уж очень выпукло он характеризует моральный и нравственный облик человека.

Перед отъездом из Лучанска тов. Крылов зашел попрощаться и просил прослушать тезисы его статьи. Я усомнился, надо ли, ведь речь там шла обо мне. Однако тов. Крылов возразил — кто же лучше знает вашу биографию, надо проверить, не напутал ли чего. Я согласился. Фактические данные были изложены правильно, о чем и сказал ему. После этого тов. Крылов попросил подарить ему зажигалку, которую взял с моего стола, чтобы прикурить. Откровенно говоря, мне не жаль было этой довольно дорогой вещи, но она была дорога мне как память. Ее подарили западногерманские рабочие в знак уважения к нашей стране, а вручили мне, поскольку я возглавлял нашу делегацию в ФРГ. Я и сообщил ему об этом. Выслушав, тов. Крылов положил зажигалку в карман и, усмехнувшись, сказал: «Ничего, вам еще подарят».

Не стал бы я писать и об этом, не к лицу мне, не соверши тов. Крылов ошибок, носящих политический характер. Имею в виду следующее.

Во время своего пребывания в ФРГ он установил контакты с военным преступником, ярким фашистом Бергером, который в период оккупации был комендантом нашего района. Он чинил жестокие расправы не только над партизанами, но и уничтожал мирное население. С этим палачом тов. Крылов имел по меньшей мере две встречи. Одну — в мюнхенской пивной, откуда начинал свой кровавый путь Гитлер, являющейся и ныне пристанищем недобитых и неофашистов, вторую, наедине, в собственном отеле фашиста. Не знаю содержания их бесед, известно лишь, что вышел от него тов. Крылов изрядно выпивши. Эти встречи происходили не только без санкции советского посольства, но и втайне от него.

Пишу это письмо с большой болью и сочувствием к тов. Крылову, ибо давно знаю его по печати как острого партийного журналиста, да и при личном знакомстве он произвел на меня самое лучшее впечатление, лишь немного омрачившееся злополучной историей с зажигалкой. Другие факты, изложенные выше, мне стали известны в самое последнее время, и у меня не было возможности предостеречь его хотя бы от ошибок, допущенных в Лучанске. Будем надеяться, что он извлечет из них должные уроки и мы вновь увидим на газетных полосах его злободневные, по-настоящему партийные выступления.

С уважением П. Гулыга.

Генеральный директор промышленного объединения „Луч”».

Второе письмо было от Хижнякова. Он сообщал, что всю жизнь с огромным уважением относился к работникам советской печати — людям, несущим правду народу, и его поразило, когда Крылов настоятельно требовал засвидетельствовать письменно, будто кровавый предатель Родины Панченко был патриотом. Он-то устоял перед Крыловым, но могут найтись малоинформированные товарищи, которые под влиянием специального корреспондента и его большого авторитета напишут под его диктовку то, чего он требует.

Чепыжин сообщил, что Крылов, добиваясь письменных подтверждений, будто Панченко не был предателем, пытался ревизовать решения партийных органов и тем самым скомпрометировать их в глазах многих людей.

Герман Трофимович о чем-то говорил с сотрудником, правил полосу, время от времени бросая взгляд на Крылова.

Выражение лица Сергея Александровича менялось самым странным образом. Он был удивлен, возмущен, взбешен и наконец рассмеялся.

— Ну? — сказал редактор, когда сотрудник вышел. — Что это так рассмешило?

Крылов ответил испуганно:

— А сигналы о том, что я совершил убийство, ограбил банк и захватил в самолете заложников, еще не поступали?

— Напрасно иронизируешь, Сергей Александрович, — строго сказал редактор. — Смешного мало, документы серьезные.

— Серьезные... Расчет на нокаут... Молодцы, сволочи!

— Чем это ты так доволен?

— Не верю, что вы верите в это. Они выдают себя с головой. Что я успел узнать? Только нащупал болевую точку — и вдруг такой шквал... Прошу отозвать меня из отпуска и срочно послать в Лучанск.

— Верю или не верю, в Лучанск других придется посылать. А из отпуска отзываю. С сегодняшнего дня... Ну а шквал... Боюсь, нам, вернее тебе, против него не устоять...

— Герман Трофимович! Вы не первый год меня знаете, неужели у вас...

— Потому и поражен, что не первый год знаю... Дай, пожалуйста, прикурить...

Крылов вынул из кармана зажигалку, щелкнул.

— Нет, в руки дай. — Положил на ладонь, как бы взвешивая, покрутил в руках. — Что же мне, не верить, что это заграничная зажигалка? Или что она меньше ста долларов стоит? Где ты ее взял?

— Так он же навязал мне! — разгорячился Крылов. — Сказал — она грош стоит, у него целый ящик таких.

— Что он говорил, не знаю, в чужие ящики не заглядываю, а вот что он написал — ты читал.

Герман Трофимович вызвал секретаршу, велел срочно пригласить секретаря парткома, ни с кем не соединять и никого не пускать в кабинет.

На пятый год работы в редакции Юрия Андреевича Скворцова — ему тогда было двадцать восемь лет — избрали секретарем парткома. И в свои сорок он оставался руководителем партийной организации. И не потому, что не было на это место подходящих людей, напротив, немало авторитетных коммунистов с большими организаторскими способностями вполне могли бы заменить его. Но ни на одном отчетно-выборном собрании просто не возникало другой кандидатуры. Его же собственные просьбы и самоотводы никто во внимание не принимал.

Для всех хорош не будешь — давно известно. А он что же? Для всех хорош? Выходит, для всех, хотя никогда никому не угождал и своими принципами не поступался. Он не походил на встречающийся в литературе да и в жизни тип руководителя. Не было у него металла в голосе, не было категоричных, точно в последней инстанции, суждений. Слушая оппонентов, он искренне стремился абстрагироваться от своей еще не высказанной точки зрения, соглашался с предлагаемой. Если находил к тому малейшую возможность, соглашался. А уж если душа не принимала, раскрывал ход своих мыслей, и такой убедительностью они отличались, что не принять его оценку событий и поступков людей просто казалось немислимо.

В противовес Скворцову суждения главного редактора Удалова почти всегда были эмоциональны, категоричны, порой резки, и выводы свои делал, будто не заботясь о том, насколько они обоснованы и убедительны. Взгляды обоих на различные явления, как правило, совпадали, однако выступления Скворцова принимались органично, с удов-

летворением, а сказанное — по сути то же самое — Германом Трофимовичем чуть ли не как навязанное.

При всем различии характеров роднило их не только единомыслие по принципиальным вопросам, но и другое, чего не мог не видеть и не ценить коллектив, — чувство справедливости. Правда, и здесь некоторые преимущества оставались за Скворцовым. Если человек провинился, он должен быть наказан — в этом оба были единодушны. А на меру наказания смотрели по-разному. Жестче был главный. Не мирясь ни с какими нарушениями дисциплины, он проявлял лишь в одном вопросе невиданную мягкотелость по отношению к Скворцову.

Еще будучи студентом, Юрий Скворцов увлекался футболом. Играл центральным нападающим в факультетской команде, затем в университетской сборной. К нему присматривались тренеры знаменитых футбольных клубов, от одного из них он получил почетное приглашение. Юрий был тогда на втором курсе, и перед ним открывалась довольно заманчивая перспектива. Он отказался от нее. С годами, хотя сам уже не играл, страсть к футболу не проходила. Не пропускал ни одной международной встречи. Если по графику его дежурство по номеру совпадало с интересной игрой, приходил к главному, моляще смотрел на него: «С Бразилией играем, Герман Трофимович...»

Удалов тоже был неравнодушен к футболу. Ненавидел его. Увлечение людей этой глупейшей, на его взгляд, игрой называл безумием века. Вынужденный все же печатать отчеты о матчах, читал их придирчиво и если встречал фразы, где говорилось о талантливости, творчестве, вдохновении игроков, вычеркивал эти слова с такой яростью, что рвалась бумага.

Недовольно и молча выслушивал просьбы Скворцова, пожимал плечами, но график дежурства менял. Смирился и с тем, что в дни ответственных игр Скворцов не ходил на заседания редколлегии. Однажды не выдержал. «Не понимаю, — сказал он с возмущением, — как можно увлекаться игрой, требующей интеллекта не более, чем при перетягивании каната». Юрий Андреевич ответил спокойно и серьезно: «Если человек хочет иметь друзей без недостатков, он останется без друзей. Считайте это моим недостатком».

Удалова взорвало, но он смолчал. И к тому были причины. Он чувствовал перед Скворцовым вину, и его терпимость была как бы платой за свою вину. Когда появилось вакантное место заместителя главного, все были уверены — назначат Скворцова. Целесообразность такого назначения не вызвала сомнений и у Германа Трофимовича. Однако тогда пришлось бы избирать нового секретаря парткома. А об этом он даже думать не хотел. Решаются вопросы не главным и его заместителем, а треугольником, где партийный руководитель играет паритетную роль. Поэтому и не выдвинул кандидатуру Скворцова.

Порой Удалова мучила совесть: все-таки задержал он продвижение человека, которое тот вполне заслужил. Искал для себя оправдания — и находил. Все идет своим чередом. Именно он, Удалов, провел Скворцова от стажера факультета журналистики до члена редколлегии и заведующего партийным отделом. Вот скоро на пенсию, и тогда — уж этого он добьется — Скворцова сделают главным. Герман Трофимович искренне так думал, хотя на пенсию всерьез не собирался.

Оба они одинаково хорошо относились к Крылову. Ценили за острое перо, за ясную и четкую жизненную позицию. И не счесть, сколько раз они собирались втроем. Не на официальные совещания и не в застолье, а просто обсудить сложные проблемы редакционной жизни.

И вот они вновь втроем.

Когда вошел Скворцов и, пожав руку Крылову, сел напротив, Герман Трофимович тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и кивнул Крылову:

— Рассказывай.

Крылов, казалось, собирался с мыслями. Понимал — надо давать объяснения, оправдываться, убеждать. Нужны спокойствие, выдержка, неопровержимые доказательства. Нужно быть очень собранным. А в нем все бушевало. Самые резкие слова готовы были сорваться с языка и, конечно, выплеснулись бы, но его отвлек Скворцов.

— С письмами я знаком, Сергей,— сказал он безразлично.

Будто волна подкатила к горлу. Как же много дала эта фраза Сергею Александровичу! Даже не фраза, а одно слово. Только одно слово — «Сергей».

Они всегда называли друг друга по имени. Однако за всю их долгую работу в редакции на любой официальной встрече, будь то заседания редколлегии, парткома, летучка или планерка, обращались друг к другу официально — по имени-отчеству или фамилии. А тут куда уж официальной — и вдруг «Сергей». Нет, не бездушные чиновники собрались судить его, а собратья по труду.

И он рассказал все. Не торопясь, без эмоций — только голые факты. Начал с донесения гестапо, рассказал о возникших сомнениях, о встречах с Голубевым, Зарудной, Бергером, о сыне Панченко. И историю с зажигалкой изложил. Гулыга сказал ему, что не покупает зажигалки. Их дарят ему экспортно-импортные организации.

Наступила долгая, тяжелая пауза. Нарушил молчание Удалов:

— Верить этим письмам не хочется, но проверять придется.

— Придется — альтернативы нет,— заметил Юрий Андреевич.— А хочется или не хочется, уж и не столь важно... Тут столько неясных вопросов,— потер он лоб,— и не поймешь, с чего начинать.

— С ясных, Юрий Андреевич,— уверенно сказал главный.— С совершенно ясных — с фактов, которые не отрицает и Крылов. Вся история с Зарудной, лжесвидетельства, попытка ревизовать партийные решения и прочее требуют, конечно, тщательной проверки. Но два фактора, на мой взгляд решающих, ни в какой проверке не нуждаются. Что, например, нам делать с зажигалкой? Пусть все выглядит так, как говорит Крылов. Хорошо, предположим, допускаю. Но то, что вещь дорогая, ясно ребенку. И взята у человека, о котором автор дал восторженный очерк. Это же бесспорно. И как прикажете сей факт расценивать?

— Так, Герман Трофимович...

— Минутку, минутку,— не дал он договорить Крылову.— Это во-первых. Во-вторых, допускаю сомнительную необходимость встречаться с военным преступником, не имея на то задания редакции, более того, перед поездкой я предупреждал его — не ввязываться ни в какие истории. И все-таки допускаю, с трудом, но пусть, понять это как-то можно. А вот вовсе не могу понять, как такой политически зрелый человек не догадался посоветоваться в посольстве. Тебе ли не знать, что в чужой стране посольство — это и советская власть, и партия, и верховный орган для любого советского гражданина?

— Догадался,— резко сказал Крылов.— Думал об этом, но побоялся — как бы на всякий случай не запретили...

— Не дело говоришь! — оборвал Скворцов.— Думал, но не пошел? Значит, правильно написано «втайне от посольства»?

— Читайте — втайне, считайте как хотите! — Крылов в сердцах швырнул на стол карандаш, который нервно вертел в руках.

— Так мы ни до чего не дойдем, Сергей, давай без истерики,— спокойно сказал Юрий Андреевич.

И снова это «Сергей» охладило Крылова. А главный наседавал:

— Все ли ты рассказал? С чего бы вдруг столь уважаемый человек, как Гулыга, стал придумывать? Чем ты ему насолил? За что он хочет тебе мстить? Давай уж все начистоту.

— Ничем не насолил, и нет причин мстить мне. Это не месть, ему важно вывести меня из какой-то своей игры. А что это за игра — я пока

не могу понять, не знаю. Но я напал на какой-то след, и ему надо, чтобы по этому следу не шли.

Скворцов, казалось, пропустил длинную тираду мимо ушей. Неожиданно спросил:

— У тебя с собой зажигалка?

Сергей Александрович с готовностью достал ее.

— Золотая, что ли? — повертел ее в руках Скворцов.

— Платиновая, с бриллиантами внутри,— вырвалось у Крылова.

— Если золотая, на ней должна быть проба,— пропустил его слова мимо ушей Герман Трофимович.

Юрий Андреевич внимательно рассматривал зажигалку. Достал носовой платок, тщательно протер.

— Так-так-так...

— Нашел? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Нашел... Нашел, что Гулыге верить нельзя.

— Нет пробы — это еще ничего не значит. Он и не пишет, будто она золотая.

— Так-то оно так, а только верить ему нельзя. Видите,— он провел пальцем по плоскости,— тут была надпись, вот, сохранились едва заметные контуры букв «Экспортлес».

— Ну и что? — пожал плечами главный.— Что от этого меняется?

— Все меняется...

Герман Трофимович вопрошающе посмотрел на него, потом поднялся, категорично сказал:

— Завтра соберем редколлегию и назначим комиссию для проверки фактов.

— Видимо, так,— согласился Юрий Андреевич.— Но достаточно ли этого?

— Две комиссии назначьте, а в них четыре подкомиссии! — не сдержался Крылов.

Юрий Андреевич осуждающе покачал головой. Помолчав, сказал:

— Вот я над чем думаю, Герман Трофимович. Работник такого масштаба, обремененный огромными заботами, можно сказать, государственного значения,— станет ли он проявлять еще и заботу о нравственности приезжего человека, копясь в интимных связях, следить, как использовалась машина, и прочее?

— Что же ты думаешь, это липа? Не Гулыга писал? — насторожился Удалов.

— Нет, другое думаю. Допускаю: человек кристальной чистоты, не выносит нарушений наших моральных устоев, вот и пишет. Можно бы так сказать. Да вот крючочек один тут цепляется. Вроде совсем пустяковый факт. Надпись на зажигалке сделали западногерманские рабочие, когда дарили ее Гулыге? Или приобрели в Экспортлесе, стерли ее, а потом уже подарили? Выходит, Крылову он говорил правду о происхождении зажигалки, а нам написал...

— Мне это неинтересно,— резко сказал Удалов.— Откуда бы не появилась у Гулыги зажигалка, вины с Крылова это не снимает.

— Согласен, верно,— подтвердил Скворцов.— А вот повод не доверять автору письма дает основательный. Более того, не оставляет сомнений в попытке усугубить вину Крылова, ввести нас в заблуждение. Во имя чего?

— Вот я и говорю: комиссия все проверит.

— Комиссии это будет делать неловко, Герман Трофимович. Как выяснять? С ним беседовать? С его подчиненными? Членами делегации, которую он возглавлял? Значит, откровенно выразить ему недоверие, подрывать его авторитет. Пока на это права мы не имеем. Все-таки пишет человек, у которого никаких личных счетов с Крыловым нет.

— Напротив, он должен быть благодарен Крылову.

— И еще одно соображение,— продолжал Юрий Андреевич.— Мы,

естественно, не можем принять за истину утверждение сына Панченко, будто его отец являлся организатором партизанского движения в районе, а его заслуги приписал себе Гулыга, но и полностью игнорировать это едва ли правильно. Надо проверить...

— Мы уже два часа сидим здесь запершись, что с полосами — не знаем, — раздражился главный. — Ясно, что письма надо проверить, давно решили. Что еще ты предлагаешь?

Юрий Андреевич ответил спокойно:

— Если суммировать все сказанное, мы вправе предположить, как утверждает Сергей Александрович, что здесь нечто иное, может быть, более серьезное, а не только забота о чистоте нравов. Поэтому и предлагаю — комиссия комиссией, пусть работает, не бросая авансом никакой тени на Гулыгу, а нам необходимо срочно запросить Центральный архив партизанского движения о его деятельности во время войны.

— Не возражаю. — Главный нажал кнопку, вызвал Марию Владимировну и, не вдаваясь в объяснения, попросил срочно сделать запрос.

— Я уже давно сделала, только в архив не партизанского движения, а Министерства обороны. — Она виновато улыбнулась.

— Молодец, Маша, — улыбнулся и Герман Трофимович. — Как это ты додумалась?

— Просто думала, анализировала... Много сомнений.

— Ну что ж, полнее будем знать человека. Но и партизан запроси.

21

В кабинете главного редактора собралось человек пятнадцать, в большинстве люди немолодые, хорошо знающие друг друга. Были среди них и друзья Крылова, и просто члены редколлегии, уважающие его, и такие, как Калюжный и заведующий отделом фельетонов Дремов, давно питавший к нему неприязнь.

Заседание редколлегии достигло той критической точки, когда выдержка стала покидать людей и страсти все больше накалялись.

В приемной редактора Верочка перебирала бумаги, тревожно скидывая глаза на дверь своего шефа, откуда временами доносился шум, неясный гул голосов.

Влетел запыхавшийся Костя.

— Давно начали?

Бросила взгляд на стенные часы, ответила почему-то шепотом:

— Второй час дерутся.

— Черт меня понес на этот митинг, — с досадой махнул он рукой. — Я должен был повидать его раньше их.

Костя приоткрыл дверь, приставив ухо к щели. Услышал резкий, раздраженный голос Дремова: «Надоело разбирать жалобы на Крылова! Чуть не каждое его выступление опровергают!»

— Вот сволочь! — выругался Костя.

— Закрой, мне влетит.

— Подожди, — отмахнулся он.

«Прошу без выкриков» — Костя узнал голос Германа Трофимовича. Вера встала и закрыла дверь.

— Влетит мне, понимаешь?

— Ты можешь зайти туда?

— Только если позовут.

После длинной реплики Дремова поднялся Андреев.

— Нельзя же все валить в кучу. Он разоблачал проходимцев, они и жаловались на него, клеветали. Ведь ни одна жалоба не подтвердилась.

— Какая же аналогия! — вскочил Калюжный. — Не проходимец жалуется, а Гулыга, которого прославил сам Крылов. За это, что ли, он клеветает? Где логика? Нонсенс!

— Потому что подлец! — выпалил Крылов.

И сразу несколько голосов:

— Вы же писали, что он герой!

— Скажу честно, — продолжал Андреев, — мне лично не верится, что Крылов на все это способен. Вдумайтесь: станет ли он в угоду Зарудной толкать людей на лжесвидетельства?

— Так почему они жалуются? Почему пишут? Они же не о себе хлопочут, им-то ничего плохого Крылов не сделал.

Андреев, никак не отреагировав на реплики, продолжал:

— Ничего зорного не вижу и в том, что корреспондент воспользовался машиной директора.

— Чтобы поехать на квартиру к женщине, а шофер пусть ждет, пока они там будут развлекаться! — съязвил Калюжный.

— Клевета! — стукнул кулаком по столу Крылов.

— Товарищ Крылов! — повысил голос редактор. — И вы, товарищ Калюжный! Невозможно так работать!.. Вы кончили, Василий Андреевич?

Андреев хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и сел.

— Разрешите все-таки мне, — поднялся Калюжный.

— Вы уже два раза выступали и десять реплик подали. Что еще? — не пряча недовольства, отрезал редактор.

Калюжный не смутился.

— Еще вопросы. Только вопросы. — Он продолжал подчеркнуто мягко: — Были ли вы, Сергей Александрович, ранее знакомы с людьми, которые пригласили вас в Мюнхен, с людьми, проживающими в Баварии, то есть в центре западногерманского неофашизма?

Крылов ответил резко, зло:

— Нет, не был и сейчас не знаю их! Но...

— Нет, нет, не надо комментировать, — прервал Калюжный. — Только «да» или «нет». Ответ меня удовлетворяет, прошу занести в протокол. Еще вопрос. — Такой же мягкий, бесстрастный тон. — Это правда, Сергей Александрович, что вы установили контакты и встречались с фашистским преступником Бергером? И консультировались ли вы по этому поводу с советским посольством?

— Но это же придирка, случайно встретились... — подал кто-то реплику.

— Нет, не случайно! — повысил голос Крылов. — Я сам искал с ним встречи.

— Бо-олван! — обернулся к нему убежденный сединой сосед.

— Все у вас? — нетерпеливо спросил Герман Трофимович.

— Последний вопрос. Последний. — Голос уже не просто мягкий — елеинный. — Это правда, Сергей Александрович, вы признаете, что пили вместе с ним, пожимали его руку, обогрели кровью сотен советских людей?

По кабинету прокатился неодобрительный гул.

— Да, пил! — в ярости закричал Крылов. — И к бабам вместе ходили и в игорный дом, и мои руки тоже в крови! — Он уже задыхался. — Что еще?! Валяйте! Мирбаха убил, рейхстаг поджег! Довольны?!

Поднялся невообразимый шум. Со всех сторон понеслись реплики:

— Сумасшедший!

— Чего он добивается?

Костя ходил по приемной — взад-вперед, взад-вперед.

— Они его заключают!

— Не думаю, — преградила ему дорогу Верочка. — Не в первый раз.

— Такое в первый раз.

Они стояли у дверей, прислушиваясь. И вдруг наступила тишина, в которой зазвучал голос поднявшегося Скворцова.

— Все противостоестественно, товарищи, — начал Юрий Андреевич. —

И эта истерика у Крылова, и то, что сегодня мы должны говорить о его поведении. Это один из лучших, надежнейших наших людей. И редколлегия и мы в парткоме всегда могли на него положиться. Мы не можем сбросить со счетов его многолетнюю безупречную работу, не можем не считаться с его авторитетом в коллективе.

— Начинается,— обернулся Калюжный к соседу.

Но Сворцов услышал.

— Да, начинается, товарищ Калюжный. Начинается объективный разбор и прекращается демагогия. Мы не можем исходить из наскоков товарищей Калюжного и Дремова, как и из того, что в запальчивости наговорил здесь Крылов. Факты, приведенные в письмах, требуют самой тщательной проверки, и я не понимаю, почему мы сейчас начали обсуждение. Похоже, нас охватила, к сожалению, кое-где бытующая растерянность, даже страх перед жалобой, пасквилем, анонимкой. Главный довод товарища Калюжного: пишут же! — под которым подразумевается: нет дыма без огня. Но бывает огонь без дыма и целые дымовые завесы без огня. Да, пишут. Пишут на многих, кто разоблачает зло. Но не рано ли только на этом основании без должной проверки обвинять человека чуть ли не в политических преступлениях? Вспомните, скольких людей за последние годы редакции пришлось защищать от облыжных обвинений, наветов, клеветы. Что же нам, пугаться писем, поднимать крик, уподобляясь паникеру в бою? А товарищ Калюжный с ходу дал бешеные обороты, за ним не глядя устремился товарищ Дремов, готовы включиться в эту гонку да и некоторые другие товарищи. Погодите, друзья. Остыньте, задумайтесь, покарать успеем. Ведь мы же люди. Давайте сначала разберемся, почему пишут. Действительно ли ими руководят высокие нравственные начала или нечто иное.

Негромкий голос Сворцова действовал отрезвляюще.

— К сожалению, некоторые ошибки, в том числе морально-этического характера, товарищ Крылов допустил бесспорно. Имею в виду прежде всего историю с зажигалкой, хотя в письме Гулыги история эта столь же бесспорно подается в искаженном виде...

— Позвольте,— прервал его Калюжный,— вы призываете нас все проверять, а сами авансом, без проверки обвиняете товарища Гулыгу в преднамеренных искажениях.

— Благодарю за поправку, Петр Федорович,— без тени иронии заметил Сворцов.— Я не сказал «преднамеренных», но принимаю такую формулировку, именно преднамеренных искажений. Утверждаю это, ибо сей грустный факт установил точно и в надлежащее время приведу доказательства.

Калюжный смолчал, и, выждав немного, Сворцов продолжал:

— Крылов да и другие наши товарищи не раз встречались на Западе с фашистским охвостом. Однако каждый раз с ведома или по поручению редакции. На этот раз подобного задания не было. Но товарищ Крылов не мальчик, не начинающий репортер. Мог на подобную встречу идти и по личной инициативе, под свою собственную ответственность. И нам надо выяснить, вызвана ли эта встреча необходимостью, узнать, чем он руководствовался. Все это предстоит проверить, установить и только после этого судить человека. Надеюсь, товарищи, моя точка зрения ясна. Это не просто моя точка зрения, это элементарная норма поведения, норма нашей жизни...

Костя присел у двери — прижал ухо к замочной скважине. Услышав эти слова, резко поднялся, в упор посмотрел на Верочку.

— Прошу тебя, передай ему.— Вытащил из кармана несколько писем.— Они могут спасти его.

Вера решительно отстранила их.

— Тогда вот,— извлек он пропуск на московскую Олимпиаду.— В Лужники, в Крылатское, в Олимпийскую деревню — куда хочешь пойдешь...

— Что ты меня за дурочку принимаешь? — обиделась Верочка. — Он же именной, с твоей фотографией...

Костя не смутился.

— Знаешь, сколько лет было Зое Космодемьянской, когда она совершила свой подвиг?

— Ну? — Она не понимала, куда он клонит.

— Меньше, чем тебе сейчас. А ты рискуешь прожить всю жизнь, не совершив ни одного подвига. Зайди и передай Крылову, шепни, что это связано с Панченко. Не выгонят же тебя с работы!

Она колебалась.

Костя схватил с подоконника поднос, поставил на него бутылку, стаканы, сунул ей в руки вместе с письмами.

— Иди! — И распахнул перед ней дверь.

Верочка неуверенно шагнула в кабинет. Когда она вошла, говорил Крылов:

— Не разделяю суровых оценок некоторых моих ошибок и вовсе не считаю ошибкой встречу с Бергером. Но вина моя велика. Куда бóльшая, чем здесь говорилось, — я ошибся в людях и своей публикацией поддержал преступную ложь.

Вера поставила на стол бутылку, стаканы. На нее косились, но никто ничего не сказал — все внимание было сосредоточено на Крылове. Ей было трудно к нему пробраться, и, беспомощно взглянув в его сторону, она вышла. А Крылов продолжал:

— Уверю вас, товарищи, что-то очень серьезное кроется за письмами. Какие-то силы хотят вывести меня из строя. Пока они победили. Но, поверьте, я не себя защищаю. Вы можете освободить меня от работы, но я как коммунист буду добиваться истины и не успокоюсь, пока не раскопаю нору, на которую наткнулся, пока не выползут наружу те, кто в ней прячется.

В волнении он умолк. Немного успокоившись, твердо сказал:

— К редколлегии у меня одна просьба. Большая просьба. Не создавайте комиссий. Дайте мне возможность самому привести неоспоримые доказательства того, о чем я говорю. А не представляю их, сам положу на стол партийный билет.

Ни на кого больше не глядя, он сел. И в тишине раздался насмешливый голос Калюжного:

— Комиссия уже создана, уже проголосовали.

Большинство присутствовавших сочувствовали Крылову, хотя некоторые его просчеты были очевидны. Люди задумались. Мучительные мысли роились и в голове Германа Трофимовича. Он не намеревался проводить обсуждение писем, хотел лишь огласить их и создать комиссию. С этого и началось заседание редколлегии. А дискуссия возникла стихийно, сама по себе. В состав комиссии из трех человек вошел и Калюжный. Его кандидатуру первой назвал Дремов. Удалову не хотелось вводить в комиссию Калюжного, но отводить председателя месткома было неловко. Да и не хотелось заводить нового спора. Теперь, наблюдая его поведение, представил, как могут развернуться дальнейшие события. Положим, сделать его председателем никто не даст, но все равно он ляжет костями, чтобы замарать Крылова. Даже при таких условиях в конце концов истина восторжествует, но какой ценой! Скольких нервов будет стоить!

— Что вы сказали? — неожиданно обернулся он к Калюжному. — Проголосовали? А кто проголосовал?

— Как кто? Мы все, редколлегия. Что вы, Герман Трофимович?

— Ах мы сами? — протянул он, будто только сейчас узнал новость. — Так мы же можем и переголосовать, учитывая новые обстоятельства.

Люди насторожились. К чему клонил редактор, не понял никто. А Калюжный возмутился:

— Какие еще новые? Мы что-то не слышали их.

— Во-первых, рекомендую говорить в единственном числе. Присутствующие не уполномочивали вас выражать их мнения. Что касается лично вас, значит, плохо слушали. Новые обстоятельства — заявление Крылова. Это не тот человек, который легко бросается партийным билетом. Заявление серьезное, и я лично склонен поддержать его, ибо верю слову Крылова — честному слову коммуниста. Думаю, пора возродить это уходящее из нашего обихода понятие. Вокруг человека, не сдержавшего слова, должна быть создана и соответствующая атмосфера. Каждый из нас обязан чувствовать: не сдержал слово — значит, в корне подорвал свой авторитет, опозорил себя, вызвал неприязнь и недоверие коллектива. Надо вернуть цену честному слову. Это поможет нам работать, дисциплинирует людей, заставит не бросаться словами, ответственнее относиться к своим действиям. А сейчас что? Дал слово и не выполнил... Ну и не выполнил, и ничего особенного, никто всерьез и не осудит. Нет, надо добиться, чтобы честное слово воспринималось как святое. Нарушение его должно караться как отступление от присяги, как измена... Извините, отвлекся, но за годы работы с Крыловым я убедился: именно так он понимает данное им слово. Потому и верю ему, потому и поддерживаю его просьбу.

Раздался одобрительный гул.

Еще минут десять продолжались споры, пока не пришли к общему решению. Просьбу Крылова удовлетворили, предложив написать объяснение.

Против такого решения голосовали Калюжный и Дремов, но им удалось настоять на втором пункте, сформулированном Калюжным: оплатить Крылову неиспользованный отпуск, от работы временно освободить, предоставив месячный отпуск за свой счет.

Люди покидали кабинет главного редактора, еще о чем-то споря. Крылов понуро шел один. К нему подбежал Костя.

— Сергей Александрович! Я вас уже больше часа дожидаясь. Мария Владимировна куда-то уехала и просила вас не уходить до ее возвращения... И вот — отдел писем передал вам важные письма.

Крылов не глядя сунул их в карман и направился в свой кабинет. Запер за собой дверь, сел в кресло. Голова шла кругом. С чего начинать? Набить морду Гулыге? Он усмехнулся — то-то будет торжествовать Калюжный... Раздался телефонный звонок. Он приподнял трубку и положил ее на место. Звонок повторился, но он больше не обращал на него внимания. Вскоре раздался стук в дверь. Крылов не ответил. И на второй и на третий, более настойчивый, тоже никак не отозвался. Из-за двери донесся голос Кости:

— Сергей Александрович! Вас срочно просит Мария Владимировна!

Он молча поднялся и пошел к ней. Едва появился в дверях, она сказала:

— Значит, освободили?

— Гм... Освободили. И кто это только придумал: слово, несущее радость... Освободили из-под гнета, от фашизма, из тюрьмы, наконец... Выгнали, Маша. Понимаешь, выгнали. Даже законный отпуск не дали отгулять... Но это еще не нокаут, только нокдаун. Из него нередко еще победителем выходят.

— Боюсь, что нокаут получишь сейчас. Я в архив Министерства обороны ездила. Прочти, — протянула ему бумагу.

Он быстро пробежал ее.

— Вот сюрприз! — Радостно засветились глаза. — Машенька, дорогая! — Схватил за плечи и поцеловал ее.

— Сумасшедший, — оторопела она. — Это ведь ужасно, — показала на бумагу.

— Ничего ты не понимаешь! Умоляю, Машенька, никому ни слова.

— Как же, Сергей? Официальный документ.

— Главному я доложу сам.— И, не дав ей опомниться, выскочил из комнаты.

22

Когда опустел кабинет главного редактора и остались только он и секретарь парткома, Герман Трофимович в волнении распахнул окно.

— Каковы, а? — заговорил он, не обращаясь к Скворцову.— Просто иезуитство левых эсеров.

— Разве вы ждали другого? — спокойно сказал Юрий Андреевич.— Как они поведут себя, было ясно и до заседания редколлегии. Не о них сейчас надо думать, а что нам делать.

— А черт его знает, что делать. Никакой фантаст не придумает того, что преподносит нам жизнь. Кто бы мог подумать... Крылов...

— Это все эмоции, Герман Трофимович...

— А что не эмоции?! — взорвался редактор.— Весь человек — сплошные эмоции, если только он человек, а не бублик... Ну давай без эмоций, давай излагай факты, обобщения, выводы...

— Снова эмоции, — улыбнулся Скворцов.— А если без эмоций, то по закону мы не имеем права не создавать комиссии.

— Ин-те-рес-но. Почему же ты на редколлегии не додумался? Ничего не сказал?

— Именно там и додумался. Сознательно шел на это, выслушав «левых эсеров». Был рад вашему предложению — переголосовать. Калужный не ветки — стволы ломал бы, чтобы опорочить Крылова... А Крылов говорил правду.

— Что это с тобой? — Герман Трофимович направился было к своему столу, но остановился.

— Вдумайтесь, — Скворцов сел поглубже в кресло, — вдумайтесь в его поведение. Всю кашу заварил он сам, начиная с донесения гестапо, о котором, кстати, мог бы и умолчать. Что он стал доказывать? О чем заявил на редколлегии? Выдвинул гибельную для себя версию, будто Панченко — патриот. Это не жест. Человек, достигший высокого положения, признания читателей и во имя истины идущий на то, чтобы все это рухнуло, совершает не просто благородный поступок, а подвиг. Нравственный подвиг. Такой человек не станет, не сможет обманывать.

Герман Трофимович тоже уселся в кресло.

— Да, такой человек обманывать не способен, — согласился он.— Ну а ошибаться? Мы можем застраховать все — от примуса и автомобиля до жизни человека. А вот страхового общества против ошибок еще не создано на планете. И от них не застрахован никто, даже...

В эту минуту в кабинет ворвался Крылов. Торжествующе шлепнул о стол бумагу:

— Вот! Читайте!

Это было письмо из архива Министерства обороны, которое только что он взял у Марии Владимировны. Оба потянулись к нему, и тут же Герман Трофимович приказал:

— Прочти вслух.

И он прочитал:

«На ваш запрос за номером Р/103 от 16 июля 1980 г. сообщаем, что в период 1941—1945 гг. Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, в офицерском составе танковых войск Советской Армии не значится. Рядовой Гулыга Петр Елизарович, 1920 года рождения, проходил воинскую службу в ремонтной мастерской 312-го танкового полка 243-й танковой дивизии с 3 января по июль 1941 г. 28 июля 1941 г. в период передислокации полка рядовой Гулыга П. Е. пропал без вести».

Молча сидели ошеломленные Герман Трофимович и Скворцов. В сильном возбуждении ходил по кабинету Крылов. Юрий Андреевич

молча потянулся к столу за письмом, молча прочитал его. А вслед за ним и Удалов, будто не верилось им в услышанное. У обоих еще были живы в памяти героические подвиги, смелые рейды в тыл врага командира танкового взвода капитана Гулыги, ярко описанные Крыловым.

Заговорили, перебивая друг друга. Один за другим возникали и тут же отвергались планы дальнейших действий. Было ясно: вопрос выходит далеко за рамки личного дела Крылова. Дело серьезное, запутанное, и одному с ним не совладать. Назначить комиссию? Но только что решили комиссию не создавать.

Крылов настаивал на своем — напишет подробное объяснение по трем письмам, изложив не только факты бесспорные, в том числе содержание архивного документа министерства, но и свои предположения, которые пока доказать еще не может, и отправится в Лучанск за доказательствами.

— Как частное лицо? — спросил Скворцов.

— А как же еще! — с упреком ответил Сергей Александрович. — От работы же меня отстранили.

— Сделаем так! — Герман Трофимович мягко стукнул ладонями о стол. — Выпишем тебе командировку в Лучанский обком партии. В обком прежде всего и явишься. По их поручениям, если найдут нужным, и будешь действовать... Как, Юрий Андреевич?

— Не возражаю.

Оба понимали: не очень-то законно давать командировку человеку, находящемуся в отпуске, а практически отстраненному от работы, да еще и по личным делам.

Не без внутренней борьбы Крылов решил все же начинать не с обкома. Как же идти в обком с пустыми руками? Правда, Гулыга уже схвачен за руку, никакой он не герой танкист. А все остальное? Дмитрий Панченко человек серьезный, коль твердо обещал, значит, договорился с Зарудной. И еще одно обстоятельство побуждало получше подготовиться, прежде чем идти в обком.

Письма, которые Костя передал Крылову, долго пролежали у него в кармане — забыл о них. Наткнулся случайно, уже перед отъездом в Лучанск. Письма короткие, злые и неаргументированные. Никаких фактов, одни слова.

Зато какие! Первое письмо, от пенсионера Григория Артюхова, содержало просто ругань в адрес Крылова. Автор возмущался, как это корреспондент возвел в герои такого проходимца, как Гулыга. Должно быть, в большой обиде на генерального директора человек, если так поносит его. Справка из архива Министерства обороны и клеветническое письмо в редакцию давали основания согласиться с оценкой Гулыги, которую давал Артюхов. Но ни этого письма, ни справки автор не знает. Следовательно, ему известны другие факты подобного характера, тем более что заканчивалось письмо так: «Пришлите корреспондента, и я расскажу ему, что из себя в действительности представляет Гулыга».

Второе письмо было от директора леспромхоза Забарова из соседнего с Липанским Чевыченского района. Здесь тоже было недовольство статьей Крылова и тоже без конкретных фактов. Только общие слова. Однако впечатляющие. «Если мне прикажут, — писал он, — скажи, что Панченко предатель, или клади голову на плаху, я положу голову на плаху». Какая же убежденность у человека! И разве можно с ним не встретиться?

О своей поездке в Лучанск Крылов никого не предупредил, не сообщил в обком, не попросил заказать номер в гостинице. С большим трудом устроился сам, и не в «Центральной», а в самой захудалой с громким названием «Байкал».

Ранним вечером Валерия Николаевна убирала свою маленькую однокомнатную квартиру, напевая грустную песенку.

Может быть, есть смысл чуть-чуть отвлечься и сказать хоть коротко о Валерии Николаевне, тем более что персонаж она далеко не второстепенный и встретиться нам с нею придется еще не раз.

Родилась она в сорок втором году в горящем Сталинграде. Пришлось переправлять ее на левый берег. Взрывались суда на реке, расплывался по воде горящий мазут, низко пролетали самолеты с крестами на крыльях: бомбили переправу. Отец прижимал девочку к груди, видимо не отдавая себе отчета, как крохотно это существо. Когда причалили на другой берег, обнаружили — ребенок не дышит. Тут кто-то подсказал, что надо бы по старому народному способу окунуть ребенка головой в воду.

Нынче наука ушла далеко, и новорожденных пускают плавать под водой, а то и роды под водой принимают, да, знать, народная мудрость опережает науку.

Растерянный отец готов был на все. Окунули ребенка в воду, держа за ноги. И девочка ожила. Понесли ее в загс регистрировать, хотели назвать Мариной, но работница загса сказала: «Вы слышали? Сегодня наша знаменитая летчица Валерия Харченко сбила в небе, под которым родилась ваша девочка, над Сталинградом двух немецких истребителей». И нарекли девочку Валерией.

Зачем вспоминать об этом? Какое значение для характеристики человека имеет факт биографии, относящийся к тому периоду, когда ему от роду было два дня?

Все-таки какая-никакая, а характеристика. Не мог такой знаменательный факт не оказать влияния на формирование человека. А потом, что ведь получается? Получается, что Валерия Николаевна, тогда еще крошка, а ныне тридцативосьмилетняя женщина, на себе испытала ужас тячайшей войны с фашизмом, которую выдержал наш народ. А это уже существенно для нашего рассказа.

Она окончила исторический факультет университета, студенткой еще вступила в партию, увлекалась общественной работой и вот теперь работает на строгой должности в архиве. Работа, надо сказать, для непосвященных может показаться сухой: папки, решения, постановления... В общем, архив. Но для Валерии Николаевны архив — это целый мир, далеко не познанный, во многом не разгаданный, и умеет она вскрыть и показать его живую суть. Здесь, в архиве, и слезы, и горе, и счастье людей. Здесь наше великое прошлое, и, не познав его, не постичь настоящего.

Не в силах оторваться от архивных папок, Валерия Николаевна часто брала их домой, для нее это было увлекательное чтение, захватывавшее сильнее, чем иной роман. Перед ней раскрывались великие баталии и подвиги одиночек, судьбы людей, причины неудач и истоки беспримерных побед. Здесь, в архивных папках, наткнулась она на документ, побудивший задуматься, так ли уж верна версия, будто Иван Саввич Панченко был предателем. И она стала разматывать тугой узелок.

...Она убирала свою маленькую уютную квартирку, когда раздался телефонный звонок. Подошла к аппарату:

— Слушаю.

— Ради бога, не кладите трубку, хотя это опять Крылов. Журналист Крылов Сергей Александрович. Здравствуйте.

— Да нет, — усмехнулась она, — я обещала Дмитрию Ивановичу.

Они условились встретиться на следующий день у нее на службе, прямо с утра. Он пришел к девяти, она уже сидела за своим столом. Крощечная комматюшка, повернуться негде, один стул для посетителя. Аккуратно, стопками разложены папки, книги. Они и на столе, и на окне, и на стеллаже, наполовину задернутом легкой портьерой.

Довольно сухо ответив на приветствие, предложила сесть.

— Валерия Николаевна,— сказал он проникновенно,— давайте забудем о нашей первой встрече. Будем считать, что это первая.— И он улынулся. Он явно призывал к доверительной, откровенной беседе.

— Давайте к делу.

— Ну что ж, к делу так к делу. Вы защитили диссертацию о партизанском движении в районе...

— К сожалению, не защитила, хотя и подготовила.

— Как?

— Сложный вопрос, не хочется об этом.

Разговор явно не клеился. Помолчав, Сергей Александрович сказал:

— Ну хорошо, все-таки подготовили... Это же научный труд! Масса проверенных деталей, их анализ. Значит, знаете...

Валерия Николаевна, не в силах подавить в себе неприязнь к нему, прервала на полуслове:

— То, что я знаю, вас не устроит.

Крылов сдержался.

— Я не устраиваюсь, Валерия Николаевна. Ищу истину.

— Хочу верить, но, признаться, еще не верю. И вы хорошо знаете почему...

Снова потянулись неловкие минуты. Она раскрыла папку, начала бесстрастно листать, стараясь успокоиться.

Похоже, взял себя в руки и Крылов. Не торопясь достал сигарету, но, окинув взглядом комнатушку, затолкал обратно в пачку.

— Курите, потом проветрю,— сказала миролюбиво Валерия Николаевна, доставая из стола пепельницу.

Он закурил, глубоко затянулся, еще раз...

— Валерия Николаевна, давайте все-таки разберемся. Я уже многое распутал, но остались противоречия. А истина может быть только одна. Одна-единственная! Утвердиться в моем убеждении мешает...— Он замаялся.— Как быть с выводами комиссии Прохорова?

— Дальше вы спросите: «Как быть со свидетельствами такого авторитета, как Гулыга?»?

— Не спрошу. Это подлец и негодяй!

Слова Крылова ошеломили ее. Испуганно и недоверчиво взглянула на него, настороженно спросила:

— Вы это правду...

— Тяжелую, горькую для меня, но правду.

— Это испортит вашу жизнь... Как мою... Мою вот изуродовали,— грустно сказала она.

— Новая загадка!

Она тяжело вздохнула:

— Никаких загадок... Мою диссертацию послали на заключение Гулыге как организатору подполья и партизанского движения в районе. И он написал: язык образный, автор много поработал, но допустил одну ошибку — Панченко, написал, не герой, а предатель. И привел массу «фактов». И расстрелы, и поджоги, и угон людей в Германию...

— Ну это же было,— сказал, точно извиняясь.

Она заговорила горячо, убежденно:

— Было, конечно, было, но только после того, как самого Панченко замучили в гестапо. При нем ничего этого не было. Он снабжал партизанские отряды, спасал людей, руководил подпольем, ходил по острiu ножа...

— Вот это и надо доказать.

— Я вам дам такие доказательства... такие доказательства...— Она не нашла нужных слов.— Но вы недооцениваете Гулыгу, его связи...— И словно спохватившись, настороженно посмотрела на него, настороженно спросила:— Но вы готовы опровергать свой очерк, опровергать себя?

— Вот вам моя рука,— раскрыл он ладонь, выжидающе глядя на нее.

И она подала ему руку. Это было деловое рукопожатие, только чуть больше, чем надо, длилось оно. Сами они едва ли заметили это. Беседа приняла другой оборот: говорили единомышленники, полностью доверявшие друг другу. И вместе разработали план действий. Решили прежде всего встретиться с членами комиссии Прохорова.

23

В интенсивном движении городского транспорта выделялся красненький «Запорожец». Тем и выделялся, что медленно шел по самому левому ряду, и, ругаясь, водители обходили машину справа.

За рулем, крепко сжимая его, вся в напряжении сидела Валерия Николаевна. Сзади настойчиво сигнализала «Волга», требуя дороги.

— Надо все-таки взять правее,— заметил Крылов, сидевший рядом. Она выбралась наконец из скоростного ряда, с облегчением вздохнула. На лице появилась горькая усмешка.

— Нет, не научусь. Давно бы избавилась, но неловко — мама подарила после смерти отчима...

Они были на окраине города, когда неожиданно для Крылова Валерия Николаевна круто и резко свернула на проселочную дорогу. Раздался свисток милиционера.

— Это нам? — насторожилась она.

— Нам. Повернули со второго ряда и не включили сигнал поворота.

— Ну что, останавливаться или черт с ним?

Крылов обернулся. Стража порядка нигде не было видно.

— Черт с ним,— махнул он рукой.— Где-то далеко от нас.

— Что далеко?

— Не что, а кто. Милиционер.

— Убедились? — вздохнула она.

— Честно говоря, убедился.

В это время выскочил откуда-то мальчишка, стал перебегать дорогу. Он был еще на порядочном расстоянии от них, машина шла медленно, можно бы даже не сбавлять скорость. Но Валерия Николаевна резко ударила по тормозной педали. Крылов успел упереться в панель. Мотор заглох.

— Сколько туда километров? — Сергей Александрович попытался сгладить неловкость, будто и не заметил, что произошло.

— Совсем близко, но вот видите,— обиженно развела она руками.

— Может, я сяду? — робко спросил Крылов.

— Ой, с радостью.

Сергей Александрович был опытным водителем. В конце войны, будучи уже редактором дивизионной газеты, держал лишнего наборщика, числя его шофером. А за рулем трудяги «ЗИС-5» сидел сам. Да и после войны, даже до того, как обзавелся собственной машиной, не упускал случая порулить. Повернувшись к Валерии Николаевне, спросил:

— Как вам удалось получить копию?

— Дмитрий Иванович дал, а ему — Прохоров. Они же не скрывают своих выводов, даже распространяют их. И люди верят. Новое поколение выросло, никто же ничего не знает... Вон к тем воротам,— показала она рукой.

Крылов затормозил в указанном месте. Поверх низенького забора видны были несколько приземистых зданий барачного типа с маленькими окошками под крышей. Это был совхозный скотный двор.

— Пошли? Я запру машину, а вы за штурмана — ведите!

— Нет уж, эксперимент должен быть чистым. Сами идите, а я посижу. А то еще скажете — под моим влиянием человек говорил.

— Обижаете, начальник,— отшутился Крылов.

— Начальника и спросите. Начальника кормоцеха Храмова. Всякий покажет.

Миновал огромный, как ангар, свинарник, вдоль которого тянулась бесконечная лента транспортера с кормовой массой, Сергей Александрович остановился у конторки с распахнутой дверью. Маленький стол, за которым энергично работал пожилой здоровяк, был покрыт разбросанными в беспорядке бумагами, будто их вывалили из корзины.

Представившись, Крылов спросил, что именно в деле Панченко проверял лично он. Храмов — член комиссии Прохорова. Ответ был столь неожиданным, что Сергей Александрович растерялся.

— Ничего я не проверял, — отмахнулся Храмов, — никакого дела Панченко не знаю.

— Но это ваша подпись? — нашелся наконец Крылов, показывая ксерокопию выводов.

— Моя подпись, ну и что?

— Но вы говорите...

— Да, говорю. Никакого Панченко не знаю, ничего не проверял, хотите, могу в том расписаться, давайте бумагу.

Крылов уставился на него.

— Что же, не глядя? Так можно и приговор себе подписать.

— А я и подписываю, — оживился Храмов. — Несколько раз в день подписываю. Вот смотрите, — схватил он пачку накладных, перебирая в руках, выдернул одну из них. — Вот. Видите? За пять тонн расписался, так? А принял? Э-э, то-то и оно. Хрюшка жалобную книгу не требует, за недолив-недомер не спросит... Или вот, — выдернул он другую бумажку, — горбыль сегодня привезли, расписался за пиловочник, кирпичика наверняка на тысячу штук меньше, тоже расписался...

Крылов был совершенно обескуражен. За свою журналистскую жизнь повидал он всякое, но такой откровенности в нечистых делах...

— Вас заставляют?

Храмов вопросительно посмотрел на него.

— Что заставляют?

— Ну... расписываться.

— Кто ж может заставить?! — удивился Храмов.

— Зачем же подписываете такую липу? — чуть ли не закричал он.

— Да вы что? Вчера народились? Не подпишу — слова никто не скажет, только на следующий день уже другой будет подписывать... И заметьте — за матценности. А тут, — с пренебрежением махнул на ксерокопию, которую Крылов все еще держал в руках, — какие-то слухи столетней давности. Да еще начальник подписал. Да я после Прохорова где угодно свой крючок поставлю...

Вид у Крылова был настолько растерянный, что Храмову вдруг стало жаль его. Сочувственно спросил:

— А мужик этот что — ваш родственник?

Накипевшее в Крылове выплеснулось.

— Нет! — сухо и резко сказал он. — Я ревизор.

Слова Крылова привели Храмова в веселое настроение.

— Ну и шутник же вы! Когда ревизор еще кальсоны в чемодан укладывает, я уже знаю, что едет. — И рассмеялся.

К конторке подходили какие-то люди с заявками, счетами, накладными, чего-то требовали, что-то доказывали, и Крылов, оттиснутый ими, смотрел на этого затурканного человека, и мысли его разбегались. Что это? Уверенность в безнаказанности? Бесхозяйственность, возведенная в норму? Или то и другое, вместе взятое? Вот бы в чем разобраться. И написать. Показать такую фигуру и тех, кто за ним стоит. Даже не спросил, кто пришел. Ничего не боялся. Конечно, и Храмову перепадает из доли хрюшек, пиловочника, кирпичика... Но не до этого было сейчас Крылову.

В машину он сел молча. Глядя на его удрученный вид, молчала и Валерия Николаевна. Не обращаясь к ней, он сказал:

— Ужасно, просто ужасно.
— Отказался говорить?
— Сказал. Больше чем надо сказал... Одним словом, в работе комиссии не участвовал.

— Затем и привезла вас сюда... Теперь к Сторожеву, совсем близко.

Ехали минут пятнадцать, не проронив ни слова. Остановились у здания сельсовета в центре широко раскинувшегося красивого села. Дома добротные, во многих дворах гаражи. И на этот раз Валерия Николаевна отказалась сопровождать Крылова. К председателю сельсовета Сторожеву он пошел один. Человек этот произвел самое благоприятное впечатление. Ему лет сорок, умное, спокойное лицо. Крылов представился и сразу приступил к делу. Извлек ксерокопию, спросил:

— Этот документ вам знаком?

Сторожев улыбнулся:

— Как видите, там моя подпись, значит, знаком.

— Меня интересует, какие факты в этих выводах установили лично вы. Знакомились ли с проектом документа, выслушали ли других членов комиссии, проверявших другие вопросы?

— Лично я ничего не устанавливал, — сказал Сторожев несколько смущенно. — Товарищ Прохоров прислал машину, просил срочно приехать, и я поехал...

— И что?

— Показал выводы комиссии, попросил подписать. Я внимательно прочитал их...

— И подписали? — не хватило у Крылова терпения дослушать.

— Да нет, говорю ему, вроде неловко, не участвовал я в работе комиссии. А он обиделся: «Кто, говорит, виноват, что не участвовали?» Так приглашения, отвечаю, ни разу не получал. А он и вовсе: «Вот так мы и выполняем партийные задания — сидим и ждем приглашения, а потом свысока людям недоверие высказываем, которые работали, проверяли». Стал я еще раз просматривать выводы, а он вдруг берет их у меня и говорит: «Ну вот что, раз не доверяете, берите мою машину, хотя езды у меня по горло, и езжайте по селам, сами проверяйте, ждите некогда, завтра к утру я должен сдать выводы в райком». И взялся звонить по телефону по своим делам. Подумал я... верно, пять подписей стоит, и сам он подписал, ну и я свою подпись поставил.

Крылов сидел, не глядя на председателя. И горько и тошно было на душе.

— Все точно, — выдохнул он наконец, подводя итог своим мыслям.

— Так и я думаю — точно. Люди все-таки работали.

До Крылова не дошел смысл его слов, да и не слушал он. Кажется, готов был излить свою злость на этом болване, да подумалось: может, не болван он вовсе, а толковый и честный человек, да слишком податливый и стеснительный. Постеснялся противиться натиску Прохорова, доверился подписям. Сколько же вреда приносит вот такая личная честность, а по сути гражданская беспринципность!

Он поднялся и протянул на прощание руку:

— Спасибо.

Быстро направился к выходу.

Сергей Александрович пересказал Валерии Николаевне весь разговор. Выслушав, она сказала:

— Ничего нового, я все это хорошо знала. Важно, что и вы убедились.

В тот день они побывали еще у трех членов комиссии. Двое из них, как и первые два, подписали выводы, никакого понятия о существовании дела не имея. А третий... Валерия Николаевна сказала, что с ним будет особенно интересно побеседовать. Это старый, всеми уважаемый учитель сельской школы Станислав Макарович Макаров.

Крылов назвал себя, раскрыл папку с документами и только хотел

здать свой стандартный вопрос — что именно он установил лично, — как старик, тяжело вздохнув, заговорил первым:

— Опять? — Он смотрел не на Крылова, а на бумагу. — Но так же нельзя. Я уже десять раз давал объяснения. — Руки у него подрагивали не то от старости, не то от волнения. — Могу повторить только то, что сказал товарищу Прохорову и всем, кто с этой бумагой приходил: подписать не могу.

— Позвольте, разве вы не подписали? — Крылов быстро взглянул на выводы и только сейчас увидел, что против фамилии Макарова подписи не было. — Извините, — растерянно сказал он, — я не обратил внимания.

Станислав Макарович, точно не слыша Крылова, горячо говорил:

— Меня же никто не спросил, могу ли участвовать в работе комиссии или нет. Просто поставили в известность, да и то когда принесли эти выводы. Поймите, мне много лет, и нет у меня сил заниматься всем этим...

— Станислав Макарович, дорогой, я совсем по другому поводу...

Но Макаров, ничего не желая слушать, твердил свое:

— А я, извините, никогда не пользовался чужим трудом, не могу я удостоверить то, чего не знаю. Не сомневаюсь, люди это установили, но не я, понимаете?

Крылов уже не перебивал старого учителя, дал ему высказаться до конца. Когда тот умолк, объяснил, зачем приехал. Выводы вызывают сомнения, убедился: люди подписывали их, не зная существа дела, — и ему теперь важно, как Прохоров заставлял подписывать, кто еще приходил с этими выводами.

Станислав Макарович слушал, чуть приоткрыв рот. Потом взмолился:

— Увольте меня, ради бога, от этой истории. Ничего решительно не знаю, не знаю, кто приходил, и не втягивайте меня, старого человека, в это дело. Не могу в нем участвовать ни в каком качестве...

— Нехорошо я все-таки поступила, — сказала Валерия Николаевна, выслушав Крылова. — Я его еще по школе знаю, нашего доброго Макарыча, училась у него. Честный и чистый человек.

— Почему же нехорошо? — не понял Крылов.

— Потому что знала — расстроится. Сознательно пошла на то, чтобы подвергать его новым испытаниям.

— Вы здесь ни при чем. Все равно поехал бы к нему. Я обязательно побеседую с каждым членом комиссии... А на сегодня хватит. Домой, а?

— Как хотите. Могу завтра взять отгул и снова сопровождать вас, благо знаю, кто где живет. А можете на моей таратайке поездить сами.

— Люблю благодарны, — улыбнулся Крылов. — Машина так преданно служит вам, а вы... Если всерьез, Валерия Николаевна, то я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Только знаете, мне обязательно надо в обком, но мне не терпелось встретиться с вами.

— Я польщена.

— Вы меня не так поняли.

— И вы меня не так поняли.

— Хорошо, перейдем на понятный для обоих язык. Мне придется еще разыскать неких Забарова и Артюхова. Вы не знаете таких?

— Нет.

— Не хочется просить машину в обкоме, да и не уверен, что дадут. Поэтому, если не возражаете, действительно воспользуюсь вашей.

— Но не бескорыстно. — Она лукаво взглянула на него. — К членам комиссии вы можете ездить сами, но в одну поездку обязательно возьмите меня. Правда, это не член комиссии, но без меня он вам ничего не скажет. А факты такие... они перевесят свидетельства всех членов комиссии, вместе взятых.

— Хорошенькая корысть! — рассмеялся Крылов. — Да за такое я вам платить должен... Что же за факты?

— Пока секрет. Хочу сюрприз вам сделать.

— Секретов всегда боюсь,— серьезно сказал Сергей Александрович.— Скажут тебе что-нибудь по секрету, а он окажется таким, что о нем кричать надо. Да молчишь, слово дал.

24

Не только двумя сахарными заводами и свекловодческими совхозами славился Липанский район. Свекольные поля занимали едва ли половину его территории, а дальше за небыстрой речкой почти до самого Лучанска тянулись густые, некогда скрывавшие партизан леса с болотами и коричневатыми блестками торфяных озер.

На поляну выбежала косуля, раздувая ноздри, испуганно вздрагивая, прислушиваясь к доносившимся с разных сторон крикам загонщиков, топталась на месте, не зная, куда броситься. Крики раздавались сзади, справа и слева — она рванулась вперед через поляну, туда, где виднелся еще покрытый утренним туманом лес.

Две темные фигуры притаились за деревом.

— Ваша, стреляйте, Артем Савельевич! — послышался шепот.

Медленно поднялся ствол ружья.

— Какая красавица! — восхищенно сказал человек и нажал спусковой крючок.

Грохнул выстрел. Косуля упала, забилась в предсмертных судорогах и затихла. Четыре человека с ружьями вышли из лесной тени и собрались возле бездыханного тела животного. Молча осматривали трофей.

— Чистая победа, Артем Савельевич! — нарушил молчание один из охотников.

— Что значит чистая? — спросил тот, к кому были обращены слова.

— Чистая? В боксе это нокаут, в борьбе — на лопатки, на охоте — в голову. Вот так, как вы... Пошли.— И он зашагал первым.

Вслед за ним, а это был Петр Елизарович Гулыга, двинулись начальник главка Артем Савельевич Ремизов, директор сахарного завода Юрий Алексеевич Прохоров и секретарь райкома Степан Андреевич Исаев.

Происходило это дней через десять после приезда в Лучанск Крылова.

После удачной охоты отправились в баню, находившуюся поблизости. Петр Елизарович забрался на самый верхний полок, подстелив махровое полотенце, и раньше, чем у других, залоснилось потом его уже тучнееюшее тело. Чуть ниже тоже на махровой, сложенной вчетверо простыне блаженствовал Артем Савельевич. Внизу рядышком расположились Прохоров и Исаев. В перерывах между смачным кряканьем и ударами веников вели они неторопливый разговор.

— Строители меня подводят,— вздыхал Исаев.— С них как с гуся вода — «объективные причины», а песочить в обкоме будут меня.

— Говори прямо, что нужно,— благодушно откликнулся Ремизов.

— Как всегда: стройматериалы.

— На район дать не могу,— решительно сказал Артем Савельевич,— и так перебрали, другие районы уже в глаза мне тычут... — И, помолчав, добавил: — Разве что объединению? Надеюсь, договоритесь с Петром Елизаровичем?

— Как будет себя вести... — отозвался Гулыга.

Это, разумеется, была шутка, но недаром говорится: в каждой шутке...

И будто сговорившись, все начали хлестать себя вениками, крякая, издавая нечленораздельные звуки восторга. И снова вытянулись на лавках в блаженной истоме.

— Все же, Артем Савельевич,— вздохнул Гулыга,— план Прохорову придется скорректировать.

— Раньше о чем думали? — недовольно ответил Ремизов. — Раньше, когда обязательства давали?

— Обязательства на бумаге, а свекла — она в поле растет. Неграмотная.

— Сколько там получается? — смягчился Ремизов.

— Девяносто три, больше не вытянем. Загрязненность большая, сахаристость низкая, — начал оправдываться Прохоров.

— Загрязненность... — В голосе начальства добродушная насмешливость. — Бандиты, очковтиратели. Нужен, ох как нужен вам добренький дяденька — Артем Савельевич, одним росчерком пера сбросит план процентов на десять, вот вам и премия, и знамя переходящее, и почет.

— Если не скорректировать — все объединение план завалит, — настойчиво продолжал Гулыга.

— И район в целом, — добавил Исаев.

Ремизов неодобрительно взглянул на него, сказал с укором:

— Если бы на план наваливались так дружно, как на меня... Попробую, пишите. Только мотивируйте поумней, не так, как в прошлом году. — И обернулся к Прохорову: — Между прочим, долго я буду жалобы на вас разбирать?

— Недовольные всегда будут, если твердую линию проводить.

— Линия линией, но надо уметь работать с людьми.

— Это вы о чем, Артем Савельевич?

— О Голубеве, например...

Исаев насторожился, разговор начал приобретать неприятный характер.

— Пора окунуться. — Он слез с полка, захватил простыню, вышел.

— А что с Голубевым? — удивился Прохоров. — С ним все в порядке.

— Теперь в порядке...

— Кстати, как там наш щелкопер поживает? Не в курсе, Артем Савельевич? — поинтересовался Гулыга. — Говорят, с работы его выгнали...

— По слухам, в какой-то многотиражке подвизается, жена от него ушла.

— Кто же с таким лопухом жить будет? — откликнулся Прохоров. — Закатилась его звездочка.

— Да-а, — вздохнул Гулыга. — А ведь какую карьеру мог сделать человек.

— Хорошо бы кваском поддать, — перевел разговор на другое Артем Савельевич.

— Бу сделано, — соскользнул с полка Прохоров.

Над каменной взметнулся ароматный пар, пополз в стороны, повис клубящимся туманом.

— Хорошо у вас. — Артем Савельевич снова взялся за веник. — Отличный денек. И охота удачная, не как в прошлый раз. — И неожиданно с чувством продекламировал: — Роняет лес багряный свой убор...

Пока шла эта мирная беседа, по лесной дороге неслась забрызганная грязью «Нива». Узкая лента изрядно побитого асфальта прорезала старый, густо заросший подлеском бор. Машина свернула на просеку, перегороденную шлагбаумом. Из-за кустов вышел егерь в форменной фуражке, вопросительно взглянул на шофера:

— Путевка есть?

Водитель обернулся в сторону сидевшего сзади пассажира:

— Павел Алексеевич...

Пассажир наклонился вперед, и егерь поспешно снял шапку:

— Виноват, товарищ Хижняков, не признал. Машина вроде ваша, а шофер... — И отпустил веревку шлагбаума.

— Выгнал, — буркнул Хижняков. — Разложился, сукин сын. Ты его, если сунется, не пускай больше... С охоты давно вернулись?

— Часа полтора будет.

Хижняков нетерпеливо ткнул водителя в спину:

— Давай, поехали.

Вскоре стена леса расступилась, и взгляду открылась озерная гладь. На взгорке у самой воды стояла большая рубленая изба. Над высоким крыльцом — побитая ветром и дождями вывеска «Охотхозяйство». За домом стояли четыре черные «Волги». Чуть дальше под навесом Чепыжин свеживал подвешенную за ноги тушу косули. На ступеньках крыльца сидел здоровенный парнюга, чистил шомполом ружье. Он посторо-нился, пропуская Хижнякова в дом.

— Здорово, Семен. Там? — кивнул на дверь Павел Алексеевич.

— Все четверо.

Хижняков быстро миновал помещение конторы с канцелярской мебелью и развешанными по стенам охотничьими плакатами, вышел в коридор, остановился возле неприметной двери, осторожно приоткрыл ее и заглянул в образовавшуюся щель.

За дверью была большая комната, отделанная с неожиданным для этой избы шиком. Из стереоколонок, укрепленных на покрытой лаком стене из узенькой вагонки, лилась тихая, умиротворяющая музыка. В мягком свете скрытых от глаз светильников на добротных диванах полулежали четыре завернутые в махровые простыни фигуры. В руках пивные кружки. В центре между диванами — стол, густо уставленный бутылками и закусками.

Хижняков знаками стал вызывать Гулыгу в коридор. Петр Елизарович сидел боком к двери и, увлекшись разговором, не замечал его.

— А Любочка ваша,— обратился он к Артему Савельевичу,— произвела на ректора хорошее впечатление. Умница.

— Да? — прищурился Ремизов.— Была бы умницей, не завалилась бы в Москве... Родители избаловали. Сто раз говорил сыну: не давай девчонке поблажек. Да где там — единственная доченька. Вот и результат...

— Не все ли равно, где поступать — в Москве, в Лучанске, очный, заочный... Через год организуем перевод — и что на салазках под гору,— подмигнул Гулыга.

— Спасибо, братцы, очень выручите.

— В единстве наша сила, закон жизни.

— За это стоит и выпить,— предложил Прохоров.

— Пора, пора,— кивнул Гулыга на дверь.

Прохоров быстро встал, распахнул дверь, крикнул:

— Семен!

Тут наконец Гулыга заметил энергично подающего ему знаки Хижнякова.

— Ты что, Павел, заходи.

— На пару слов, Петр Елизарович.

— Да заходи, чего ты? — повторил Гулыга и обернулся к Ремизову.— Опять его совхоз первое место занял.

Артем Савельевич рассмеялся:

— На то он и Хижняков, а ты его начальник.

Но тут вошел Семен — между пальцами у него торчали зажатые веером шампуры с шашлыками,— все взгляды обратились к нему, И только Хижняков продолжал твердить:

— Да на пару же слов, Петр Елизарович.

— Что у тебя стряслось? — недовольно бросил Гулыга.— Пожар? Где горит?

Хижняков вошел, помялся и почему-то шепотом сказал:

— Крылов в Лучанск приехал.

— Кто? — переспросил Исаев.

— Журналист. Тот самый. Крылов Сергей, не знаю, как по ба-
тюшке.

— Александрович,— подсказал Гулыга.— Точно знаешь?

— Сам видел.

Все переглянулись.

— Ну и пускай себе гуляет,— махнул рукой Гулыга.— Ты-то чего нервничаешь?

— В управлении КГБ был.

— А в обкоме? Не знаешь?

— На обкомовской машине туда приезжал, значит, и в обкоме был.

— Нейдется дураку,— зло сказал Гулыга и задумался. Неожиданно рассмеялся весело, беззаботно:— А пошел он... Тудыть его рас- тудыть! В гробу его, в белых тапочках... А ну все к столу!

Расселись, кутаясь в простыни. И Хижняков присел.

— Будем! — лихо поднял стопку Гулыга.

Чокнулись, выпили. Стали разбирать с подноса шашлыки. Но ап- петит, похоже, пропал. Настроение было испорчено.

Позже, когда собрались разъезжаться, когда в машину Ремизова погрузили завернутую в пленку тушу косули, ящик с копченой рыбой, банки с соленьями и водители стали заводить двигатели, Исаев оста- новил направлявшегося к своей «Волге» Гулыгу.

— Петр Елизарович!..

Тот оглянулся. Они были одни, никто не мог их слышать.

— Положа руку на сердце: в этой истории с Панченко все чисто? — Он пристально посмотрел Гулыге в глаза.

Петр Елизарович не отвел взгляда, смотрел на секретаря райкома не моргая.

— На выводах комиссии Прохорова твоя виза стоит.

В его голосе Исаеву почудился вызов.

— Понимаю,— серьезно и задумчиво протянул Исаев.— Это я по- нимаю. Но ты все же ответь: на тебе ничего нет? Совсем ничего?

Гулыга едва заметно усмехнулся. Чуть ли не весело сказал:

— А вдруг есть?

— Не шути! — Слова прозвучали угрожающе.

Но Гулыга, должно быть, не придал им значения.

— Очень интересно знать, что бы ты в этом случае сделал.— Вы- ждал, глядя на Исаева испытующе, и продолжал: — Не первый год ра- ботаем вместе. На моих дрожжах твое тесто взошло. Теперь по одной реке плывем, одну воду пьем. И авторитет у нас с тобой высокий. А жизнь, Степан Андреевич, на авторитетах держится. Это ты не хуже меня знаешь. Ну, допустим, был за мной грешок сто лет назад... Что же нам с тобой теперь делать? Авторитеты ломать?

Исаев смотрел на него растерянно.

— Шучу, шучу,— сказал Гулыга.— Не бойся — шучу. Ничего за мной нет. Этот Панченко был гадом и жизнь свою как гад ползучий закончил.— Злобно сплюнул.— Вы поезжайте, я тут немного задер- жусь.— Повернулся и пошел в сторону леса. Шел быстро, не огляды- ваясь.

Исаев смотрел ему вслед.

Машины разъехались. Только «Волга» Петра Елизаровича остава- лась возле дома. Водитель за рулем терпеливо ждал хозяина.

Первый секретарь обкома партии Владимир Михайлович Званов встретил Крылова добродушным упрёком:

— Мы вас уже пятый день ждем, товарищ Крылов.

Оказалось, Герман Трофимович звонил ему, в общих чертах об- рисовал суть дела, просил оказать максимальное содействие.

Приглашающим жестом Званов указал на стул:

— Прошу садиться... Слушаю вас, товарищ Крылов.

Сергей Александрович внимательно посмотрел на секретаря обко-

ма. Была у Крылова привычка: впервые увидев человека, пытаться определить его характер, даже биографию. Потом, хорошо познакомившись, проверял, в чем ошибся, какие черты угадал правильно.

— Может быть, будет короче, если вы ознакомитесь с этой запиской? — И он положил на стол копию своего объяснения.

— Давайте,— согласился Званов. Уселся поудобнее и стал читать.

Сергей Александрович изучающе смотрел на него. Раздражало то, что Званов часто отвлекался — то говорил по телефону, будто не мог сказать секретарше не соединять его, то подписывал какие-то бумаги, судя по всему, не такие уж срочные, а двойм даже дал поручения, с которыми можно было повременить. Разговаривал с людьми как-то нерешительно, поручения давал словно извиняясь, будто не уверен, согласятся ли их выполнять.

Нет, не понравился Званов. Не то чтобы внешность неприятная, напротив, симпатичный, улыбчивый, добродушный, только не эти качества хотелось в нем видеть. Поставить бы на его место человека с мужественным, волевым лицом, крупного ростом, чтобы и по кабинету ходил, сознавая свое высокое служебное положение, свои огромные возможности и права, действовал бы решительно и быстро. Да, знать, не судьба.

По ходу чтения Званов задавал какие-то вопросы, по мнению Крылова, несущественные, и невеселые мысли лезли в голову. Сумеет ли этот человек разобраться с его делом, где жизнь тугим узлом связала героическое и подлое? Захочет ли? Разоблачение Гулыги и на него тень бросит. Ну пусть не тень, но все-таки в его области проходимец занимает высокий пост...

Закончив с запиской, Званов пригласил к себе председателя партийной комиссии Чугунова.

— Ознакомьтесь с этим документом, Николай Петрович,— протянул он бумагу.— И с автором этого сюрприза,— указал на Крылова.

Пока Чугунов читал, он успел поговорить с несколькими руководителями партийных организаций и предприятий. Когда Чугунов закрыл папку, Званов вызвал секретаршу, мягко сказал:

— Меня нет. Буду через полчаса, минут через сорок.— И обратился к Чугунову: — Заводите персональное дело.

— Да... но... требуется заявление... Потом, товарищ Крылов не у нас на учете.

— Разве? — Он иронически улыбнулся.— А Гулыга? Наш передовой генеральный директор.— И в этих словах Сергею Александровичу послышалась ирония.

— Ясно,— с готовностью сказал Николай Петрович и как бы осекся.— Видимо, начнем с того, что попросим товарища Крылова написать нам официально... Для персонального дела нужен формальный повод.

— Вам виднее. А формальный повод, дорогой Николай Петрович, тут и повод по существу. Разве справка из архива Министерства обороны не основание для разбирательства? А это? — кивнул Званов на записку Крылова.— Адресовано, правда, не нам, но речь идет о наших людях.— Не дожидаясь ответа, уже другим, официальным тоном сказал: — Давайте лучше обговорим, чем займемся в первую очередь.

Чугунов быстро извлек из кармана блокнот. Владимир Михайлович сидел, думал. Потом очень тихо, как бы про себя:

— Одного не могу понять. Если все так, как здесь написано, почему Дмитрий Панченко не обратился к нам? В другой области живет? Все равно, напиши он в местный партийный орган, нам бы сообщили. А Голубев... А Зарудная?.. По всякой чепухе десятки писем люди пишут, а тут?

Сергей Александрович молча пожал плечами.

— Ну ничего, разберемся,— уверенно закончил Званов.

В последнее время Сергею Александровичу так не везло, что и в обком пошел излишне настороженным. Возвращался окрыленным.

Нет, не так прост этот улыбочивый секретарь обкома. Целую программу надиктовал Чугунову: дать задание областному управлению КГБ проверить деятельность Ивана Саввича Панченко в период оккупации, установить, за что он был исключен из партии, через Комитет ветеранов войны и другие организации проверить деятельность Гулыги как командира партизанского отряда, потребовать у Прохорова факты, на основании которых были сделаны выводы его комиссии. Голубева Званов велел пригласить в обком, решил сам с ним поговорить. Предложил побеседовать с Зарудной и Дмитрием Панченко. И все это — прежде чем потребовать объяснения у Гулыги. Казалось, ему, Крылову, уже здесь больше делать нечего. Ехать домой, набраться терпения и ждать. Но этого-то он, собственно, и боялся. Боялся, что Званов, мило попрощавшись с ним, именно так и скажет. Робко попросил разрешения самому встретиться с Забаровым и Артюховым, рассказав о письмах.

— Конечно,— согласился Владимир Михайлович.— И вообще хорошо бы вам здесь задержаться и помочь нам, коль вы эту кашу заварили.

Сергей Александрович и сам не мог бы объяснить почему, но он ничего не сказал в обкоме о своих беседах и поездках с Зарудной. Что-то мешало. Но выйдя из обкома, он тут же позвонил ей по автомату. Условились на следующий день отправиться за секретом, о котором «надо кричать».

Выехали из города в отличном настроении. Вспоминая беседы с членами комиссии Прохорова, Сергей Александрович сказал:

— Вы обратили внимание, Валерия Николаевна, как каждого по своему опутывали! К каждому свой подход. Хитро действовали.

— Не очень хитро,— возразила она,— напролом шли, потому что все сходит с рук. Никого не боялся.

— Почему же вы все молчите? — не сдержался Крылов.— Почему никуда не обращались?

— Да десять раз обращались!

— Куда все-таки мы едем, Валерия Николаевна? Завезете куда-нибудь и бросите.

— Оказывается, вы пугливый...

Несколько минут ехали молча. Сергей Александрович ловко обходил ухабы или мягко переваливал через них, набирая большую скорость там, где позволяла дорога.

— Мне кажется, я никогда не научусь ездить так, как вы,— обиженно сказала Валерия Николаевна.

— Поначалу всем так кажется.— Задержал на ней взгляд, упустив из виду дорогу.

Машину сильно тряхнуло, их подбросило вверх и в сторону, Валерию Николаевну прижало к нему, и она никак не могла принять нормальное положение, пока он не помог ей.

— Так и я умею,— насмешливо сказала, усаживаясь наконец поудобнее.

— Чертова дорога, извините, пожалуйста.

— Я тоже всегда дорогу виню...

И оба рассмеялись.

Юркий «Запорожец» быстро петлял по проселочной дороге. Крылов любовался: по одну сторону траченный осенью золотисто-багряный лес, по другую — холмы и поля только вспаханные или в ярко-зеленых побеггах.

— Уже близко,— нарушила молчание Валерия Николаевна,— видите, во-он деревушка показалась,— вытянула она руку.

— Где? — наклонился он в ее сторону.

— Да вон же, — наклонилась и она. — Неужели не видите?

Ее волосы коснулись его лица, и он на мгновение зажмурился.

— Вижу, теперь вижу.

Ему вдруг стало грустно. Она скользнула взглядом в его сторону, задумалась. До самой деревни ехали молча.

— Теперь куда? — спросил он, когда оказались на широкой улице.

Она объяснила, и вскоре он затормозил у ворот старого, почерневшего от времени дома. Едва вошли во двор, как выскочила навстречу не по годам бойкая старуха, всплеснула руками:

— Боже мий! Валерия Миколаевна, дорогая, вот не гадала! — И обернулась к Крылову. — Заходите, заходите.

Валерия Николаевна уверенно шла впереди. Миновав кухню, остановилась в большой комнате.

— Вот Иван Саввич, — показала на большой портрет в простой деревянной раме.

— Саввич, — подтвердила старуха.

Крылов с интересом смотрел. Красивые, волнами волосы, могучий лоб. Черные вразлет брови. Добрые и чистые глаза, едва наметившаяся улыбка, тоже чистая, бесхитростная. Может ли быть такой человек предателем? И женщины смотрели на портрет, любясь, будто впервые увидели.

— В самом деле сюрприз, — оторвался наконец Крылов от портрета.

Валерия Николаевна лукаво улыбнулась:

— Сюрприз еще предстоит...

— Та шо ж я стою, — спохватилась старуха, — сидайте к столу. — Она засуетилась, поправляя скатерть.

— И я хороша, знакомьтесь, пожалуйста. Крылов Сергей Александрович, журналист. А это жена Ивана Саввича, Марфа Григорьевна.

— Рад познакомиться, — подошел к старухе Крылов, протягивая руку.

А она, хотя и подала руку, насторожилась, насупившись, взглянула на него, бесцеремонно отвела в сторону Валерию Николаевну, зашептала:

— Який це Крылов? Той самый?

— Успокойтесь, Марфа Григорьевна, все будет хорошо. Покажите, пожалуйста, письмо Братченко.

Старуха метнула взгляд на Крылова. Комкая фартук, громко сказала:

— Яке письмо? У мене ниякого листа нема.

— Вы не поняли, письмо секретаря подпольного обкома.

— Ни-ни, не чула, не знаю про такой лист.

Валерия Николаевна выразительно взглянула на Крылова, и он вышел.

Марфа Григорьевна набросилась на Зарудную:

— Шо це вы надумали: забере листа — и поминай як звали.

— Вы верите мне? — Голос Валерии Николаевны прозвучал властно.

Столь же властно ответила старуха:

— Вам вирю, а йому — ни. В руки листа не дам.

— Вот мне и дайте, я только прочту ему. В руки не дам.

Недовольно ворча, Марфа Григорьевна направилась к комоду. Валерия Николаевна открыла дверь, позвала Крылова.

— Садитесь вот здесь, — показала ему на табуретку, — и слушайте. — Аккуратно развернула сложенный вчетверо обветшалый и пожелтевший листок.

Марфа Григорьевна встала поближе к ней, готовая к любым действиям.

— Это записка погибшего впоследствии секретаря подпольного об-

кома партии Братченко,— пояснила Валерия Николаевна.— Адресована Ивану Саввичу Панченко в июле сорок второго года. Он пишет: «Саввич! Заканчивай быстрее со снабжением отряда Гнедого. Через три дня ты должен отправить его. Второе. Не затягивай с назначением нового командира в Бушувском отряде. Думаю, справится комиссар, но тебе виднее. Жду информации. Братченко».

Крылов в волнении заходил по комнате. Неожиданно резко остановился возле Зарудной.

— Как же вы не сказали мне этого раньше? — Укоризненно покачал головой, протянув руку за письмом. С нестарческой поспешностью Марфа Григорьевна схватила письмо и быстро засеменила в другую комнату.

— Вы должны понять ее, Сергей Александрович,— она ведь под впечатлением вашей статьи.

— Понимаю... Но давайте хоть сфотографируем его.

Валерия Николаевна молча пошла за хозяйкой дома, а Крылов — в машину, где остался фотоаппарат. Он уже успел вернуться, а женщины все еще возбужденно шептались. Наконец появилась Валерия Николаевна с письмом в руках. Следом семенила старуха.

Сняв фотокопию письма, они уехали.

На каком-то ухабе машину подбросило.

— Держись! — крикнул он, только сейчас заметив совсем близко еще одну выбоину.— А черт, на том же самом месте.

Для нее не осталось незамеченным, что своим «держись» он как бы перешел на «ты».

— Документ этот Прохорову предъявляли? — попытался снять неловкость Крылов.

— Дмитрий Иванович показывал, а тот высмеял: филькина грамота, говорит, да и та — копия.

— Есть же оригинал.

— Побоялся. Ищи ветра в поле.

— Ну так я сам! Такой ему документ покажу... Глаза на лоб полезут.

— Вы хотите встретиться с Гулыгой?!

— Обязательно. В глаза хочу посмотреть, когда он прочтет. Только бы инфаркт не хватил... Как у него с сердцем, не знаете?

— Гм... с сердцем,— ухмыльнулась она.— Чего-чего, а этого можете не опасаться. Нет у него ни сердца, ни души, ни принципов, ни морали. Только корысть. Только себе и своей камарилье. Они неуязвимы, никакой документ не прошибет.

— Так уж совсем неуязвимы,— заметил он.

— Представьте, так. Гибки, изобретательны, умны...

— Отличные качества.

— Смотря в чьих руках нож — у хирурга или бандита.

Они миновали рытвины и ухабы и теперь ехали по гладкой, хорошо укатанной дороге. После небольшой паузы Крылов сказал:

— Может быть, вы теперь? — И кивнул на руль.— Без практики никогда не научитесь.

— Нет, потом буду тренироваться. Пока мне еще дорога ваша жизнь.

— Пока?

— Ну и придира же вы,— рассмеялась она.— Я ведь не смогу разговаривать, сидя за рулем.

— Ладно, говорите,— шутливо разрешил он.

— Да, мне хочется объяснить, почему неуязвимы. Для своей корысти они приспособили нашу конституцию, наш гуманизм, даже самое святое — заботу о человеке, о фронтовике. Спекулируя нашими лозунгами, извращая их, нападают, нашими лозунгами защищаются, под теми же лозунгами грабят. Они широко провозглашают: «Один за всех и все за одного». Куда благородней! Но понятие «все» у них

ограничивается очень узким кругом. Этот лозунг низвели до круговой поруки.

— Да, но...

— Минутку, минутку,— не дала она себя перебить.— Это нравственные дезертиры. Их не трогает, что делается на предприятиях и в учреждениях, где работают, что происходит в стране или в мире. Они действуют под лозунгом «жизнь дается один раз». Красиво, да? Но вкладывают они в это понятие отнюдь не то, что провозгласил Николай Островский.

— Не через край ли? — прищурился Сергей Александрович.

— Даже не до края.— Она говорила горячо и страстно.— На весь район и дальше, чуть ли не до Москвы, разнесли как подвиг Гулыги — якобы в ущерб себе помог ветерану войны капитально отремонтировать дом.

— Чумакову? — живо спросил он.

— Вот видите, даже вы знаете... И в самом деле помог, хотя никак не в ущерб себе — уже через день на его дачном участке было вволю и стройматериалов и рабочей силы. Он покупал Чумакова, а не заботился о нем. Слишком много знает Чумаков, и надо было заставить его молчать. И заставили.

— Хорошо, значит, и ваш Чумаков.

— Чумаков что? Ему под восемьдесят, а над ним крыша течет. Судите его, а я не могу. Но разве только Чумаков! Они морально расклеивают массу людей — лаборантов, весовщиков, сторожей, всех, кого вовлекают в свою орбиту, организуя завышенную загрязненность свеклы и заниженную сахаристость...

После всего, что Крылов узнал о Гулыге, он допускал любые преступления с его стороны. Верилось и словам Зарудной. Слушал ее вроде бы с иронией, как бы не веря, побуждая ее полностью излить душу. Когда умолкала, подзадоривал новыми вопросами.

— И никто не видит? — спросил с напускным гневом.

Валерия Николаевна грустно посмотрела на него. Заговорила устало, с какой-то безнадежностью:

— Все видят и все молчат. Одни потому, что получили как благодеяние то, что давно им положено по закону, вроде Чумакова, вторые — боясь расправы, как Голубев, которого выгнали с работы, прикрываясь лозунгом борьбы с прогулами, хотя человек имел бюллетень, третьи... — И осеклась на полуслове.

— Что третьи?

Валерия Николаевна не ответила.

— Что все-таки третьи?

— Третьи вроде моего бывшего мужа. Мне, говорит, в доме нужна жена, а не донкихот в юбке... Это, заметьте, благополучный мужик так рассуждает, что ж говорить о женах — цепями схватывают мужей, только бы ни во что не ввязывались.

Ударило в сердце. Это же про Ольгу.

Сергей Александрович ходил из угла в угол своего маленького номера. Не ходил — метался. Раздирали противоречия, хотя все было ясно. В его руках два документа: справка из архива Министерства обороны и письмо секретаря подпольного обкома партии. Еще многое туманно, еще не до конца все выяснено, но сейчас это уже особого значения не имеет. Два документа полностью разоблачают Гулыгу.

Овладело непреодолимое желание положить их на стол перед Гулыгой. Не ругать, не обвинять — только показать документы. Спокойно положить перед ним два листка — ознакомьтесь, пожалуйста, Петр Елизарович...

Конечно, это была жажда мести. Мальчишеское чувство. И скажи

это кто-нибудь Сергею Александровичу, он бы просто рассердился: при чем здесь месть? Это профессиональная необходимость подвести черту, поставить точку, довести дело до конца. Не исключено также, что припертый к стенке Гулыга выдаст что-нибудь новенькое, еще неизвестное...

Короче говоря, он позвонил Гулыге. Сухо, официально, даже строго. А тот встретил радостно, как старого приятеля. Будто ничего не случилось, будто не писал он в редакцию своего письма. Охотно согласился на встречу, предложил пообедать вместе или поужинать... Новый «Поплавок» на берегу, рядом красивый большой парк... Ну что ж, согласен и просто в парке, тоже хорошо, подышать свежим воздухом, на воздухе почти не бывает, текучка, дела заели... Даже очень хорошо, совместим приятное с полезным...

— Негодяй! — вырвалось у Крылова, когда он положил трубку.

С берега во всем великолепии открывалась яркая равнина, засиженная дымкой на далеком горизонте. Внизу, прямо под ногами, бесшумно скользили яхты и лодки. В такт музыке, едва доносившейся из зависшего над водой ресторана, покачивались поплавки, и их хозяева неодобрительно провожали глазами тоненькую фигурку на водных лыжах.

В прибрежном парке взлетали качели, прогуливались мамы с колясками, в тени старых лип стучали костяшками домино.

К уединенной скамье подошли Крылов и Гулыга, только что встретившиеся у входа в парк. Уселись, и началась мирная беседа. Так, по крайней мере, могло показаться со стороны. На коленях у Крылова лежала тонкая папка.

— Давненько мы с вами не виделись, Сергей Александрович.

— Давненько, Петр Елизарович.

— Как дела? Здоровье?

— Отлично.

— Да? А по виду не скажешь.

— Внешность обманчива, это вы хорошо знаете... А как ваша жизнь?

— Как на Марсе — нет жизни, только работа. — Он засмеялся, глядя на Крылова, точно приглашая и его посмеяться. — Зато план опять перевыполнили... В Москву то и дело мотаюсь, то в Совмин, то в Госплан... Общественные дела замучили — совещания, выступления, встречи с трудящимися, отказать нельзя. Устаю.

— Ничего, скоро отдохнете...

— Отдыхать только на пенсии придется, да пока не собираюсь.

— Я не о пенсии.

Гулыга промолчал. Только с недоумением посмотрел на него. Выжидал, наблюдая, как вертит в руках папку. Папка эта все время приковывала его взгляд, понимал: неспроста принес ее.

Под ноги им подкатился мяч. Подбежал мальчишка:

— Дяденька, ноги...

Гулыга посторонился, паренек нырнул под скамейку, вылез с мячом и убежал.

— Неподходящее место мы выбрали, Сергей Александрович. Действительно, как два пенсионера сидим здесь. Что нам — поговорить негде? — Гулыга кивнул на ресторан. — А? Посидим по-человечески, выпьем по рюмке. Что бы там ни было, какая бы кошка ни пробежала между нами — разберемся. Оба мы с вами фронтовики, вы ведь, помнитесь, говорили, тоже воевали.

— Воевал.

— По интендантской части, в тылах? — спросил без укора, даже одобрительно.

— Нет, был редактором дивизионной газеты. Но и в тыл приходилось ходить, в немецкий. Только не дошел, тяжелое ранение получил.

— Вот видите,— обрадовался Гулыга.— Значит, оба кровь за родину проливали.

— Нет, за родину — один...

— Вы же только что сказали, что были ранены.

— Я-то был, а вы... В анкетах до сорок шестого года писали: «Ранений и контузий не имею». А спустя год после войны впервые появилось у вас: «тяжело ранен»... Разве что на охоте? Так это не за родину.

— А вы что, теперь моими анкетами заинтересовались?

— Нет, теперь только вспомнил. Смотрел, когда очерк писал, но тогда не зафиксировалось.

— Эх, Сергей Александрович, неблагодарным вы делом занялись,— ничуть не смутился Гулыга.— Не очень-то мы во время войны медицинскими справками запасались. Вы в Музей боевой славы сходите! — повысил он голос и, спохватившись, спокойно закончил: — Там все описано.

— Был, еще весной читал. И в статье своей отметил, из районной газеты взял,— как громили вы на танке врага в его тылу.

— Так в чем же дело?

— Есть одна закавыка. Вы ведь в Триста двенадцатом полку были? Танковым взводом командовали?

— Верно.

— А помните, как в сорок первом, в июле полк перебазировался? Гулыга задумался.

— Напомнить?

— Ну-ну.

Сергей Александрович раскрыл наконец свою папку.

— Вот, почитайте.— И подал ему копию архивной справки Министрства обороны.

— Что, опять донесение гестапо? — сказал насмешливо, шаря по карманам. Достал очки, не горюясь протер платком и начал читать.

Крылов смотрел на него. Ни один мускул на лице не дрогнул. Ни растерянности, ни даже смущения. Только слишком долго читает, а впрочем, наверное, давно прочел, обдумывает. Наконец горько усмехнулся:

— Вы с какого года воевали?

— С сорок первого.

— Значит, знаете, что тогда творилось. В какие архивы, скажите мне, в какие гроссбухи занесено, кто на поле боя заменил убитого командира, а кто из технарей пересел на танк? Какой это, интересно, архивариус мог угнаться за моим танком, проследить, кто, где был в той кровавой каше? Как это люди берут на себя такую ответственность, да еще и бумаги выдают? Где эти архивно-бумажные души были, когда мы стояли насмерть?.. А танкистом, верно, недолго я был, но кому это важно, в каком качестве человек истреблял врагов? Важно, что уложил их немало.

Гулыга говорил, все больше возбуждаясь, говорил, казалось, искренне и честно.

— ...взрывали мосты, пускали под откос эшелоны... А командир танкового взвода?.. Ну что ж, подбили, в тылу оказался и с новой силой принялся громить фашистов.

Крылов вдруг понял, что факт, который он считал убийственным, на самом деле не так страшен. Ведь действительно, воевал же человек, в тылу врага воевал, командиром партизанского отряда был... Однако интуиция, поведение сегодняшнего Гулыги, методы, которыми он действовал, подсказывали, что перед ним крупный, изворотливый негодяй. Тертый калач, его так просто не осилить, не положить на лопатки. Неожиданно даже для самого себя спросил:

— Мне просто любопытно, хотя бы из спортивного интереса: как вы можете в глаза мне смотреть? Как поднялась рука такую клевету обо мне сочинить?

— Хм,— иронически хмыкнул Гулыга.— Интересно... любопытно..

клевета...— И вдруг резко, зло: — Не бросайтесь словами, а главное — в душу не лезьте! Не лезьте своим сапогом в чужую душу. Что я вам плохого сделал?! Не стали бы соваться не в свои дела — и сами бы в луже не оказались. А теперь что? Я вам не помощник, сами и выпутывайтесь. И знайте — чего бы еще вы там ни придумали, поверят мне, а не вам... Так что не советуя...

Наглость сразила Крылова. Он сидел молча. А Гулыга по-своему понял молчание Крылова. Сменил гнев на милость, добродушно сказал:

— Не тужите, старина. Помните, философ сказал: все проходит. Совершенно автоматически Крылов поправил:

— Философ не так сказал...

— А плевал я на ваших философов,— прервал его Гулыга.— Опять к чепухе вяжетесь. Мысль-то правильная... Как и все, что я вам говорю.

Крылову хотелось взять реванш.

— И насчет Панченко правильно?

— Этого ублюдка?! — Гулыга уже полностью пришел в себя.— Жаль, сам не добрался до шакала! Вы с Ржановым говорили?

— Говорил.

— Ну и что? Что он сказал?

— То же, что и вы.

— Так чего же вы еще копаетесь! — Гулыга позволил себе повысить тон.

— Чтоб докопаться.— И извлек из папки вторую бумагу.— Ознакомьтесь, Петр Елизарович.

— Давайте-давайте,— презрительно махнул он рукой. Не глядя на нее, поманил пальцем мальчишку, игравшего с мячом, подмигнул ему: — Ну-ка дай пас.

Паренек улыбнулся, ткнул ногой мяч. Гулыга отфутболил его не по годам лихо и совсем по-мальчишески закричал:

— Го-ол! Один ноль в мою пользу.— И многозначительно посмотрел на Крылова. Неторопливо достал очки и углубился в чтение.

Читал с интересом. И вдруг взорвался смехом. Едва успокоившись, вытер платком глаза.

— Ох, Сергей Алексанч, Сергей Алексанч, дорогой же вы мой, хороший. Ну где вы найдете подпольщика, который не уничтожил бы такое письмо, как только прочел? Где такие подпольщики производятся, откройте секрет? И какой же прозорливый историк, какой легионер прятал его столько лет, бережно сохраняя для вас?

Неожиданно в голосе его послышались угроза и негодование.

— Чистейшей воды липа! Я вам скажу, кто их производит. Я вам точно скажу: сыночек Панченко. Только он мог такую фальшивку сострять. Признайтесь — он вам дал?

— Нет, не он.

Гулыга почувствовал неуверенность в голосе Крылова.

— Извините, не верю. Не он — так сестра, не сестра — так мамаша, все равно его рук дело.

Крылов промолчал. Поощренный этим, Гулыга наступал:

— Думаете, раз-два — и задавили Гулыгу? Да я, если что... весь мой отряд... все боевые партизаны, немало их еще осталось... в Москву, единым строем... Да я к самому Антону Алексеевичу не постесняюсь, к Ржанову Федору Максимичу пойду... Нет,— забормотал он как бы самому себе,— Федя в обиду нас не даст... Так что, дорогой товарищ писатель,— неожиданно подобрел он и, приобняв Крылова за плечи, добавил: — Гулыгу, Сергей Александрович, голыми руками не возьмешь.

Пока он говорил, настроение у Сергея Александровича портилось. Убедительно говорил. В самом деле, как мог сохраниться такой документ десятилетиями? И не скажи Гулыга: «Федя в обиду нас не даст...» — кто знает, не поколебался ли бы в своих убеждениях Крылов. Он хорошо помнил разговор с Ржановым. Нет, не те у них отношения,

чтобы Гулыга мог его Федей называть. Один раз только и виделись. Значит, шантаж. И он с большим интересом спросил:

— А если не голыми, Петр Елизарович? А? Как вы думаете, если попробовать не голыми?

27

Едва заметными тропами Гулыга шел по лесу, пробиваясь через заросли. Машину он оставил близ охотхозяйства и, ничего не сказав шоферу, пошел. Это был какой-то другой, незнакомый Петр Гулыга — походка другая, движения, лицо другое, заострившееся, хищное.

Шел, расталкивая кусты, раздвигая ветки. Шел, казалось, без всякой цели, куда ноги несут. Но было место, к которому он стремился, может быть, подсознательно, помимо воли. И чем ближе подходил к нему, тем отчетливее всплывали в памяти те давно отзвучавшие слова и звуки...

Остановился у большого скалистого выступа. За ним виднелась огромная квадратная яма с плоским, поросшим травой дном. И вот уже нет ямы, вместо нее — землянка, а в ней, просторной, с обитыми досками стенами и потолком, идет гульба. Потолок увешан окороками, у стен — ящики, мешки с сахаром, крупой. В углу большой горкой насыпана картошка.

Гуляют парни и девки. Перепоясанный ремнями, с «вальтером» на боку, играет на баяне Гулыга. Молодой, чубатый — залюбуешься. Он поет, и ему подпевают. И песня эта о том, что живет человек на земле один раз и должно у него хватить ума выжить, выжить любой ценой, а там все порастет бьльем, и звучат в ушах слова припева: «Все воронки зарастают...»

Вбегают Хижняков, тоже молодой, здоровый, с автоматом и гранатами за поясом, громко кричит:

— Староста с Луговым!

— Не пускать! — командует Гулыга, отбросив нервно всхлипнувший баян, и выскакивает из землянки.

Он пошел навстречу приближающимся Панченко и парню с деревяшкой вместо правой ноги. Еще издали вызывающе бросил:

— Опять агитировать пришел!

Иван Саввич молча посмотрел на него. Потом твердо, с достоинством сказал:

— Не я агитирую, партия призывает.

— Ты партией не козыряй, тебя из партии выгнали.

Панченко переступил с ноги на ногу.

— Уже восстановили, но не обо мне речь. Когда к партизанам уйдешь? Месяц назад говорил — завтра, так завтраками и кормишь. Может, и пообедать пора? Или опять скажешь — завтра?

Гулыга насмешливо улыбнулся:

— Не-е, не скажу. Сытого гостя нечего потчевать. Что это я, боевой танкист, капитан, в какой-то отряд пойду! Я сам теперь командир, у меня свой отряд.

Иван Саввич покачал головой:

— Танкистом, может, ты был боевым, а сейчас дезертир. Ты вот кто, — показал на дерево. В стволе, где вырвало осколком дыру, шевелился клубок. Не то червей, не то насекомых. — Мародерствуешь, на народе паразитируешь, вот как они.

Гулыга с ухмылкой посмотрел на него.

— Ну и дальше?

— Дальше? Предупреждаю в последний раз. Срок тебе два дня. Не пойдешь — собственными руками расстреляю.

Подались вперед, приблизились Хижняков, Чепыжин и еще кто-то. Панченко круто повернулся и пошел. За ним, стуча деревяшкой, спешил Луговой...

— Петро!

Петр Елизарович обернулся. Сзади за его спиной стоял Хижняков. Молодой Хижняков, увешанный оружием.

Гулыга зажмурил глаза. Когда он открыл их, Хижняков уже стал сегодняшним, постаревшим.

— Будь ты проклято! — неизвестно в чей адрес выругался Гулыга. — Ты что, шел за мной?

— Ага. Машину твою увидел... Куда это, думаю, его понесло на ночь глядя?.. Смотри, — он указал на большое черное пятно посередине ямы, где когда-то была землянка. — Так и не заросло... Сколько лет прошло.

— Не все воронки зарастают, — задумчиво сказал Гулыга, — не все. Вот в чем беда...

Помолчав, хлопнул по плечу Хижнякова.

— Ничего, зарастут. Мы посеем травку там, где она сама не всходит.

Крылову не терпелось повидаться с Чугуновым. Есть ли новости? Николай Петрович был занят, просил подождать немного.

— Можете пока ознакомиться с объяснением Голубева... Вот запись его рассказа товарищу Званову. — Он дал Крылову диктофон, сказал, чтобы шел в зал заседаний и прослушал.

В пустом зале он включил аппарат и услышал голос Голубева:

«В первые дни войны мы попали в окружение. Выходили из него трудно, просачиваясь через лес группами и по одному. Из нашего маленького отряда мало кто уцелел. Блуждал я по лесам, бог знает чем питался, пока не выбрался к большому селу. Весь заросший, в рваной гимнастерке, изодранных штанах, долго высматривал — следил из леса за селом. Ходили там люди, а немцев, похоже, не было. Надо, подумал, до темноты идти, ночью, может, патрули какие ходят. Автомат свой в лесу надежно спрятал и пошел. Только спустился с косогора, у первых хат заметил двух полицаев и юркнул в полуразрушенную трубу под насыпью.

Заметил я их поздно вато — увидели меня. «Вылазь! — кричат и грочут по трубе прикладами. — Вылазь, а то в трубу стрелять будем!» Что оставалось делать — вылезаю.

Повели меня, подталкивая прикладами. Затолкали в какой-то дом, кричат наперебой: «Партизана поймали!» За столом, смотрю, мужик, здоровый, широкоплечий, с огромными ручищами. Справа от него на столе туго скрученная нагайка. За поясом маузер без кобуры. Глянул он зло на меня, а этим паразитам улыбается. «Молодцы, ребята, — говорит и как рывкнет на меня, схватившись за нагайку: — Партизан, сукин сын?» Я молчу, а он опять к ним: «Продолжайте, ребята, обход, а я разберусь, что за птица... Отвечай, сволочь!» И замахнулся на меня нагайкой.

Полицаи ушли, а у меня душа стала закипать. Зубы зажал, но сдерживаюсь, знаю — хуже будет. «Нет, не партизан, — говорю, — а против фашистов воевал, сержантом был». «Врешь, стерва! — заорал он, и засвистела его нагайка чуть ли не по лицу. — Не сержант ты! Вижу тебя насквозь!» И не выдержал я. Ах ты, думаю, фашистская гадина, мне ли, командиру Красной Армии, перед тобой, продажной шкуркой, юлить! И — будь что будет! Да, говорю, не сержант, а старший лейтенант, начальником штаба дивизиона был. И понесло меня, будто разум потерял. Три курса, говорю, Военно-инженерной академии имени Куйбышева прошел, не успел кончить, а с фашистами кончим, таких, как ты, вешать будем... Еще что-то рвалось из меня, а он — глазам своим не верю — улыбается, руки ко мне тянет. «Так дорогой же ты мой, — говорит, — ты же меня позарез нужен, у меня же нет таких грамотных, как ты. Вместе будем фашистов вешать».

Опешил я и слова сказать не могу. А потом засомневался. «Как же,— говорю,— если ты против фашистов, первому встречному раскрываешься?» А он опять улыбается: «Чудак ты, парень, ты тут такое наговорил, что впору на виселицу. Значит, ненавидишь их, как и я, а надо будет — и на смерть пойдешь, как же тебе не поверить».

Тут зашли Хижняков и Чепыжин. Тогда я их только первый раз увидел. «Вот,— сказал Хижняков и полез в карман.— По приказу коменданта пришел партбилет сдавать». И протягивает его Ивану Саввичу. «Ах ты гадина! — закричал Панченко и со всего размаху отвесил ему пощечину.— Собственными руками расстреляю!» И схватился за маузер. А Хижнякова и Чепыжина и след простыл. Скрылись они, по хуторам прятались. А месяца за два до освобождения объявились в отряде Гулыги».

Дальше Голубев подробно рассказывал о подпольной работе вместе с Саввичем, и это совпадало с тем, что говорил в гостинице Дмитрий Панченко.

Судя по записи, Званов ни разу не прервал Голубева. Только когда он закончил, спросил: «Как же он мог так безрассудно поступать? Эти-то двое могли на него донести». «Горячая голова был человек,— ответил Голубев.— Предателей ненавидел люто, больше, чем гитлеровцев. Не раз бывало — не сдерживался. И на рискованные, очень рискованные дела шел. Однажды схватили партизана с наганом. Схватили полицаи, но и немец из комендатуры это видел. Так Саввич что придумал? Допрашивает партизана и говорит ему: «Значит, ты по приказу коменданта отправился сдавать оружие, которое случайно нашел, нес открыто, не прятал его, а полицаи тебя схватили?» Парень сначала растерялся, а потом быстро заговорил: «Да, да, так и было, никакой я не партизан, нес наган сдавать». Саввич все объяснил немцу, сказал — хорошо знает человека, надежный человек, советской властью притеснялся, вполне можно верить. Так и спас человека».

Выключив аппарат, Крылов задумался. В ином свете предстали Хижняков и Чепыжин. Но трибунал... Как объяснить приговор военного трибунала?

Уже потом, когда вместе с Чугуновым пошли к Званову, когда рассказали Крылову о первых итогах расследования органов госбезопасности, этот мучительный вопрос возник с новой силой. Было установлено, что Панченко схвачен гестапо вместе с группой подпольщиков в августе сорок второго года. Ни массовых расстрелов, ни угонов людей в Германию при нем не было. В ходе проверки работники обкома партии нашли нескольких человек, избежавших гибели только благодаря «ротозейству» бургомистра. Однако трое жителей Липани подробно рассказали, как вели на казнь бургомистра, слышали приговор, где говорилось о его карательных акциях, о личном участии в расстрелах людей. Чем же все это объяснить?

Сергей Александрович рассказал Званову о своей беседе с Ржанывым. Сообщил и о последних встречах с Зарудной и Гулыгой. Положил на стол фотокопию письма Братченко, передав, как реагировал на него Гулыга.

Судя по лицу Званова, он не одобрил этих встреч, но смолчал. Долго смотрел на письмо, с грустью сказал:

— Огромного таланта и мужества был человек. Ему бы жить и жить... Проверьте подлинность письма,— протянул его Чугунову.

Тот взял бумагу, повертел в руках.

— Трудно очень, Владимир Михайлович. Никого, кто работал с ним, кто знал бы почерк, в живых не осталось.

Владимир Михайлович поднял на него глаза:

— Это вы серьезно?

Чугунов молчал. А Званов уже другим тоном, как бы извиняясь за свой вопрос, пряча неловкость за недогадливость человека, объяснил:

— Возьмите в партархиве из личного дела Братченко его автобио-

графию, написанную от руки, и вместе с письмом передайте в институт криминалистики. Эксперты и установят. Кстати, пусть определяют, когда оно написано — десятилетия назад или, как утверждает Гулыга, в наши дни.

Сергей Александрович еще раз подумал: «Нет, не так прост и наивен этот секретарь, как показалось при первой встрече. Вот ведь как повернул вопрос, озадачивший Чугунова. Всю дорогу в обком мучился: может, прав Гулыга? А до чего же просто — проверить подлинность записки экспертизой. Что-то она покажет?»

Эх, не сидеть бы сейчас Крылову в Лучанске, а мчаться в Среднюю Азию, к искусственному озеру Чирчик, где обосновался любитель-пчеловод и руководитель военно-патриотической работой, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Федор Ильич Зыбин. Тот самый Зыбин, кто, будучи полковником, выводил из окружения свой отряд, кто предал трибуналу бургомистра Панченко и утвердил смертный приговор.

Откуда мог знать об этом Крылов! Откуда он мог знать, что обком партии уже разыскал его и отправил ему письмо.

28

Большой отряд нестройно шел через лес — может, двести человек, а может, и триста. Вперемежку — пехотинцы, танкисты, моряки. Не сразу различить их форму — измятые, с белыми, засохшими разводами пота гимнастерки, жеваные, со следами глины и земли штаны. Кто в сапогах, кто в ботинках, и видно — не по асфальтовым дорогам лежал их путь. Гнулись бойцы под тяжестью противотанковых ружей, натужно тащили тяжелые пулеметы. Не шли — плелись. Плелись и кони, запряженные в повозки с поклажей.

Навстречу отряду, тоже по лесной просеке, выскочили три всадника. На них такая же видавшая виды одежда. Остановились возле командира отряда полковника Федора Ильича Зыбина. Соскочил с коня лихой чубатый парень. По годам уже не парень, лет тридцать пять — по повадкам боек. И по-боевому доложил:

— Товарищ полковник! Село огромное, дворов двести. Немецких гарнизонов нет. Охранение выставил, посты расставил, можно спокойно располагаться.

— Давно ушли из Липани? — спросил полковник.

— Они тут не останавливались. Только комендатура и то километров за пятнадцать отсюда. Здесь только староста да полицаи.

Отряд Зыбина выходил из окружения. Сначала он был немногочисленным. По пути подбирали других окруженцев, но была это не просто толпа отчаявшихся людей. Их вел талантливый кадровый командир, сумевший вселить веру в потерпевших поражение людей, сплотить их, выделить из массы стойких командиров. Нет, это была не толпа. Были и батальоны, и роты, и отделения, была суровая дисциплина, был и военный трибунал, созданный приказом командира.

Особое значение Зыбин придавал разведке. И знал он, командир Зыбин, где сосредоточены значительные силы гитлеровцев, делая большие крюки, обходил их, вел свой отряд без боев, а там, где столкновение оказывалось неизбежным, принимал бой. После каждого боя отряд уменьшался, но вскоре вновь рос, вбирая в себя группы окруженцев.

На ночлег довольно часто останавливались в селах, где не было немецких гарнизонов. Старост и полицаев, если их руки не были в крови, не трогали, а уж если лютовали, не шадил их трибунал.

В Липань отряд пришел перед вечером. Расположились по избам. В одной — командир отряда Зыбин, начальник штаба Кротов и комиссар Бойченко. Поужинав, разложили на столе карту. Отпустили пояса, расстегнули гимнастерки.

— Пробиваться будем вот здесь, — ткнул пальцем Зыбин в карту.

В комнату вошла пожилая женщина,

— Может, еще чайку, не стесняйтесь.

— Куда ж еще?

— Спасибо, мамаша.

— Ну-ну, а то горячий, в печке стоит.— С тем и ушла.

— Какой остался запас патронов на бойца? — спросил Зыбин начальника штаба.

Кротов задумался, подсчитывал в уме, перебирая губами. А комиссар с укоризной:

— Ты все, Федор, о боеприпасах печешься, верно, конечно, без них — труба... А только сегодня последние запасы доедаем, уже из резерва.

— Интересной информацией вы меня снабжаете, — бросил на стол карандаш Зыбин и заходил по комнате.— Я-то этого, конечно, не знаю.— И уже без иронии: — Какие предложения?

— Пройти по домам, другого выхода не вижу.— не задумываясь ответил Кротов.

— Опять по домам? — вздохнул комиссар.

— Товарищ полковник! — появился на пороге постовой.— Старосту поймали.— Он отступил, пропуская в комнату Панченко.

— Не «поймали», а сам пришел, не убежал,— спокойно и с достоинством поправил вошедший.— Да, староста, бургомистр, можно сказать, Панченко Иван Саввич.

Все трое с интересом посмотрели на него.

— Смелый ты, прихвостень.— Полковник прошелся по комнате.— Или хитрый очень. Что это ты сам в руки даешься?

Смолчал староста. И опять же с достоинством смолчал, не склонив головы.

— Отведите его к Стрельцову, пусть разберется,— приказал Зыбин.

Уже вышли было, когда комиссар крикнул:

— Эй, минутку! Если ты такая важная птица — хозяин района, можешь накормить людей?

— Могу.

Нет, этот предатель положительно чем-то нравился комиссару. То ли привлекательной внешностью, умными глазами, то ли спокойствием и достоинством, с каким держался.

— Нас много. Чем располагаешь?

— Видел, что много. Муки мешков пять могу, пшена, гречки, одного быка... Только при условии, что дадите расписку.

Что за чертовщина? шутит он или затеял что-то? — это не сказал, только подумал полковник. А сказал резко:

— Условия буду ставить я! Понял?.. Где все это добро?

— В лесу. Только без меня не найдете.

— А-а,— недоверчиво протянул полковник и обернулся к постовому: — Проводите во двор, а ко мне срочно Стрельцова и Павлова.

И вот он уже их инструктирует:

— Скорее всего ловушка, Стрельцов. Смотри не попадись. Не поддавайся на пчелкин медок, у нее и жальце есть. А ты,— обернулся к Павлову,— пошуруй хорошенько, разузнай, что за зверь. Что жители о нем говорят.

Вскоре из глубокой лощины, густо заросшей деревьями и кустарником, где, кажется, не ступала нога человека, люди Стрельцова вели быка и тащили тяжелые мешки.

Его доклад командиру был для Зыбина неожиданностью. Не верилось, что все так просто. Не поколебал его сомнений и Павлов, доложивший, что ни один житель ничего плохого о старосте не сказал. Тем не менее полковник приказал отправить его под арест.

Когда люди разошлись и остались только командир с комиссаром, Бойченко решительно запротестовал. Как же так, человек добровольно явился, сам предложил продуктов дать, люди хорошо о нем говорят — и под арест.

— А как же ты думал! — рассердился Зыбин. — Бросил нам кость, правда жирную, чтоб надежнее шкуру свою спасти.

— Зачем же Павлова посылал? — прицелился на него взглядом комиссар.

— А что Павлов? Люди напуганы и запуганы, понимают — мы уйдем, а его уберем или нет, не знают. Вот и бояться против него слово сказать. Нет, зря бургомистрами немцы не назначают. А этот — ты ведь тоже доклад Павлова слышал — еще когда из партии был исключен.

— благородно поступаешь, командир, — с издевкой сказал Бойченко, — с умом действуешь. Продукты взяли, толку от него больше нет, можно и под арест... А перед уходом и шлепнуть на всякий случай — для спокойствия.

— Шлепнуть не шлепнуть, а торопиться выпускать не будем. К утру, может, цену какую за свою шкуру предложит... Утро вечера, как говорится... Давай спать. Зря шлепать не станем, чего ты взъелся.

Около часу ночи постовой разбудил полковника:

— Товарищ командир! Арестованный просится, говорит, наиважнейшее неотложное дело.

Зыбин сел, потянулся за папиросой, встряхнул головой, сбрасывая остатки сонных бактерий.

— Веди, черт с ним.

Еще с порога Панченко сказал:

— Дело у меня важное, неотложное, но говорить могу только с глазу на глаз.

Полковник взглянул на постового, и тот вышел.

— Вот что, товарищ полковник. — Панченко сел не спрашиваясь. — Не староста я и не бургомистр. А чувствую — затеяли вы против меня недоброе. Как понимаете, предвидеть вашего прихода не мог. — Он взглянул на часы. — Через десять минут начнется подпольное собрание. Пойдемте со мной, сами все увидите.

Полковник молча смотрел на Панченко. Так ничего и не ответив, крикнул постового:

— Отведите арестованного, а ко мне — Стрельцова!

Через несколько минут Зыбин и Панченко шли, пересекая огороды. На некотором расстоянии от них, рассеявшись подковой, двигались автоматчики, человек десять, во главе со Стрельцовым. Шли, не выпуская из виду своего командира и его спутника. А те вошли в одиноко стоявшую, должно быть, брошенную хозяевами избу. Автоматчики безмолвно окружили ее.

Полковник и Панченко прошли через тускло освещенные сени, где сидел какой-то человек, староста распахнул дверь в комнату. Она тоже была слабо освещена, но опытный взгляд Зыбина ничего не упустил. Окна расположены высоко, с улицы не заглянешь. да и занавешены надежно. Вокруг длинного стола — человек двенадцать. Все без оружия. Староста прошел к пустому месту у торца стола, отодвинул стул и указал на него полковнику:

— Прошу садиться. — Потом обратился к собравшимся: — Это командир части, остановившейся у нас. Говорить при нем будем все. — Тон у него был спокойный, уверенный. Видать, знал человек цену своему авторитету. Оглядев собравшихся, продолжал: — На повестке дня сегодня у нас один вопрос — мое устное заявление об освобождении меня от нагрузки старосты.

Люди неодобрительно загудели. Жестом успокоив их, снова заговорил:

— Первая причина. Не выдерживают больше нервы. Вы знаете — снова сорвался, при Чепыжине ударил Хижнякова. Они где-то прячутся и молчать не будут. При первой возможности донесут. Вторая причина. Бергер стал ко мне относиться настороженно, боюсь, учуял что-то.

Снова неодобрительно зашумели люди,

— Спокойно, товарищи,— поднял он руку.— Это только на пользу делу. Берусь правдоподобно обосновать Бергеру свою просьбу об освобождении, подставив кандидатуру, которую сейчас наметим...

— Не получается, Иван Саввич,— поднялся человек с деревянной ногой.— Понимаешь, не получается без тебя. Ты нас всех соединил,— обвел он рукой присутствующих,— ты организовал и отправил отряд Гнедого, а главное — тебя подпольный обком знает и признает. Как же без его ведома!.. А Хижнякова и Чепыжина запросто в расход пустим.

— Как же в расход! Ты что говоришь, Луговой,— с упреком сказал Панченко.— Я только подозреваю, что они меня продадут. Что же, за одно подозрение?

— Тут уважительная причина у Саввича одна...

Зыбин обернулся на старика, коренастого, крепкого и, судя по всему, авторитетного, ибо все умолкли, гул стих.

— Только одна,— повторил он,— как поднять авторитет Саввича у немцев. Только о том и должны мы сейчас толковать. Хижнякова и Чепыжина припугнем, они как рыбы молчать будут. А чтобы полное доверие Саввичу у коменданта... можно и пожертвовать чем. Подумать надо.

Зыбин смотрел на людей, слушал. Нет, не спектакль — подпольщики. Его взгляд остановился на Панченко. Видать, героический человек. Полковника осенило. Он поднялся, заговорил. Его план, достаточно сложный, был призван надежно укрепить в глазах врага веру в бургомистра. Зыбин предложил инсценировать казнь Панченко как верного служаки гитлеровцев. Коменданту, конечно, донесут, а сам Панченко доложит, как удалось избежать казни.

29

Не шантажировал Крылова Петр Елизарович, когда говорил: «Гулыгу голыми руками не возьмешь». Знал, что говорил. Где там голыми — щипцами не ухватишь. И в ступу загонишь, а пестом не попадешь — извернется! Защищенный высотой своего поста, обросший надежными связями, заранее подготовивший сильные аргументы, оправдывающие любые его корыстные дела, имея за спиной немало людей, готовых свидетельствовать в его пользу, он и в самом деле уверенно обходил все рифы.

Два работника обкома партии точно установили: ремонтная мастерская 312-го танкового полка при передислокации сделала короткий привал на опушке леса близ Липани. Во время привала и «пропал» без вести Гулыга. Сверили числа — в тот же день он появился в своем селе, в родном доме.

Никаких сомнений — дезертирство.

Это обвинение обидело, оскорбило Гулыгу — он пришел в благодарное негодование. Шутите, что ли! Во время той остановки отошел в лес, для того и останавливались, когда уже возвращался, увидел группу гитлеровцев, довольно многочисленную группу, двигавшуюся параллельно шоссе. Не будь приказа: ни в коем случае не ввязываться в бой, — нашел бы, что делать. Но приказ есть приказ. Пришлось зайти. А они, как назло, неподалеку от него остановились. Когда пошли дальше, выскочил на шоссе. А от подразделения и след пропал. Попробуй догони! Какое же это дезертирство! Кто видел? Кто может подтвердить такое нелепое обвинение? Будь это дезертирство, и в справке так бы указали, а то видите — пишут: пропал без вести. И тяжелый, неподдельный вздох — сколько их, верных сынов отчизны, пропало без вести! Ну что ж, зачисляйте их в дезертиры, валяйте, пишете, чего уж там церемониться.

Оправданиям Гулыги не верили. Тем более знали — когда полк еще стоял на месте, не раз говорил товарищам: родное село совсем рядом, сбегая туда, гостинцев притащу. Но мало что не верили. Вы

попробуйте докажете! Всякое на войне случалось. И люди уже не могли с уверенностью говорить о его дезертирстве.

Каждую улику он опровергал, выставляя свидетелей, подвластных ему, или таких, что повязал по рукам и ногам незаконно розданными квартирами, должностями, машинами, или связанных с ним общими, далеко не стерильными делами. В его пользу говорили и люди, чье служебное положение и личное благополучие зависели от того, останется ли он на своем высоком посту или будет разоблачен.

Почти два месяца шла проверка. Пятьдесят пять дней настойчивой исследовательской работы представителей обкома, органов безопасности и других организаций. И не было у них помощника более энергичного и цепкого, чем Крылов. Целыми днями и вечерами он просиживал в партийном, государственном, военном и партизанском архивах, перечитал многотиражные газеты военного времени — и гитлеровские и подпольные, выпускавшиеся патриотами Лучанской области, — разыскал рукописную историю 312-го танкового полка. По адресам, выявленным обкомом, летал в разные уголки страны, куда разбросало оставшихся в живых участников событий тех далеких дней в Липани. Самую боольшую радость доставила встреча с Зыбиным.

Шаг за шагом проступала правда. Давалась она ценою огромных усилий. Гулыга отрицал все. Ему показали выводы экспертизы: письмо, адресованное Панченко, написано и подписано собственноручно секретарем подпольного обкома. Не признал: «Экспертиза буквы разглядывала, а я злодеяния бургомистра своими глазами видел. На свои глаза свидетелей не ставлю. Эксперты тоже не святые, и они ошибаются».

Доводов его не приняли, но ряд обвинений, в обоснованности которых никто не сомневался, Гулыге удалось отвести — нет документальных доказательств.

И настал день, когда Званов назначил заседание бюро обкома с одним вопросом: персональное дело Гулыги П. Е.

Многие лица в зале заседаний были знакомы Крылову, иных видел впервые. Члены бюро сидели за длинным столом, приглашенные — вдоль стен. Задержал взгляд на Зыбине. Впервые он увидел его на пасеке. Застал за любимым занятием — возился в пчельнике, гостей не ждал, на нем мешковато сидел тренировочный костюм. И похож он был на старого пасечника, будто всю жизнь только и занимался пчелами. Но сейчас он в полной военной форме. На груди — звезда Героя и внушительные ряды орденовских планок. Крупное, чуть красноватое лицо, на котором тяготы военной жизни навсегда оставили свой след. Дальше два незнакомых человека, а за ними — Валерия Николаевна. Склонила голову, нервно теребит на коленях платочек. Рядом сам Крылов. Как получилось, что они рядом? Он не стремился к такому соседству, она тем более. Само собой получилось. По другую сторону от Крылова — Голубев Никита Нилович. Не по себе ему. Трет руки, сидит неспокойно. И понять его можно.

Степан Луговой — одна нога согнута в колене, другая, искусственная, вытянута вперед. Два раза резали эту теперь не существующую ногу — один раз по колено, потом чуть не до самого бедра. Рядом другой инвалид войны, Горохов, бывший командир 312-го танкового полка, героического полка, высшей славы достигшего в сражении на Курской дуге. Чуть дальше совсем дряхлый старик с живыми, молодыми глазами — Гаврила Чумаков. Еще дальше Забаров и Артюхов. Так и не удалось встретиться. С ними беседовали представители обкома.

Не в силах сдержать нервного напряжения ерзал на стуле Прохоров. Ремизов демонстрировал чувство собственного достоинства. Не получалось. Предательский страх то и дело проскальзывал в глазах.

У противоположной стены сидел один Гулыга. Сидел в одиночестве. Лицо спокойное, руки — на толстой папке бумаг,

Первое слово Званов предоставил председателю партийной комиссии Чугунову. Он начал с сути дела — как оно возникло, как велась проверка и что она показала. Из сухих, официальных слов вдруг начал вырисовываться и предстал перед слушателями делец крупного масштаба, вся жизнь которого — сплошной обман.

Затем слово получил Гулыга.

Наступил момент, к которому он тщательно готовился. Готовился не один и даже не столько он, сколько его правая рука, его надежнейший помощник Станислав Арбин, безраздельно преданный Гулыге, без которого тот шагу не делал. Широко эрудированный юрист, опытный адвокат, он занимал в объединении скромную должность юрисконсульта. Обладая гибким умом и феноменальной памятью, он держал в голове множество фактов, цифр, исторических событий, фамилий, биографий людей, номеров телефонов и еще бог знает каких данных, хранил все это на невидимых мозговых полочках, чтобы использовать в нужный момент. Он, казалось, мог выпутаться из самой густосплетенной сети, выгородив злостного нарушителя государственной дисциплины, обвинив при этом невинного, подтасовав факты, извратив истину, умело и тонко вуалируя законом беззаконие. Практически все аморальное, корыстное, что совершил Гулыга, апробировалось Арбиным. Верил ему безгранично, ибо щедро, куда как щедро оплачивал услуги своего юриста.

Когда Гулыгу впервые вызвали в обком партии для объяснений, он не придал этому особого значения, ибо еще в полной мере верил в собственную безнаказанность, — лишь мельком сообщил Арбину о состоявшейся беседе. Но тот своим волчьим нюхом учуял всю серьезность нависшей угрозы.

К черту браваду! Оценить, понять опасность! Но и никакой паники. Только холодный рассудок.

К слову, Арбин поведал ему одну историю, хотя не был убежден, что это не анекдот. Знаменитый русский адвокат Плевако однажды зашел в камеру подзащитного и сказал: «Не беспокойтесь, я неопровержимо докажу, что убийца не вы. Но чтобы мне легче и надежнее было строить зашиту, до мельчайших подробностей расскажите, как именно вы совершили убийство».

«С этого и начнем, Петр Елизарович, — предложил Арбин. — Расскажите мне во всех деталях не только то, что удалось узнать обкому, но и до чего они не докопались. Опустите все, что я знаю, и расскажите то, о чем не знаю и я». Гулыга вспоминал и рассказывал.

Каждая новая встреча в обкоме — а их было четыре — обсуждалась и тщательно анализировалась. Было точно установлено, что именно известно обкому партии, что можно будет опровергнуть, какие факты придется признать, как объяснить их, чем мотивировать.

Заранее были взвешены все обстоятельства дела, все возможные повороты в ходе разбирательства. До деталей продумано, как надо будет вести себя, определена тональность выступления в зависимости от того, о чем в данный момент будет говорить, какие эмоции брать на вооружение. Подверглись обсуждению характеры членов бюро, определены методы воздействия на них. Одних можно разжалобить, других взять раскаянием, третьим вселить веру в него как в человека пусть ошибавшегося, но способного сделать правильные выводы, извлечь уроки из своих ошибок и в дальнейшем еще принести большую пользу обществу.

Выступление Гулыги на бюро обкома партии, его заключительное слово и возможные вопросы и ответы на них написал Арбин. Главная задача Гулыги — не оторваться от текста. Что бы там ни говорили, следовать только тексту. Пусть десять раз будут выворачивать из него душу — значит, десять раз отвечать одно и то же. Не дать сбить себя. И никаких эмоций, кроме запрограммированных. На всякий случай запомнить генеральное направление: обойти острые углы и выложить

свой главный козырь. Без эффектного жеста, но рассказать о своей двухлетней партизанской борьбе, не выпячивая себя лично, и так поймут: ведь командиром отряда был он. Рассказать о своем личном вкладе в дело победы над фашизмом, но опять-таки умело, скромно, как говорят о своих подвигах истинные герои. И как бы между прочим, вроде бы не специально, а к слову, но привести внушительные цифры уничтоженных его отрядом гитлеровцев, их техники, назвать фамилии бывших своих партизан, героически погибших, впечатляюще обрисовать, как пускали под откос вражеские поезда, нет, не он лично, но мельчайшим штришком, никак не выпячивая себя, все-таки дать понять, что и он там был, а ведь он — командир, значит, поймут: под его руководством свершались эти подвиги. Поди теперь проверь, попробуй!

Точно талантливый режиссер Арбин обрабатывал с Гулыгой жесты, мимику, голос, выражение глаз.

30

И вот настал момент. Получив слово, Гулыга поднялся, тяжело вздохнул, невидящим взглядом обвел сидящих за столом. Заговорил растерянно, виновато:

— Не знаю, товарищи члены бюро обкома, — оглядел сидящих за столом, — не знаю, с чего начать. Надеюсь, вы понимаете мое состояние, мое волнение и не взыщите, с пониманием отнеситесь к тому, что мое выступление не будет носить стройного характера — слишком тяжелы мои ошибки.

Он умолк, словно собираясь с мыслями, и после короткой паузы продолжал:

— Прежде всего должен выразить свою благодарность областному комитету партии, лично товарищу Званову, товарищу Крылову, всем товарищам, которые раскрыли мне глаза и помогли оценить свои поступки в их истинном неприглядном свете.

Званов поморщился, но не прервал его. От Гулыги не ускользнуло недовольство секретаря обкома. Не смутился — благодарность каждому приятна, если даже не покажет виду.

— И поверьте, — прижал он к груди руку, — я в полной, исчерпывающей мере осознал свои ошибки, каждой клеткой ощутил всю их глубину, и горькое раскаяние, охватившее меня, понимаю, не может смягчить моей вины. Не стану искать оправданий, хотя кое-что и мог бы привести, и лишь надежда, что вы поверите в мою искренность, поддерживает меня сейчас.

Гулыга говорил, умело обходя серьезные обвинения, которые ничем не мог объяснить или опровергнуть, иные представлял мелкими, совсем не значимыми, словно недоумевая, как можно такие мелочи предьявлять через столько лет. И, перечисляя обвинения, и в самом деле не главные, мимоходом называл и весьма серьезные, будто и они из того же ряда мелких промахов.

Начал с того, что признал обман, подлог в биографии, другие проступки, которые, впрочем, называл лишь ошибками молодости, да и то совершенными из лучших побуждений. Упирался на свою бескорыстность и постепенно свел их на нет, так что перед человеком непосвященным вырастала фигура боевого партизанского командира, правда имевшего некоторые промахи — а у кого их нет, — но честного, верно служившего родине.

В зале стояла напряженная тишина. Гулыга говорил тихо, слова его звучали искренне, в них чувствовались боль и горечь.

— Да, — продолжал он, — мой полк попал в окружение, я выбрался и организовал подполье и партизанский отряд. Важно, что я — не кто иной — создал в районе невыносимые условия для врага. Да, я называл себя боевым танкистом, капитаном, но это исключительно из пат-

риотических побуждений. Время было тяжелое, наименее стойкие начинали терять ориентиры, и надо было вселить в людей веру, заставить пойти за собой. Вот я и назвал себя командиром танкового взвода. А потом это уже перешло в документы... Сейчас-то я осознал всю порочность своего поведения. Владимир Ильич не раз указывал, что людям надо говорить правду, какой бы невыносимо горькой она ни была. Но в моей тогда молодой, почти мальчишеской голове все представлялось иначе: только бы пошли за мной на святое дело защиты родины. Подумайте, товарищи, не для оправдания говорю, хочу лишь объяснить свой поступок — разве в то время, когда на каждом шагу нас подстерегала смерть, мог ли я, молодой и горячий, думать о какой-то корысти. Да и никакой корысти не извлек я, кроме той, что люди пошли за мной на смертельные схватки...

Гулыга и Арбин все предусмотрели. Спокойная, без эмоций изложенная информация Чугунова, даже не выводы, а только факты, должна была произвести на членов бюро сильное впечатление, отнюдь не в пользу Гулыги. Ему, быть может, и удастся смягчить, сгладить это впечатление, но не более того. Но вот, оказывается, не все предвидели. Не зря, ох не зря здесь столько посторонних. Для него-то они не посторонние, может быть, только этот генерал со звездой Героя, а остальных, односельчан да и других, прискакавших сюда из разных городов, откуда только их выкопали, знал, хорошо знал. Совсем не посторонними они были для него когда-то. И не в качестве зрителей их пригласили. Будут говорить, и им есть что сказать. Значит, другого выхода нет, надо каяться. После каждого отвергаемого им обвинения рефреном звучало его покаяние.

Закончив, он тяжело опустился на стул. Несколько секунд исподлобья обегал глазами зал. Взгляд не задержался на ненавистных ему свидетелях, только чуть-чуть на Голубеве и Чумакове. Как они поведут себя? Пока шла проверка, с каждым из них успел поговорить, объяснил, в каком неприглядном виде предстанут перед бюро, если в третий раз изменят свою точку зрения. И пусть не лелеют надежду, что против них не возбудят персонального дела. Недвусмысленно обещал новые блага, если проявят благоразумие. Не просто им сейчас. Что они скажут?

Зато Прохоров, Ремизов — эти не подведут. С ними он не дипломатничал, не церемонился, сказал как отрубил — если не будут активно защищать его, проявляя при этом инициативу и настойчивость, заложит их, разделет донага, и не удержат им своих партбилетов. А они знают — сказал слово, так на нем хоть дом строй. Крепкое у него слово. Выхода у них нет — будут вытаскивать. А остальные... Появление их на бюро — полная неожиданность. Нет, эти будут топить. Топить живого, безжалостно и злобно.

Раздумья Гулыги прервал Званов:

— Есть ли вопросы, товарищи?

Люди молчали.

— Вы объяснили, — обратился к нему Владимир Михайлович, — что назвали себя танкистом, командиром, чтобы люди пошли за вами, несмотря на вашу молодость.

— Верно, — с готовностью подтвердил Гулыга.

— А мемуары?

— Что мемуары? — насторожился Гулыга.

— Вы описали множество своих подвигов в боях, когда якобы были танкистом. Писали много лет после войны, отнюдь не в молодые годы.

Гулыга в смущении развел руками:

— Это, извините, вопрос не мне... Редакторы приписали... Опыта в этом деле у меня не было, сказали, даже в документальной литературе всегда допускается вымысел, но я все равно резко протестовал. А они — уже все сверстано, правку делать поздно, вы сорвете нам

план, большой коллектив рабочих типографии лишится премии и так дальше. Что мне оставалось делать?..

— Нет! — прервал его Званов. — Мы смотрели рукопись, там только стилистическая правка.

Гулыга не знал, что ответить. Стоял молча.

— Еще вопрос, товарищ Гулыга, — нарушил молчание Званов.

— Позвольте, позвольте, разрешите уж ответить, — с обидой развел руки Гулыга. — Видимо, вы смотрели издательский экземпляр. Я знаю, точно знаю, там сохранился мой оригинал, прошу, Владимир Михайлович, послать за ним, пусть все члены бюро убедятся... Просто, если будет дозволено так говорить на бюро обкома, во имя истины я настаиваю на этом.

Всю жизнь Гулыга шел напролом. Шел на неправо дело с открытым забралом, удивительным образом совмещая это с чистыми, невинными глазами и тихим голосом. Шел порою по краю пропасти и не боялся, ибо немыслимый гибрид безграничной наглости и наивных чистых глаз, заслонявших ее, заставлял людей верить ему. Рисковал чудовищно, но не безрассудно. Вот так же, как и сейчас, — а вдруг пошлют за рукописью, пригласят редактора? Что тогда? Нет, с расчетом рисковал. Не пошлют — никто не станет прерывать заседание, никто в данный момент не будет заниматься проверкой, а судьба его решается сейчас. Пусть потом проверяют, найдется выход.

Не все предусмотрел Гулыга, не все учел.

Скептически взглянув на Гулыгу, Званов мягко сказал:

— Зачем же так усиленно настаивать, пожалуйста. — Он взял одну из папок, лежавших перед Чугуновым, раскрыл и показал: — Видите, надпись «Авторский экземпляр». И только стилистическая правка. А вот, — взял вторую папку, — «Издательский экземпляр», точно такой же.

— Странно, — забормотал Гулыга. — Какое-то недоразумение... какая-то ошибка...

— Пойдем дальше. — Званов положил папку на место. — В каком полку вы служили и как попали в родное село?

— Я уже говорил, — приободряясь, начал Гулыга. — Служил в Триста двенадцатом, это и в архивной справке отмечено. В окружение наш полк попал близ моего села...

— Минутку, — прервал Званов. — Вот документ из архива танковых войск. В нем говорится, что Триста двенадцатый полк за всю войну в окружении ни разу не был. Значит, просто сбежали?

— Ничего не понимаю, — пожал плечами Гулыга. — В тыл я попал из окружения.

— Товарищ Гулыга, — не меняя своего мягкого тона, сказал первый секретарь, — призываю вас хотя бы здесь, на бюро обкома, быть искренним. Говорите правду.

— Я правду и говорю.

Званов не ответил на реплику, задал новый вопрос:

— Сколько времени вы командовали партизанским отрядом?

— Больше двух лет, — последовал быстрый ответ.

— По данным органов госбезопасности, совпадающим с архивными материалами штаба партизанского движения республики, боевые действия вы начали за два месяца до освобождения района Советской Армией и они не носили сколько-нибудь заметного характера.

— Ошибка, — мгновенно ответил Гулыга. — Недоразумение, прошу еще раз проверить.

— И последний вопрос. Вы ничего не сказали о подлогах с занижением сахаристости, повышением загрязненности свеклы и корректировке планов, о чем докладывал товарищ Чугунов.

Не пряча смущения, Гулыга сказал:

— Относительно свеклы, видимо, точнее скажет товарищ Прохоров, как я понял товарища Чугунова, это на заводе делалось. Однако и с себя вины не снимаю, обязан был знать все, что делается на

заводе. Недоглядел. Что касается корректировки планов, то здесь, очевидно, более компетентен товарищ Ремизов. Как видно из сообщения товарища Чугунова, корректировал планы начальник главка. Но и в этом деле, товарищи, не могу остаться только свидетелем. Планы-то корректировались на сахарных заводах, входящих в объединение, где директор я. Значит, за все, что там происходило, и я в ответе.

Это был серьезный просчет Гулыги. И Прохоров и Ремизов намеревались выводить его из-под удара. Может быть, не столько ради него, сколько в собственных интересах. Теперь его слова поразили обоих. Если он начал с того, что закладывает их, пусть пеняет на себя.

Вопросов было много, и отвечал Гулыга так же, как на последний вопрос Званова,— он-то не виноват, виноваты другие, или его молодость, или неопытность в данном деле, или обстоятельства чуть ли не форсмажорные, но все равно вины с себя не снимает, хотя, сами понимаете, ну абсолютно он здесь ни при чем.

Когда покончили с вопросами, начались выступления. Один за другим поднимались люди, живые участники событий, члены бюро, избобличая Гулыгу во лжи, разоблачая его преступные действия. И понимал, все отчетливее понимал — загнан в угол, откуда не выбраться. Он сидел неподвижно, но лихорадочно билась мысль — должен же быть какой-то выход. И только глаза его бегали, метались, точно пытались найти, увидеть наяву этот выход из любого положения.

Почти все, о чем говорили люди, Крылову было известно. И все-таки из каждого выступления узнавал что-то новое. В частности, удивило выступление Лугового. Обрисовав подпольную деятельность Ивана Саввича, он сказал:

— Что касается Гулыги, тут и моя вина. Я первым распространил версию о нем как о героическом танкисте.

Присутствующие с недоумением обернулись на него. А он продолжал:

— Однажды увидел, как вышел из лесу парень в военной форме с сорванными петлицами и, озираясь, стал спускаться с косогора. Спрыгнул за куст — наблюдаю. Он направился к самой крайней избе. Выскочила оттуда женщина, бросилась на шею, обнимает, плачет. Соседи повысунулись, повыскакали, тоже обнимают, так гурьбой и вошли в избу. Постоял я с полчаса — не выходит обратно. Дай, думаю, и я пойду посмотрю, что за человек. А он уже изрядно выпил — на столе закуска, самогон — и рассказывает о том, как его танковый взвод громил фрицев. В последней схватке, увлекшись, углубился далеко в гитлеровское расположение, уничтожил, растоптав гусеницами, много техники, но и его подбили. С трудом удалось выбраться. И вот пробирается, догоняет свой полк. Рассказывал человек так, что гордость за него брала. И завидно стало: он-то найдет свой полк, а я что — без ноги?..

Это и был Петр Гулыга в своем родном селе. Я поскакал к Саввичу, рассказал ему и другим подпольщикам. Все радовались, гордились таким героем из своего села. Потом день за днем проходил, он все собирался идти дальше искать свой полк, но задерживался — мать не пустила, плакала, да и сам не торопился. Так и прошел месяц, а то и больше. Саввич стал сердиться, предложил ему к партизанам идти — как раз отряд Гнедого создавался. Сначала отнекивался, говорил: танкист на танке должен воевать, обязательно найдет свой полк, — а еще через месяц согласился. Согласился, а не пошел..

Подробно рассказал Луговой и как уже открыто Гулыга отказался идти к Гнедому, ссылаясь на то, будто свой отряд создал, а фактически стал привольно жить с дружками в лесу. Саввич, конечно, не допустил бы этого, но тут его схватили гестаповцы.

И еще одно выступление вызвало большой интерес у Крылова. Партизанский отряд Гнедого нарвался на засаду и был почти полностью истреблен. Тяжело контуженный Артюхов прибил к какому-то хуто-

ру, там его укрыли и долго выхаживали. Постепенно вернулся к нему слух, но говорить не мог. Тут дошла до него молва, будто в липанских лесах действует партизанский отряд Гулыги. Разыскал тот отряд, было в нем человек десять. Как мог на пальцах объяснил, чего хочет, его и оставили там. Помогал повару, колол дрова, убирал в землянках. Шло время, а он все больше поражался: отряд и не думает воевать — шкуру свою спасают. Стал упрекать их. Поняли его и ему дали понять: если не заткнется — убьют. Тогда он сбежал. А вскоре Липань освободили советские войска. Вот тут Артюхова чуть не хватил удар. Смотрит, человек тридцать с красными партизанскими ленточками во главе с Гулыгой встречают воинов криками «ура», шапки вверх бросают. Стали бойцы обниматься с партизанами, собрались все вместе. Подбежал поближе к ним и Артюхов. Слышит, капитан спрашивает Гулыгу: «Ваша работа?» — и показывает на разбитые железнодорожные вагоны, видневшиеся на насыпи. «Наша, — улынулся Гулыга, — это шестнадцатый по счету, пущенный нами под откос». А вагоны те давно валялись, их еще гитлеровцы разбили, когда наступали.

Бросился Артюхов к капитану — к тому времени уже начал понемногу говорить, — но от волнения и ярости слова сказать не может, только мычит, размахивая руками. «Уведите его, — скомандовал Гулыга, а капитану пояснил: — Рехнулся человек». И увели. Два дня держали взаперти, пока далеко не ушли наши войска добивать врага.

31

Заседание бюро обкома шло бурно. Если во время выступления Гулыги люди молчали, сдерживая свое нарастающее негодование, то сейчас они дали волю словам. То и дело раздавались реплики, даже выкрики, и Званову с трудом удавалось сохранять порядок.

Выступили четырнадцать человек, когда решили прекратить прения.

— Вы хотите еще что-нибудь сказать? — обратился Званов к Гулыге.

Медленно и тяжело поднялся. Невидящим взглядом обвел зал, лишь на секунду задержав его на своих бумагах. Он почти на память выучил свое заключительное слово.

— Трудно, тяжело говорить, товарищи. Некоторые из вас меня неправильно поняли, многое наслоилось на подлинные факты — тяжелые факты моих тяжелых ошибок. Не буду к этому возвращаться. Хочу лишь сказать — какое бы решение вы ни приняли, товарищи члены бюро обкома, какое бы суровое наказание ни вынесли, я приму его безропотно как заслуженное и справедливое возмездие за содеянное мною. Смысл моей дальнейшей жизни будет заключаться в том, что, на какой бы участок вы ни поставили меня, сумею своим трудом, трудом, не знающим ни дня ни ночи, хоть в малой мере искупить свою вину. Десятилетиями накопленный опыт, свои знания, все свои силы и энергию я приложу к тому делу, на которое буду поставлен.

Гулыга говорил теперь не робко, а с большой убежденностью, оставив взгляд поочередно на членах бюро, словно только к каждому в отдельности обращаясь.

— Не словами, — уверенно звучал его голос, — слова мои потеряли силу, а на деле я докажу, что способен извлечь уроки из трагедии в моей жизни и сделать подлинно партийные выводы из всего происшедшего. У меня нет документа, который мог бы положить перед вами в подтверждение моей искренности, но прошу поверить, что мое раскаяние — это не слова, а крик души, сама моя открытая перед вами душа глубоко осознавшего свою вину человека, по-новому глядящего на хорошо известные факты, по-новому, по-партийному оценивающего события, приведшие меня в столь плачевное состояние.

Он умолк. Остался стоять, глядя куда-то вверх.

— Вы кончили? — спросил Званов.

— Да. Кончил,— вздохнул Гулыга.— Хочу лишь просить вас, товарищи, не применять ко мне высшей меры наказания. Жизнь вне рядов партии для меня — политическая смерть. Не казните.

Грузно, точно подкосились ноги, сел.

— Будем подводить итоги,— поднялся Званов.— Кошунственно прозвучала здесь в устах товарища Гулыги ссылка на слова Ленина. Уж если обращаться к Ленину, то следовало бы в первую очередь привести его высказывание, наиболее подходящее для данного случая. Владимир Ильич говорил, что надо...— Он вытащил закладку из книги и прочитал: — «...судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что на самом деле пропагандируют». Следовательно,— продолжал он,— о товарище Гулыге мы будем судить не по блестящему мундиру героического танкиста, который он сам на себя надел, не по высокому званию партизанского командира, которое он сам себе присвоил, а по тому, как он поступал всю жизнь — обманывал общество — и что пропагандировал и насаждал — моральное растление.

В зале стояла напряженная тишина. Все смотрели на оратора, и только один человек сидел опустив голову, и она дергалась как от ударов, склоняясь все ниже. Никто сейчас не обращал на него внимания. Слушали.

— Пример с Гулыгой,— продолжал Званов,— это убедительная иллюстрация к одному из теоретических положений социализма. Есть ли в нашем социалистическом обществе острые конфликты и столкновения? Да, есть. Но здесь они не носят, как в буржуазном обществе, социальный характер. Это не классовые столкновения, это противопоставление эгоистических, сугубо корыстных интересов отдельных лиц интересам всего общества. Именно с таким примером мы и столкнулись и должны сделать для себя серьезные выводы. Там, где не проявляется настоящей заботы о формировании здорового общественного климата, и создается благоприятная почва для прорастания таких социальных сорняков. К каким только ухищрениям не прибегал Гулыга! Подкуп, взятки, облеченные в самые различные, отнюдь не стандартные, завуалированные формы, лесть, подхалимство, шантаж, незаконная раздача квартир, должностей, машин точно каменной стеной ограждали его от критики и разоблачений, ибо жалобы на него попадали чаще всего к тем, кто пользовался этими незаконными благами. В их архивах, как в тине, тонули тревожные сигналы. К сожалению, причастен к этому оказался и работник обкома, с которым мы уже распрощались и исключили из партии. Только потому, что мы не занимались надлежащим образом формированием здорового общественного климата, в руках Гулыги оказалась, по существу, экономика целого района. Он организовал на первый взгляд неуязвимую систему казнокрадства, втягивал в нее и тем самым разлагал морально множество людей от рабочих до командиров производства. Их служебное и материальное положение в значительной мере зависело от него, его симпатий, благосклонности, капризов и произвола, то есть всего того, что почерпнул этот деятель в прошлом, на чем держался и держится ныне мир воинствующего мещанства. Такие, как Гулыга и его ближайшее окружение, персональные дела которых нам предстоит еще разбирать, особенно опасны, ибо, как отмечала «Правда», подобные социальные сорняки там, где им удастся угнездиться, как моль, дырявят ткань социалистических общественных отношений, и борьба против них должна быть непримиримой, а наказание неотвратимым.

Званов помолчал и после паузы добавил:

— И на нашем сегодняшнем бюро он остался верен себе: ни грана искренности, юлил, изворачивался, бесстыдно извращал истину. Таким, как Гулыга, нет места в партии. Я поддерживаю предложение товари-

щей — исключить его из партии, возбудить уголовное дело. Есть другие предложения?

Зал молчал. Званов медленно обвел взглядом стол.

— Нет других предложений? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Гулыгу Петра Елизаровича исключить из партии? (Все сидящие за столом подняли руки.) Кто против?.. Нет. Воздержавшиеся?.. Нет. Принято единогласно.

Теперь взгляды людей обратились к Гулыге. Он сидел согнувшись, неподвижно лежали руки на папке с бумагами. В полной тишине прозвучал голос Званова:

— Товарищ Гулыга, прошу сдать партийный билет.

Гулыга вскинул голову как от удара в спину.

— То есть как сдать?

Званов не ответил. Голова Гулыги обреченно опустилась. В зале, где находилось столько людей, стояла противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо растерянного Гулыги. Он озирался вокруг, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи. По мере того как он поворачивал голову, те, кто смотрел на него, отводили взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение,— проговорил он наконец, едва произнося слова.— Наваждение какое-то...

Поднялся Званов. Несколько секунд молча смотрел на него, сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно.— И обернулся в сторону председателя парткомиссии.— Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к Гулыге, и тот начал медленно доставать из бокового кармана бумажник. Медленно вытаскивал партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранил в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой не рассматривая, не раскрывая и предъявлял у входа. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взносов, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листал странички. Год за годом перед глазами проходила жизнь. Сколько же секретарей сменилось. Теперь сменят и его. Другой будет генеральным, в его кресло сядет... Еще уголовное дело, ишь чего захотели! Нет, тут не перескочат, забурются... А с работы снимут, какую-нибудь должностишку кинут с грошовым окладом...

Перевернул еще страничку... Зарботки приличные были, а с премиями куда больше. Тоже придумали — из премий взносы брать... А это?.. Да, это за мемуары... внушительная сумма. Правда, не всю сумму получил, пришлось этому шелкоперу платить. Наглец, половину гонорара требовал. За что, спрашивается? Все ему растолковал, рассказал, садись и пиши. Можно сказать, техническая работа... Вот уже чистые странички пошли. Значит, что? Все? Нет, отдавать партбилет нельзя, куда без партбилета? Правда, и беспартийные специалисты получают прилично и взносы не платят... Беспартийные... Что же теперь — беспартийный? Не просто беспартийный — исключенный из партии. Ну нет, этого не будет!

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загредел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на Званова, Гулыга выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, вздулись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засверкали глаза.— Вы мне сго

давали, я спрашиваю?! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам! Апеллировать буду!

Не вставая, Званов властно сказал:

— Вы положите на стол партбилет немедленно! А апеллировать — ваше право.

32

Через день после заседания бюро обкома Гулыга отправлялся в Москву. Он шел по перрону, высоко подняв голову, ни на кого не глядя, никому не уступая дороги. Шел уверенно, косясь на номера вагонов. Вот и его спальный вагон прямого сообщения.

Не поспевая за ним, с портфелем и чемоданом торопился Хижняков. Чуть позади — Семен, тоже с чемоданом, но поувесистей. Хотя здоровяк парень, а несет, сгибаясь набок.

— Ты что отстаешь? — недовольно обернулся к нему Хижняков. — Видишь? — кивнул на ступившего на подножку Гулыгу.

— А ты что суетишься? — не ускоряя шага, насмешливо ответил Семен. — Сейчас-то какой толк? Все, кранты!

Хижняков остановился.

— Эх Семен, Семен, молод ты еще, зелен. Гулыгу не знаешь. Ох не знаешь...

Может быть, случайно, но в двухместном купе Гулыга ехал один. Мелькали пристанционные постройки, лесок, сменившийся полем, а вдаль — большое село. Обычно, проезжая это место, он не упускал случая заметить невзначай попутчику: «Раньше село было, а теперь поселок. Это благодаря тому, что здесь построен один из моих сахарных заводов».

Теперь он не хочет смотреть туда, резко отвернулся, вышел в коридор. А зря. Поезд проходил близко от Липани, и можно было разглядеть огромное скопление людей на площади. Они собрались вокруг высокого обелиска. Двое молодых ребят водружали на обелиске большой портрет красивого человека — Ивана Саввича Панченко. Обаятельная улыбка, высокий лоб, черные вразлет брови, вьющиеся волосы. Как живые благодарно смотрят на людей его умные, добрые глаза.

Не вытирая обильных слез, улыбается Марфа Григорьевна, вдова Саввича. Не отрывает платка от глаз Зарудная. Смахнул слезу Герой Советского Союза генерал-полковник Зыбин.

В сторонке стоял Сергей Александрович Крылов. Стоял, как солдат, по стойке «смирно», точно отдавая последний долг герою, чувствуя собственную вину перед ним. Нет, он еще не искупил своей вины. Но искупит, обязательно искупит. Как бы ни сложилась дальше его собственная судьба — будет книга о героическом подпольщике.

Валерия Николаевна вытерла наконец глаза, увидела Крылова, обойдя людей, подошла к нему, встала рядом. Он благодарно пожал ей руку.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЮРИЙ КАЗАКОВ

★

МАЛЬЧИК ИЗ СНЕЖНОЙ ЯМЫ

«Мальчик из снежной ямы» — это повесть о жизни (или скорее духовная биография, житие) ненца Тыко Вылки, художника, проводника арктических экспедиций, «президента Новой Земли». И первая посмертная публикация из архива Ю. П. Казакова.

Рукопись датирована 1972—1976 годами. Первая дата — год написания очерка «И родился я на Новой Земле... (Тыко Вылка)», вошедшего в «Северный дневник» и ставшего основой повести. Спустя несколько лет, в 1976 году, Юрий Павлович снова обратился к этой теме, работая над сценарием фильма «Великий самоед». Замысел повести возник под впечатлением и влиянием документальных материалов — записей рассказов самого Тыко Вылки, опубликованных фольклористом и этнографом А. М. Щербаковой в книге «Тыко Вылка» (Свердловск, 1965). Древняя простота этих рассказов, достоверность, точность деталей с необычайной ясностью открыли писателю образ человека, обращенного к добру даже в самых жестоких обстоятельствах, и он считал теперь своим долгом подробно и цельно описать эту достойную преклонения жизнь. Важно было показать, где и когда жил Тыко Вылка,— этим объясняются пространные выдержки из этнографического очерка С. В. Максимова, отсюда и переключки с «Северным дневником», обретающие здесь новое звучание и значение.

В последние месяцы и дни своей жизни Юрий Павлович постоянно вспоминал Север, был занят мыслями о новых северных рассказах и очерках, просматривал свои наброски, перечитывал статьи и письма В. А. Русанова. Но вернуться к работе над повестью, завершить ее уже не успел...

Осенью 1960 года, солнечным днем, плыл я на катере по Оке — от Тарусы в сторону Алексина.

Я сидел на верхней палубе, глаз не мог оторвать от багряных, лимонных, оранжевых и шафранных берегов и чувствовал себя счастливым.

День стоял солнечный, жаркий, не верилось даже, что через несколько дней придет октябрь. И еще мне весело было оттого, что ехал я в крохотную деревеньку, где посчастливилось мне снять на осень избушку.

Избушка была мала и так стара, что на тесовой ее крыше давно уж цвел мох. За водой надо было ходить далеко, к самой Оке, к роднику, за дровами тоже нужно было идти в лес и гашить потом за плечами добрую вязанку.

Но это-то и было хорошо! Зато в избушке был стол, было деревянное старое, какое-то ямщицкое кресло, в котором спинкой служила дуга, и электричество было, хоть деревенька и состояла из пяти дворов,— чего же мне было еще нужно!

А главная моя радость состояла в том, что наконец-то я буду один, разложу свои записки, стану работать... Мне не терпелось сесть за стол.

Незадолго до этого месяца полтора ходил я по Северу, по Белому морю, жил по нескольку дней в разных деревнях, жадно расспрашивал каждого о чем придется, нисколько не стыдясь своего неведения, своей наивности, пока не понял вдруг, что чуть не каждый человек, родившийся и выросший в суровом краю, на берегу Белого моря, — герой.

«Тихие герои» — так окрестил я про себя всех встреченных мною, и вот теперь, на катере, сидя под горячим солнцем на верхней палубе, я не переставал вспоминать их и восхищаться ими.

В деревне Майде остановился я пожить у веселого краснолицего старика Евлампия Александровича Котцова. С утра до ночи он все что-то делал — то в бригаде, то возле своего дома, и всяческие колхозные нормы перевыполнял, и дом его был крепок и ухожен, и весело, завидно было смотреть на него, но и больно, потому что не ходил этот Котцов, а ползал на четвереньках, шурша и постукивая своими культяпками в бахилах.

В молодости его во время зверобойки отнесло на льдине в море, несколько дней он «пропадал» вдвоем с товарищем, боролся со смертью и вот как об этом рассказывал:

— Это событие произошло такое. Сполнилось тогда мне двадцать лет от роду, парень я был крепкий, хороший, сказать тебе, парень. Пошел я раз на зверобойный промысел Белого моря. Пошли мы обыденкой... Обыденка, сказать тебе, товаришш, это когда утром уходишь, а вечером домой ворочаешься. И вот ушли мы в море далеко, и пал на ту пору ветер горный. А как пал — зашло у нас сердце. А потому зашло, что на гору (на берег) попасть мы не могли никак... Унесло, понимаешь, кругом-то море да льды плавают, и, сказать тебе, берега совсем не видно. Вот как, милый товаришш. А утром встали, уж земли нашей и совсем след пропал! Находились мы потом, сказать тебе, в тонкой разнилатке...

Разнилатка-то? А это, к примеру, тонкий лед, сантиметра так три. А от берега стали мы по всем нашим расчетам километров за двадцать, не мене. Погоревали мы, погоревали, кушать совсем нечего, и стали, понимаешь, домой пробиваться. Стал я на коргу лежать, на брюхе, ноги свесивши наружу и вперед. Коргу — это, тебе сказать, будет нос на лодке. Дальше? А дальше так было, что товаришш мой гребет, а я на коргу лежу да ногами лед разламываю.

Этим путем мы трои сутки попадали до берега. Сказать тебе, товаришш, смерть возле нас стояла и глядела на нас, как мы копошимся. А мы все ж копошимся, потому, понимаешь, что ничего больше не остается нам делать. Трои сутки ломался я на коргу, лед ногами разламывал и уж боле ничего не понимал, где у меня руки, где ноги, а где голова.

Дальше? Дальше попали мы, попали на гору, но не в деревню, а, сказать, в пустое место, в двадцати километрах от деревни нашей к югу. Хорошо. Вытянули мы лодку на берег и пошли нешим порядком в сторону Майды. Идти плохо можем, ноги, понимаешь, чувствуют ненормальность. Отошли километра три, ну в крайнем случае четыре, так сказать, избушка. В этой избушке живут люди, койдена (из Койды), три человека их, ребята.

Дальше, понимаешь, заворотили мы в эту избушку. Нас приняли. А мы голодные, холодные, пятеро суток не едали никого. Приняли хорошо, обули, одели, накормили, худо ли, хорошо, по-местному будем говорить — приятно сделали для нас. Вот вы были в Койде-то? Так живет там старичок такой Артемий Васильевич, а его отец был на те поры капитаном. То есть капитан шхуны, или, сказать тебе, лодьи.

Ноги-то мои примерзли к голяшкам (кожаные сапоги). Он раздел голяшки, дал мне пимы. «Я, говорит, пойду за конями, обратно спущу вас». А пошел под вечер, в три часа, приехал назад в двенадцать часов ночи на лошадях. Так... приехали, нас забрали и привезли сюда.

Дальше что получилось... Дальше получилось такое событие, что стали ноги у нас разбалчиваться. А у товарища одна: он на коргу лед не ломал дак. Болят и болят, и что ни день, то пуще, и прямо, понимаешь, ступить нельзя — так болят! Дело дошло до того, что сам собой сидеть не мог. Как малюго ребенка ложили и поднимали.

Хорошо. Решили везти меня в Мезень, и поехали на лошади. Трое сутки ехали, а январь, так и метет, и мороз сильный на те поры был. Ну что ж... Привезли меня в Мезень, там в больнице представили. Врачей не было, докторов, одни фершала, народ темный, в медицине мало понимали.

А у меня уж, простите за выражение, на ногах внизу от кости отвалилось. Дальше. Дальше медицина все это сразу отрезала. На одной ноге с пяткой, на другой одну ступню, а пятка осталась. Смертельное дело мне приходило, товарищ ты мой! Даже в смертельную камеру выносили не один раз. Не пил, не ел больше недели совершенно никого. Потом почувствовал полегчение и есть захотел. Лежал больше месяца, пить-есть начал, стал домой проситься. На распутице и привезли меня домой.

Год цельный не ходил куда и не ползал, не мог. А потом работать стал по хозяйству, а потом революция, а вот он уже и колхоз. Я в колхозе стал работать и все могу делать, одних грамот сто штук, только ходить уж не пойдешь, не побежишь...

Вот жизнь-то наша северная какая, другой раз и голову загубишь и с моря не вернешься, пропадешь, а все ничего, живем, сказать тебе, живем!

Едва вспомнив рассказ Котцова, мигом вообразил я и других своих героев, всех, с кем довелось мне встречаться и говорить, и мне показалось, что я с ними и не расставался, что все они по-прежнему со мной рядом и долго еще будут, пока я стану писать о них, приходиться ко мне толпой и поодиночке, смотреть на меня и звать опять туда, к ослепительным небесным чертогам, на мрачные берега, в высокие свои дома, и в чумы, и на палубы своих кораблей...

И не знал я тогда одного только — не знал, что в эти дни, когда по окской пойме, между желтых и красных холмов, под синим небом гуляет солнечный теплый ветерок, когда возле Новой Земли скапливается уже лед, идет снег и с устрашающей силой начинают задувать новоземельские бури, — что в эти дни в архангельской больнице умирал человек, который мог стать главным героем моих очерков, умирал Тыко Вылка.

Как часто удручающая печаль охватывает тебя: человек ушел навсегда, смешался с землей, на которой жил, и ты осиротел, а сам и не почувствовал этого, потому что не успел узнать и полюбить его при жизни и если узнаешь потом — с горечью и сожалением, — то уже не его, а о нем...

А ведь я мог зазнать Вылку! Я начал ездить на Север с 1956 года, — в том же году переехал с Новой Земли в Архангельск и Вылка. Я мог бы приходиться к нему в свои приезды, слушать его рассказы, его песни, выпрашивать его обо всем, смотреть, как он пишет картины. Я мог бы написать о нем при его жизни, а это так важно — успеть сказать о человеке доброе слово при жизни! Да, видно, не судьба была, никто меня с ним не познакомил, не повел к нему в гости, а сам я откуда же мог знать, что это был за человек?

«Президент Новой Земли», так иногда называли в шутку Тыко Вылку,— вот, пожалуй, и все, что я о нем знал...

Через четыре года, перед тем как пуститься на зверобойной шхуне «Моряна» в Карское море, мы с другом-поэтом зашли в местный музей, который тогда помещался рядом со старым морским вокзалом. Друг мой был любитель и собиратель всяческой живописи — французской, русской, советской, а я как раз перед этим рассказывал ему о северном художнике и сказочнике Степане Писахове.

Некая девица провела нас в так называемые фонды, на пыльный чердак, оставила одних, и мы принялись за картины. С наслаждением разглядывали мы полотна А. Борисова, С. Писахова, но вот все чаще стали попадаться нам маленькие картинки, старательно, крупно подписанные «Тыко Вылка»...

Картинки эти выглядели наивно, даже как бы беспомощно, будто рисовал их ребенок, но в робких, каких-то беззащитных красках была такая свежесть, такая безыскусственность, что глаз нельзя было оторвать, как, бывает, не оторвешь взгляд от ослепительно-синего окошка небес в низких темных тучах.

Тогда же, на шхуне, друг мой написал стихотворение «Про Тыко Вылку», которое кончалось так:

И я восславлю Тыко Вылку!
Пускай он ложку или вилку
держать как надо не умел —
зато он кисть держал как надо,
зато себя держал как надо!
Вот редкость — гордость он имел!

Гордость — не то слово, конечно... Вылка не был горд, он был добросердечен и храбр, он был Учитель. Он учил не только ненцев, но и русских, он говорил: не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь жестока, но и хороша, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно!

Невелика, может быть, мудрость в его поучениях, но необходимо помнить, что говорил он это не в ресторанах под сакраментальное «прошу наполнить бокалы!», не в уютных квартирах, не обеспеченным людям, которым не так уж много и храбрости нужно было, чтобы жить, — говорил он это своему бедному народу, в заваленных по крышу снегом избушках, в чумах, долгими полярными ночами, под визг и вой буранов, — многих своим участием, своим словом, деятельной своей добротой спасал не только от отчаяния, но и от смерти.

Он не только учил мужеству, он всю жизнь творил добро. В юности он заботился о своих престарелых родителях. Потом пришлось ему взять на себя заботу о прокормлении и воспитании многочисленной семьи погибшего брата. А всю вторую половину жизни он заботился — в качестве несменяемого председателя островного Совета — уже о сотнях людей. Каждый год ездил он в Архангельск, проводя месяцы в неустанных хлопотах, доставая для охотников продовольствие, катера, боеприпасы, утварь, и в неустанных заботах о сохранении поголовья зверя и птицы — единственного источника жизни на Новой Земле.

Он не издавал книг с описаниями своих полярных путешествий. не ездил по городам Европы с лекциями. Известность его во время жизни на Новой Земле была ограниченной. Всего несколько сот ненцев и русских знали его лично, говорили с ним, слушали его поучения, видели его картины. Но те, кто его знал, любили его безмерно.

Живи он не на Новой Земле в наш век, а где-нибудь в Европе в иные века, кто знает, не имели бы мы теперь в его лице еще одного

святого? Или национального гения, какого норвежцы имеют в лице Фритьофа Нансена?

Гляжу на его картины, на его чистые краски, на его бесхитростные сюжеты... Жизнь, остановленная на полотне кистью Вылки, так не похожа на нашу жизнь!

Ледники, на которых, по словам В. Русанова, выживают лишь немногие виды бактерий, заливы, окруженные скалами, выброшенный на берег плавник, чумы, тихие, задумчивые ненцы вокруг костра, прекрасно переданная округлость белых медведей, кровь на снегу возле раздвинутого тюленя, мистическое полярное сияние и тут же лампочка на столбе — такой милый человеческий свет, мешающийся с космическим светом, перебивающий его!

Картины Вылки — как привет друга, долетевший к нам из другого мира, из иных времен...

Да! В том-то все и дело, что, воображая жизнь Вылки, нам необходимо помнить, где и когда он родился! Академик Бэр, посетивший Новую Землю, писал впоследствии: «Я не мог подавить в себе мысли, невольно мне представившейся, будто теперь только что настает утро мироздания и вся жизнь еще впереди...»

«Жестокие погоды начинаются в Филиппов пост и продолжают-ся до Великого поста, почти около трех месяцев. Бури продолжают-ся часто по неделе, иногда же по десяти дней и по две недели. В то время весь видимый воздух занимается густым снегом, кажущимся наподобие курящегося дыма; человек же, потерявший из своих глаз становище, не может в то время на пустом месте не заблудиться, потому что со всех сторон ничего, кроме снежных частиц, видеть не может и в таком случае холодом и голодом погибает».

Так пишет о Новой Земле один из путешественников XVIII века.

Представьте себе маленькую часть небольшого народа, завезенную на жестокий ледяной остров, вообразите себе прошлый век, жалкие дырявые чумы, грязных людей, низведенных условиями жизни до уровня зверей, ни о чем не помышляющих, кроме как о том, будет ли хорошая погода, будет ли удачной охоты, скоро ли привезут на пароходе или на шхуне спирту, чтобы можно было напиться и закурлыкать свои жалкие песни, представьте, что смысл и счастье жизни людей состоят в том, сыт ли и пьян ли ты... Если сыт и пьян, значит, жизнь хороша, если голоден и трезв и не предвидится удачной охоты — умирай.

Из Печоры на двух карбасах выехали двадцать промышленников зимовать на Новую Землю. Они ехали добывать песцов, медведей, морского зайца.

На одном карбасе были все ижемцы. С ними был один ненец с женой, матерью и дочерью. Их было четверо. Старуху звали Некона, а дочку ненца — Некоця.

Когда показалась Новая Земля, промышленники разделились. Один карбас ушел в Карское устье. Ижемцы и ненец с семьей поехали к Мучному мысу. Пристали к берегу в Мучной губе. Здесь оказалась старая гнилая избушка. Ижемцы вышли на берег осмотреть избушку. Половина избы упала и сгнила. Около нее лежали кости покойников.

За губой увидели еще два дома. Пошли посмотреть эти дома. В одном доме еще можно было жить, а другой совсем развалился. Около избушек белели кости: олени рога, черепа медведей, моржей. Ижемцы обрадовались, говорят:

— Это место, видно, промысловое было!

Ижемцы починили домик и стали здесь зимовать. Промысла бы-

ло много. Хорошо промышляли: моржа, нерпу, морского зайца добывали.

Наступила зима. Губа замерзла. Ижемцы говорят:

— Когда на Мучном мысу выпадет снег, дикие олени сами сюда придут. Никуда ходить не надо.

Ненец говорит:

— Надо идти в тундру искать оленей.

Ижемцы говорят:

— Не надо ходить, олени сами придут.

Никуда не ходят. Лежат в темной сырой избе, в карты играют. В месяц Малой Темноты все заболели цингой: ноги у них заболели, десны распухли, ходить не могут.

Когда наступил месяц Большой Темноты, ижемцы стали умирать. Ненец с женой тоже заболели цингой.

Ижемцы своих умерших товарищей вынесли на улицу.

Старуха Некона и Некоця — двое остались здоровые.

Все ижемцы умерли. Ненец с женой тоже умерли. Некона и Некоця остались вдвоем среди покойников. Они стали жить в углу около печки. В передней части дома лежали покойники. Так и жили Некона и Некоця — в доме темно, от покойников смрад. У них потому не случилось цинги, что они тайком ели нерпичье сырое мясо. Так и жили нерпичьим мясом.

Старуха Некона сделала из снега сени, чтобы пурга не попадала в дверь избы. Добытого осенью мяса морского зайца и нерпичьего мяса было очень много. Некона собрала мясо, собрала кровь и все это занесла в сени.

Старуха Некона молилась и приговаривала:

— Мы теперь будем есть нерпичье мясо. А бог, если ему надо, пусть как хочет, так нас и судит. Мы хотим жить. Сын мой и невестка не ели нерпичьего мяса и умерли. Бог не спас их от болезни.

У месяца Большой Темноты дни короткие. Пурга, ничего не видно. Некона и Некоця перестали выходить на улицу, только выходили в сени.

Однажды в полночь кто-то постучал к ним в избу. Некона вышла в сени и крикнула:

— Кто там?

Ни звука в ответ. Каждый день в полночь стали стучать в дверь, которая была в сенях. Потом стали стучать в дверь избы. Потом однажды дверь открылась и показалась черная голова, а туловища нет, только позвоночник, руки да ноги, а глаза сверкают как искры.

Неведомое существо прошло мимо них к покойникам, посмотрело на покойников, заглянуло в очаг и вышло обратно.

Некона думает: «Зачем понадобились покойники? На человека не похоже, нет туловища. Наверное, это цинга!»

Каждую ночь стало приходиться. Некона задумалась: «Что-то надо сделать, чтобы напугать цингу. Сделаю-ка я крест!»

Сделала крест с одной переключиной. В полночь опять вошло в избу, опять покойников рассматривает. Уходя обратно, посмотрело в их сторону и протянуло руки к Неконе. Некона выставила крест цинге навстречу. Цинга уходит и снова приходит. Всю ночь Некона оборонялась крестом. Только утром цинга ушла на улицу.

Не спавшие всю ночь, Некона и Некоця заснули как убитые. Когда Некона проснулась, она стала думать: «Видно, крест не спасет нас. Если в полночь цинга опять придет, как будем ее прогонять?» Некона в уме сказала: «Люди говорили: цинга крови и свежего мяса боится».

Некона набрала морщенной крови из свежего мяса и растопила в котелке.

Снова настала ночь. Некона зачерпнула ковшик крови и поставила возле себя. Когда пришла полночь, цинга опять вошла в избу, глядит на покойников. Потом повернулась к ним и протянула ру-

ки к Неконе. Тогда Некона взяла в одну руку крест, а в другую ковшик с кровью. Сначала Некона выставила крест на цингу. Цинга то отступает назад, то снова подходит, чуть не вцепилась в Некону. Тогда Некона ударила цингу в лицо ковшиком с кровью. Лицо у цинги все покрылось кровью. Цинга вдруг закричала:

— Фэ-э! Фэ-э! — и чуть не упала с ног. Цинга вышла из избы и в сенях все приговаривает: — Фэ-э! Фэ-э!

Когда цинга ушла, Некона набрала крови еще больше. Теперь Некона поняла: цинга в самом деле боится крови. Некона и Некоця весь день и ночь сидели возле ковшика с кровью. Цинга перестала появляться.

Некона и Некоця и днем и ночью не выходили из дома. Дверь занесло снегом. Окна тоже занесло. В избе темно. День и ночь сидели с жирником.

Наконец сквозь занесенное снегом окно, через снег стал показываться розовый свет. Некона подумала: «Теперь, наверно, светлое время настает, солнце показалось».

Снаружи слышались чьи-то шаги. Кто-то, слышно, ходит вокруг избы. Слышно рычание медведя и лай пса.

Некона и Некоця не выходят на улицу, боятся: медведей много ходит.

Сколько-то еще прожили, медведи перестали ходить. И вот Некоця вдруг сказала:

— Ой! Слышно, собаки лают!

Через недолгое время они услышали — кто-то ходит, как будто люди. Люди, слышно, кричат в трубу сверху:

— Кто живой есть?

Некона встала, открыла трубу и крикнула:

— Мы двое с внучкой Я старуха!

Один человек, слышно, говорит другому:

— Старуха с девочкой живы остались.

Другой отвечает, слышно:

— Ну и пускай! Пусть остаются! Наверно, среди покойников и сами скоро помрут.

Первый говорит:

— Так нельзя. Живых людей нельзя оставлять среди покойников.

Немного времени прошло, в избу вошел человек (он их раскопал) и сказал:

— Одевайтесь поскорее! Я вас увезу.

Некона и Некоця вышли на улицу, на свет. Видят, одного человека уже нет, уехал, едва видно.

У доброго человека было четыре собаки. Он посадил на сани Некону и Некоцю, а сам пошел пешком. Три дня едва идет. Через три дня человек сказал:

— Вон там (на небе) поднимается туча, будет сильная пурга. Нам нужно заранее сделать домик из снега.

Скоро домик был готов. Сверху он был накрыт шкурами. Еды осталось два куска мяса.

Человек сказал:

— Товарищ оставил мало мяса. Теперь я вас оставлю в этой снежной избушке. Здесь двум человекам поместиться можно. — Он еще добавил: — Не бойтесь, я вас не брошу. Я приеду на большой упряжке, а только теперь останьтесь.

Когда он уехал, действительно ударил вестер, задула метель. И наутро была пурга, ничего не было видно. Три дня пурга шумела. Некона закрыла дверь пологом, чтоб не попадал снег.

Они сидят, пережидая пургу. Некона сидит, задумалась. В руке она держит мешочек с табаком. Вдруг Некоця говорит:

— Бабушка! Медведь!

Некона повернулась к двери, а медведь уже просунул голову в дверь.

Некона набрала из мешочка горсть табаку и бросила медведю в морду. Медведь с рычанием повернулся, чихая, как обезумевший побегал прочь и скрылся за метелью.

Прошло четыре дня. Пурга прошла. Небо очистилось. Добрый человек приехал на большой упряжке, на десяти собаках.

Некона и Некоця уселись. На десяти собаках едут, только вихрь кружит. Они сидят и смеются.

Приехали в становище. Здесь все были живы. Цинги не было. Мясa запасено много. Промысла много было: песца, медведя, морского зайца, нерпы, белухи.

Некона и Некоця хорошо зажили. Некона стала чинить одежду и обувь: женские паницы, мужские малицы, пимы, липты. Иногда новое шьет или шкуры сушит. Так и живет. В избе было тесно, сделали чум, и Некона с Некоцей стали жить в чуме.

Когда наступило лето, нагрузили карбас, и все поехали на Большую землю.

Эту историю Тыко Вылка записал уже в старости. А разве один только этот случай был у него на памяти? Сколько смертей, сколько трагедий разыгрывалось под холодными небесами, в разреженном арктическом воздухе!

Читая об этом, невольно думаешь, что это легенды, древние сказки, дошедшие к нам из первобытных времен,— и вдруг спохватываешься: да ведь это же XX век! Ведь этот едва не погибший ребенок, эта девочка Некоця, доживи она до глубокой старости, была бы нашей современницей, она могла бы сама рассказать, как в виде страшной бестелесной женщины являлась к ней цинга!

«Самоеды,— пишет известный писатель-этнограф С. В. Максимов,—в незапамятные времена оставляя свою родину на Алтае, за Саянскими хребтами, теряя с нею житье в умеренном климате, где быстро вырастало и крепло их племя, покидали сочные травы и тучные пажити, на которых так же обильно плодились и быстро нарастали стада овец и табуны лошадей. Вступив в холодную страну, загнанные на пустынную и мокрую тундру, они нашли на ней такую скудную растительность, которая не в состоянии была пропитывать ни овец, ни лошадей. Сами люди могли погибнуть с холоду и голоду. Новая родина обещала им одну смерть. Только сильное и здоровое племя с помощью того сокровища, которым бог наградил человека и которое человек называет разумом, могло спастись от конечной гибели.

Природа засеяла тундру мхом и населила оленями. Олени приняли мох за пищу и, не нуждаясь ни в какой другой, не потеряли с тем вместе и своей живучести. Невзирая на холод, они плодятся еще с большею быстротой, чем другие животные в теплых странах. Олений нашли самоеды и их соплеменники в диком состоянии; они боялись людей и с быстротой молнии бежали от них. Но люди принесли с родины умение превращать диких животных в домашних, и тот же аркан, который ловил в горах Алтая диких и сердитых лошадей и баранов, с меньшим трудом накинута был на рога диких же и бойких оленей...

Найдя и покорив себе оленей, самоеды сделали для себя великое дело: они могли остаться в тундре и не погибнуть в ней ни с холоду, ни с голоду. С оленями они заведомо живут вторую тысячу лет и все на тех же местах, где помнил их преподобный Нестор, писавший «Русскую летопись».

Из шкур молоденьких оленей, или пыжиков, самоедка, большая

рукодельница, шьет мужу шапку; из шкур' взрослого оленя, или неблюя, делает нераспашные мешки с рукавами и прорезом для головы, из которых один, называемый малицей, самоед надевает вместо рубашки, прямо шерстью на голое тело, а другой мешок, или совик, — в мороз, зимой — поверх малицы. Из того же неблюя шьются чулки, или липты, на ноги и свех их род сапог, или пимы, узорчато-красиво изукрашенные кусочками сукна и белыми с коричневыми лоскутками камусины или шкуры с ног оленя. Шкуры вместо ниток сшиваются жилами тех же оленей. В таком бесконечно теплом, хотя тяжелом и неудобном наряде не страшны самоеду морозы тундры, в них он смело пускается в дальний путь по необозримым снегам своей родины.

Шкуры со старого оленя, или быка, он подстилает и на санки и для спанья, называя их постелями. Ими же обкладывает и обвешивает снаружи и внутри жерди своего подвижного и складного жилища, которое называется чумом. Свежее мясо оленя служит самоедам пищею летом; вяленое на солнце, идет в зимние запасы. Вареные языки и губы нравятся самым избалованным лакомкам из русских, а наросты молодых рогов (рога олень сбрасывает ежегодно), студенистые, хрящеватые наросты, вырезанные из-под кожи, китайцы покупают на вес золота. Сами самоеды считают великим лакомством теплую кровь убитого оленя и находят великое блаженство в том, чтобы съесть с гостями и друзьями еще парное сердце, еще дымящиеся и сейчас вынутые из груди легкое и печень.

Можно видеть теперь, насколько дорог для самоеда олень, дающий и от голода спасение, и от холода защиту, и в кочевьях — дорогой, незаменимый товарищ. Заложив в санки на высоких копыльях четырех оленей, самоед сажает на них свою семью; к этим саням привязываются вторые санки, с четырьмя же оленями. На них кладутся жерди, служащие остовом или скрепою чума. На третьих санках помещаются постели или те оленьи шкуры, которыми обкладываются жерди чума снаружи и обвешиваются внутри. Сюда же бросает самоед хохлатую, маленькую, некрасивую собачонку — другого своего заветного и нужного друга. И поезд, или аргиш, готов. Самоеды перекочевывают на другое место оттого, что на этом съеден весь мох и изрыт весь снег так, что белая тундра превратилась в серую.

Олени бегут без дороги по сугробам снега, через подснежные кочки, ловко выхватывая свои быстрые и легкие на ходу ноги из мягких сугробов и не скользя и не оступаясь на льду наснежного наста. Пустит на длинной и единственной вожже слева переднего толкового и приученного оленя (который потому и продается вдвое дороже), самоед верит ему больше самого себя и повинуется. Изредка ткнет шестом ленивых оленей и поправит вожжу передового только тогда, когда звезды на небе или полосы, намеченные ветром на снегу, покажут самоеду, что олень, отыскивая мох, забывает о хозяине и везет его совсем вдаль и в сторону от русских, у которых водится пьяная водка.

Устали олени, самоед собирает всю вожжу в свою руку и быстро повертывает передового оленя, а с ним привязанных к нему трех других в левую сторону и — останавливается. Стоит как вкопанный и весь аргиш: олени, пробежавшие за один дух верст двадцать, тяжело дышат и хватают пух свежего снега. Надышавшись и напившись, через четверть часа они опять готовы в дорогу. И опять бегут, положивши свои ветвистые рога на спину и помахивая своим коротеньким хвостиком до нового доху через 15—20 верст или до полной остановки там, где мох не съеден и, стало быть, можно становиться чумом.

В несколько часов чум готов и кажется издала копной сена. Иньки, или самоедские женщины, уколотили его постелями в два ряда и вывели дверь по направлению к югу, завесив ее подъемной шкурой. Пока мужчины распутывают оленей и пускают их на волю бродить по тундре, среди чума иньки развели огонек, который пускает дым в оставленное наверху чума отверстие. Дунет ветер сверху, чум наполняется

дымом до того, что непривычному человеку ни дышать, ни глядеть невозможно. От этого дыма и от сверкающей белизны снегов у всех бродячих дикарей болят глаза и по зимам постоянно гноятся.

Постукивая передними копытами (попеременно то левым, то правым), олень пробивает ледяную кору, или наст, разрывает наст и докапывается до моха. Съест его в одном месте, идет на другое. Если слишком крепок наст, у оленей разболются копыта. Если слишком много мошки летом, они заболеют нарывами, мечутся, мучатся, иногда умирают в изнеможении, если не удастся спастись им в воде ближайшей реки, озера или океана. Хозяева тоскуют об этом, но средств никаких не придумали и не употребляют: лет двадцать пять назад, в 1831 и 1833 годах, забралась в тундру чума и опустошила всю тундру — олени мерли, как мухи. Архангельские самоеды до сих пор не могут оправиться, и большая часть из них, бывши хозяевами, стали пастухами чужих стад, принадлежащих зырянам.

В то время, когда иньки шьют нюки (покрышки для чумов), обшивают семью и готовят пищу, мужчины обыкновенно больше спят и просыпаются, чтобы есть. Едят что ни попало, без разбора: не гнушаются они и жестким вонючим мясом песцов; в голодное время и собакой не брезгают. Пастух-самоед смотрит только за тем, чтобы оленям была пища, и если тундра вокруг его чума начинает чернеть, выбитая оленями, он начинает думать о перекочевке. Когда же узнает и увидит, что олени отошли далеко и чум его очутился не на середине стойбища, а далеко на краю, самоед решается переменить место. Дальних оленей могут резать волки, которых много бегают по тундре, а потому, поймавши ближних оленей, самоед впрягает их в санки и едет сгонять остальных оленей в кучу. Не столько он сам со своей палкой-хореем и своею веревкой с петлей, сколько работает тут его собачонка. Бегает она взад и вперед с громким пронзительным лаем, который привыкли понимать олени. И как бы ни задумался олень, уткнув рыло в снег, собака разбудит его звонким лаем прямо над ухом. Олень схватится с места и побежит туда же, куда бегут все его товарищи и где хозяин ловко вскинет ему на рога меткую и крепкую петлю; затем впряжет — и опять погонит по снежной пустыне на свежее моховое болото. Тундра же не мезжевана и нераздельно принадлежит всему самоедскому народу.

Так и идет жизнь самоедская рядом с оленьей, в полной зависимости и непрременной подчиненности: без оленя самоед не живет. Даже те, которые пошли на едому, то есть пробиваются людским подаянием по соседству русских селений, не бродят без оленей. И опять-таки не самоед выбирает себе место, но олень указывает ему оное и с тем, чтобы через неделю-другую вести его на новое...

Когда доводится самоедским старшинам с прислугою жить в русских селениях и казенных избах, они неохотно топят печи, а спят всегда на повети, разбросавшись на сене в то время, когда русские храпят и стонут в невыносимой духоте и жаре на печах и полатях. Только против морозов самоед кутается в шубу, а холод почитает для себя тем же, чем рыба воду. Жары он не выносит и в теплой избе не сидит долго. Летняя жара ему — наказание; зимний холод для него — удовольствие, лишь бы только хивуса и замятели не спутывали неба с землей, не застлали божьего света.

Так изменился этот дикарь на своей новой родине. Против кое-каких невзгод ее он давно уже придумал и отыскал оборону если и не хитрую, то потому, что и сам он весь нехитер. Летом, когда из каждой мшины рождаются на свет целыми облаками комары и оводы, самоед жжет кору и гнилушки и в дымокуре этом, который ест глаза и гонит слезу, избавляется на день от докучной мошки (а на ночь она и сама погибает). От постоянной мокроты, сонливой и неподвижной жизни, от дурной и гнилой пищи без соли портится кровь и привязывается мучительная костоломная болезнь — цинга, при которой пухнут десны, появляется невыносимо гнилой запах во рту, усыпается все тело багро-

выми пятнами и близится смерть. От цинги самоед пьет теплую оленью кровь в большом количестве и ест морошку, которая тут же под руками растет по тундровым кочкам. Если прибавим к этому выносливость самоедской природы, его терпение и привычку, то не станем дивиться, что самоед ест до отвала и с жадностью волка, когда много запасов, а нет пищи — он способен голодать и выносить даже самое мучительное из всех чувств — жажду. Надо много жестокости и настойчивости, чтобы вывести его из терпения. Его обидеть трудно, но рассерженный он бывает дик и неукротим, как лесной зверь. Против тоски скучной жизни он придумал кое-какие развлечения. Если песен он не поет и ни на чем не играет, зато свадьбу справляет не скучнее других, хотя и по-своему.

Когда он сговорил невесту и заплагил ее отцу сколько сговорено оленей, молодой без особых обрядов берет иньку к себе и затевает пир, или, лучше сказать, пьянство. Пиршество начинается с угощения свежим оленем: гости берут по ломтю парного мяса и, подняв лицо вверх, жуют мясо, ловко отрезывая кусочки ножом подле самого рта. Что остается в руках, они снова обмакивают в теплую кровь, которая течет и по реденьким бороденкам, и по коротким шеям, и по широким крепким грудям гостей. Кончается пиршество поголовным пьянством, причем пьют и иньки и маленькие ребятишки, и завершается пир непременно дракой. Сначала начнет один, ни за что ни про что ударив другого. За каждого заступаются другие, кому за кого вздумается, и начинается общая свалка... Дерутся самоеды так, с пуста, в какой-то разе: они совсем не драчливы и вовсе не злы (доброта самоедов известна и в дальней Сибири). Но такова сила вина, со страстью к которому самоеды не могут сладить...

Кроме всех этих невзгод, на самоедское племя напали приносные смертельные недуги, в которых гниет это племя и начинает заметно вымирать и уменьшаться. Оспа, оленья чума, корь, цинга, горячки застарелых и гнилых свойств должны со временем истребить это племя. Оно упорно держится за старые обычаи и не хочет, по примеру лопаей, сближаться и сливаться с русским племенем.

Русские лет уже около пятидесяти крестят самоедов, строят им церкви — постоянные там, где попрочнее сидят самоеды (как на устьях Печоры и на острове Колгуеве), и вывозят в тундру походные церкви; но самоеды упорно стоят за язычество. На шее носят крест, чтобы показывать начальству, а за пазухой для себя — деревянные чурочки богов, грубо сделанных наподобие человека. Таких же божков они ставят у снастей, настороженных на пушного зверя, и при счастливом лове тычут им в рот кусочки оленьего мяса; при неудаче — бьют и секут прутьями. Этого бога бросают, вместо него режут нового. На острове Вайгаче имеется каменный чурбан, который всем самоедским народом почитается за великого и главного бога. Насколько мрачна природа тундры, а с нею и от нее и жизнь самоеда, настолько же мрачен дух этого народа и столько же мрачна его вера.

С темною верой в злую силу умирает самоед равнодушно, не сожалея о прошлой жизни, не скучая о том, что не удастся еще помаячить. Иньки одевают покойника в лучшую одежду и выносят не в дверь, а через нарочно прорванное отверстие из чума. Кладут его в яму (ухватываясь за голову и за ноги) вместе с вещами, которые прежде испортят: нож иступят, хорей, которым покойный погонял оленей, разломают на части, чашку, из которой он любил пить водку, разобьют. Все это засыпают землей и на кургане убивают оленя, которого любил умерший и на котором привезли его тело к могиле. Рады все самоеды, когда убьют оленя сразу, считая это добрым предзнаменованием...

Жизнь самоедки еще печальнее. На ней лежат все тяжелые работы: она и за стряпуху и за швеца. Целый день она нянчится с ребятами и, выходя за сбором подаяния, за пазухой и за спиной таскает их с собою, как вьючная лошадь. Пьяный муж ее больно колотит и

всегда охотно обмеряет чаркой. Женщина у самоедов почитается существом нечистым: в чуме она не смеет шагать через постель и одежду мужа; в дороге — через лежащую вещь. Беременную иньку все племя почитает поганой; богатый муж на все время девяти месяцев выгоняет ее в особый чум, но и бедняк отгораживает ей особый угол, который и зовется «сямий-мядыко», то есть поганый чум. Муж даже может совсем бросить жену и взять другую, возвратив только старому тестю то количество оленей, которое взял в приданое. Вот, может быть, почему самоедка любит принарядиться и распашную паницу свою украшает пестро и нарядно. По всем швам она обшивает ее разноцветными суконными лоскутками и на покупку их тратит самые заветные свои вещи. Подол паницы оторачивается песцовым и беличьим мехом и разноцветными суконными кусочками, даже на шапке и на пимах торчат разноцветные суконные лоскуточки.

Рассказавши про жизнь самоедов, мы рассказали и про сибирских ю р а к о в, которые, живя по соседству рек Таза и Енисея, пропитываются летом ловлею рыбы, а зимой бегают на лыжах по тундре за пушными зверями. Сибирских самоедов разделяет Обская губа на две половины: Каменную и Низовую. Каменная самоедь, или карачей, через проходы в Уральских горах находятся в сношении с печорскими самоедами...»

Был прекрасный день в моей жизни, когда и мне довелось побывать у ненцев.

Где-то в тундре, где-то за горизонтом, за озерами, за карликовыми лесами, сказали нам, живут ненцы. Где-то там ходят стада оленей и стоят берестяные чумы. Они стоят в безмолвии, среди озер и ручьев, под светлым ночным небом. И когда ненцы, напевая слабыми голосами песню, уплывают в ночь на озера за рыбой, то, наверное, выходят их провожать собаки, и сидят потом на берегу, и, насторожив уши, смотрят и нюхают...

Тундра ровна и беспредельна. И мы под жарким, удушающим солнцем идем по ней, как по Африке. Горят леса в стокилометровой дали, и дым от пожаров растекается по всей долине, по мху и по рекам, переваливает невысокие угорья вдоль берега моря и простирается дальше в море, и, кажется мне, уходит к полюсу.

Мы идем в голубоватом мареве, струящемся по блеклой тундре, по сухому, хрустящему под ногой мху, мимо мертвых озер с торфяными берегами. Мы входим в низкий лес. Это не наш веселый шумящий лес, это что-то покорное, окаменевшее. Такие деревья бывают в театральной бутафорской, ими подчеркивают сумеречность и дикость какой-нибудь мифической преисподней. Здесь стволы их еще скручены в узлы и пригнуты к земле. Вековые мучения видны в каждом утолщении и в каждом изгибе.

Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стучают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается легче.

Попадается много вереска — островками растет он, плотен и жесток, и цветет сиреневым дымом. Кочки по сторонам покрыты красным, желтым и синим — везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, собираем морошку, сок которой янтарен и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.

Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются крикливые тундровые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.

Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать кар-

бас, который должен где-то здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает.

— Глубоки у вас озера? — спросил я как-то в деревне.

— А мы их, прости за выражение, не мерили! — отвечали мне.

И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся на восток, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его будто уложены человеком — один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой как щупальца спрутов.

Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит еле заметная тропинка. Отсюда нужно тащить карбас волоком по узкому каменному перешейку... Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда перетаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу¹.

— Ненецкая рюжа, — говорит один из ребят-проводников.

— Ихняя, — подтверждает другой.

В этой рюже видится мне внезапно признак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека — в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.

Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая и всплескивая сапогами по воде, и между камней, вырастающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменный мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.

— Вон чумы!

Мы вздрагиваем, оборачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса чуть светлее по тону, чем берег.

Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега. Но на одном из них, самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума — вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде кроме как здесь.

Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят — вон зубчики леса! — так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную, и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда...

— А-а-а-а... — проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне.

Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не пойдем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки.

— Аркадий Вылка это! — решают наконец проводники.

— Чего он?

— Увидел нас, зовет, чтоб мимо не прошли.

Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумеречное восточное небо, чумы все ближе, и, когда

¹ Снасть для ловли рыбы типа вентеря.

в перерывах между ребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх — сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок — пожиже, попрозрачнее — из среднего чума.

Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, гнем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегают, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки — старые и совсем щенята с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.

— Здравствуйте!

— Нгань дорово! Здравствуйте!

Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.

Вот чумы и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегаёт на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это? И мы смотрим, потому что светло и все видно.

Аркадий Вылка не похож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинные и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой, и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем шлеме с отверстием для лица он похож на бедуина. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, глядя в землю, и молчит, будто знает все на свете.

А Петр Вылка — брат его — крепко сбит, низок и кривоног. Стремителен, хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные звуки, когда кричит он вдруг на собаку:

— Гин! (Пошла прочь!)

И втягивает потом с давящимся хлюпаньем воздух.

Сидят возле нарт или встают за чем-нибудь еще двое, столь же резко очерченные, такие особенные и не похожие ни на кого в мире: Алексей Назаров и Николай Горбунов. Один — пожилой, с поднятыми вверх внешними углами глаз, с кустистой бородкой, разговорчивый, веселый и любопытный. Другой — молодой и крепко попирает землю, налит чугунной силой, белозуб и, наверное, особенно лаком, особенно вкусно пахнет — комары облепляют его пуще всех, но он не замечает их.

Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них розоватые, цвета неспелой клюквы.

Вон чумы, составленные из длинных жердей и обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты — длинные, легкие, с полозьями, будто покрытыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные, с длинными печальными глазами и бархатными рожками.

Между нарт валяются во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль.

Ребятишки, как привидения, вырастают из-за чумов, жадно рассматривают меня — сначала один, постарше, тут же возле него появляется другой, поменьше, потом еще и еще, и глаза их одинаково горят

любопытством, а потом к ним на четвереньках прибавляется совсем уже крошечное существо и тоже смотрит туманным взглядом.

На горизонте, из-за угорьев показывается широко-плоское пятно немного бурее по цвету, чем тундра. Оно шевелится, вытягивается и сжимается, растекается шевелящейся полосой по всему горизонту. Это олени.

Они ждут своего часа.

Запряженные по четыре в нарту, они помчатся, хрюкая, в снежную беспредельность. Над ними будет вздыматься тонкий хлыстообразный хорей, а нарты с грузом или людьми будут обсыпаться снегом, наклоняться и переваливаться на сугробах. Много сотен километров предстоит пробежать этим оленям, и многие дали обволокут их и заглянут им в глаза. А другие упадут под ножом, и кровь их напитает мох, мясо их сварится в чуме, и много малиц и унтов наделают зимой из их шкур.

Но это исполнится не сейчас. А теперь они свободны и ходят в тундре, окуная ноздри в мох, и могли бы уйти совсем, далеко на север, к океану. Они могли бы стать дикими, чтобы мчаться по угорьям и замирать на вершинах, озирая пустыню. Но чумы держат их, человек зовет их, и зов этот во сто крат сильнее зова тундры. Олени придут к людям и станут нюхать дым костров. Они идут. Шевелящееся пятно все ближе...

Ненцы кончили починять нарты.

— Ну, ребята, чай пить будем дак!

И между нарт, между собак и лежащих оленей мы идем к чуму Вылки. Нагибаемся и входим по очереди и сразу начинаем разуваться на мягких шкурах, снимать куртки и свитера. В чуме сумерки и верхний свет. В чуме гудит железная печь, рыба благоухает на ней и чайник кипит, и труба поднимается к дыре наверху, к той дыре, в которую когда-то выходил дым от очага, а теперь льется свет белой ночи.

Садимся пить чай на шкуры за низкий столик. Жена Вылки, как в хорошем доме, накрывает на стол. За нашими спинами подушки. Рыба вкусна. Чай душист и крепок. Главный разговор, как у московских таксистов,— про погоду. Но здесь погода не просто приятная или неприятная, здесь она, как и у рыбаков на море, определяет ход жизни.

Больше месяца в тундре жара. Мох высох. Олени болеют копыткой, тощат и вот-вот начнут падать. В тундре нет тени и некуда деться от солнца. Даже ночью над лежащим оленьим стадом поднимается пыль от дыхания.

Из чума виден печальный, больной олень.

— Как будет по-вашему олень? — спрашиваю я.

Ненцы смеются.

— Ты.

— А тундра?

— Вы.

Ты и вы.

— А озеро?

— То.

Взгляд мой падает на мальчугана, совсем беловолосого, примостившегося на колене отца.

— А ребенок?

— Ацакы.

В чум, пожимаясь, пробирается собака, садится, молотит хвостом, сладостно смотрит на нас. За ее спиной на светлой полосе озера торчат уже уши другой...

— Гин! — кричит Вылка.

Собаки сконфуженно исчезают.

Печка остывает, хозяйёва вежливо позевывают. Нам стелют шкуры у стены, кладут подушки, опускают полог от комаров. Ноги советуют

спрятать под пушистое собачье одеяло. Хозяева устраивают себе точно такую же спальню на другой стороне чума.

Плачет ребенок. Его укачивает мать, быстро говорит что-то перебивающимися звуками по-ненецки. Ребенок смеется. Потом затихает в теплой темноте, за пологом.

— Спокойной ночи! — говорят ненцы-гости и бесшумно выходят из чума.

В чуме остаются только хозяева.

Ночью я просыпаюсь от глухого топота и хрюканья. Чумы окружены оленями. Медленно, но неуклонно двигались они сюда из тундры и вот пришли и легли — тысяча оленей, темных и белых.

И еще раз я просыпаюсь под утро от волнения за стенами чума, которое передалось и мне. Топот так силен, что дрожит торфяная земля, и слышно сквозь этот топот, как бархатно сталкиваются рога взволнованных чем-то оленей. Что с ними? Приснился ли всем сразу страшный сон? Или подошли близко волки?

Третий раз я просыпаюсь от солнца, дымным косым столбом бьющего в распахнутый чум, и от крика снаружи. Ненцы ходят среди оленей, расталкивают их, осматривают их копыта. Трещит и наполняет все вокруг жаром затопленная печь. Низенький столик вынесен наружу, готовится общее утреннее чаепитие. В глазах рябит от множества оленей вокруг, от множества огромных блестящих круглых глаз. Но как измучены эти олени, как впали их бока, какой нервный ток пробегает по ним, когда кусают их оводы! Рога их разнообразны — от простых шишечек, покрытых черным пухом, у молодых, до великолепных, со многими отростками, у стариков. Внизу светло-буро-черная шевелящаяся масса тел, а выше неоглядное переплетение рогов — будто карликовый лес.

Уже нет вчерашней некоторой таинственности, при свете солнца все обыкновенно, понятно и будто давно знакомо. Будто мы много раз бывали у ненцев, жили среди них, слышали каждый день хрюканье оленей, говорили о пастбищах, о кочевках, о падеже и о проценте сохранения молодняка.

Садимся пить чай. Пьем, обливаясь потом, на жаре, под солнцем, и чем больше пьем, тем больше хочется.

— А можно белого оленя посмотреть поближе?

— Можно! — говорит Вылка и поворачивается к мальчишке. — Тэхань сэрако тым тэвра! (Сходи в стадо за белым оленем!)

Мальчишка радостно бежит, скрывается в стаде, распахивает бурых, находит белого оленя и выводит его.

— Таля! — кричит ему Вылка. — Иди сюда!

Мальчишка тащит к нам оленя.

Белый олень крупнее темного и сильнее. Он дрожит всей кожей, по крупу у него пробегают волны.

— На оленей в нартах хотите посмотреть? — спрашивают нас.

Разумеется, мы хотим. Тогда среди чумов начинается оживление. Достают упряжь, бегут к стаду, олени вскакивают, шарахаются, черных толкают в бока, чтобы не мешали, ловят только белых.

Через десять минут четверка оленей запряжена в нарты. Вылка стоит с хореем, выжидательно смотрит на нас.

— Пускай! — кричим мы.

Вылка падает в нарты, олени рвутся, нарты со свистом летят по мху, ненцы хохочут. Вылка потягивает оленей хореем, направляя по громадной дуге, нарты подскакивают на кочках, Вылка, выбросив ноги в стороны, балансирует, отталкиваясь пятками от земли, скрывается вдали за стадом. Потом показывается опять и летит уже к нам — олени легко перебирают ногами, рога их закинута к спине, ноздри раздуты. Они ослепительно белы под солнцем, как снежное чудо. Когда смотришь на них, становится будто бы прохладнее.

А еще часа через два мы прощаемся, нас зовут в гости зимой. вы•

ходят с нами вместе на берег, мы налегаем на карбас, сталкиваем его в воду, вскакиваем, умащаемся на веслах...

Поднятые руки, невнятные прощальные крики, свежий ветерок, а ненцы, и олени, и чумы отдаляются, отдаляются, и с этим ничего не поделаешь.

Целый день потом мы гребем по озерам, купаемся, бредем тундрой, рвем морошку и чернику, проходим опять мхами, болотцами, карликовым лесом — все время лицом к солнцу, к морю.

Даль между тем затягивается дымкой, мы думаем о пожаре в лесах, но это не пожар, это напоззает с моря туман, заволакивает солнце и дышит холодом. А к вечеру приползают и тучи, и ночью уже идет дождь, значит, конец душевной муке! И мы все время вспоминаем ненцев и оленей, воображая их радость дождю.

А через четыре года на зверобойной шхуне «Моряна» я собрался идти в Карское море на промысел белухи. Как забилось, как заныло мое сердце, когда я узнал, что шхуна наша зайдет на Новую Землю!

За Каниным Носом началась качка. Волна была не слишком крупная — баллов в шесть-семь, но «Моряну» валило усердно, и с боку на бок, и с носа на корму. Все дерево шхуны, все ее шпангоуты, переборки, балки, палуба — все скрипело и трещало, двигатель однообразно напряженно гудел, винт клокотал за кормой, и все кругом было наполнено разнообразными звуками: свистел ветер в мачтах и вантах, бухали в скулы волны, шипела проносщаяся по палубе вода — и я, сидя ли в каюте, стоя ли на ходовом мостике или в рубке, все чаще ловил себя на том, что вслушиваюсь в эти скрипы, гудение и шипение и уже различаю в них отдельные согласные хоры и даже отчетливо слышу мелодию и голоса поющих как бы с закрытыми ртами — мощно и постоянно.

А по ночам, глядя на малиновый солнечный круг на переборке (низкое солнце светило в иллюминатор), на раскачивающуюся на весалке одежду, я вспоминал картины Тыко Вылки, которые видел в Архангельске, и старался представить себе Новую Землю.

Мне почему-то воображалась тишина, прозрачные ручьи, водопады, низвергающиеся из-под ледников, тундровые озера, дымок от костра, летящие вверх, освещенные ночным солнцем гуси... И старые каменистые могилы с истлевшими, повалившимися крестами, развалившиеся избышки — слабые следы жизни полярных исследователей на этом диком острове.

Как же жил там долгие десятилетия неведомый мне Тыко Вылка, как находил он поэзию на этой бедной земле, в этом поистине ужасающем вертепе ледяной стужи и мрака?

Первый лед нам встретился при подходе к семьдесят первой параллели. Он появился на северо-востоке и дал знать о себе сначала странной окраской неба, а потом едва уловимой белой полоской на горизонте. Через полдня на нас уже надвигались и окружали со всех сторон первые льдины. Они были небольшие сперва и походили издали на стаю лебедей. Подводная часть льдин, когда мы проходили близко, просвечивала сквозь воду необычайной голубизны. А какие фигуры можно было увидеть над водой! Одни льдины были похожи на гриб атомного взрыва, каким его изображают на плакатах, другие — на притаившегося белого медведя, третьи были как застывшие кучевые облака. Качка совершенно прекратилась, и вода в разводьях стала как стекло. На дальних льдинах спали между торосами морские зайцы. То и дело по сторонам высывались нерпы, глядели на нас во все глаза, а когда, наглядевшись, ныряли — медленные круги расходились по воде.

То ли будет еще на Новой Земле, думал я, какая там рыба в реках, сколько дичи, может быть, увидим диких северных оленей или белых медведей...

Но до Новой Земли мы так и не дошли тогда, не ступили на берег. Чем ближе подходили мы к земле, тем гуще и крупнее становились ледяные поля. Черные морские утки бесконечными цепочками тянули в разных направлениях над этими полями. В губе Саханиха шхуна наша уже с трудом пробиралась узкими разводьями, пока наконец в километре от берега не уперлась в сплошной паковый лед.

Нам открылись черные скалы в прожилках ледников с робкими зелеными пятнами мха на южных склонах. Когда заглушили двигатель, настала такая тишина, лед был так первозданно бел, а скалы вдали так зловещи и безжизненны, что мне, так же, как и академику Бэру за сто лет до этого, показалось, что жизнь на земле еще не начиналась.

Двое суток простояли мы в ожидании — не начнется ли подвижка льда, не погонит ли его от берега... Потом как-то сразу подступил туман, и это было тем более дико, что небо по-прежнему сияло голубизной, берег скрылся, мы повернули и пошли в Карское море.

Целый месяц потом стояли мы в заливе, километрах в пяти от тундрового берега, и почти каждый день с мачты, из бочки раздавался радостный вопль вахтенного матроса: «Белуха идет!» — и начинался топот по палубе, мгновенно спускались на воду катера, и начиналась охота на белуху, азартная, дивная, но и отвратительная все-таки...

В безбрежном океане воды, неба и льдов маленькая наша шхуна была единственным организованным, созданным людьми существом среди доисторического мира. Никогда не забуду, как меня отвезли на охоту на дальнюю льдину и уехали, и все смолкло, и я остался один. Такое вдруг беззащитное одиночество полоснуло меня по сердцу, что я даже в разгаре охоты, когда утки валом валили на меня, нет-нет да и оглядывался, чтобы увидеть крошечную точку шхуны на горизонте, как бы висящую в воздухе.

Но вот на одном из тундровых холмов, среди пятен снега появились два чума, и по вечерам в тихую погоду хорошо было видно в бинокль, как струятся над ними дымки. Несколько дней мы собирались к ненцам в гости, наконец собрались, спустили катер и поехали.

Лохматые собаки яростно встретили нас и, побрехав, с удовольствием помахивая хвостами, побежали впереди, как бы показывая нам дорогу. Несколько белых оленей лежали возле чумов. Там и сям разбросаны были нарты, какие-то тюки, рваная оленья упряжь, и вялилась на кольях рыба. Кое-как залатанные ветхие чумы испускали дым изо всех своих щелей. При виде нас поднялись с нарт два ненца, до сих пор сидевшие неподвижно, подошли, попросили закурить. Долго разглядывали нас красными щелками глаз. Потом один из ненцев, откашлявшись, спросил с надеждой:

— Шпирту привезли?

— Шпирту? Зачем тебе шпирт, нету у нас шпирту! — быстро, с удовольствием сказал ему наш стармех Илья Николаевич.

— А-а... — протянул ненец и пошел к нартам.

Я попробовал заглянуть в дымное чрево одного из чумов. Там, спасаясь от комаров, молча сидели ненецкие женки. Лиц их я разглядеть не мог.

Я отошел немного и присел на теплый мох. Комары облаком висели надо мной. Нестерпимое летнее солнце заливало тундру светом. Вдали паслись олени. Блестели озера. С океана едва слышно потягивало ледяным ветерком. Тишина, покой... На сотни километров ни в ту, ни в другую сторону не было ни становища, ни какого-нибудь поселения. Разве вот такие чумы да редкие фактории...

И опять пришел мне на ум Тыко Вылка и его жизнь, его юность, его дела — не здесь, а севернее, на Новой Земле, шестьдесят лет назад!

Но что же представляет из себя эта Новая Земля, на берег которой мне так и не довелось ступить? И каково там было жить, если десятки путешественников, посетившие ее в свое время или, в крайнем случае, перезимовавшие на ней, получали потом не только прижизненную, но и посмертную славу?

Трижды посещал Новую Землю Вильгельм Баренц. Он и умер на ней, у мыса Ледяного. Дважды побывал на Новой Земле знаменитый мореплаватель Генрих Гудзон.

В XIX веке на Новой Земле побывали Лазарев, Литке, Пахтусов. Норденшельд и множество экспедиций. В начале XX века исследованием Новой Земли занимались Г. Седов и особенно В. Русанов.

Все они, описывая потом свои посещения Новой Земли, рисовали картины мрачные. Нормальная человеческая жизнь и деятельность на Новой Земле представлялась им невозможной. И Новая Земля, открытая новгородцами еще в XI веке, до последней четверти XIX века оставалась необитаемой.

Из года в год приезжали на Новую Землю русские промышленники и, добыв какое-то количество зверя, торопились уехать домой. Древние избушки разваливались и гнили. На их месте ставили новые дома, но дома эти, как и пятьсот лет назад, служили временным пристанищем для зверобоев.

На Новой Земле за восемьсот лет не родился ни один человек. Новая Земля не слыхала никогда детского смеха или плача, никогда не хранила детских следов на своем снегу или на морских своих отмелях. Только кровь зверей проливалась на ней, только кресты из плавника вздвигались над каменистыми ее могилами.

Лишь в 1877 году в становище Малые Кармакулы на Новой Земле было основано первое постоянное поселение ненцев. Всего 16 ненческих семей жили к исходу XIX века на Новой Земле. Для них выстроена была православная церковь, открылась школа, приехал фельдшер и, наконец, устроена была первая в Заполярье станция Общества спасания на водах.

Ненцы жили по-прежнему в нищете, в долгах, их по-прежнему спаивали и обирали все кому не лень, но худо-бедно ли, а Новая Земля была отныне их домом, а для детей их — и родиной!

Одним из первых поселенцев на Новой Земле был отец Тыко **Вылки** — Ханец. Вот рассказ Вылки о своем отце.

Ханец Вылка был бедняк и работал у богатого оленевода пастухом. Он жил вдвоем со старухой матерью. Старуха мать была слепая. Слепая мать не могла шить. За шитье одежды, за починку пимов брали с них дорого. Богатые оленеводы плохо обращались с Ханецом: оленей всех у него забрали, и осталось у него всего с десяток оленей.

Когда Ханец остался без оленей, богач бросил его на Югорском Шаре с матерью, без продовольствия. Один только Лаптандер Хохрома помогал ему едой, дал ему ружье. У самого Хохромы тоже много оленей не было, триста оленей было.

Однажды весной Хохрома к ним приехал, мяса, шкур привез, пороху и свинца пуль на десяток. Он сказал:

— Я дам тебе карбас. Ты здесь без еды пропадешь. Тебе надо ехать на Новую Землю. Карбас теперь у тебя есть, как-нибудь почини и поезжай. На Новой Земле будут колонисты. Тебе нужно туда записаться, — так сказал Хохрома товарищу.

Ханец Вылка долго не женился. Девушки за него не шли: очень бедно он жил.

Всю весну жил он около поселка на Югорском Шаре, промышленял нерпу, шкуры сушил и продавал за порох и свинец.

Однажды к поселку подошел путник. Он увидел чум, остановился и говорит:

— Ханец, как ты сюда попал?

Ханец сказал:

— Я давно приехал, меня здесь оленщики оставили. А теперь я хочу ехать на Новую Землю. Хохрома дал мне карбас. Мне теперь нужен только помощник.

Пришедший был Хыльтё Вылка. Он рассказал:

— Меня тоже оставили. Оленей у меня нет. Я работал у оленщиков. А как теперь буду жить, не знаю. У меня жена и сын, втроем живем.

— Заходи в чум! — сказал Ханец.

Хыльтё Вылка зашел в чум. В чуме слепая старуха варит нерпичье мясо. Хыльтё Вылка сказал:

— Тебя женить надо.

Ханец ответил:

— Невесты не идут, потому что уж очень плохо я живу.

Хыльтё сказал:

— Нам нужно вместе жить, наладим карбас как полагается. Вместе поедем на Новую Землю. Где бы ни умирать — все равно.

Ханец сказал:

— Очень хорошо. А где стоит твой чум?

— Мой чум стоит за лесом недалеко... Завтра сюда перееду. У меня есть четыре собаки.

— Собаки на Новой Земле очень нужны, — сказал Ханец.

Прошел день. Хыльтё переехал к Ханцу. Поставили общий чум, стали жить вместе. Жену Хыльтё звали Хунгля, а сына — Халко. Ханец и Хыльтё очень подружились. Вместе охотились на нерпу. Убили одного морского зайца, разрезали шкуру на ремни, продали оленщикам. Купили мешок муки, пуль, за нерпичьи шкуры купили кремневое ружье и мешков. Из мешков сшили парус для лодки.

Снег весь растаял. Прилетели птицы, утки, куропатки. У Ханца был лук, из которого он стрелял. Ханец был очень меткий стрелок. Из лука он убивал уток и куропаток.

Весна прошла хорошо.

Однажды Хохрома снова приехал и привез мяса. Хохрома сказал: — Ханец, ты нашел себе помощника. Теперь вдвоем-то вам хорошо. Поедете на Новую Землю. Там хорошо.

Хохрома дал пороха и свинца на десять пулек. Он сказал:

— Ну, теперь прощайте. Живы будем, так, может быть, увидимся.

Хохрома уехал. Ханец и Хыльтё прожили еще три дня. Погода установилась тихая. Ханец и Хыльтё нагрузили карбас и поплыли по направлению к Вайгачу. Целые сутки гребут вдоль берегов Вайгача. Погода очень тихая.

На другой день прибыли в Карские Ворота. Остановились отдохнуть. Утром ветер подул с юга, попутный ветер на Новую Землю. Натянули парус. Две женщины край паруса руками держат. Временами волна заливаает борта карбаса.

Впереди показалась Новая Земля. Поздно вечером доехали. Остановились у мыса Логинова. Ночь переночевали. Утром вперед поплыли. Доехали до острова Хусова. На острове ходят четыре диких оленя.

Пристали под крутым берегом. Четырех оленей убили. Олени жирные, сало толстое, мясо вкусное.

Мясо диких оленей очень хорошее! Ханец и Хыльтё олени желудки вычистили, кровью наполнили, мясо положили. Старухи едят сырое мясо и улыбаются. Одно говорят:

— Теперь мы живем!

Морских зайцев много, моржей много. На морской косе там и здесь лежат морские зайцы. На берегу в горах много диких оленей. Ханец и Хыльтё стали охотиться. Они говорят:

— Теперь надо искать русских: пушнину продать. На зиму продовольствия надо закупить. Говорят, что есть река Соханиха. Там, навер-

ное, есть поморы-рыбаки. Надо туда торопиться, чтобы не ушли к себе на родину.

Поплыли в губу Соханиху. Приехали туда, там было одно судно. Поморы их встретили. Ханец и Хыльтё по-русски говорить хорошо не могли, но кое-как разговаривали, и поморы их понимали. Поморы сказали:

— Сюда приезжали Максим с Фомой. Откуда вы приехали?

— Мы с Югорского Шара.

— Что продаете?

Ханец указал рукой на карбас и сказал:

— Там. Мясо есть, нерпичье сало есть, ремни есть, шкуры есть.

Ханец и Хыльтё всю добытую пушнину продали, чего нужно было, всего накупили. Потом поехали еще дальше. Обогнули Черный мыс и вошли в губу. В устье губы, на скалах, гагарки много сидит. В Черной губе они стали зимовать. Губа застыла, хорошо живут. Нерпы много, морских зайцев, моржей. В горы (в тундру) не ездят.

Однажды Хыльтё поехал на охоту в губу Железнова. В конце губы увидал след саней. Поехал вперед, поднялся на холм. Видит чумы. Хыльтё поехал к чумам, про себя думает: «Что это за люди?» Из чума люди вышли, спросили:

— Откуда ты появился?

— Я из чума приехал.

Они спросили:

— Как ты приехал на Новую Землю?

— Мы приехали на карбасе.

У них оказался хозяином Марк-ижемец. Остальные все были ненцы: Ледков Алексей, Ледков Прокопий, Лаптандер Ирико, Тайбарей Нохоко. Они добыли много пушнины. На двух карбасах приехали. Один карбас был очень большой. Они приехали с Печоры.

Хыльтё поехал домой. Приехал и говорит своим:

— Сегодня я жителей нашел. На двух карбасах приехали с семьями.

Ханец сказал:

— Теперь хорошо. Жители, оказывается, есть. Не мы одни на Новой Земле.

Так они хорошо жили. Но вот подул ветер с запада. Пурга. На море волна больше стала. В полночь такая пурга задула, ничего не видно. Они спали.

Вдруг Ханец закричал:

— Вода в чум пришла!

Все вскочили на ноги. В чуме вода. На улице волна шумит. Всю ночь они простояли на ногах. Все вещи развесили. Что можно из одежды, держали на плечах всю ночь.

Утром ветер стих. Вышли на улицу. Волны стали поменьше. На их счастье волной выбросило на берег огромную льдину. Это их спасло. Если бы не было льдины, их чум смыло бы в море.

Они поставили чум на более высоком месте. На Большой Земле они не имели понятия, что такое волна.

Пурга прошла. Снова поставили чум, уже на другом холме, куда волна не достигала. Карбас остался цел. Он был заведен в реку, и волна его не достигала...

Я приближаюсь наконец к дате рождения Тыко Вылки. Но когда он родился? Этого мы не знаем. Не знал этого и сам Тыко Вылка. Последняя жена его, Марья Саватьевна, убеждена, например, что Вылка родился в 1876 году. Но этого не могло быть, потому что отец его приехал на Новую Землю холостым в то время, когда там уже жили колонисты,— значит, позже 1877 года...

Вот краткая автобиография Вылки, написанная им собственноручно. Я привожу ее с сохранением орфографии,

«Родился я на Новой Земле в 1886 году, это по паспорту, на деле на несколько лет раньше. Мне около 76 лет.

В детстве и юности жил я в чуме, а приходилось и в снежной яме, грязь, дым, никаких удобств.

Одежда и обувь были из оленьих шкур, белья не знали, не знали постельных принадлежностей.

Занимались мы охотой и рыболовством. Били морского зверя, белого медведя, песца, ловили рыбу гольца.

Меха и гольца ненцы сначала продавали скупщикам за бесценок, часто за водку и разные безделки.

Но боеприпасы всегда в первую очередь себе покупали.

Затем стали меха и рыбу вывозить от нас на рейсовом пароходе. Приезжали за ними представители канцелярии губернатора, от канцелярии нас снабжали боеприпасами и продуктами.

Но продуктов до следующего рейса не хватало. До марта были сыты, а там опять без хлеба сидели. Голодали часто, если зверя и рыбы не было. Бывали дети помирали. В 1902 году на реке Савиной вымерло шестеро ребятишек от голоду и холоду.

Особенно плохо пришлось нам в годы 1900 по 1907. Ружья у меня не было, стрелял я гусей из лука. Самодельный лук был. Стрелял метко. Хорошо видел, очков не носил, да и знал, что (если) не подстрелю птицу, то мы голодом насидимся.

В 1909, 10, 11 годах я проводником был у полярного исследователя, большого ученого и замечательного человека Владимира А. Русанова.

Изучал он историю Новой Земли, искал полезные ископаемые, исследовал пути в Арктику.

С ним прошли мы вокруг северного и южного острова Новой Земли.

В 1910 году зимой и до весны 1911 года жил я в Москве, учился там. Эту поездку устроил незабвенный мой друг Влад. А. Русанов. Приехал из Москвы я на Новую Землю и стал жить как раньше жил.

В 1915 году стали строить в Белушней губе новую большую церковь, привезли все строительные материалы.

Я сказал лучше бы построили несколько домиков для охотников плохо живем, один бог будет хорошо жить, помощи от этого никакой не будет.

Начальство очень разгорячился на меня, я испугался и удрал со всей семьей на Карскую сторону.

Там прожил до 1918 года, других поселенцев там не было. Пурги новоземельской не боялись, поставили чумок и живем, потом из плавника выстроил избу.

В 1920 году прибыл на Новую Землю ледокол «Святогор». Он был послан спасать другой ледокол «Соловей Будимирович». Соловей застрял льдах Карского моря.

Моряки со Святогора и рассказали нам, что в России новое правительство с народным комиссаром Лениным во главе. Они говорили что В. Ильич Ленин любит людей.

В 1924 году был я избран председателем островного Совета. Дали мне задание организовать артели для промыслов. Открыли для нас новое становище, промысловые избы, моторные бота.

Открыли медицинские пункты, больницы, красные чумы и школу-интернат. По всем этим вопросам ездил я в Москву, докладывал в комитете малых народностей северного края.

Меня лично принял Михаил Иванович Калинин. Я был у него в кабинете. Скромно все у него было, а сам одет в гимнастерку и ремешок опоясан.

Сказал он мне золотые слова: никогда не отрывайся от народа, всегда служи ему, народ тебе поможет, работы не бойся, организуй артели, тогда будут у вас моторы и дома.

Сейчас на Новой Земле новые фабрики, 55 промысловые дома, 6 медпунктов, больница, красный чум, клуб на 100 человек, электросвет,

кинокартины, школа-интернат на 100 человек, квартирные дома учителям, почтовое отделение.

Раньше ненки помирали во время родов, не было помощи, а нынче есть у нас матери-героини по 6, по 8 детей выращивают. Новая Земля полна детишек, Новая Земля стала многолюдным и веселым островом.

Мой народ выбирали меня председателем островного Совета 32 раза подряд.

Заботился я о народе, старался выполнить указания Михаила И. Калинина.

Старость моя обеспечена, мне назначили персональную пенсию республиканского значения. Строят мне дом. Когда я жил снежных ямах, капли ума не было. Старости буду жить хорошей жизни.

Хорошо приняли меня в Архангельске.

Благодарен за все.

Выбирайте в Советы хороших людей.

Коммунистов и беспартийных.

Желаю успехи работы благо нашей Родины».

К сожалению, это все-таки не автобиография в полном смысле слова. Судя по заключительным фразам, это, скорее всего, конспект выступления Вылки на своем юбилее. Или на очередных выборах его в председатели Совета.

Но как ни мало известно о жизни Вылки — целые годы его проходят как бы в небытие, — все-таки жизнь его можно разделить надвое: первая половина — путешествия, занятия живописью и географией; вторая — преимущественно общественная деятельность, хоть живописи и тут находится место.

Не думаю, чтобы Вылка занялся живописью с детства, с ранней юности, не было первого толчка, да и не до того ему было. Зимой ненцы промышляли оленей на юго-восточном берегу Новой Земли. Становища свои они покидали в январе. Уложив снаряжение и имущество на нарты, запряженные собаками, они шли пешком до тех пор, пока не попадали в богатые охотничьи угодья. Мужчины охотились, женщины вели хозяйство. Пищу готовили на огне, разведенном прямо в чуме.

Кроме оленей, ненцы били морских зайцев, тюленей и моржей и ловили в капканы песцов. На морского зверя начинали охотиться еще в сентябре, разъезжая по заливам на карбасах и стреляя показавшихся из воды зверей. Попутно били белых медведей.

Весной и летом ненцы промышляли гусей, чаек, гаг, чистиков, лебедей...

Так, вместе со всеми, жил и Вылка, пока в 1900 году не появился на Новой Земле художник А. Борисов.

Я и раньше сомневался в том, что Вылка — самоучка, что он пристрастился к рисованию, не имея перед собой никакого примера.

Вот что рассказал по этому поводу племянник художника А. Борисова:

«Давно собирался я встретиться с этим интересным человеком, мне хотелось услышать от него, как он помнит художника А. Борисова. Проезжая как-то через Архангельск в родной Красноборск, я остановился в гостинице «Интурист». На всякий случай я поинтересовался у дежурной, не живет ли в гостинице Тыко Вылка? Какова же была моя радость, когда я услышал в ответ, что Вылка в гостинице жил, но ему показалось дорого платить за номер, и на днях он переехал в Дом колхозника.

В Доме колхозника я узнал, что Вылка только что ушел и что найти его, скорее всего, можно возле речной пристани.

Вылка действительно одиноко сидел на лавочке, смотрел на Двину и о чем-то сосредоточенно думал. Все в нем — поза, лицо — говорило о каком-то философском самоуглублении. Мне подумалось, что так сидеть и молчать может не каждый, что одинокое молчание Вылки —

следствие большой, богатой событиями жизни, проведенной в северных просторах.

Жаль мне было нарушать его внутренний покой, однако, извинившись, пришлось сказать:

— Здравствуйте, Илья Константинович, я племянник художника Борисова, хочу с вами познакомиться и поговорить, у меня к вам есть вопросы...

— А как ты меня узнал? — несколько смущенно спросил Вылка. — По самоедскому лицу?

— Да нет, — сказал я, — по одежде: мне дежурная сказала, что на вас темно-синий китель со светлыми пуговицами...

— А, так ты, значит, внучек художника Борисова?

— Не внучек, а племянник, — поправил я, однако в дальнейшем разговоре Вылка упорно продолжал именовать меня внучком.

— Помню, помню Борисова, молодой еще был, очень любил Новую Землю.

Было видно, что тема воспоминаний ему приятна. От былой внутренней сосредоточенности не осталось и следа. Вылка оживился.

О многом переговорили мы в тот вечер. Вспомнил Вылка, как снимали с плавучих льдов Борисова и его спутников. Было это 3 октября 1900 года.

— Мы в то время несколькими чумами стояли на Карском берегу. Слышим, с моря выстрелы. После сквозь туман различили людей. Мой отец с другими самоедами взяли карбас и через несколько часов всю борисовскую группу доставили на берег...»

Вылке в ту пору было примерно 18 лет. Оказалось, с Борисовым он встретился уже второй раз. Первый раз он его увидел в 1896 году на Маточкином Шаре (это был первый приезд Борисова на Новую Землю). Об этом писал и А. Борисов в своем очерке «На Новую Землю»: «Какая прихотливая игра судьбы! Это были мои старые знакомые. Еще в 1896 году я жил с ними на Маточкином Шаре».

Таким образом, Вылка еще лет с четырнадцати познакомился со всем, что обыкновенно окружает художника: мольберты, этюдники, кисти, краски, холст... Он наблюдал, как пишутся этюды и картины. Все это, как признался мне Вылка, сильно подействовало на его воображение. Мог ли он после увиденного удержаться от искушения самому попробовать что-то писать? Конечно, нет! Возвращаясь в 1896 году с Новой Земли, Борисов оставил ему бумагу и карандаши.

Вот когда, по-видимому, и началось, если так можно сказать, приобщение к живописи Тыко Вылки!

Борисов со своими спутниками 31 октября 1900 года пешком добрался с Карской стороны до своего дома в Поморской губе. Продуктов питания, а также дров, керосина и прочего было припасено на два года для всего состава экспедиции. Условия быта в этом доме были прекрасные. Мало того что имелась хорошая мастерская для работы, были предусмотрены и меры против цинги во время длинной полярной зимы. В этих целях Борисов завез с материка двух коров с достаточным запасом сена.

После возвращения в свой дом художник немедленно приступил к работе. Уже 4 ноября он пишет углем портрет Максима Пырерки с надписью «Праотец Новоземельский». А 11 ноября второй портрет, тоже углем — отца Тыко Вылки, — с длинной подписью «Самоед Константин (Ханец) Вылка, убивший на своем веку более 100 белых медведей». (Эти рисунки хранятся в Государственном Русском музее в Ленинграде.)

Оказывается, семья Вылки (а может быть, и другие семьи) ушла с Карской стороны вслед за Борисовым в Поморскую губу.

Всю зиму на 1901 год Борисов писал в своем доме пастелью и делал рисунки углем. Эта зима для Вылки и стала художественной «академией»: рядом с ним царила атмосфера творчества, он почти еже-

дневно мог наблюдать и ощущать ее. Замечу попутно, что в эту зиму А. Борисов написал целую серию портретов новоземельских ненцев, и вся она находится в настоящее время в отделе рисунков Русского музея.

5 сентября 1901 года экспедиция А. Борисова на пароходе «Пахтусов» вернулась в Архангельск. Покидая Новую Землю, художник снова оставил Вылке бумагу, карандаши и краски.

— Когда у меня кончилась бумага,— рассказывал Тыко Вылка,— я стал писать на обратной стороне оберточной бумаги из-под чая...

Борисов, таким образом, не столько научил, сколько приучил, пристрастил Вылку к живописи, к рисованию. Под влиянием Борисова проснулось в Вылке чувство понимания формы, цвета и композиции. Ну а дальше, как известно, год пребывания в Училище живописи, ваяния и зодчества у В. Переплетчикова и А. Архипова...

Но, может быть, Вылка действительно самоучка? Вот он пишет: «Однажды, это было в августе, я сидел у берега Карского моря. По небу тучи, облака ходят. Горы на воде отражаются. Куски льда плывут по течению. Я подумал: если бы умел рисовать, срисовал бы эти горы. Пошел в чум, взял бумагу, карандаш и начал рисовать. Три дня работал, кое-что написал».

Нет, не верится в это! Откуда бы взяться в чуме бумаге и карандашам? И потом эти художнические, профессиональные слова: «работал», «написал». Работа для Тыко Вылки в те годы состояла в другом: в многодневных, тяжелейших поездках на нартах или на лыжах, в расстановке капканов, в охоте, в разведении и поддержании огня, в устройстве чумов...

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Вылки, если бы не случилось роковое несчастье с его братом и Вылка не остался бы на Новой Земле навсегда.

А судьба его могла сложиться иначе: в 1910 году он уже жил в Москве, учился живописи у известных художников, выставлялся, о нем много писали.

«Осенью 1910 года, как-то утром,— вспоминает В. Переплетчиков,— пришли ко мне два незнакомых человека: один высокий, блондин, свежий, энергичный, живой, другой низенький, коренастый, с лицом монгольского типа. Это были: начальник новоземельской экспедиции, обошедшей летом 1910 года северный остров Новой Земли, Владимир Александрович Русанов, другой — самоед Тыко Вылка.

Тыко Вылка приехал в Москву учиться живописи. Он никогда не видел города, и вся его прежняя жизнь проходила среди северных ледяных пустынь Новой Земли.

Пока мы разговариваем с Русановым, обсуждаем план жизни и обучения Тыко Вылки в Москве, тот самым благовоспитанным образом пьет чай; его манера держать себя совсем не показывает, что это дикарь. Одет он в пиджак, от него пахнет новыми сапогами, и только когда он ходит, то стучит по полу ногами, как лошадь на театральной сцене. Ему приходилось в своей жизни больше ходить по камням, по ледникам, чем по полу...»

Как бы там ни было, в жизни Вылки должна была произойти большая перемена. Его не могли не заметить, ему не могли не помочь стать самобытным профессиональным художником или профессиональным же полярным исследователем — слишком талантлив, слишком заметен, слишком уж редкостное явление был он по тем временам.

Уже газеты печатают его биографию, уже его награждают и отмечают:

«В 1909 году Вылка участвовал в экспедиционном отряде В. А. Русанова, исследовавшего северный остров Новой Земли от Крестовой губы до полуострова Адмиралтейства.

В 1910 году Вылка входил в состав экспедиции Русанова, обогнувшей впервые под русским флагом северную оконечность Новой Земли.

За экспедицию 1910 года Вылка высочайше награжден нагрудной золотой медалью на Анненской ленте.

В 1910 году бывший архангельский губернатор И. В. Сосновский, принимавший в судьбе Тыко Вылки самое живое участие, имел счастье поднести Государю Императору альбом картин Вылки. Его величество всемилостивейше пожаловал Вылке пятизарядный штуцер системы Винчестер и 1000 патронов».

Проучившись зиму 1910/11 года в Москве, Вылка на другой год собирался опять ехать учиться. На Новой Земле он должен был использовать знания, полученные в Москве: написать за лето как можно больше картин, собрать зоологические и ботанические коллекции. Да, он далеко ушел от мальчика, жившего когда-то в снежной яме, он писал Переплетчикову:

«Его высокородие Василий Васильевич! Дорогой мой приятель! Ты учил меня, очень помню тебя. Жил с тобой, жил дружно. Желая тебе быть здоровым, еще приеду к вам в Москву. Я ездил по Карскому морю, по Ледовитому океану.

Когда я пришел на Новую Землю, мне показалось скучно. Туман, холодно. Плывут снега в горах. Отец, братья все живы. Один двоюродный брат застрелился, попал патрон на огонь и убил его. Жена, дети остались...»

И Вылка женился на вдове, потому что, потеряв мужа-добытчика, она была осуждена на верную смерть вместе с шестью своими детьми.

Но не случилось этого несчастья, не останься Вылка на Новой Земле, ненцы, возможно, никогда бы не узнали Вылку-учителя, Вылку — председателя, «президента Новой Земли».

Архангельский писатель Евг. Коковин подарил мне фотографию, на которой он снят вместе с Тыко Вылкой и С. Писаховым. У Вылки на этой фотографии круглое лицо, пухлые веки, старческие уже брови, широкий нос. Он в старомодных очках, и видно, что очки не к лицу, неудобны ему, режут переносицу.

Известна фотография и молодого Вылки. Там он большеглазый, с жесткой, густой щеткой усов, с густыми, черными, жесткими же волосами. Скулы почти не выдаются, глаза блестят, губы прекрасно вылепленные, несколько даже негритянские, лицо полно энергии. Лицо мужественного человека.

«Ежегодно подвигался он на собаках все дальше и дальше к северу,— писал о Вылке Русанов,—терпел лишения, голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалою, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А самоед без собак в ледяной пустыне — то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылка своей жизнью для того только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной, манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закованные руки, Вылка чертил карты во время самых сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твердой, как сталь».

Один современный журналист сердится на дореволюционных рецензентов, которые, оценивая картины Тыко Вылки, называли его «дикарем», «выдающимся самоедом», «уникальным явлением». И, как бы отвергая эти давнишние, покрытые уже пылью восторженные оценки, журналист пишет: «Лишь те, кто хорошо знал и любил Илью Константиновича, говорят о нем без удивления, с теплотой и уважением».

Насчет «теплоты и уважения» я согласен, но почему «без удивления»? Как раз удивление, изумление — вот первые чувства, которые испытываешь, знакомясь с жизнью Тыко Вылки. Что же касается «дикаря», то и в этом слове я не вижу ничего обидного, оскорбительного для представителя тогдашних ненцев. И думаю, что человек, напи-

савший это слово, отнюдь не хотел унижить Тыко Вылку. Это слово всего-навсего констатация факта, ибо кем же, как не дикарями (не в смысле низменной расы, а в смысле социальном), были тогдашние самоеды? Отношение царского правительства к окраинным народностям достаточно известно. А в данном случае вообще никакого отношения не было. Все добытое на острове вывозили норвежцы, вывозили за бесценнок, за спирт!

Кстати, свой первый рисунок, за который ему заплатили, Вылка продал капитану какого-то норвежского судна, капитан дал ему серебряный рубль.

«Печальная картина на русской земле,— писал Русанов,— там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь легко богатеют норвежцы».

Нет, передовое русское общество горячо приветствовало талант Вылки. Его сразу и по достоинству оценили не только как художника, но и как человека.

«Вылка несомненно талантливый человек,— писал о нем В. Переплетчиков,— он талантлив вообще. У него хороший музыкальный слух и память. Он знает массу самоедских сказок. Интересуется механикой. Умеет управлять бензиновым мотором на лодке и знает его механизм. Очень интересуется электричеством, знает жизнь птиц и зверей на Новой Земле, и знает это не из книг, а по собственным наблюдениям; он интересуется ботаникой, в экспедициях познакомился с геологией и знает названия камней.

Он чуток и наблюдателен и всегда сумеет тонко подметить свойства и характер того человека, с которым имеет дело, и часто наблюдая его, это дитя природы, я видел, что он помалкивает, замечает и молчит кое-что себе на ус. В его определениях нашей жизни было всегда много юмора и наблюдательности. Как-то Вылка был в магазине Мюра и Мерилиза (теперешний ЦУМ.— Ю. К.).

— Понравился тебе магазин?

— Птичий базар! — отвечает Вылка, причем его монгольский глазок иронически прищуривается. Птичьим базаром в полярных странах называют скалы, где гнездятся тысячи птиц, и шум от голосов этих птиц слышен за семь верст».

Одним из первых русских, который узнал Вылку, полюбил его, и подружился с ним, и неизмеримо много для него сделал, был знаменитый полярный путешественник Владимир Александрович Русанов.

Тыко Вылка родился приблизительно в 1880—1882 годах, значит, в 1907 году, когда Русанов впервые приехал на Новую Землю, Вылке было 25—27 лет.

Девятого июля, пишет В. Пасецкий, Русанов высадился в Поморской губе у западного входа в пролив Маточкин Шар. Здесь находилось небольшое поселение ненцев, среди которых Русанов надеялся найти проводника. Через несколько дней, прощально гудя, пароход покинул берега Новой Земли, и Русанов остался один. Теперь его уделом до конца дней стал Север. Он поселился в пустующем доме художника А. Борисова и прежде всего начал знакомиться с жизнью ненцев. Русанов к тому времени был гидрологом и геологом, прошел школу революционной борьбы, познакомился с царскими тюрьмами и ссылкой, окончил Сорбоннский университет и мечтал об открытии судорохода по Великому северному пути и об освоении Новой Земли.

А кем же стал к этому времени Вылка? Он прекрасно знал жизнь зверей и птиц, знал природу Новой Земли, ее климат, ее реки, проливы, заливы и горы. И еще он умел рисовать, рисовать наивно, по-детски, но тем не менее поэтически. Знал сказки и предания, помнил и видел десятки смертей в море, в бураны и от цинги... Во всем остальном душа его была подобна листу белой бумаги, на котором Русанову, фигурально выражаясь, предстояло начертать первые письма.

Мария Савватьевна Вылка, последняя жена Вылки, рассказывала мне:

— Отец ему говорит: надо тебе жениться, поезжай на материк, выбери себе невесту. Вылка жениться не хотел, но раз надо — поехал на Печору. Сел на пароход, летом дело было, одет был в малицу худую, без штанов и босый. У него альбом был с рисунками, и он еще на пароходе рисовал. А там ехал какой-то человек. Жена его увидела рисунки, попросила альбом, а потом пригласила к себе с мужем в каюту. Каюта была первого класса. Сказала: «Молодой самоед, пойдем к нам!» А Вылка был волосами обросший, вот как сейчас ребята ходят, волосы по плеч. Те попросили у него рисунки на память, он дал. Они с мужем подарили ему за это кожанку и штаны, а потом и ботинки. Говорят: «Постригись и старую одежду в море брось!» Он завернул малицу и пимы рваные, хотел в воду спустить, а потом забоялся: «Брошу, а вдруг одежду назад заберут?» Потом все же набрался храбрости. Ночью всю одежду в море бросил. А потом смотрит — у него в кармане кожанки двадцать пять рублей золотых. Испугался так, что заснуть не мог. Наутро прибежал к тому человеку, вынул деньги и сказал: «Вы, наверно, забыли деньги из кармана взять?» А тот говорит: «Нет, это я тебе за твои работы подарил». А он столько денег в жизни не видал, а сам невесту ехал выбирать. Ну, приехал, кой с кем познакомился, говорит: «Мне надо невесту». Знакомая старуха говорит: «Сведу тебя, знаю невесту», привела к одной. Она, говорит, девушка хорошая, только у нее в середине червячок есть. Он испугался. «Мне,— говорит,— с червячком не надо». Ему говорят, что это потом пройдет, червячок не все время будет. А он не послушал и стал искать другую невесту. Нашли другую. Надо было ехать далеко за ней. Ехали долго. Доехали, а там уже в чумах живут. Зашли в чум и сели. И невеста вошла, села. Посидела и говорит: «Не пойду за тебя замуж, потому что ты ни одного слова со мной не сказал». И ушла. Так он и вернулся обратно без невесты, очень доволен был.

Таков был Тыко Вылка к моменту знакомства его с Русановым. В архиве мне удалось найти начало описания экспедиций с Русановым, сделанное Тыко Вылкой в старости.

«По окончании учебы в Париже Владимир Русанов возвратился в Россию и, не заезжая в Орел, к родным, поехал в Архангельск с целью посвятить свою деятельность Арктике.

Еще находясь в ссылке, Русанов читал книги об отважных мореплавателях, о зимовках их на Новой Земле. Теперь он сам увидел следы Пахтусова и Размыслова, их развалившиеся избы, побывал на могиле Якова Чиракина.

Русанов рассказывал мне: «Я, когда в первый раз прибыл на Новую Землю, очень был рад, что лично увидел следы русских мореплавателей Пахтусова и Размыслова». В это лето мне с Русановым пришлось ходить, я уезжал. Русанов с Молчановым ходили по проливу Маточкин Шар на Карскую сторону. Проводником у них был Ефим Хатанзей.

В 1908 году Русанов вновь приезжал на Маточкин Шар, в бухту Поморскую и опять ходил на баркасе по проливу. Проводником его на этот раз был мой отец Константин Вылка. Они дошли до Незнаемого залива, оттуда пешком пересекли Крестовую губу и вернулись обратно.

Русанов приехал вместе с французами, в это лето и я ходил проводником, со мной на шлюпке был фотограф экспедиции Захар Виноградов.

Когда все мы собрались в бухте Поморской, Захар Виноградов рассказывал, какие сильные случались ветры и как нашу шлюпку заливало волнами.

Захар Виноградов говорил Русанову: «На следующий год вам нужно будет взять проводником молодого Тыко Вылку, он хороший

мореход, несмотря на то, что молод». Русанов обратился ко мне: «Ну как, Вылка? Захар Захарович тебя хвалит. В следующем году пойдешь со мной, будешь проводником нашей экспедиции. Пойдем вдоль западного берега Новой Земли. Как ты, согласен или нет?»

Я с радостью согласился поехать с Русановым. В 1909 году первым рейсовым пароходом Владимир Русанов опять прибыл в любимое место — бухту Поморскую.

Так я стал проводником Русанова. Моим помощником взяли молодого ненца Санко Вылку. Захватили две упряжки собак, шлюпку, на которой ездили вместе с Виноградовым, и большой баркас. Пароход нас доставил в Крестовую губу и оставил там. Мы с Русановым ходили сухопутным путем к Незнаемому заливу и обратно...»

Итак, Русанову посчастливилось (как и Вылке, в свою очередь): он познакомился, а затем и подружился с Тыко Вылкой, который оказал ему неоценимые услуги в исследовании Новой Земли.

Первое путешествие, проводником в котором был Тыко Вылка, Русанов совершил по проливу Маточкин Шар до Карского моря. «Пользуясь такой известностью у туристов норвежские фиорды, — писал Русанов, — тусклы и бледны по сравнению с удивительным разнообразием и оригинальной яркостью форм, цветов и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива!»

В этой первой поездке на карбасе по Маточкиному Шару Тыко Вылка обнаруживает такие познания в топографии Новой Земли, что впоследствии из простого проводника превращается в полноправного участника последующих экспедиций Русанова.

Через год — в 1910 году — В. Русанов предпринимает на судне «Дмитрий Солунский» путешествие вокруг Северного острова Новой Земли. После Саввы Лошкина (XVIII век) он был первым русским, обошедшим Новую Землю с Севера.

Во время остановки у северной оконечности острова Русанов принял поход в глубь острова. Вместе с ним пошел Вылка. Они попали в места совершенно безжизненные. «Они бродили по голой равнине с редкими ручьями и озерами, — пишет В. Пасецкий со слов Русанова. — Не было ни уток, ни гусей, которые южнее встречались тысячами. Только маленькие кулички иногда стремительно пронеслись над водой, нарушая тревожным писком чуткую тишину пустынного края. Расительности не было никакой. Тут нельзя было увидеть даже новоземельской ивы, которая встречалась в Архангельской губе и в Незнаемом заливе. Глаза не могли отыскать ни одного цветочка. Мхи и те встречались редко и всегда прятались между камнями. Оленьих следов не было видно, зато много встречалось медвежьих...»

Экспедицией была составлена новая карта Северного острова, более точная и подробная, чем существовавшие до того времени. Было открыто несколько новых неизвестных ранее островов, проливов, заливов и бухт. Многие из них уже ранее были нанесены на карту Тыко Вылкой.

«Во всех тех случаях, когда оказывалась возможность проверить на месте разницу между существующими картами и чертежами Вылки, результаты говорили не в пользу карт, а в пользу чертежей Вылки», — писал Русанов.

Но обратимся вновь к воспоминаниям Вылки. (Писал он в старости по-русски неуверенно, поэтому мне пришлось прибегнуть к стилистической правке.)

«Потом мы пошли на шлюпке до полуострова Адмиралтейства, шли на веслах, трудности нас одолевали, и пришлось вернуться назад в Крестовую губу.

К тому времени, когда нам нужно было возвращаться в Маточкин Шар, в бухту Поморскую, к нашему счастью рядом оказалась парусная яхта. Владимир Русанов договорился с капитаном яхты, к вечеру

мы сели на судно и, хоть погода была неблагоприятная, вышли из Крестовой губы в море. Ночью поднялся сильный шторм.

Наше судно ныряло в волны, буря была такая, что я первый раз видел такое страшное море. Я был уверен, что до утра не доживем. Но с утра стало получше, я вылез на палубу, Владимир Русанов тоже вышел из каюты, говорит: «Тыко Вылка, не ходи по палубе, упадешь в море. Как у тебя Санко Вылка, жив ли?» Я сказал Русанову: «Ой, ой, как страшно!» Владимир Русанов сказал: «Мы с тобой много увидим еще таких штормов». Я ему ничего не ответил. Пришли в бухту Поморскую, и последним рейсом парохода Владимир Русанов выехал в Архангельск.

На следующий год Русанов прибыл на большой парусно-моторной шхуне «Дмитрий Солунский». На этот раз он сам был начальником экспедиции. На борту находились все члены экспедиции.

Из бухты Поморской мы пошли на север к мысу Желания, чтобы обогнуть Новую Землю с севера. Заходили во многие губы и заливы.

«Дмитрий Солунский» оставил нас у полуострова Адмиралтейства на большой шлюпке, а сам ушел в Архангельскую губу.

Шлюпка наша была моторная, но при спуске на воду был сломан гребной вал, и нам пришлось на веслах грести до Адмиралтейской губы. Испытав много трудностей, мы потом еле добрались до «Дмитрия Солунского». Несколько дней мы отдыхали в Архангельской губе, затем пошли дальше, к мысу Желания.

Когда вышли, погода была благоприятная. Шли под парусами. Немного прошли по Русской гавани, вдруг разбушевался сильный ветер, переходящий в ураган. Вода поднималась столбами, будто смерчи. Владимир Русанов говорит: «Какое полярное море сердитое! Недаром в старину так много людей гибло среди айсбергов». В самом деле, впереди нас плавали айсберги, оторванные от береговых ледников, и угрожали нашему кораблю гибелью.

Умело маневрируя, мы проходили между ними. Когда мы подошли к Оранским островам, ветер стих. На обеих мачтах «Солунского» подняли флаги. В. Русанов, восторгаясь успехом, сказал экипажу: «Сегодня мы находимся у самой крайней точки севера Новой Земли. Тут русской экспедиции до нас не было!»

«Дмитрий Солунский», ведомый Русановым, берет курс дальше. Ночью море закрылось, туман, тихо, утром матросы разбудили меня, говорят. «Вылка, почему половина неба белая, а где мы находимся — темная?» Я ответил: «Белое небо — это отражение сплошного льда, а темное небо — это чистая вода». Вскоре мы вошли в тяжелый, сплошной лед.

Пробиться было нельзя. Пришлось вернуться к мысу Желания и постоять на якоре весь день. Быстро изменилась погода, подул ветер с запада, принесло много льда.

Принимаем решение: выходить с восточной стороны Новой Земли. Добираемся до ледяной грани, и опять дальше нет ходу: Карское море забито льдом.

Пришлось в ледяной гавани отстаиваться на якорях. Пока стояли, мы с Русановым съехали на берег поискать полезных ископаемых.

Вдруг видим — три оленя. Русанов говорит: «Давай уьем оленя, накормим команду свежим мясом». Я убил одного оленя. Русанов взял на плечи всю тушу и потащил на «Солунский», я нес только голову и шкуру. На другой день ветер изменил направление, подул с востока.

Льды начали надвигаться на берег. Мы быстро снялись с якоря и опять пошли к мысу Желания.

Стали на якорь. Потом бросили второй якорь, потому что подул неожиданный ветер с запада. Двое суток бросало нас из стороны в сторону, два якоря еле держали. На нас надвигалась масса льдов. На четвертый день подул слабый ветерок с севера, и нам пришлось выйти на Карскую сторону.

Другого выхода не было. Продвигались между тяжелыми карскими льдами. Владимир Русанов круглые сутки не спал, все стоял на носу судна, а капитан Поспелов находился на мачте и высматривал разводья среди льдов.

Один раз путь нам прекратили тяжелые айсберги. Между двумя айсбергами оказался узкий проход. Судно могло протиснуться с большим трудом. Русанов сказал капитану: «Давайте их толкнем, от удара они, может быть, раздвинутся». Капитан Поспелов крикнул: «Полный вперед!» Машина заработала во всю силу.

Судно ударилось об айсберг, мы все упали с ног на палубу. Айсберги были выше нашего судна. В тот момент получилась страшная катастрофа. Айсберги потеряли равновесие, корнями повернулись вверх. Корма «Солунского» задралась высоко, и мы покатили носом вперед.

И тут же айсберги закачались сзади, мы были спасены!

Картина была очень страшная. Катастрофа для льдов.

«Дмитрий Солунский» еле двигался среди ледяных полей. Судно было большое, а сила мотора была всего 50 лошадиных сил. Между ледяных полей, в разводьях, по ночам замерзал тонкий ледок, на носу «Солунского» как стекло звенело.

Команда «Солунского» очень боялась зазимовать, боялась, что тогда нас унесет на Северный полюс. Многие плакали. Русанов говорил: «Не надо бояться, на нашем судне есть машина, хоть слабая, но все-таки мы идем вперед. Вы вспомните, какие вчера громадные айсберги мы победили. Может, у кого имеется гармошка, играйте, песни пойте, все забудете свой страх». Мы подошли к острову Пахтусова. Между островами береговой лед еще стоял неподвижно. Тут нас прижало к береговой кромке льда, команда не вытерпела, взяла винтовки, выскочила на лед охотиться на медведей, много ходит медведей.

Русанов кричит за ними: «Убейте хорошего медведя на жаркое!» Матросы убили двух медведей, притащили на судно, с отливом лед отошел от кромки, образовалась узкая полоса воды, мы поехали по этой канаве. Добрались до мыса Пятипальцева, «Солунский» зашел в бухточку, стали на якорь. Я сказал: «Печально здесь зазимовать, никто не напишет, а если и вспомнят, то не узнаешь». Русанов говорит: «Мы дальше пойдем. Когда я отбывал ссылку в Усть-Сысольске, то много читал о полярных мореплавателях, меня тянуло на север, как магнитную стрелку. И вот я пятый раз здесь и говорю тебе: Новая Земля будет хорошая земля!»

Мы с Русановым раскопали в одной очень старой, разваленной избушке кожаный документ, промыли и высушили, надпись читать было очень трудно, на углу документа был изображен какой-то герб. Владимир Русанов говорил: «Мы с тобой нашли находку, это пойдет в музей».

Мы пришли очень поздно, сели в каюте, остальные люди уже спали, Русанов сказал: «Как бы чайку попить». Он говорит: «У меня есть спиртовка для сухого спирта». Он достал баночку, зажег, поставил.

1945 г. И. К. Вылка».

На этом воспоминания Тыко Вылки обрываются. Что помешало ему продолжить? Мне кажется, напряженная, многообразная работа председателем — должность, которой он никогда, ни единой минуты не пренебрегал.

Закончив путешествие, тридцатого августа Русанов решает наконец привести в исполнение давно занимавший его план. В этот день он записывает в дневнике: «Вечер я пробыл у самоедов, пили чай, беседовали и окончательно решили, что Илья Вылка, сопровождавший нас в экспедиции, поедет со мной учиться в город».

По прибытии в Архангельск Русанов устраивает выставку картин Вылки. Выставка привлекла многочисленных посетителей. По едино-

душному мнению знатоков живописи, молодой ненец обладал недюжинным и самобытным талантом.

Затем вместе с Русановым Вылка едет в Москву и поступает учиться живописи к В. Переплетчикову. Русанов находит Вылке бесплатных учителей русского языка, арифметики, географии, топографической съемки, ботаники и зоологии.

«Он читает книгу природы так же, как мы с вами читаем книги и газеты; в экспедициях он незаменим как помощник и проводник; это живая карта Новой Земли. Человек он смелый, отважный, решительный; отличный охотник — бьет гуся пулей на лету» — так характеризует Вылку Русанов своим друзьям.

Тыко Вылка в восторге от Москвы. Новые его друзья не только учат его живописи, ботанике, математике и прочему — они наперебой показывают ему Москву, возят в театры, в музеи, на концерты...

«Люди хорошие в Москве, — писал он Переплетчикову, — очень хорошие, добрые! Ты мне как отец был, заботился, и хозяйка, где я жил в комнате, заботилась, и учителя заботились, и учительницы заботились. К Москве теперь привык, все знаю, как на Новой Земле. Театр люблю, музыку люблю, кинематограф люблю».

Вылка скоро освоился в Москве, усердно занимается живописью и науками. Ему страстно хочется походить на европейца, он сшил себе модный пиджак, носит высокие крахмальные воротнички, пестрый галстук, завел себе плащ. Художник Архипов подарил ему котелок, в руках у Вылки — тросточка. В этом наряде Вылка по воскресеньям важно гуляет по Сухаревской площади и рассматривает старинные вещи.

Купив себе игрушечный пистолет, он пробкой стреляет по мухам у себя в комнате и таким образом удовлетворяет свою охотничью страсть. Мух он сначала называл птичками, ибо на ненецком языке нет слова «муха», потому что нет мух на Новой Земле. И только в Москве он узнал, что есть насекомые, которые называются мухами.

Но рядом с впечатлениями от новой, загадочной и увлекательной для него московской жизни постоянно присутствуют у Вылки в душе впечатления далекой родины. Иногда он тоскует и тогда рисует избу своего отца, рисует снеговые горы за избой, красный кирпич, сложенный у крыльца, рисует отца, брата...

Тогда из комнаты, где работает Вылка, слышны странные, тягучие, печальные звуки — это Вылка за работой поет самоедские песни: песнь войны, песнь охоты, песнь смерти. Эти необычные звуки переносят его своей тягучестью в далекие снеговые пустыни, в бесконечные полярные ночи, эти звуки тоски — прекрасны и музыкальны.

Во сне он часто видит старого отца, братьев, и, должно быть, у него мелькает мысль о смерти: доживет ли он до возвращения на Новую Землю? Снятся ему тогда вещие сны, будто он уже умер, и по утрам он в смущении рассказывает их Переплетчикову:

«Видел во сне, что сам помер, — испугался, жалко себя стало. Вижу, по лестнице народ на небо лезет: начальники лезут, дети лезут, бабы лезут, долез и я до верху, а мне и говорят: «Куда лезешь, ты еще не помер, после полезешь». Я обрадовался, назад полез, насили до земли добрался, народ шибко лезет — не пускает. Очень рад был, что не помер!»

А и в самом деле, какая судьба ждала этого талантливого человека? Возможно ли было совместить такие две крайности, как европейский уклад жизни со всеми ее знаниями, со всеми ее удовольствиями от комфорта, ядом волнений и впечатлений — и жизнь на Новой Земле, где ночь тянется три месяца при свете северных сияний, где дует «всток» при пятидесятиградусном морозе и камни летят по воздуху от ветра, где тюлени выползают на берег послушать, если кто поет песню на берегу, так любят они музыку, и по ночам перекликаются во тьме человеческими голосами, и человеческими же голосами кричат и плачут, когда их убивают самоеды-охотники, где природа цельная, гармо-

ническая и нетронутая еще, как в первые дни творенья, и где, наконец, маленькая горсть людей отрезана от всего мира в течение девяти месяцев в году, где почти нет инфекционных болезней, где люди благодаря чистому полярному воздуху могли бы жить долго-долго на белом свете, если бы не умирали так рано от голода или от цинги, не тонули бы в море, не пропадали бы без вести в снежных буранах...

Худо-бедно ли, но пока судьба Вылки складывалась удачно! Можно себе представить, какие разговоры были у него с Русановым на следующий год, когда они опять вместе — в третий раз — отправились в новое путешествие, теперь уже вокруг Южного острова Новой Земли. И легко вообразить, как считал Вылка дни и оставшиеся до конца путешествия мили, потому что осенью он должен был опять ехать в Москву, продолжать образование.

Но роковое событие оборвало все его планы, в единый миг перевернуло всю его судьбу! Вернувшись на Маточкин Шар, он узнал, что погиб его брат. Слишком близко положил к огню заряженную винтовку, слишком разгорелся костер, винтовка раскалилась, грянул выстрел...

В сентябре Вылка прощался с Русановым, уезжавшим домой, и не знал, что прощается навсегда, не знал, что Русанов через два года погибнет в Карском море.

Не знал он также, что царский винчестер — этот символический императорский подарок — на долгие годы станет для него единственным источником существования. Не знал, что и золотая Анненская медаль тоже сослужит ему неожиданную службу — он ее обменяет потом в голодный год у норвежского шкипера на несколько килограммов масла...

В 1913 году Новую Землю посетил художник, учитель Вылки Василий Переплетчиков. Подойдя к становищу Белушье, пароход дает долгий густой гудок. На берегу поднимается восторженная пальба из ружей. Такой же пальбой берегу отвечает пароход. Якорь еще только ударился о воду, а к пароходу уже изо всех сил спешат карбасы. С прошлого года сентября новоземельцы не видели свежих людей. На Новой Земле давно говорили, что у них в году два праздника — рождество и пасха. Рождество — это первый рейс парохода, пасха — второй.

К пароходу подходит первый карбас. Тыко Вылка в плаще с медными застежками, в чиновничьей фуражке, но без кокарды, с золотой медалью на красной ленте важно и внушительно стоит среди карбаса. Он похож не на ненца, а на таможенного чиновника. Остальные ненцы в малицах.

- Здорово! — кричат с парохода.
- Здорово! — отвечают с карбаса.
- Ну, как промыслы в этом году?
- Плохо!
- Шкуры медвежьи есть?
- Немного есть!
- А песцы?
- Песцов не попадало! Ни одного нет!
- В становище здоровы?
- Одиннадцать человек померло!
- От цинги?
- Нет, от кори!

На палубу по трапу всходит Тыко Вылка.

— Здравствуй, дорогой, как здоровье? — приветствует его Переплетчиков.

— Плохо. Корью был болен, потом воспалением легких, а потом сердце болело, недели две как поправился, а то все лежал.

— Работал зимой?

— Да, немного картины рисовал, не очень много.

— Не слышал ли о Седове чего, о Русанове?

— Нет, я ходил на Карскую сторону, до Пахтусова острова доходил, никого не встретил. В Маточкином Шаре тоже ничего не слышали.

(Несколько дней спустя, посетив Ольгинский поселок, Переплетчиков увидел в одной из избушек «Книгу посещений Ольгинского поселка в Крестовой губе на острове Новая Земля» — и на последней странице следующую запись: «1912 г., авг. 27 дня, по пути к Северному полюсу завернули к гостеприимным ольгинцам на необходимый отдых. Отрадно видеть было, что Ольгинский поселок с 1910 г. заметно разросся. Одно только жаль, что метеорологическая станция потерпела аварию от шторма и прекратила свое действие. Проверил время колонистов, и оказалось, что они, пользуясь солнечными часами, мною установленными в 1910 г., жили лишь на 20 минут сзади. Желаю от души дальнейшего счастливого пребывания лихим колонизаторам крайнего Севера. Старший лейтенант Седов». Это была последняя запись, сделанная Георгием Седовым на земле.)

Ненцев между тем набирается на палубе все больше и больше. Некоторые сидят в паровой рубке, их расспрашивает об обстоятельствах зимней жизни чиновник, ведающий делами колоний Новой Земли.

— Отчего песцов нет? — спрашивает он.

— Мыши много было. Мышью песцы питались, не шли в капкан на приманку.

— А медведи?

— Медведей тоже мало было, рыба сайга от наших берегов ушла, а медведь эту рыбу любит.

Туристы на шлюпке съезжают на берег. Приставать довольно трудно, берег крутой, кругом снег. Земля еще не оттаяла и не просохла и имела совершенно такой вид, как в средней России в начале марта. Около изб лежат ездовые собаки, на приезжих они не лают — только поглядывают искоса.

В избе у Тыко Вылки чисто и аккуратно. Переплетчикова со спутниками встречает жена Вылки Прасковья — сам Вылка еще на пароходе.

— Здравствуй, Прасковья! Как живешь? — спрашивает Переплетчиков.

— Муж болел долго, а то ничего, — отвечает она.

Над нарами висят несколько этюдов масляными красками, висит винчестер, на окне — бинокль. На стене часы, но они не ходят, сломаны.

— А ну-ка, Прасковья, покажи нам работы Ильи, — просит Переплетчиков.

Прасковья бережно приносит папку с акварелями и рисунками. Приезжие рассматривают работы... Хорошо изображена внутренность избы при лампе в бесконечную полярную ночь, на нарах на оленьих шкурах сидит Прасковья и шьет. На другом рисунке изображены яхта, залив, горы. И странно тут, среди этой обстановки, видеть рисунки, кисти, краски...

На прощанье в кают-компании устраивается небольшая выставка картин Вылки.

Переплетчиков прощается с Вылкой, тот сходит по трапу вниз, отец его Константин сидит на веслах, а на носу карбаса стоя подплясывает вдребезги пьяная ненка, она того и гляди упадет в море.

— Эй, тетка, осторожней! Лучше сядь! — кричат ей с парохода, у всех замирает сердце.

Но «тетка» не обращает на крики никакого внимания, она танцует, жестикулирует и разговаривает сама с собой.

Вылка уныло стоит в карбасе. Глаза его полны слез.

— Эту зиму Вылка не пойдет слушать музыку в опере! — говорит

он, глядя вверх, на склонившиеся к нему с борта головы.— Опять остался один...

И отъезжающим долго был виден удаляющийся карбас, гребущий Константин, грустно стоящий Вылка и неутомимо пляшущая на носу карбаса женщина.

Первая половина жизни окончилась, колесо судьбы повернулось, на долгие годы Вылка скрывается из нашего поля зрения, живет где-то на Карской стороне уже в полном одиночестве, если не считать семьи. Как горько, должно быть, было ему отказаться от всего, чем поманила сначала его судьба, отказаться от полярных странствий, забыть наивные, но гордые мечты стать настоящим художником, образованным человеком, поехать, может быть, в Париж, где жил когда-то и учился Русанов, в Италию.

Отныне и до веку суждено ему было опять жить в снежной яме. Ну пусть не в яме, конечно, не в рубище, не в худой маличке — в избе из плавника, но все же, все же!

Он мечтал слушать музыку, а пришлось слушать ему вой метелей, крик тюленей и гул моря.

Он снова был низвергнут в первобытное состояние, но, к счастью своему, не на всю жизнь. Как мы уже знаем, в 1924 году он становится председателем островного Совета. Он остался им чуть ли не до конца своей жизни.

Много соблазнов подстерегает человека на руководящих должностях, много встречается камней преткновения — выдержал ли испытание властью, почетом Тыко Вылка? И почему первым председателем избрали именно его? Мало ли что сопровождал Русанова в экспедициях! У Русанова были и другие замечательные проводники, например Санко Вылка (не брат и не родственник Тыко Вылки, просто однофамилец). Кроме русановской, на Новой Земле много побывало и других экспедиций, соответственно многие ненцы служили им проводниками.

Или за то, что Вылка так хорошо рисовал? Но жил на Новой Земле замечательный резчик по кости, тоже Вылка, Михаил Прокопьевич. Изделия его были в свое время знамениты, выставлялись даже в Париже, а потом разошлись по рукам и сгнули, как, впрочем, почти все картины и самого Вылки. Жил, любимый всеми ненцами, полуграмотный поэт Василий Пырерко, у которого никто не записал ни строчки, а он умер уже в 1946 году.

Это только те люди, о которых я узнал от Ивана Степановича Лодыгина — сослуживца и товарища Вылки, — а мало ли было среди тогдашних ненцев других талантливых людей, нам неизвестных?

Значит, было что-то в Вылке, что выделяло его особенно, что заставляло других безоговорочно признавать его авторитет?

Что же?

— С Тыко Вылкой, — вспоминает Иван Степанович Лодыгин, — я был знаком с зимы 1931 года до самой его смерти в Архангельске. Он приехал тогда с ветеринарным фельдшером к нам в избушку на Кусовой земле, где мы зимовали, занимаясь промыслом. Вылка тогда еще ездил по зимовкам на собаках. Ездил он обычно с женой своей Александрой. Приехавши на основное становище (факторий тогда еще не было), жену оставлял там, а сам с кем-нибудь из промысловиков отправлялся по промысловым участкам.

Был у Вылки на Новой Земле, в Белушьей губе, небольшой бревенчатый домик, разгороженный внутри на несколько малюсеньких клетушек. Была небольшая печь-плита, и стояла вторая печка — железная, из бочки. Печки впоследствии несколько раз переделывались. К домику примыкали сени и небольшая дощатая пристройка для собак. Стоял домик на невысокой скале, у самой воды. Крыша сначала

была тесовая, но потом тоже перекрывалась. Дом стоял хорошо, далеко было видно кругом.

В гостях у Вылки побывал я первый раз в 1932 году, он жил тогда со второй женой и с двумя молодыми сыновьями. В доме у него было довольно грязно, постоянно топились то одна, то другая печь, постоянно кипел большой старинный медный чайник, закопченный до черноты. В одной из комнат стоял небольшой стол без клеенки, по обеим стенам шли довольно широкие нары, застланные оленьими шкурами, а возле стола, сколько помнится, стояли две довольно старые табуретки.

Как зайдешь в дом, справа на гвоздях висело кое-что из одежды. Вылка потом мне показывал винтовку системы «ремингтон» замечательного качества, всю вороненую, а к прикладу была прикреплена серебряная пластинка. Что было выгравировано на пластинке — не помню. Вылка заметил как-то, что винтовка — подарок, но говорил ли от кого, я тоже не помню. Винтовка эта была у него всегда вычищена и смазана, но он ею почему-то не пользовался, по крайней мере я ее никогда не видал у него в дороге.

Посуды было мало, только самое необходимое: пара кастрюль, несколько больших мисок, ложек и кружек. В те годы Вылка, сидя у себя за столом на нарах, еще подворачивал ноги, потом эта привычка у него прошла.

Как и все ненцы, Вылка мог выпить чайник чая и при этом — если рядом в миске или в тазу свежая оленья кровь — съесть целую оленью ногу: отрезал кус мяса, окунул в кровь и абурдай!

Мог и выпить, но никогда не пил много. Особенно любил коньяк. Как-то в Архангельске зашли мы с ним в магазин, я спросил, чего брать из выпивки, а он: «Степаныч, только звездочку!» Нет, выпивками он не увлекался, не в пример многим другим, не только ненцам, но и русским, да и жалованье у него было небольшое.

За то время, что я его знал, регулярным промыслом он уже не занимался. Добудет случайно голову-две морского зверя да поймает вблизи пары три песцов... Он на еду семье зарабатывал председательством, так что промышлять ему не надо было, да и староват становился. Ну а если и промышлял — так это оттого, что свою охотничью страсть хотелось удовлетворить.

У Вылки был очень хороший характер, его легко было привлечь на свою сторону. Он очень любил общение с людьми, умел внимательно слушать, всегда поддакивал, хотя вряд ли все принимал на веру. Многие считали эти качества Вылки слабостью и пытались использовать их в своих интересах. Иногда это удавалось, в первые годы Вылке не хватало опыта и государственного мышления. Впоследствии вера его в людей осталась, но опыта было больше, и в общении с людьми, а особенно с русским народом, он научился оценивать в своей работе все плюсы и минусы и уже не ходить на поводу у каждого краснбая.

За внимание к людям, к их нуждам, за повседневную отзывчивость мы его много лет избирали председателем островного Совета. Свыше кандидатуру Вылки нам никогда не предлагали! Не каждому человеку бывает оказано такое доверие, да еще малограмотному, хотя по уму он и в 30-е годы резко выделялся среди населения Новой Земли.

Вылка очень любил сидеть где-нибудь на высоком месте, часами смотреть на окрестности, на море, и я его очень хорошо понимаю, — надо иметь поэтическую душу и большую любовь к своей родине, пускай суровой, но изредка дающей такие дни, какие не увидишь нигде, кроме Арктики.

Живописью Тыко Вылка занимался все время, но работал очень медленно, любил работать, когда у него никого нет, придешь к нему — он сразу же прекращал работу.

Как-то говорили мы с ним, еще в 30-е годы, что хорошо бы изо-

бразить в красках ночевку промысловиков на Карской стороне Новой Земли, тогда еще мало освоенной. Вылка говорит: «Хоросо бы вецером сьом (чум), горит костер, везде снег, торосы...» Я забыл потом об этом разговоре, приехал в мае на пленум островного Совета, зашел к нему, он мне и показывает небольшую картину, написанную на куске камня-плитняка (сланца). Плитка треугольной формы, неправильной, темно-синего цвета. Назвал он картину «Ночевка на Карской». Изображено было: берег моря, зима, поздний вечер, почти полные сумерки, все в синих тонах, снег, в море торосы, стоит небольшой чум, лежат собаки, видны нарты, горит небольшой костер, виден закипающий чайник, чуть струится из верхушки чума дымок, по дыму видно — тишина. У чума два человека, все краски как бы сливаются с цветом плитняка, на котором была написана картина. Вся картина дышала тишиной! Я не знаток в живописи, но был, помню, поражен реальностью сюжета и оттенками будто бы излучающих морозную тишину красок. Лучше я не видел у Вылки картин, в картинах своих он чаще всего наивен, но та картинка, небольшая, была неповторима по воздействию на зрителя. Я ему сказал, что у него другой такой картины пока не было, эта самая лучшая. Он усмехнулся, говорит: «Надо делать картину больше — этот маленький». И подарил мне, а на мой вопрос, чем мне расплатиться, говорит: «Вот узе приеду к тебе, рассчитаешься», но и потом никакой платы Тыко Вылка с меня не взял, ну угостил, тем дело и кончилось. До сих пор жалко мне этот подарок — в 1937 году картина, как и все мое имущество, утонула при гибели судна «Ленготорг».

У Вылки много картин расходилось по людям, иногда беззастенчиво вымогавшим их у него, особенно мелкие картинки...

Сколько было лет Вылке, не знаю, то есть когда он родился, да он и сам не знал. Шестидесятилетие его отмечали три раза: два раза на Новой Земле и раз в Архангельске. Во всяком случае, он был старше своих официальных лет.

В Архангельске ему дали сначала квартиру на улице Вологодской, и как-то на мой вопрос: довольны ли квартирой? — он пошутил: «Зылье хоросее, вот только на конце улицы много народу лезыт, нехоросо туда попасть». А в конце улицы Вологодской, недалеко от квартиры Вылки, расположено у нас городское кладбище. На Новой-то Земле покойникам просторно! И все же пришлось ему лежать вечно не на Новой Земле, а там, где ему так не хотелось «лезать», и я, как бываю на Кузнецовском кладбище, всегда останавливаюсь у его могилы и вспоминаю свои с ним встречи.

Тыко Вылка был действительно выдающимся, незаурядным человеком среди новоземельских ненцев, человеком великих способностей, в силу обстоятельств его трудной жизни полностью не развившихся. Но и то, что им сделано, достойно удивления и памяти!

Он был мудрым человеком, и лично я отношусь к нему как к человеку, наиболее полно знавшему все условия жизни на Новой Земле. И главное, что он своих знаний никогда не держал при себе, всегда готов был поделиться своим опытом и своими наблюдениями, а наблюдений и опыта к концу жизни у него на десятерых хватило бы. И авторитет его среди промысловиков-полярников был исключительно велик!

Навсегда запомнился мне такой случай. В 1931 году, зимой, в февралье месяце, Тыко Вылка, промысловик Василий Ефимович Кузнецов и я на трех упряжках выехали с избушки на Кусовой земле в становище Русаново, до которого, если ехать напрямик, было километров шестьдесят — один небольшой перегон по тамошним понятиям. Думали, что проскочим до становища, — хотя погода с утра и не радовала, но видимость была. Но не успели мы проехать и пятнадцати километров, как ветер усилился, видимости не стало, да к тому же и ветер был встречный. Наш путь лежал по льду моря, оставаться дольше на льду становилось опасно, лед могло выломать и отнести в море.

Посоветовавшись, мы решили выходить на берег и там искать какого-нибудь укрытия — на ровном льду не укроешься. Между избой, откуда мы уехали, и становищем Русаново, куда мы держали путь, был еще промысловый участок, была избушка, в которой жила одна семья. Определившись по компасу, мы взяли направление к этой избушке в бухте Охальная. Перестроили упряжки, первой поставили упряжку Кузнецова — у него была самая сильная, — Вылка поехал второй, у него были самые слабые собаки, а я ехал замыкающим. Договорились ехать не спеша и ни в коем случае не терять друг друга из виду. Добрались мы до берега — коса, и укрыться опять негде, видимость ноль. Собаки у Вылки совсем забастовали, стали ложиться. Наши пока держались, но так двигаться долго было нельзя — заморозить собак, а укрыться негде. Решили добраться до первого мало-мальского укрытия и залечь. Ехали, тащились, наверное, с полкилометра и наехали на большую кучу дров — плавник был собран большим конусом. Загнали в затишье собак, которые сразу же залегли, и в минуту их занесло снегом. Кучу дров мы опознали и решили, что до избы Охальной, где жил промысловик с семьей, не более полукилометра. За дровами ветер на нас прямого действия не оказывал, но было сильное снежное завихрение, и каждые полчаса надо было скидывать с себя снег, то есть вылезать из сугроба.

Пурга тем временем усилилась до предела, понесло песок, мелкие камни, но, как всегда бывает на Новой Земле, с усилением ветра мороз пошел на убыль, скоро стало не более десяти градусов мороза. Кузнецов принялся настаивать, чтобы добираться до избы. Все понимали, что «куропачить» придется долго. Он и я подняли собак, но упряжку Вылки сдвинуть с места не могли. Собаки даже на ноги не хотели вставать. Кузнецов предложил оставить собак Вылки, а две упряжки вести за вожжи и попытаться добраться до избы.

Но Вылка идти отказался, только твердил: «Пойдем — уж пропадем, как-нибудь уж будем здесь». Я своего мнения не смел иметь, был еще новичком в таких переделках, но Кузнецов был уже тогда полярником с дореволюционным стажем и был убежден, что, если изба рядом, нужно было идти, чем терпеть такие муки, лежать несколько суток под такой пургой.

Я, может быть, длинно рассказываю, но, поверьте, дни под снегом, почти четверо суток, ох как они долги! Пролежали трое суток, на четвертые похолодало. Вылка говорит: «Уж скоро стихнет». И верно, стало утром проясняться, хотя ветер был еще сильный, видимость временами становилась метров на сто. Стало рассветать, и мы заметили не вдалеке от нас, метрах в двухстах, что-то темное, большое — то видно, то скроется. Прошли метров пятьдесят и разглядели избу! Откопали собаку, выпрягли из упряжек, а нарты потащили к избушке сами.

Так мы и прокуковали почти четверо суток рядом с избушкой. По совету Вылки хлеб мы держали за пазухой, оттаивали и тем питались.

Я вспомнил этот случай к тому, чтобы показать вам, как велик был авторитет Вылки, настолько велик, что даже полярники с многолетним стажем не смели его ослушаться, его советы всегда выполнялись беспрекословно.

Да, если говорить теперешним языком, то Вылка был человек с большой буквы!

Мне повезло: среди людей, так или иначе знавших Вылку, мне повстречался в Архангельске Андрей Александрович Миллер.

Андрей Миллер, серьезный, приятный человек, долгое время плававший старшим механиком на судах Тралфлота, с детства жил на Новой Земле и знал Вылку в 1934 году. Подробностей первых встреч с Вылкой он не помнит. Слабо помнит только, что приезжал какой-то добрый ненец на собаках, который мастерил детям игрушки.

Зато события следующего года, когда Миллеру исполнилось семь лет, на всю жизнь врезались ему в память, потому что, по его же словам, жизнью своей он обязан Тыко Вылке.

Жили они — отец, мать и четверо детей — в охотничьей избушке на Северном острове, на берегу залива Чекина. Там же жил и одинокий охотник Иван Тимофеевич Филатов. В избушке Миллера мебели никакой не было: стол, нары да олени шкуры. В избушке же, в холодной половине, за стенкой жили и собаки.

Однажды мать полоскала белье в проруби, простудилась и слегла. Встревоженный отец попросил Филатова поехать на мыс Выходной, где находилась полярная станция и жил врач по фамилии Синявский. Филатов уехал, а мать между тем вскоре потеряла сознание и через несколько дней скончалась.

Оставшись один с маленькими детьми, отец впал в отчаянье. Он пил спирт, рыдал, а скоро ему стало казаться, что и он и дети должны неминуемо погибнуть. За стеной была полярная ночь, завывала пурга, сбившись в кучу на нарах, дети тихо плакали. Чтобы не видеть, как один за другим умирают его дети, отец решил кончить дело разом и принес из кладовки большой бидон с керосином, собираясь разлить его по избушке, сжечь детей и погибнуть в огне самому. По-видимому, он помешался от горя и от беспросветной полярной ночи.

Филатов между тем заблудился. Он ехал на мыс Выходной шесть дней и в конце концов упал со скалы вместе с собаками. Кое-как добравшись все-таки до Выходного, он встретил там Тыко Вылку, который объезжал в это время все новоземельские охотничьи избушки и фактории. Узнав, что у Миллера заболела жена, Вылка тотчас собрался в дорогу. Врача на полярной станции не оказалось, он уехал к больному. Наказав Филатову дожидаться и привезти врача, Вылка на шести собаках отправился к заливу Чекина. (Больше шести собак у Вылки в упряжке не бывало.) По-прежнему бушевала пурга (танзей), и избушку Миллера так занесло, что, приехав к заливу Чекина, Вылка не мог ее найти.

Уложив собак, он принялся тыкать хореем в снег на том месте, где, он знал, стояла избушка. Нашупав хореем крышу и разгребя снег, Вылка начал отдирать доски на крыше. Миллер, услышав, что крышу кто-то ломает, узнав голос Вылки, звавшего его по имени, в свою очередь выломал две-три доски на потолке и помог Вылке влезть в избушку.

Увидев плачущих детей, нетопленную печь, бидон с керосином, всмотревшись в сумасшедшее лицо Миллера, Вылка сразу все понял, всплеснул руками и забегал по избе.

— Саса (Саша), ты сто задумал! — кричал он с ненецким акцентом. — Жить надо, терпеть надо, детей спасти надо!

Тыко Вылка был круглолиц, одет в малицу, подпоясан широким ремнем, на бедре болталась связка медвежьих клыков. Он суетился, взволнованно бегал по избе и то, заложив руки за спину, ругал Миллера за малодушие, то сострадал ему, то жалел покойную Евлампью, которая, окочнев, лежала тут же, в холодной, не топленной много дней избушке.

Вылка принес хлеба и мяса и дал детям, потом заставил вылезти наружу отца, вылез сам, и они принялись откапывать избушку из-под снега. Очистив от снега трубу, затопили печь, стали варить обед. Вылка не уставал убеждать Миллера, что тот не имеет права предаваться отчаянью, что он мужчина и новоземелец!

Жил Вылка у Миллера до приезда Филатова с врачом, а когда те приехали — тотчас отправился за 160 километров на факторию Пахтусова и попросил заведующего Ивана Лодыгина обеспечить семью Миллера всем необходимым.

Мать решено было похоронить в июне, когда на Новой Земле появляются проталины. Семь месяцев пролежала покойница в избушке, в холодном чулане. (Каково им было жить все это время, постоянно сознавая, что за стенкой в темноте и холоде лежит мать!) А летом сделали гроб, поставили на нарты, на гроб посадили детей и повезли к большому камню — скале. Земля еще не оттаяла, динамита, чтобы взрывом вырыть могилу, не было, гроб положили на землю и заложили пирамидой камней.

В августе в залив Чекина пришла на вельботах топографическая экспедиция. Вместе с экспедицией приехала из Мезени бабушка. Она преодолела большие трудности, чтобы навестить могилу дочери и забрать с собой детей.

Миллер-отец скоро уехал с экспедицией проводником. Дождавшись его отъезда, бабушка с детьми пошла на могилу дочери. Бабушка была в длинном сарафане, дети держались за подол, и так все вместе они дошли до могилы. Пришел Филатов, снял шапку. Плача и причитая, бабушка принялась откладывать с могилы камни, пока не открылся гроб. Крышку гроба бабушка снять сама не могла и стала просить Филатова. После долгих колебаний Филатов открыл гроб. На лице у матери был синий платок, на груди красиво лежали бусы, ноги были обуты в меховые липты (сапоги). Приподняв платок с лица дочери, бабушка долго вглядывалась в почти не изменившиеся родные черты и плакала. Она привезла из Мезени мешочек с землей. Прочитала над дочерью заупокойные молитвы, передала ее земле, потом гробовую крышку опять поставили на место, гроб заложили камнями — теперь уж навсегда...

Много мужества, говорю, нужно было иметь, чтобы жить на Новой Земле и не только исполнять свой прямой мужской долг: охотиться, кормить родителей, детей, и себя, и жену свою, — но еще находить силы для того, чтобы заботиться о других, постоянно объезжать все избушки, разбросанные на огромных расстояниях, не пропуская ни одной, и каждому приходить на помощь.

Ежедневный риск, ежеминутная готовность встретить смерть — разве этого не хватит с избытком на долю любого человека, решившегося прожить таким образом хотя бы один год, не говоря уж о всей жизни!

Трогательное, всего в несколько страничек, жизнеописание Тыко Вылки поражает простотой изложения, но еще более — простотой отношения к опасностям:

«Я только на Карской стороне промышлял. Однажды мы трое поехали оленей отыскать. Мы не могли найти. Ходились на высоких горах. Мы вернулись домой. Был туман. Я сказал братьям: «Давай поедем вот здесь. Ближе будет». Мы едем. Вдруг высокая скала. Я соскочил и упал на землю. Собаки упали. До смерти я так испугался. Уж думал: я теперь жив не буду. Едва вижу. Два брата тоже упали. Видел: мой кнут (длинная палка) прямо на меня идет концом. Думал, меня убьет. Мы остановились внизу. Снег был мягкий. Мы стали на ноги. Поехали снова...

В январе я однажды ходил по воде, Ледовитым океаном. Убил одну нерпу. Ветер сильный был. Я вернулся домой. Мне не удалось до дома доехать. Думаю — на берег попаду. Подошел к берегу. Соскочил на берег. В тот момент волна поднялась. Я упал в воду. Лодку понесло по морю. Кое-как вышел на берег. Весь промок. Видел товарищей. Я крикнул. Они не слышали. Я пошел к ним. Сказал: «Я лодку упустил». Я взял их лодку и пошел свою лодку искать. Ветер сильный. Не мог найти. Лодка течет. Я испугался. Думал: ветер сильный будет — на берег не попасть. Поехал на берег. Морская волна была большая. Хотел пристать к берегу. Подошел — берег высокий. В тот момент я не видал большую волну. Волна хлестнула мою лодочку. Перевернула. Я в воду упал. Лодка на меня упала. Я попал под лодку. Думал: теперь живым не буду. У меня ружье было привязано к лодке. Другая волна

хлестнула меня. Выкинула на берег с лодкой. Я стал на ноги. Весь мокрый. Лодку вытащил на гору и поехал домой.

В мае однажды я придумал на охоту за 60 верст ехать. Птиц, чаек стрелять, яйца собирать. И поехал туда вечером. Подошел. Стал стрелять чаек, убил десяток. Одна упала под гору. Я пустился доставать чайку. И пошел. У меня в руках была длинная палка, чтобы придерживала: снег был твердый, днем было тепло, ночью мороз. Вдруг я упал. Так катился — никакого ума не было. Уж думаю — теперь не жив. Отец найдет собак. У меня был длинный кинжал. В последний момент придумал кинжал вынуть. Я вынул. Изо всех сил в снег ударил. До черенка вошел в снег. Я остановился. Отдыхал тут. Потом я стал кругом смотреть: уж до ног волна хватает. Чуть в море не провалился! Ползком пополз вверх и пошел домой...»

Как просто, какими немногими обыденными словами рассказано о десятках случаев смертельной опасности!

«Убил одного медведя по пути. Собак покормил. День был ясный. Мне одному скучно было. Морозы 50 или 40 градусов. Три дня я ехал домой. У меня градусник лопнул от мороза».

Проучившись два года в Мезени, Андрей Миллер вернулся к отцу на Новую Землю. Он стал жить в губе Белушьей, где была тогда школа и где жил Вылка.

Вылка преподавал в школе рисование. Но разве только рисование! Перед Вылкой в классе сидело два десятка детей — ненцев и русских, — два десятка маленьких граждан острова, на котором он родился, прожил всю жизнь и председателем которого был теперь. Мог ли он не учить их всему тому доброму, что сам носил в своей душе!

— Любите землю, — говорил он, — это наша советская земля! Любите, не обижайте друг друга. Никогда не хнычьте, знайте, что суровая земля слабых не любит. А живете вы теперь лучше, чем жил я в детстве. О нас с вами заботится весь народ. Но и мы должны думать о народе и делать все так, чтобы все говорили: хорошо!

Он рисовал нарты, собак, ненцев, корабли, охотничьи сценки. Рисовал мелом на доске. Рисовал промысловые избы, выезды охотников...

Поучая, он всегда держал указательный палец торчком. На всю жизнь запомнился Андрею этот короткий толстый палец.

Тыко Вылка знал родителей всех своих учеников, и для каждого ребенка был праздник, когда Вылка начинал рассказывать о его отце. Зато и не было большего укора для какого-нибудь озорника, если Вылка принимался выговаривать:

— Если ущишься плохо будес, сказу отцу. Твой отец герой труда, хоросо промысляет, а ты сто, уроков не знаес?

В то время началось массовое освоение Севера, и Вылка горячо принимал к сердцу успехи наших полярников. Возле школы чернела на снегу копия палатки папанинцев, в классе на стене висела большая карта северного полушария, и Вылка собственноручно отмечал на ней дрейф первой нашей станции «Северный полюс».

Больше всех других праздничных дней Вылка любил праздник 1 Мая. Для него это был не только советский, пролетарский праздник — это был радостный день весны на Новой Земле, день подведения зимних итогов. Тьма отступала, и солнце все неохотнее склонялось к горизонту. Впереди были самые прекрасные на Севере дни — летние, приход парохода, встречи со старыми друзьями...

И не было большего удовольствия для Вылки чем готовиться к маевке. За несколько дней до праздника чуть не со всего острова съезжались к островному Совету охотники. Вылка обязательно встречался с каждым, радовался зимней удаче или горевал вместе с промысловиком, если у того случилось зимой несчастье или постигла неудача. **Музыкальных инструментов на Новой Земле не было, но был барабан.**

И вот, возглавляемые отрядом пионеров, под громкий треск барабана все охотники острова шли к «Знаку» (так местное население называло морской створ). Там уже готова была трибуна, обитая кумачом, на трибуну поднимался Вылка... Надо ли говорить, как слушали его люди, в течение долгой зимы не выдавшие человеческого лица, не слышавшие ничьего голоса, кроме как своих близких!

А Вылка рассказывал о великом строительстве, идущем по всей стране, о переменах, которые скоро настанут и на Новой Земле, и слезы навертывались ему на глаза. Вспоминал ли он в такие минуты незабвенного своего друга Русанова, думал ли о своем детстве, о том времени, когда никому во всем мире не было ровно никакого дела до того, как живут ненцы и живут ли они вообще на свете?

Зато после митинга, если на острове все было хорошо, Вылка любил повеселиться. Пел ненецкие песни своего сочинения. Выпить добрую чарку любил: «Чарка елый саво!» (Чарка очень хорошо!) К каждому охотнику непременно заходил в гости и сам любил угостить, любил смотреть, как люди едят. Ел он всю жизнь очень много, справедливо полагая, что без сытной еды человеку на Севере не прожить. Мог съесть в один присест (абсурдать) целую холку оленя.

Уже в 1946 или 1947 году, вспоминает Миллер, Тыко был в Москве на приеме у Калинина. Ему удалось выхлопотать большую партию всевозможных машин и снаряжения для Новой Земли, и вернулся назад он очень довольный. Рассказывая новоземельцам о Москве, он всякий раз весело вспоминал, как ел в ресторане котлетку, съел — и ничего не почувствовал.

— На столе нет котлетки... и брюхе нет котлетки,— говорил он, заливаясь добродушным смехом.

Говорят, что однажды на приеме Калинин назвал Вылку президентом Новой Земли. Сказано было это, конечно, в шутку, однако с легкой руки журналистов, любящих броские фразы, этот титул так и укрепился за Вылкой. Даже и теперь, стоит только упомянуть имя Вылки в Архангельске, как тотчас в ответ услышишь: «А-а! Как же! Президент Новой Земли!»

Между тем «президент» — слово несколько официальное, холодноватое. Президент — лицо, высоко стоящее над обществом, лицо труднодоступное.

Вылка же был прост и доступен. Вся жизнь его проходила на людях, он охотился, ел и спал вместе с ними, он хоронил их и принимал новорожденных. По-человечески он оставался всю жизнь прежним Тыко Вылкой, не меняя ни привычек своих, ни пристрастий. Очень ярко характеризуют Вылку-человека воспоминания недавно умершего Василия Дмитриевича Заборского:

— В 1922 году я был молодым боцманом и плывал на судне «Ярославна». Пароход это был небольшой, водоизмещением всего в две тысячи тонн, но по тогдашним временам это был гигант. Мы в то время делали регулярные рейсы на Новую Землю.

В первый же мой рейс к нам на пароход шел Тыко Вылка, который сопровождал с Новой Земли первую партию пушнины.

Потом вместо «Ярославны» на Новую стал ходить «Русанов». Не было случая, чтобы Вылка не отправился на нем в Архангельск — сдавал там пушнину, добывал снаряжение на зимний период и осенью, в сентябре, возвращался назад. Всю зиму он объезжал фактории и становища, промысловые избушки, собирал какие-то гербарии, коллекции, я уж теперь не помню какие, помогал всем, учил детишек в школе, а летом обязательно встречал нас.

На борт часто брал яйца кайры — сам их очень любил и всю команду угощал. К пушнине относился как к драгоценности. Говорил, легче машину построить, чем добыть трех песцов.

На судне у нас всегда теснота была — собаки, грузы разные, народу много, зимовщики домой возвращались... Словом, другой раз и

на палубе места не было. Но какая бы теснота ни была, Вылке отводили отдельную каюту. Это стало уже традицией, так и говорили: каюта Вылки. Мы его все очень уважали. За что? Лично я его только на пароходе видел, в деле не видел, но его все любили, уважали, все зимовщики, промысловики, только и слышишь: Вылка сказал, Вылка обещал...

На пароходе он обычно целыми днями рисовал. Мы уже так и знали — как только Новая Земля скроется за горизонтом и все на палубе угоняется, так Вылка сейчас же к себе в каюту, приготавливает там все свое хозяйство, всякие краски, картон — и затих. Значит, рисует. А то, слышно, песню свою запоет. Он любил петь. Но в каюте рисовал только в плохую погоду, а в хорошую — на верхнем мостике или на палубе. Картины свои любил всем показывать. Бывало, все спрашивал: «Хоросо?»

Плохие черты? Не знаю. Говорю что помню: мы его все, и русские и ненцы, очень уважали, гордились им. Был справедливый, никого не обижал зря, все знали — раз решил, значит, решил правильно.

Вот не знаю, удалось ли ему, а был тогда у Вылки стратегический план переселить всех промысловиков на восточную сторону, как мы говорим, на Карскую, там зверя больше было. Он, бывало, все об этом с нами толковал, очень увлекающийся человек был.

Как жил? По-своему жил. Там, на Новой, специально для него построили хороший дом с печкой, уютный, я там много бывал. Первым рейсом приходим, захожу — печка сломана, он ее разрушил, на полу самодельный очаг из кирпичей, топится по-черному. Дыму — как на пожаре. Вылка и все вокруг закопченное, как колбаса. Кстати, о еде... Ел очень много. Оленину, рыбу. Два-три килограмма мяса — как один бутерброд.

Курил постоянно, не помню его без папироски. Но не только курил, а еще и жевал табак. Не плиточный, не тот табак, что для жевания, а обычный, из папирос. Не вру! Меня угощал, но чаще жевал махорку. Жует и плюется.

Очень был радушный хозяин. Отказываться от угощения или там от выпивки и не думай — обижался по-настоящему.

Прекрасный охотник был. Думаю, лучший охотник из тогдашних промысловиков. Я уж не говорю о том, что он лучше всех нас стрелял. Главное — он все знал, чувствовал про зверя. Ребята поговаривали иной раз между собой — уж не колдует ли, не шаманит? — так знал, где зверю должно быть. Это у него, наверное, в крови было, природное.

Характер? Очень дружелюбный, мирный. Но бывало, что и вспылывал, кричал, сердился, когда узнавал о плохом поступке. Но только это с него быстро сходило. И умный был, много знал про Север, испытал много. Повторяю, мы его уважали.

Про картины не знаю. Помню, они нравились нам, все очень похоже рисовал — льды, собак, тюленей, чумы... Но я тогда его картины делом не считал, я про Вылку знал: охотник, хозяин Новой Земли, ну а на пароходе он вроде как бы отдыхал, почему не порисовать? Да и от него никогда не слышал, чтобы он о себе сказал: я художник! Может быть, от скромности? Да нет, навряд ли он думал о себе как о художнике...

Все-таки думал, всю жизнь думал о себе как о художнике, только никому не говорил, природная его скромность не позволяла ему выговорить тех слов, которые так часто и так легко выбалтывает наш язык.

В старости, в минуты печали, говорил:

— Вот бы еще картин пять написать... А потом и догонять пойду...

— Кого догонять, Илья Константинович?

— Русанова...

Последние годы, отслужив в армии, Андрей Миллер встречался с Вылкой уже в Архангельске. В первый раз он встретил Вылку в краеведческом музее. Вылка взгляделся в него из-под руки — эта привычка смотреть, сделав ладонь козырьком, осталась у него с тех пор, когда глаза его слепил солнечный снег или блеск моря. Вылка узнал Миллера мгновенно.

— Мой питомец! — с удовольствием выговорил он.

Он знал всех новоземельцев в лицо, никогда ни с кем не путал. Он любил ходить по городу — от Вологодской до Поморской пешком, не любил ни трамваев, ни такси. Ходил большей частью один... О чем думал он в эти свои одинокие минуты, что вспоминал?

Говорил:

— Живу хоросо, но сумно.

Жил он в деревянном доме вместе с последней своей женой Марьей Савватьевной. Тут уже порядки были другие, время его ценилось, и когда он работал, к нему не пускали. А работал он много. Теперь ему не нужно было уезжать в многодневные изнурительные путешествия, не нужно было охотиться, чтобы добыть себе пропитание, не нужно было навещать заброшенных в ледяной пустыне промысловиков... Зато в свободное время гостям бывал всегда рад. Держа руки за спиной, выбегал мелким шагом в прихожую смотреть: кто пришел? На вопрос: «Как поживаете, Илья Константинович?» — отвечал неизменно:

— Хоросо. Сейчас пишу. Рисую.

Все стены его мастерской были увешаны картинами. Берега Новой Земли Вылка знал так хорошо, так подробно, а память его была столь остра, что ему теперь не нужна была натура — он писал по памяти, и старые новоземельцы сразу узнавали места, изображенные им.

Новая Земля не давала ему покоя. Он писал с глубокой озабоченностью:

«На Новой Земле я прожил более 75 лет. На моих глазах произошло много изменений в природе новоземельских островов. К сожалению, на островах не ведется постоянных наблюдений за ледниками, озерами, реками, островками и изменениями береговой линии.

Ледники на Новой Земле отступают. Особенно изменился ледник залива Вилькицкого. В 1910 году его язык почти доходил до Зеленой реки, а теперь не достигает реки примерно 12 километров. Самый залив стал вдаваться глубже в сушу и потому стал длиннее в два, а может быть, и больше, раза. Может быть, залив был покрыт ледником?

Ледник в южной Сульменовой губе, который В. Русанов назвал «Шумным», в 1910 году падал в залив крутым барьером. Толща льда, уходящая в воду, достигала 55 метров. Теперь этот ледник до воды не доходит примерно на два метра, и толща льда его уже не такая, как 50 лет назад.

Ледник около озера Крестовой губы падал в него отвесной стеной, и на озере плавали айсберги. Теперь он до озера не доходит, и спускается он не тяжелой отвесной массой, а более полого.

На Новой Земле есть интересные озера, про которые ненцы говорят, что они «дышат». В них уровень воды изменяется через определенные промежутки времени. Озера Тирчлаха-Иилы-Тоя состоят из двух смежных соединяющихся озер, и уровень воды в них качается, как на весах. Ненцы знают, что рыба с водой переходит из одного озера в другое, знают, при каком уровне воды надо ловить ее.

Из-под «Шумного» ледника Сульменовой губы течет ручей, который бурлит в самую сильную стужу в январе или в феврале. Второй такой ручей течет из-под ледника в Глазовой губе. Зимой над этими ручьями то столбом, то грибом стоит пар...

Многие островки, которые я знал 50 лет назад, теперь исчезли. В заливе Литке были три высоких, скалистых островка причудливой формы. Ненцы назвали их «Три русских», они стояли как три человека. Теперь их осталось только два, третий разрушился. А островок был приметный, высокий.

Против устья реки Саввиной тоже был остров, довольно большой, на котором во множестве гнездились чайки. Теперь от острова остались отдельные камни.

Во многих местах на Южном острове Новой Земли, там, где 30 лет назад круглый год лежал снег, а то и лед, теперь весной и летом растет трава и даже цветут цветы.

Все эти изменения надо наблюдать и изучать. А этого никто не делает. Надо также разрешить вопрос о вечной мерзлоте на Новой Земле. Промерзает там земля с поверхности, а копнешь глубже чем на полметра — земля не смерзлась. Никогда не встречал я там вечной мерзлоты, а я искал ее немало. Ненцы говорят: «Теплая наша Новая Земля».

Может быть, в связи с Третьим Международным геофизическим годом на эти факты обратят внимание».

Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал мужественно готовиться к смерти. Он собрал, вымыл и сложил свои кисти. Пел старинные ненецкие песни, которых уже никто, кроме него, не помнил. Ходил в гости к друзьям, прощался.

— Просяйте,— кротко говорил он и низко кланялся.

— Далеко ли собрались, Илья Константинович?

— Да пока в больнису. А потом, наверно, дальсе.— И добавлял:— Пойду искать Русанова. И опять мы с ним будем идти в холодных льдах...

Говорил еще старым друзьям:

— Будьте новоземельцами, будьте крепкими, как Север!

Андрей Миллер вспоминает:

— Когда я узнал в сентябре шестидесятого года о смерти Вылки, мне даже нехорошо стало. Никак не думал, что это так на меня подействует. Ведь я ему жизнью обязан! Пошел на похороны, как положено. У нас, новоземельцев, есть земляческий обычай: собираться всем вместе, если кто из наших умрет. Когда Вылка умер, у меня были срочные дела, но я все бросил, поехал хоронить. Это для меня было важнее всего... Он в гробу лежал маленький и как бы круглый, не подберу слова... Мы спросили: а где его ордена и медали? Марья Савватьевна говорит: «Ой, забыли! Срочно надо ехать домой!» Поехали за орденами... Мы все плакали. Моросил сентябрьский кислый дождь. Мы вынесли Вылку, понесли гроб на руках до главной улицы, с полкилометра. Потом гроб положили на машину. Я шел и вспоминал все, что сделал мне Вылка, такая тоска была, будто отца хоронил!

В 1911 году в Москве, зимой, сидя в теплой мастерской В. Переплетчикова, молодой Вылка записал нетвердой в русской грамоте рукой: «Тому назад 35 лет мой отец, Константин Вылка, через Карские ворота перешел на Новую Землю своим карбасом со своим родным племянником. У моего отца мать была: глаза ничего не видели. Отец был холостой. Он был бедный. Поселился на Новой Земле и женился. И родился я на Новой Земле».

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВЛАСОВ



БУМЕРАНГ СТРАХА

Политические заметки

Материалы июньского Пленума ЦК КПСС вызывают острую потребность по-новому взглянуть на проблемы сегодняшнего мира, противоборство двух диаметрально противоположных идеологий — социалистической и буржуазной. Одновременно они внушают оптимизм, уверенность в том, что ныне, в острой и сложной обстановке, есть возможность отстоять мир. Советские коммунисты убеждены в возможности не просто предотвратить войну, но и коренным образом оздоровить международные отношения. Еще раз с трибуны Пленума Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов подтвердил, что «в нашу эпоху именно социализм выступает как самый последовательный защитник здоровых начал в международных отношениях, защитник интересов разрядки и мира, интересов каждого народа, всего человечества».

В то время как в Москве обсуждались вопросы сугубо мирного, созидательного характера, в Вашингтоне приступают к практическим шагам — к размещению в Западной Европе новых американских ракет средней дальности, пытаются сломать военно-стратегическое равновесие между двумя системами и обеспечить себе превосходство. Этому опасному шагу предшествовала изощренная дезинформация, грубая клевета на мирную внешнюю политику Советского Союза, других социалистических стран. К жизни вызывались печальные тени прошлого, связанные с событиями и людьми, которые приводили Соединенные Штаты к тяжелым последствиям.

Лозунг о «красной опасности» буржуазия неизменно выбрасывала на крутых поворотах истории. В. И. Ленин в свое время назвал тех, кто кричал о «красном милитаризме», политическими мошенниками, которые делают вид, будто они в эту глупость верят, и кидают подобные обвинения направо и налево. Так было в первые годы советской власти, в период первых пятилеток, так было всегда.

Американцев запугивали красным флагом, серпом и молотом, социалистической собственностью и коллективизмом, победой над фашизмом, верностью советских людей принципам пролетарского, социалистического интернационализма, закономерным ростом экономического и оборонного потенциала Советского Союза. Утаивался один существенный фактор — Советский Союз никогда не использовал силу в качестве инструмента внешней политики, никогда первым не начинал войны. Казалось бы, все предельно ясно. Но разжигание истерии страха продолжалось.

Перед американцами рисовали примерно такую фантастическую картину. Русские у ворот американского дома. Америка едва ли не осажденный остров. Противник вот-вот пересечет океан, а у США нет в достаточном количестве ни ракет, ни атомных подводных лодок, ни авианосцев, ни стратегических бомбардировщиков. Советы поступили коварно, воспользовались, дескать, плодами разрядки и наращивали военную мощь, тогда как Соединенные Штаты бездействовали и отстали. Западная же Европа окружена-де советскими ракетами, ее охватил «паралич воли», и без США она не сможет себя защитить.

На людей обрушивается поток фальсифицированных цифр.

Тревога! СССР превосходит США в танках, самолетах, ракетах: 4:1, 30:1, 1000:0. Заметим, что такой же подход США навязывали и союзникам по НАТО.

Выход? Требуется срочно «закреть окно уязвимости», выделить десятки, сотни миллиардов долларов на строительство новых стратегических ракет, атомных подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, космических средств ПВО.

Срочно!

Как можно скорее!

Пока не наступил судный день.

Пока есть еще время.

Так заведомая ложь порождает ложный страх. Один из ярых антикоммунистов-советологов, поставщик рекомендаций администрации по проблемам внешней политики, Р. Пайпс, цинично уверял: «Как только исчезает страх, сила теряет значительную долю эффективности. Это особенно верно в отношении ядерного оружия, которое предназначено в такой же мере для запугивания, в какой и для уничтожения».

Выдумка о «советской военной угрозе» выступает как своеобразная «шоковая терапия». В преднамеренно созданной обстановке напряженности и страха американской аудитории подсовывают «лечение» — сила, причем сила ядерного оружия. Только она может спасти Америку.

В последние годы речи и выступления официальных лиц США наполнялись все более тревожными тезисами: «Америка в опасности», «Есть неравновесие сил», «Советский Союз обладает превосходством, и достаточно большим», «Необходимо восстановить американскую военную мощь».

Следовали цифры и данные.

Кто же их поставлял?

Оказывается, еще в 1979 году в Вашингтоне был создан комитет по существующей опасности. Он разрабатывал одну за другой кампании против сторонников разрядки в американских правящих кругах, составлял доклады о росте советской военной угрозы, изобретал лжедоказательства об отставании США от Советского Союза, а отсюда прямой путь к отказу от договора ОСВ-2 и развертыванию гонки вооружений.

Чтобы придать этой опасной по своей сути тенденции благопристойный вид, к ее пропаганде и защите привлекались не только «авторитеты» настоящего, но и духи прошлого, дабы сообщить этой истерии характер некой исторической закономерности. В подавляющем числе выступлений, статей, интервью, опубликованных в американских средствах информации, присутствуют ссылки то на отцов — основателей США, то на предыдущих президентов США и другие исторические личности.

В работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» К. Маркс на событиях 1848—1851 годов во Франции показал, как определенные лица прибегают к заклинаниям, «вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом священном древности наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории». Прием довольно распространенный в практике буржуазии до сих пор.

В союзники привлекаются все. Рейган сослался на книгу Л. Бейленсона «Выживание в ядерный век», изданную в Чикаго (1980). Последний утверждал, что «ядерная война рано или поздно, вероятно, произойдет». Америка должна отказаться от ОСВ и «упрочить свой ядерный меч», добиться военного превосходства над СССР.

Не бог весть какой авторитет Бейленсон. Но почему бы не воспользоваться авторитетом писателя и не подбросить идею о допустимости и возможности ядерной войны и даже победы в ней?

Политика гонки вооружений, допустимость ядерной войны ударили бумерангом, вызвали серьезную озабоченность и протест многих миллионов людей. В официальном Вашингтоне неожиданно для себя столкнулись с взрывом антиракетного движения не только в США, но и в западноевропейских странах. В его ряды вливались потоки людей различных возрастов, политических взглядов и верований. Возникли десятки организаций, протестующих против гонки вооружений: граждане за разумный мир, союз обеспокоенных ученых, врачи мира за предотвращение ядерной войны, союз юристов за контроль за ядерным оружием, художники за шанс уцелеть и т. п.

Наиболее здравомыслящие люди обращали внимание на «сумасшедший военный бюджет США», основанный «на непроверенной теории, нереалистических предположениях и сомнительной логике». «Советская военная угроза» перерастала в политическую шизофрению. Она усиливала разногласия внутри блока НАТО и отталкивала от США в ООН многие развивающиеся страны.

Видные политические деятели США призывали прислушаться к идее замораживания ядерных вооружений. В 1982 году эту мысль поддержали 22 сенатора, 150 членов палаты представителей. В период промежуточных выборов в восьми штатах США за нее проголосовало 10,5 миллиона человек. Среди них отставной адмирал Ноэль Гейлер (бывший командующий вооруженными силами США на Тихом океане), бывший директор Агентства национальной безопасности, бывший глава американской делегации на переговорах об ОСВ-2 Поль Уоррик, сенаторы Кеннеди и М. Хэтфилд.

В марте 1983 года бывшие помощник президента по национальной безопасности Банди, госсекретарь Вэнс, министр обороны Макнамара и начальник штаба ВМС США адмирал Замуолт направили в конгресс США письмо, в котором предлагали сократить бюджет Пентагона на 136 миллиардов долларов за счет отказа от создания ракет «МХ», стратегического бомбардировщика «Б-1», трех новых авианосных соединений. По мнению Макнамары, в Вашингтоне давно уже стало традицией завышать данные о военном потенциале Советского Союза и занижать потенциал НАТО.

В мае 1983 года палата представителей американского конгресса 278 голосами против 149 одобрила резолюцию, призывающую к «немедленному, взаимному и поддающемуся проверке замораживанию производства, испытания и развертывания ядерных вооружений США и СССР».

По словам сенатора-демократа П. Лихи (от штата Вермонт), Рейган в своем объяснении о решении развернуть ракеты «МХ» нарисовал «пугающую, но вводящую в заблуждение картину подавляющей советской военной мощи в сравнении с пришедшими в состояние застоя и стареющими американскими ядерными средствами сдерживания».

Частично приоткрывалась завеса над тем, как действуют через своих представителей фабриканты оружия. В беседе с корреспондентами «Индепендент телевижн ньюс» бывший президент Картер заявил, что американский конгресс «внимательно прислушивается к словам военачальников, не только тех, кто находится сейчас на военной службе, но особенно адмиралов и генералов в отставке, которые стоят на позициях ярых ястребов». Последние «упорно настаивают на том, что мы должны произвести колоссальное наращивание своего военного потенциала, наращивание, выходящее за рамки разумного». Этим представителей «довольно часто нанимают компании, производящие военную технику». Они внедряют тезис о том, что система военных поставок и производства «создает рабочие места в районе, где много безработных».

Картер приоткрыл лишь небольшую часть из механизма воздействия военно-промышленного комплекса на конгресс и правящую администрацию. Была в этом признании и определенная корысть — ответить на критику Рейгана в адрес своего предшественника за «ослабление военной мощи США», за экономические трудности Соединенных Штатов Америки. Влияние же военно-промышленного комплекса на политическую линию гораздо шире. Оно проявляется не только в конгрессе, но и в исполнительном аппарате США.

Что же касается воздействия гонки вооружений на безработицу, то ее пагубные последствия очевидны. Сами американские исследователи подсчитали, что увеличение военного бюджета на один миллиард долларов отнимает около 12 тысяч рабочих мест в гражданских отраслях производства.

В условиях нарастания антиракетного движения правящие круги бросили огромные пропагандистские средства на обработку общественного мнения, фальсифицировали позицию Советского Союза по вопросам ограничения и сокращения стратегических вооружений, а также по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе. Противников гонки ядерных вооружений стали обвинять в непатриотических чувствах, в попытках осуществить одностороннее разоружение.

Дело доходило до нелепости.

Министр обороны Уайнбергер в Массачусетском медицинском обществе (г. Бостон) попытался развеять сомнения американцев относительно военных приготовлений администрации ссылками на... «Илиаду», рисуя идиллическую картину наслаждения Гектора семьей, «мгновенном мире» в Трое. «Такова жизнь, — завершил оратор свой экскурс в историю, — какой мы хотим ее видеть; именно это — жизнь, а не страшная бойня, разыгравшаяся внизу под стенами города на равнине Трои, и даже не слава великих воителей, о чьих замечательных деяниях также рассказывает „Илиада”». Опустив

мысли о тяжелых последствиях войны, когда жены становятся вдовами, дети — сиротами, министр обороны, говоря словами «Илиады», изгонял справедливость, мыслил лишь о свирепостях.

Так что никакого «наслаждения мгновением мира» не получилось. Аналогия с «Илиадой» потребовалась министру обороны, чтобы прикрыть милитаристские планы США, а заодно бросить упрек в адрес тех, кто требует замораживания ядерных вооружений, обвинив их в стремлении обречь США «на перманентное военное отставание».

Так обрабатывается общественное мнение США и западноевропейских стран для подавления протеста против военных программ Пентагона и усиления гонки американских вооружений.

Комиссия палаты представителей по иностранным делам приняла в нынешнем году резолюцию, призывающую к обоюдному и поддающемуся проверке замораживанию ядерных вооружений США и СССР и их сокращению. Администрации рекомендовалось на переговорах с Советским Союзом в Женеве добиваться замораживания испытаний, производства и дальнейшего развертывания ядерных боеголовок, ракет и других систем доставки, обратив также особое внимание на вооружения, оказывающие дестабилизирующее воздействие.

Вскоре после принятия этой резолюции президент США выступил в г. Орlando, штат Флорида, на съезде христиан-евангелистов. Там он утверждал, будто замораживание — это «весьма опасный обман» и «разоружение в одностороннем порядке».

Глава американской делегации на переговорах в Женеве по ограничению и сокращению стратегических вооружений в письме американским законодателям утверждал, что резолюция о замораживании делает его деятельность «более сложной, если не бесполезной».

Далее Пентагон объявляет о выходе второго издания брошюры «Советская военная мощь», которая в искаженном свете представляет соотношение военных потенциалов США и Советского Союза. В ней утверждается, что советская угроза — единственная побудительная сила программ перевооружения США и планов размещения в Западной Европе новых американских ядерных ракет.

Средства информации США наполняются схемами и диаграммами, картами, у которых выступали представители комитета начальников штабов, министерства обороны, эксперты и т. п. Американцам внушают страх, что Советский Союз «может открыть огонь, покрыть цели в Северной Америке, Европе и Азии». Проводятся контрдемонстрации, в которых принимают участие представители «организации коалиции за мир через силу», включающей «ассоциацию офицеров резерва», ветеранов иностранных войн». Они требовали запретить «любое соглашение, которое ставит США в положение военной беспомощности».

И снова — обращение к духам прошлого. В Фултоне (штат Миссури), в том же Вестминстерском колледже, где в 1946 году произнес свою известную речь У. Черчилль, слово взял министр обороны США.

«Неисправимый и почти фанатичный поклонник Уинстона Черчилля» — так охарактеризовал себя оратор, приспособившая речь, произнесенную почти тридцать семь лет назад, к нынешнему политическому курсу США, а заодно стараясь приглушить протесты многих западноевропейцев против наращивания военных расходов. Черчилль и его поджигательская речь предстали как воплощение «любви к миру», но к миру своеобразному, наполненному... подготовкой к войне.

Министр обороны США повторил старые погудки о том, что Советский Союз будто превосходит США «по объему почти всех видов вооружений» и что США в «одностороннем порядке ограничивали собственные военные усилия», что русские «могут угрожать американскому доступу к жизненно важным ресурсам, американским воздушным и морским коммуникациям».

Один из главных постулатов Фултона сводился к тому, чтобы представить участников движения за замораживание ядерных вооружений как лиц, которые пытаются закрепить мнимое отставание США в области ядерных вооружений. В качестве довода приводился «исторический факт»: в 1945 году Соединенные Штаты обладали монополией на ядерное оружие, они могли бы шантажировать весь мир, извлечь из этого политические или экономические выгоды; вместо этого США, дескать, провозгласили широкомасштабную программу помощи бывшим союзникам, равно как и противникам, чтобы содействовать восстановлению их стран.

Надо ли говорить, что подобные «исторические факты» лишены были и историзма и достоверности. Откроем второй том «Истории внешней политики СССР». США явились единственной страной, которая получила крупные экономические выгоды из второй мировой войны. За пять военных лет прибыли американских монополий достигли 117 миллиардов долларов, стали в четыре раза выше по сравнению с предвоенным пятилетием.

США, обладая ядерным оружием, применили его, когда в этом не было военной необходимости. Ядерные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года стали несмыслаемым позором Соединенных Штатов. Американские военные и дипломаты откровенно шантажировали мир. Тогдашний государственный секретарь США Бирнс, например, заявлял, что применение атомных бомб было необходимо не столько для войны против Японии, сколько для того, чтобы «сделать Россию более сговорчивой».

В выступлениях официальных лиц США, в материалах американской печати отставались идеи «холодной войны», выдвигались призывы «отбросить коммунизм», установить американский контроль над миром, превратить мир в своего рода «пакс американа».

Все эти мотивы проигрываются вновь и вновь. Нынешний президент США в своих выступлениях 23 и 30 марта 1983 года пытался оправдать милитаристские планы, ссылаясь на мифическую «слабость США», уверяя слушателей, что он готов внести «компромиссное предложение о вооружениях».

В промежутках между двумя выступлениями в американских средствах информации был запущен ряд «утечек» информации. Они, как правило, начинались словами: «Как сообщили официальные лица и дипломаты...» Суть этих «утечек» состояла в том, чтобы создать видимость «противоречивых оценок в самой администрации», представить «промежуточный вариант» как «смягчающий ответ» на требования западноевропейцев об «уступках Советскому Союзу», а самое главное, начать «игру в варианты», которая отвлекала бы общественное мнение от точек отсчета. «Промежуточный вариант» США сводился к тому же рейгановскому нулю.

Выступления Рейгана 23 марта 1983 года по вопросам военной политики США, а затем 30 марта с «новой инициативой» имели прямую цель воздействовать на общественное мнение в Соединенных Штатах, успокоить растущую там тревогу по поводу воинственного курса администрации. Что же касается «инициативы», то она подменялась взрывом «мирных эмоций» вокруг предложений, не наполненных никаким конкретным содержанием, направленным на решение вопроса о сокращении ракет среднего радиуса действия в Европе.

Несмотря на все усилия, единодушной поддержки выступление Рейгана не встретило. Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью Уильяма Эпштейна, бывшего директора ООН по вопросам разоружения, который отмечал, что «предложение президента Рейгана о заключении промежуточного соглашения, судя по всему, может привести скорее к игре в цифры, нежели к соглашению с Советским Союзом». По оценке многих политических обозревателей, предложения Рейгана были фактически пустым звуком и имели целью успокоить западноевропейских союзников по НАТО и, главное, усилить кампанию администрации в поддержку наращивания военного бюджета Пентагона и борьбу против движения за замораживание ядерных вооружений.

На совещаниях в Белом доме, в выступлениях официальных лиц США, на страницах газет, с экранов телевизоров звучат довольно странные словесные сочетания: «идеологическая война», «публичная дипломатия», программа «истина», «программа демократии». Сразу же возникают по крайней мере два вопроса: разве истина или демократия, если они таковы, требуют войны? что же это за «публичная дипломатия», если она ставится в один ряд с «идеологической войной»?

Если проследить в хронологическом порядке подготовку и развертывание Вашингтоном так называемой идеологической войны с использованием грубейших антисоветских, антикоммунистических выпадов, то нетрудно заметить, что весь этот процесс шел буквально по пятам реализации планов милитаризации.

В августе 1981 года президент США санкционировал программу «истина». Удар направлялся против населения Западной Европы, где, по словам директора Управления международных связей (УМС) Ч. Уика, проявилось «серьезное ослабление поддержки союза НАТО» — имелось в виду возрастание антиракетного движения и популярности советских мирных инициатив по обузданию гонки вооружений.

У истоков «истины» становится крупный калифорнийский миллионер Чарлз Уик, наживший состояние на недвижимости, частных больницах и индустрии развлечений, собравший в фонд Рейгана в 1979 году миллион долларов, а потом организовавший его театрализованное вступление в Белый дом.

«Истина» в устах калифорнийского миллионера имела вполне определенное значение. Он призывал к распространению за рубежом «позитивных аспектов американской капиталистической системы», к «справедливому налогообложению предпринимателей и потребителей», к «принятию срочных мер по укреплению обороны США». Лозунг «бедные только выиграют от того, что богатые станут еще богаче» обрел материальное воплощение в том, что администрация на 35 миллиардов долларов сократила ассигнования на социальные нужды.

Другая сторона сопрягалась с «крестовым походом» против коммунизма, объявленным Рейганом 8 июня 1982 года в английском парламенте. Американский президент провозгласил «величие американских свобод» и, опираясь на силу ядерного оружия, взял на себя смелость «отбросить коммунизм на свалку истории».

«Крестовый поход» нуждался в «крестоносцах», их и начали разыскивать и комплектовать. Так, в сентябре 1982 года УМС вернули прежнее название — Информационное агентство США (ЮСИА) — и потребовали изгнать «либералов» и «простаков, обманутых коммунистами». Уик и его помощники стали «высмеивать иллюзии разрядки», требовали, чтобы радиостанция «Голос Америки» пропагандировала «истину».

То ли программа «истина» не удовлетворила администрацию, то ли не хватало специалистов коммерческой рекламы в аппарате ЮСИА, но вскоре, когда она стала выдыхаться, провозглашается дополнительная программа. В начале 1983 года в Вашингтоне объявили о начале «публичной дипломатии» и «программы демократии», которые откроют, дескать, «новые горизонты». На основе документа 77 совета национальной безопасности, подписанного президентом в январе 1983 года, было объявлено о создании специальной группы планирования во главе с помощником президента по национальной безопасности и с включением в нее госсекретаря США, министра обороны, директора Информационного агентства США, администратора Управления международного развития. Сформированы четыре комиссии — по международной информации, политике, радиовещанию и общественным делам. У конгресса запрашивалось 65 миллионов долларов. В девятый раз за последние двадцать пять лет перестраивалась деятельность ЮСИА и радиостанции «Голос Америки».

Перестройка не внесла ничего нового ни в пропагандистские тезисы, ни в аргументацию. Усилился лишь поток антисоветизма, антикоммунизма, при этом использовались любые средства. В феврале 1983 года, выступая перед журналистами, Рейган привел «десять заповедей Ленина» как «свидетельство» постоянного стремления Советского Союза к нарушению обязательств, к резкой смене своего политического курса. На проверку оказалось, что президент США ссылаясь на фальшивку, состряпанную в аппарате Геббельса накануне нападения фашистов на Советский Союз.

Возводя антикоммунизм, антисоветизм в разряд официальной политической линии, правящие круги США противоречили своим же собственным «рассуждениям о мире». Эта тенденция не осталась незамеченной. Профессор гуманитарных наук Нью-Йоркского университета Артур Шлезингер в статье на страницах «Уолл-стрит джорнэл» отмечал, что объявление коммунизма злом современного мира порождает проблемы, ибо исключает саму мысль о примирении или компромиссе, исключает идеи сосуществования. «Оно не предлагает никакой другой перспективы, кроме противодействия „всеми силами“ и „войны до последнего вздоха“», что «представляется абсолютно бесперспективным в эпоху ядерного оружия». Не осталась незамеченной и спекуляция Рейгана на религиозных чувствах американцев. Президент, писал А. Шлезингер, «был полностью уверен в том, на каких позициях стоит бог относительно сложных проблем нашего века. Бог с нами, бог — сторонник «холодной войны», бог против замораживания ядерного оружия, бог против аборт, одним словом, бог — республиканец-рейгановец».

В Белом доме срочно предпринимались усилия по манипулированию средствами массовой информации. В марте 1982 года Рейган решил раз в неделю, по субботам, выступать по радио с короткими пятиминутными «докладами стране» по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики. «Голос Америки» получил указание ис-

пользовать технологию спутниковой связи для «распространения заявлений Америки» за рубеж.

Ежедневно на совещании старших сотрудников аппарата Белого дома стали обсуждаться официальные установки, обязательные для средств массовой информации. По словам директора отдела связей Белого дома Д. Гергена, «в каком-то смысле Белый дом — это театр, а мы режиссеры нашего спектакля; в особенности с появлением телевидения Белый дом все больше становится театром, и нет ничего страшного в том, что сотрудники Белого дома с годами все больше и больше становятся похожими на режиссеров. Они хотят показать хорошее шоу...».

И режиссеры не заставили себя ждать.

На международной конференции по свободным выборам Рейган сетовал на «возможность утраты веры в привлекательность и силу американских убеждений». Государственный секретарь активно агитировал «за проведение свободных выборов» и «поощрение организаций частного сектора на борьбу за свободу».

Что такое «американские свободы» — широко известно. В печать просочились данные о том, что ЮСИА выделяет специальные средства на «дискредитацию движения за мир», борьбу с прогрессивными и политическими партиями, «крупные суммы денег консервативным организациям с правым идеологическим уклоном», чтобы, например, познакомить «будущих руководителей Гватемалы с чудесами капиталистической системы», научить манипулированию «14 представителей органов печати из латиноамериканских стран с правыми режимами».

Передача американского опыта манипулирования средствами информации дает немало фактов, как на практике нарушаются элементарные человеческие права.

Многочисленный штат специалистов засажен за написание книг и брошюр о «демократических институтах США», специальных программ для иностранных университетов, программ симпозиумов о «природе демократических обществ». Создаются «центры за рубежом американских исследований», зарубежные программы профсоюзного объединения АФТ — КПП включая его информацию о «внешней политике и обороне». А за рекламными щитами помышляют о подкупе нужных США политических партий. По признанию газеты «Вашингтон пост», «мало кто из уважающих себя зарубежных партий может позволить себе открыто принимать подачки американских властей, но независимый фонд, располагающий частными и государственными средствами, мог бы оказаться приемлемым». Итак, наряду с ЦРУ открывался прямой официальный канал политической и идеологической обработки зарубежных политических партий. Аморальная система подкупа выдается за узаконенный метод государственной внешней политики.

Ставится и еще одно условие. «Публичная дипломатия» выступает как продолжение и орудие экспансионистской экономической политики США. В марте 1983 года президент США Рейган подписал директиву, санкционирующую экономический нажим на Советский Союз, которая квалифицировалась как объявление «экономической войны», по духу близкой «холодной войне», провозглашенной в свое время Трумэном.

По словам Р. Тота, выступившего на страницах «Лос-Анджелес таймс», за исключением бывшего сотрудника Белого дома профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса, который помогал выработать эту политическую доктрину, очень немногие американские специалисты по Советскому Союзу верят в то, что «экономический нажим со стороны США мог бы существенно повлиять на советскую политику».

Оттавская газета «Торонто стар» в редакционной статье «Новая холодная война Рейгана» назвала это решение президента США «настоящей глупостью», которая «ярко показывает неспособность его администрации примириться с реальностью существования Советского Союза... На настоящем этапе торговый конфликт с русскими явился бы просто-напросто неприятным и совершенно бессмысленным шагом ослепленной ненавистью к красным американской администрации, которая слишком часто сначала что-то делает, а уже потом думает. Нам не нужна новая холодная война. Мы не хотим терять торговых партнеров, когда речь идет о миллионах рабочих мест на Западе».

Провозглашение империалистическими кругами США опасных и нереальных целей — достижение военного превосходства над СССР, подкрепляемого разгулом клеветы на Советский Союз, другие социалистические страны, на противников гонки ядерных вооружений, — предопределяет создание «союза лжи».

Так бывало не раз в практике империализма. Уроки истории напоминают, что антикоммунизм всегда был составной частью наступления на демократические свободы и права народов, политики агрессии и войны. Попытки организовать новый антикоммунистический поход ведут к нагнетанию международной напряженности, угрожающей интересам всех стран. Это исключительно важный вывод для тех, кто вновь полагается на грязное оружие «психологической войны», кто бросает миллиардные средства на создание новых видов оружия и одновременно на содержание и подкуп лицемерных и трусливых лакеев, возводящих беспардонную клевету на коммунизм и коммунистов, на мирную политику социализма.

Разгул антисоветизма, антикоммунизма всегда был питательной средой запугивания и травли людей, опутывал их различными ложными страхами и в конечном итоге приводил к идеологическому террору. Создается обстановка, когда на любого критика опасных планов империализма, любого человека, выступающего за контакты с Советским Союзом, можно навесить ярлык «заговорщика» или «агента иностранной державы». Именно на такой почве выростала охота за «красными ведьмами» в период маккартизма. И сегодня в США создана подкомиссия по «безопасности и терроризму», которая проводит расследования о «проникновении в американскую прессу и в частные организации советских агентов».

Руководители США, берущие за основу внешнеполитического курса ложные послышки о деятельности и планах Советского Союза, других социалистических стран, обрекают себя на искажения, утаивание правды, абстрактную риторику, на заявления, лишённые логики.

Запускается в действие механизм «управления новостями», когда концентрация средств информации в руках крупных монополистических объединений позволяет через руководителей бизнеса, имеющих своих людей в правительстве, наполнять каналы печати, телевидения, радио неполной или неверной информацией. В наиболее ответственные периоды международной жизни американские средства информации уstraивают буквально заговор молчания вокруг выступлений советских руководителей по важным вопросам внешней политики Советского Союза.

Так уж бывало не раз, когда на Западе рассуждали о мире, а помышляли о сокращении военной силой противоположной системы, твердили о правде, истине, демократии, а имели в виду защиту своекорыстных интересов меньшинства.

Своеобразная машина информации правящих кругов США выдает, как правило, разноречивые данные, отражающие политическую и идеологическую неоднородность капиталистического общества. Там можно обнаружить мнения здравомыслящих людей о необходимости мирного сосуществования с Советским Союзом, развития американо-советской торговли, осуждения грубого антикоммунизма, антисоветизма, выводы о тяжелых последствиях для США доктрин «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма.

Но больше можно найти другого — призывы к мировому господству США, к использованию приемов военно-силового давления в качестве рычагов внешней политики, утверждения о некоем праве США распоряжаться политической судьбой других стран, навязывать им государственное и политическое устройство по американским меркам, объявить целые регионы мира «зонами национальных интересов США». Какие данные поступают в официальные кабинеты, зависит от целей и потребностей тех, кто определяет политический курс США, отсылая как можно дальше, с глаз долой неудобные оценки и рекомендации.

В документах Пентагона 60-х годов, определивших принципы «психологической войны», говорилось, что «это запланированное использование средств пропаганды и проведение других мероприятий, чтобы оказать влияние на формирование у противника, а также у нейтральных или дружественных групп мнений, эмоций, отношения и поведения, которые содействуют достижению национальных целей США». Так оправдывалось разжигание недоверия, трусости, различных слухов, фабрикация заведомо ложных данных, создание «истерии чувств» вокруг нежелательных для правящих кругов США событий и фактов.

И сегодня берутся на вооружение многие приемы «психологической войны». Надеются за доллары внедрить за рубежом «свободные выборы», подкупить и обучить манипулированию представителей печати, политических партий и организаций проамериканской ориентации, продвигать за рубеж «товар американской демократии». Над

всем этим царит нежелание взглянуть трезво на мировые события, проявить политическую сдержанность и благоразумие, над всем этим царит грубое нарушение принципов Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, где все его участники взяли обязательство содействовать атмосфере доверия и уважения, укреплению мира и взаимопонимания между народами. Агрессивная политика империалистических кругов соединяется с агрессивной пропагандой, в конечном счете направленной на грубую дезинформацию людей, на распространение идей вражды и ненависти, шовинизма и гегемонизма.

Позиция Советского Союза по этим вопросам предельно ясна. Мы, отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов, против того, чтобы «спор идей превращался в конфронтацию между государствами и народами...» Историческое соревнование двух общественных систем, борьба идей — явление вполне закономерное, вытекающее из самого факта существования социализма и капитализма. Но мы решительно против того, чтобы это историческое противоборство направлялось к свертыванию мирного сотрудничества и тем более переводилось в плоскость ядерной войны.

События прошлого и настоящего убедительно показывают, что попытки воздействовать на Советский Союз и другие социалистические страны политикой силы и клеветы обречены на провал. И тот факт, что вопреки намерениям империализма общественно-политическое развитие мира концентрируется вокруг проблем мира, безопасности и разоружения, убедительно свидетельствует о возрастающей силе народных масс, о силе идей правды.

Наша правда в силе политики партии, направленной на мирное строительство, на сотрудничество и взаимопонимание между народами. Сила этих идей в том, что у коммунистической партии нет задач, отличных от интересов народа, в открытой защите интересов трудящихся, в четком и ясном изложении фактов, отражающих события и явления общественной жизни.

События прошлого и настоящего также убедительно показывают, что курс на гонку вооружений, разжигание истерии, военного психоза — дело бесперспективное, обреченное на провал.



О ЧЕ Р К И Ж А Ш И Х Д Ж Е Й

МАРК БАРИНОВ

★

ШАГИ В ОКЕАН

Три года назад в Москве произошло ничем не примечательное событие. В системе Министерства газовой промышленности СССР был образован новый главк. Единственно что могли заметить вечно спешащие по своим делам москвичи: в районе метро «Университетская» появились люди в несколько необычной морской форме. На погонах их темно-синих кителей красовались изломанные углом шевроны, а на золотых пуговицах можно было разглядеть изображения буровых вышек. И все. Между тем эта деталь знаменовала собой многое — открывалась новая глава современной цивилизации: советский человек вышел в океан. Не для транспортных перевозок, не для научно-исследовательской работы — настало время эксплуатации богатств океанского дна.

Основные действия разворачиваются в морях, но главный штаб в Москве. Готовлюсь к посещению штаба. Извлекаю из своего архива толстенную, как чемодан, папку с надписью «Океан». В ней записи, фотографии, справки, карты и — воспоминания...

Среди записей часто встречается сравнительно новое в нашем обиходном языке слово — «шельф». Я услышал его впервые в 1966 году на Втором международном океанографическом конгрессе в Москве.

В переводе с английского шельф — полка, выступ. Вообразите: летним жарким днем вы входите в ласковые волны моря. Сперва по щиколотки, потом по колени, дальше — по грудь... Стоп! Не плывите, продолжайте движение дальше под водой. Бообразжаемое движение. Постепенно глубина нарастает — метры, десятки, сотни метров. И вдруг вы оказываетесь перед крутым склоном. Вы достигли границы подводного продолжения материка, или, говоря по-другому, границы шельфа. Дальше начинается материковый склон. Ширина шельфов различна. В иных местах она достигает 200—300 километров, а кое-где и значительно больше. Глубина океана на шельфе тоже не везде одинакова: 100—200—300 метров...

Чем интересен шельф для человека? Можно ответить вопросом: а какой интерес представляет для человека кладовая, битком набитая сокровищами? Преувеличиваю? Судите сами. Представьте гигантский промывной лоток, через который вода циркулирует многие миллионы лет. Это объясняет невиданно высокую (в сравнении с сушей) концентрацию полезных ископаемых на шельфе. В устье реки Оранжевой, например, найдены алмазы в количествах в два-три раза больших, чем в самых богатых кимберлитовых трубках Южной Африки. У побережья Нового Южного Уэльса в Австралии на расстоянии 15 миль от берега в шельфовых песках обнаружено богатейшее содержание рутила и циркония. В шельфах Мирового океана сосредоточены запасы магнитного железняка, серы, фосфоритов, практически всех редких элементов. И притом в астрономических количествах, сразу снимающих вопрос о «минеральном голоде». Однако пока эти находки носят эпизодический характер. Они скорее побочный результат поисков морской нефти и газа, которые ведут многие страны. Причина простая: техника и технология добычи энергетического сырья уже освоена, а все другие виды горнодобывающей промышленности здесь пока в зародыше.

Буровая в море

К морской нефти подбирались давно. Ни по масштабам, ни по средствам каспийскую «пробу пера» 20-х годов не сравнить с нынешними делами. Однако факт, что именно в 20-е годы был преодолен некий психологический барьер: на морское дно

стали смотреть как на рабочую делянку нефтедобытчиков. 20-е годы — время установления советской власти в Азербайджане. И такое совпадение дат не случайно.

Жил, работал в Баку инженер П. Н. Потоцкий. Фанатик, романтик, одержимый идеей добычи нефти со дна моря. Всю жизнь он сражался с косностью и тупостью бакинских нефтепромышленников-хищников, всех этих тагиевых, манташевых, нобелей, чермоевых, пробивая, проталкивая простую и гениальную идею: осушить мелководную Биби-Эйбатскую бухту, открыть богатейшие нефтеносные площади для эксплуатации. Те поначалу не верили, потом не могли сговориться. Словом, дотянули до семнадцатого, а потом и до двадцатого года.

Советская же власть распорядилась быстро: вне всякой очереди реализовать проект Потоцкого, создать новый промысел на месте морской бухты! Но старый инженер был уже очень болен. Отказывали глаза, он слеп. Специальным распоряжением Москвы инженера на паровозе (поезда не ходили) возили в столицу к лучшим специалистам. Но болезнь была необратима. Тогда слепой инженер, досконально знавший любимую бухту, стал, несмотря на болезнь, руководить работой. И продолжал дело своей жизни до последнего дня. А когда почувствовал приближение смерти, просил похоронить его там же, на отвоеванной у моря земле. Так и стоит сегодня среди вышек черный стальной обелиск...

А. М. Горький, побывавший в Баку в 1928 году, в очерке «По Союзу Советов» (журнал «Наши достижения») писал:

«Мы — на Биби-Эйбате, где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтоб освободить из-под воды нефтеносную землю. Каменная плотина отрезала у Каспия большой кусок, образовался тихий пруд, среди его дерзко возвышаются клетки буровых вышек, в клетках возится, поскрипывает железо, просверливая морское дно, мощные насосы выкачивают мутно-зеленоватую воду пруда в море, взволнованное дерзостью людей. В него непрерывно льются две сердито кипящие струи, каждая толщиной в десятивершковое бревно...

Стучит мотор, покрикивают рабочие, шипит вода...

— Постепенно мы выкачаем море вон до той линии, — говорит заведующий промыслами, указывая вдаль на что-то, чего я не вижу. — Вообще вся эта бухта нефтеносна и ее надо...

Он делает широкий жест, как бы изгоняя всю массу воды из бухты в зеленую пустоту моря. Жест этот не кажется мне самонадеянным и фантастическим».

Сын нефтяника (а у нефтяников вся семья считается нефтяниками), я жил в те годы в Баку. Биби-Эйбат, Сураханы, Балаханы, Лок-Батан — эти названия будят во мне дорогие воспоминания детства... Однако на морские промыслы Каспия я попал много лет спустя. На весь мир уже гремела слава удивительного свайного города в море — Нефтяных Камней, когда мне по журналистским делам довелось побывать в другом районе морской добычи — на месторождениях Бакинского архипелага.

...Морской нефтяной промысел Булла-море — младший брат Нефтяных Камней. Люди здесь живут на вулкане. Уже с моря видны грязевые потоки, медленно сползающие с круч, создающие остров. Изредка вулкан сердится, и тогда из воронок взлетают вверх на десятки метров столбы густой раскаленной глинистой лавы вперемежку с огненными газовыми факелами.

Остров Булла напоминает высокую сковородку с длинной ручкой. Ручка — песчаная коса, на которой ютятся склады, общежития, конторы, причалы. А сама сковородка — круглое мрачное плоскогорье диаметром около двух километров. Это кратер вулкана. На высоком плато автоматический маяк, который светит и сигнализирует по ночам, предупреждая суда об опасностях, о коварных рифах и мелях. Жить на острове нельзя: вулкан — не шутка. На соседнем с Буллой острове Дуванном в 1963 году вулкан так разъярился, что люди вынуждены были бежать на корабли, в море ища спасения от кипящей лавы и огня. На Булле тоже два года назад вулкан крепко разгневался, но до эвакуации дело не дошло. И все-таки жить на острове можно, хотя и опасно. Здесь опорная база растущего промысла Бакинского архипелага. И пока не будет завершена двадцатикилометровая эстакада с мыса Сангачалы, люди будут жить на островах архипелага.

Сегодня на промысле уже два десятка скважин дают нефть, и все говорят, что через два-три года догонят Камушки.

...По утрам по улице идет рабочий класс. Идут мастера и операторы, слесари и бурильщики, электрики и монтажники. Идут с маленькими чемоданчиками, в кото-

рых нехитрый харч, всякая мужская мелочь, любимый инструмент. Картина такая же, как в любом уголке нашей страны, где есть хоть самый маленький заводик. Такая, да не такая... Они приходят на пристань, как на автобусную остановку, и там ждут их маленькие работяги-«ярославцы» — катера, которые развезут рабочих по их «цехам», разбросанным на десятки километров вокруг Буллы. А если свежий ветер? Все равно везут. А если шторм? Тогда «ярославцев» прогоняют в Карадаг — там надежная гавань, — а на вышки выйдут большие спасательные суда. А если сильный шторм? Тогда люди на вышках неделями ждут смены, упорно продолжая свою работу среди кипящих валов грозного Каспия.

Это все рассказывает мне мастер Александр Елизаров, бывалый человек. Зовут его здесь просто и любовно — Саша. А облик у Саши такой, какому позавидовал бы не один из героев Джека Лондона. Начинал на Нефтяных еще во время войны. И все, что только возможно пережить вдалеке от берега, пережил. Горел, да не сгорел на страшных пожарах, когда факел стоит над раскаленной докрасна эстакадой и, оплавленные нестерпимым жаром, рушатся в морские волны стальные конструкции. Бедовал во время свирепых зимних штормов, когда громадные льдины таранят основания вышек, заставляя стонать и содрогаться могучие рукотворные острова.

Катера терпеливо ждут хозяев. Четыре балла. Такое ли они видели! Устраиваемся на палубе поудобнее.

— Семнадцать лет работаю на море. Иной раз думаю: пропади оно пропадом! Уйду. Хватит. И не выходит как-то... Привык, что ли? А ведь живу на Разине — промысла под боком — суша, никаких тебе волн... Не могу!

Его серые глаза смотрят на меня с недоумением. А может, он и в самом деле не догадывается, что это и называется любовью? Закуриваем.

Наш катер «Лиза Чайкина» приближается к стальному острову. Уже видно, как волны подпрыгивают, стараясь повыше ухватить осклизлые рыжие трубы платформы.

— Здесь, в море, самые простые вещи в десять раз сложнее, чем на берегу, — говорит Елизаров, — самая простая работа иной раз требует риска.

Катер дает сирену, и на вершине появляются фигурки людей. «Лиза» осторожно приближается к стальному причалу. И тут я, бывший моряк, начинаю понимать, что означают слова Елизарова. Здесь нет ни молов, ни волноломов, ни ковшей. Ведь даже при швартовке шлюпки или катера в открытом море к судну машина высокого борта надежно прикрывает суденышко от волн и ветра. Здесь огромные валы свободно катятся сквозь переплетение свайного основания, а вся ярость Каспия обрушивается и на стальной остров и на маленький катер. «Лиза» скачет на волнах, каждую секунду рискуя раскритить нежный форштевень о стальные балки. Капитан с умопомрачительной быстротой орудует штурвалом и рукоятками ходов. Встречающие уже спустились вниз по узенькому трапу. Замечаю, что они волокут какую-то бочку. Что это? Что случилось? Неужели они и ее собираются грузить? На какое-то мгновение палуба катера поравнялась с площадкой причала, и оттуда спокойно перепрыгнул, почти что переступил на катер рабочий. Еще одно такое же мгновение — и вот уже два человека с вышки на полубаке катера. Взывают двигатели: то вперед, то назад, то «враздрай», а эти дьявольские качели продолжают свое движение. Я просто упустил тот миг, когда и бочка, будто по волшебству, оказалась на катере. А потом и мой Саша показывает высший пилотаж — выждав момент, он просто перешагнул на причал. Каким-то образом там же оказываюсь и я. Унимая бешеный бег сердца, спрашиваю:

— Зачем же в такой ветер, в такое волнение еще и бочку какую-то грузить?

И слышу в ответ... смех:

— Какой ветер? Какое волнение? Нормальная работа. А бочка — просто пробу нефти с вышки каждый раз берем. Анализов много, вот и наливаем бочку. Это не работа, пустячок!

Вот тебе и раз, а я-то вообразил себя чуть ли не участником подвига!

Наверху, на пятнадцатиметровой высоте, ветер хозяйничает повсю. Идти удается с трудом, держась за поручни, пригнув голову. В центре площадки трубчатая установка: скважина и коллектор для сбора нефти. Елизаров подводит меня вплотную к ним. «Пощупай!» — доносится сквозь ветер его голос. Я касаюсь трубы и вдруг на холодном ветру ощущаю живое тепло. Нефть! Она поступает здесь по этой трубе прямо из недр планеты под напором в двести атмосфер. Горячая черная кровь Земли! Долго стою возле скважины...

А потом в теплой кабине оператора — хозяина стального острова. Здесь стол,

стулья, кровать, шкаф, два радиотелефона. Оператор Петр Ишаков — худощавый седой человек, тоже ветеран Нефтяных Камней, ветеран Буллы. Он уже успел приготовить нам традиционное азербайджанское угощение — отличный крепкий чай.

— Это знаменитая двадцать четвертая скважина, — рассказывает Елизаров. — До сих пор — три года уже — устойчивый дебит — триста тонн в сутки.

Оператор разливает чай.

— Сколько вам лет, Петр?

Он в ответ только блеснул глазами.

— Что, седой? — спрашивает Елизаров. — Я же говорю, нам всем приходится здесь испытать такое, что сухопутным и не снится.

— В море много седых, не замечали? — роняет Петр.

Замечал. Пьем чай. Мастера тихо переговариваются о своих нефтяных делах, а я размышляю над тем, что услышал. Прежде всего это великолепная рабочая гордость: «Нам всем приходится здесь испытать такое!» — и заслуга их, наверное, даже не в том, что переживают они и шторма и пожары, главное: несмотря ни на что они трудятся здесь, в море. Ни ярость волн, ни палящее солнце, ни ледяной норд не помешают им нормально работать. Да ведь это... это и есть настоящий героизм!

...Мы снова на катере. Капитан хмурится, всматривается в дымку на горизонте.

— Что, Шамиль, шторм? — роняет Елизаров.

Капитан молча кивает. Но потом, видимо почувствовав желание дать разрядку постоянному напряжению, начинает говорить:

— Моряки... нефтяники... Мы уже давно перестали различать, кто моряк, а кто нефтяник. И вообще — кто мы? Они в море побольше нас трудятся, а мы тут среди вышек сами нефтяниками стали...

— Что в вашей работе главное, Шамиль?

Он на минуту задумывается, потом, решительно тряхнув головой, говорит:

— Ответственность. — И, не дождавшись моих слов, поясняет: — Нефть заботы постоянной требует. Круглый год, в любую погоду. Люди, продовольствие, материалы... Не говоря уж — если авария. Есть инструкции, приказы, правила, но начальник вызывает и говорит: «Зардилов, шторм, приказывать не имею права, но надо. Думай! Решай!» А что значит решай? Весь риск на тебе. Тут не ошибись ни на волосок. Вся ответственность за судно, за людей на тебе. Отказаться проще всего. Но надо! Думаю! Минуту, две, пять. Больше нельзя. И говорю «нет». Беру на себя ответственность за дело, за деньги, что государство на этом «нет», может быть, теряет, за нефть! Очень тяжелое это «нет». Или говорю «да». И беру ответственность за жизни, за дело, за судно. Уж такое тяжелое это «да», что и не выразить словами!

Он поправляет седые кудри, этот молодой человек.

Шторм не на шутку. Катер то взлетает, то проваливается, валит его то на нос, то на корму, то на борт, то сразу и на нос и на борт, то струи воды проносятся где-то сверху над нами, над рубкой, превращая «Лизу» в подводную лодку.

Уже виден причал на острове... Ловлю себя на мысли, что, слава богу, конец моей прогулке. А им? Зимой и летом, в шторм и в штиль...

Разведчики

Несколько слов о бурении. Знаете, как называют себя буровики? Строителями, поясняя, что занимаются капитальным строительством. На самом деле скважина, которую они строят, в конце концов не что иное как чрезвычайно глубокий, сужающийся книзу, телескопической формы колодец. Бурение — дело очень дорогое и простое, а порой просто опасное. Ведь буровики идут на такие глубины, где нефть, или газ, или конденсат находятся под давлением в сотни атмосфер. Для того, чтобы аккуратно завершить строительство колодца и потом заменить все бурильные устройства вентилем, через который по отводным трубам потечет в народную копилку черное золото, надо до последнего момента держать в узде этого джинна: он может вырваться на волю и натворить непоправимых бед.

Словом, дело требует внимания, мастерства и немалых средств. Но есть еще одно немаловажное обстоятельство. Когда бурение проводится для разработки месторождения, поступающая нефть довольно быстро окупает расходы. А бывает и другое — разведочное бурение. Вся наша наука, вся хитроумная и сложная система поисков в конечном счете проверяются разведочным бурением.

То есть буровики-разведчики бурят скважины, убеждаются, что искомое есть,

затем прекращают свою работу, идут дальше, снова бурят и снова ликвидируют скважины, пока не ложится на стол карта с точными очертаниями новой сокровищницы. Не случайно говорят, что большая доля бюджета Министерства геологии расходуется на бурение. Дорого, можно даже сказать, бесхозяйственно с точки зрения читателя, привыкшего в наш атомный, космический век к иным технологиям, к иной технике. Во всяком случае, пока как ни бьются над поисками более выгодного, простого решения, последнее слово о судьбе будущего месторождения остается за разведчиками. И так, пока мы с этим миримся. Но вот когда вышли в море всерьез, стало очевидно — мириться невозможно! Строить в море не только весь буровой комплекс, но еще и основание — стальной остров? Нет. Экономика заявила «нет», а она в таких делах решающая инстанция.

Известный писатель Артур Кларк как-то сказал точные слова: любое изобретение возможно, если возникнет необходимость в нем и законы природы допускают это. Выходит, что необходимости в замене сухопутного разведочного бурения чем-то более совершенным, простым и дешевым не было? Была, но, значит, не в такой степени. Экономика терпела. А с выходом в море — нет. Спросят: а как же знаменитые Нефтяные Камни? Их-то искали и оконтуривали «сухопутным способом». Ответ прост — война, первые послевоенные годы. Тогда с затратами не считались. Словом, то был вчерашний день морской разведки. А вот с завтрашним днем мы повстречались в 60-е годы, когда с моим давним товарищем, фотокорреспондентом Борисом Кузьминим прилетели на Каспий.

..Ни вблизи, ни вдали «Апшерон» не похож ни на что ранее мне знакомое. Строго говоря, это судно. Но что бы вы сказали, встретив в открытом море судно, стоящее... на четырех ногах? Да еще при этом его днище, облепленное ракушками, находилось бы метрах в десяти над вашей головой?

Когда вы плывете к «Апшерону» и из-за горизонта появляется это гигантское, как бы парящее над морем сооружение, первое желание: протереть глаза или ущипнуть себя за ухо.

ПС — небольшое пассажирское судно для перевозок морских рабочих — делает плавный круг, с опаской приближаясь к своему четырехногому «родственнику». Высоко-высоко на палубе видны люди, наблюдающие, как мы копошимся в волнах. Вспоминаю свифтовскую Лапуту. Прямо перед нами вырастает огромная стальная колонна — одна из четырех ног. Наш кораблик вскрикивает, выпускает клуб пара и пятится назад. Как же тут швартоваться? Все равно что пытаться пристать к базальтовому утесу на хорошей прибойной волне... Швартоваться не пришлось. Внезапно над головами видим нечто похожее на воронье гнездо, свитое из стальных прутьев. Оно плавно опускается на нашу пляшущую палубу. Оказывается, «гнездо» прицеплено тросом к лебедке, и крановщик «Апшерона» тщательно целится, чтобы не промахнуться. Толчок, удар — лифт прибыл. Забираемся, и тут же корабельную качку сменяет ощущение крутого взлета. Едем!

На широкой, как футбольное поле, палубе нас обступают рабочие. Жмут руки, улыбаются, подшучивают. Мы тоже улыбаемся: вот она — наша цель.

Пожилой мужчина в двух свитерах и брезентовом плаще деловито спрашивает:

— Возвращаться сейчас будете, товарищи корреспонденты, или через пять дней?

— Через пять? А поменьше, денек, скажем, у вас тут побыть нельзя? — улыбаюсь я.

— Нельзя никак, — не принимая шутивого тона, отвечает мужчина, — шторм идет. И не менее чем суток на пять. Если через полчаса не уйдете, поздно будет.

Мы переглянулись, поняли друг друга и... остались. Мужчина махнул вниз капитану ПС — убегай, мол! — и пригласил нас вниз погреться чайком. В Баку я ходил в костюме, а тут за пять минут разговора на верхней палубе ветер продул до костей, несмотря на джемпер и куртку...

Мы остались на «Апшероне» и жили на нем ровно пять суток. И все это время под нами ревел и ярился холодный Каспий.

Я поселился в двухместной каюте, хозяином которой был тот самый пожилой мужчина — старший буровой мастер Алексей Афанасьевич Грачев. Его должность здесь означает, что он и капитан, и начальник бурения, и еще судовой врач, воспитатель, наставник, или, проще всего, отец всей семьи буровиков-разведчиков, которая насчитывает ни много ни мало пятьдесят человек. Половина из них здесь, в море, трудится. Другая на берегу — отдыхает. Потом пересменка. Или из-за погоды

нет пересменки. Тогда эти «вкальвают» здесь, те «припухают» на берегу. И потому на столе в каюте Грачева рядом с табелями выхода на работы — метеосводки, журнал погоды.

Подогрев меня традиционным чаем, Грачев ведет наверх, обратно на палубу. Чувствую, что этому пожилому человеку, как юноше, не терпится рассказать, похвастаться. Как моряк я понимаю это чувство гордости за свой корабль, любви к нему, но здесь это проявляется значительно ярче, сильнее. Тоже можно понять: никогда у буровиков, людей профессии первопроходческой, полной трудностей и лишений, не было еще столь надежного и комфортабельного «рабочего места».

Грачев поясняет, что бурильщикам разведчикам в общем-то совсем не обязательно проходить полнотражную скважину. Иной раз достаточно и полпути, чтобы геологи убедились в точности или же необоснованности своих прогнозов. Но и такое структурное бурение при необходимости создавать стационарное основание громоздко, дорого, невыгодно.

Инженер Матвей Мочалов из бакинского института Гипроморнефть сконструировал весь этот комплекс — плавучую самоподъемную буровую установку, мечту всех моряков — разведчиков нефти и газа.

На плоскодонном корабельном корпусе смонтирована вышка и необходимые агрегаты.

В трюмах все припасы: топливо, компоненты бурильного раствора и снаряжение. На палубе — бурильные и обсадные трубы, весь набор инструмента. В рубке — удобные четырехместные каюты и прочие жилые и служебные помещения. «Как в раю», — сказал Грачев. А по бортам с четырех сторон гигантские стальные колонны, которые можно опускать. И вот по морю вслед за буксирами плывет «Апшерон». Стоп! Здесь точка, указанная геологами для бурения. Брошены якоря, включены двигатели, опускаются колонны, врезаются, заглубляются в грунт, и встает, поднимается над морем «Апшерон»! Еще час-другой, и можно начинать бурение.

За первый год жизни «Апшерон» узнали, вернее, полюбили все, от министра до юного новичка-рабочего. Он уже пробурил 7 скважин и на каждой принес государству по 30 тысяч рублей экономии. Скорость «постройки» скважины у СПБУ (так называется этот класс — самоподъемные плавучие буровые установки) в 2,5 раза выше, чем с помощью стационарного морского основания, а стоимость бурения на 33,5 процента меньше. И еще — не виданный доселе рабочими корабельный комфорт. Вот что такое «Апшерон»! Обо всем этом Грачев рассказывал мне подробнее, чем требуется журналисту, показывал каждый механизм, растолковывая его работу и значение в общей системе. Словом, было похоже на то, что он готовил меня в юнги на «Апшерон».

..Поздно вечером лежу на верхней койке, покуриваю и слушаю Алексея Афанасьевича. Грачев неторопливо вспоминает свою жизнь. Не рассказывает, а «обозначает», думает вслух:

— Тогда ведь как бурили разведчики — вручную. Вдвоем с напарником и крутили ротор. Смешно?.. Это уже в тридцатые появились легкие двигатели. А то все на себе. Так и бродили по степям — я с буром, с кернами на горбу...

— А давно вы трудитесь, Алексей Афанасьевич?

— Как сказать — давно? Тридцать шесть лет. Вроде бы давно. И внуки есть... — Он неожиданно смеется. — А все молодым себя чувствую! Нет, в самом деле. Даже старуха моя говорит: Алексей, чудик ты, ровно как мальчишка!

Он умолкает, а я думаю, что степенный, спокойный и даже немного суровый на вид Грачев совсем не похож на мальчишку. Значит, его «старуха» душу его видит, о ней и говорит.

— С первого дня в нефтеразведке. В море вышли, тоже первыми были. Сперва бурили на островах. Всякое бывало. Вот однажды на острове Наливном — тут недалеко — газовый грифон рванул. Все как есть: вышка с оборудованием, механизмы, трубы — все провалилось в кратер. Только самая макушка ее метра на полтора осталась торчать...

— А как же вы, а люди?

Он сосредоточенно молчит. Потом снизу раздается его спокойный неторопливый голос:

— А что ж люди, увел я людей, как только газопроявление началось. В нашем деле знаешь какой нюх должен быть? Миллиметровочка!.. Есть у нас бурильные кате-

ра, младшие братья «Апшерона», так сказать, но разве можно сравнивать... Прибежит, станет на якоря, пока штить, кольнет метров на двести, а тучки по небу потянутся — собирай манатки, пока цел! — Слышу, как Грачев постучал кулаком в стальной борт. — А эта штука — что надо! До двадцати метров море, шторм не шторм, стоит себе и бурит до двух тысяч, как на суше! И живем, как в санатории... Эх, нельзя сюда молодых! В степь их сперва, на ручное!

Я смеюсь:

— За что же вы их так?

— Трудовое воспитание, чтобы сачками не росли! — усмехается он в ответ.

— А у вас тут среди молодых есть сачки?

Он мгновенно серьезнеет:

— Как можно?! А я на что?

— Ну вот, значит, вы и за них походили...

В паузах явственно слышится свист ветра и удары волн о колонны. Шторм идет. Что это?! Да, да, качает! Едва заметно, но качает!

— Нормально, — роняет Грачев. — Нам конструктор объяснил — даже московскую телебашню и то качает.

Спим.

Ночью, несколько раз просыпаясь, я слышал грохот шторма за переборками и засыпал снова. Наконец, проснувшись в очередной раз, увидел серый свет в окне и Грачева, уже одетого, за столиком. Рядом сидел коренастый, плотный рабочий и что-то говорил по-азербайджански. Грачев делал записи в журнале, бросал ему тоже по-азербайджански отрывистые реплики, снова писал. По интонациям я понял: это нечто вроде утреннего доклада. Когда проснулся окончательно, увидел ту же картину, только сидел другой рабочий и разговор шел по-русски. Так продолжалось до семи часов. Последним был радист, который доложил, что прогноз без изменений — шторм.

Потом мой коллега Борис Кузьмин увел Грачева наверх фотографироваться: он высмотрел какой-то замечательный ракурс, и солнце появилось из-за туч... После жаловался:

— Понимаешь, вывел я его на вертолетную площадку, место хорошее — горизонт, волны, барашки, «поделай что-нибудь тут, против ветра!». Пока я возился, ветром насквозь продуло, зуб на зуб не попадает, слезы из глаз, а он стоит себе, хоть бы что! Статуя, не человек!

— Не статуя, а мы с тобой — дохляки московские!

— Да ну тебя! — Кузьмин опять убежал.

А я позавидовал. Он уже дело делает, мне же еще «варить» да «варить», и что «сварится»?

В салоне отменный завтрак. Чай, сахар, масло, сыр, повидло. Здесь колпит — коллективное питание. Колпитчик, он же радист, лицо, доверенное вести хозяйственные дела, закупает на базе, на базаре, в магазинах продукты, выдает их по мере надобности поварихе, держит отчет перед коллективом. В конце вахты — расчет. Приходится по рублю — рублю двадцати в день. Все очень довольны.

Завтракают человек семь-восемь. Остальные у механизмов или отдыхают после ночной. Смотрим утреннюю программу. На экране маленькая девочка. Общее оживление, все обращаются к одному из присутствующих. Хохочут. Сожалею, что не могу оценить юмора по-азербайджански, но про гостей не забывают, и тут же следует синхронный перевод, тот, к кому обращены шутки, разъясняет мне через стол:

— Они говорят, что у меня родится дочка!

Не совсем понимаю.

— А у вас уже есть дети?

— Есть. Дочери.

— Сколько?

— Шесть!

Тут неожиданно взволновался Кузьмин:

— Братцы мои, да ведь это же сюжет! Разведчик возвращается домой с моря, и его встречают шесть дочерей! Обложка! Цвет! Вас как зовут?

Папаша смеется:

— Абдуллали Абдуллаев. Приезжай, гостем будешь, когда в Баку вернемся. Фотографируй тогда сколько захочешь!

Всматриваюсь в лица сидящих и думаю о том, сколько у каждого из них за

плечами. Разведчики! Чем здесь не фронт? Трудовой фронт!.. А сколько трудностей, опасностей... Впрочем, куда это меня заносит: какие тут опасности, на этой совершенной технике? После завтрака кто-то уходит, а кое-кто остается, устраиваются поудобнее, раскрывают главную игру Востока — нарды и начинают яростное сражение...

— Сейчас будет работать Бочкарев, пойдемте! — приглашает Грачев.

Поднимаемся в помещение, на «нормальных» судах соответствующее ходовой рубке. Только здесь вместо штурвала и машинного телеграфа — пульта с тумблерами, с сигнальными огоньками, с дрожащими стрелками приборов.

Я уже видел этого высокого, улыбчивого парня — Василия Бочкарева. Сейчас он сосредоточен, как артист перед выходом, поглядывает в окно.

— Небольшой крен образовался, и наш «Атлант» будет его выправлять, — поясняет Грачев. — Ведь он, Вася, у нас ни много ни мало шестьсот тонн на своих плечах держит!

Василий пробегает взглядом по циферблатам приборов и едва заметно передвигает тумблер. И тут же ожил кто-то, какой-то невидимка, затанцовавший в пультах, под палубой, где-то еще глубже. Вспыхивают разноцветные огоньки, бегают стрелки в приборах, что-то пощелкивает, подвывает со всех сторон, гул идет откуда-то снизу, и вся громада «Апшерона» едва заметно движется. Но проходит минута, и все замирает.

— Все?

— Все! — улыбается в ответ Бочкарев.

Пульты дремлют. Через окно на палубе видна картина спокойного неторопливого труда. Вспыхивают искорки электросварки, постукивают большие гаечные ключи, в стороне боцман обивает краску на палубе, готовясь суричить — грунтовать не понравившиеся ему чем-то места. В рубку входит Санган Салаев, тот самый, с которым утром по-азербайджански разговаривал Грачев на «утреннем докладе». Тихо произносит какую-то фразу. На лице Грачева появляется новое для меня выражение. Озабоченность? Упорство?

— Пожалуйста, не курите на палубе! — роняет он, выходя с Санганом из рубки.

— Что случилось? — спрашиваю у Бочкарева.

У того уже обычный беззаботный вид. Улыбается, пожимает плечами:

— Кто их, буровиков, знает? — Мол, у них свои заботы, у меня свои...

Потом меня звал в свою крохотную каютку Абдуллали. Он — техник-геолог. Его задача — подготовка, систематизация для дальнейших институтских исследований проб из скважины. Я держу в руках эти каменной плотности колонки синеватой глины, взятой с глубины в двести, триста, пятьсот, семьсот метров, для меня они все вроде бы одинаковые. А вот Абдуллали рассказывает о каждой подробно и увлеченно.

Возвращаясь в свою каюту, внезапно слышу женский крик, в котором и боль и испуг. И сразу — голоса, приглушенный разговор. Навстречу торопливо шагает Грачев.

— Повариху прихватило. Радикулит, — отрывисто поясняет он.

Вечером беседую на лечебные темы. У Алексея Афанасьевича тут целая медицинская библиотечка.

— Шторм. Ни самолет, ни вертолет не проберутся к нам — а случись что? Как быть? Вот и приходится и врачом по совместительству. — Голос у него такой спокойный и убедительный, что хочется даже полечиться у «доктора Грачева».

А он рассказывает, что надо делать при бронхите, при болях в печени, как унять кровь при травме, успокаивать боль во время приступа ревматизма, чем выводить человека из приступа астмы.

— Мне бы врачом быть... С детства мечтал, — признается он со вздохом.

— Жалуетесь на судьбу? Вы же буровой мастер божьей милостью!

Грачев молчит, потом говорит без улыбки:

— Не то читал, не то слышал от кого про капитана, который с детства мечтал стать портным. Швейная машинка у него в каюте стояла. А так — лихой капитан был... Что поделаешь — хобби! — Очень странно звучит в устах Алексея Афанасьевича это словечко.

Входит радист:

— Что будем делать с поварихой?

«Доктор» с минуту молчит, потом дает указание:

— На жарь песочку в сковородке и в мешочек. Пусть на поясницу... А совсем

перед сном на вот — настойкой на мухоморе растереть. Теплым завязать. Завтра будешь сам готовить. Возьми буровика подвахтенного в помощь.

Радист кивает, выходит из каюты.

— Радист и повар? — спрашиваю.

Грачев кивает:

— Боцман — он же такелажник, дизелист — крановщик, электрик — слесарь — каждый по два-три дела знает. У нас иначе нельзя.

Перед тем как заснуть, я некоторое время размышляю о том, что, несмотря на бушующий там, внизу, шторм, чувствую себя тут удивительно спокойно и уютно. Течет размеренно и очень налаженно какая-то неизвестная мне работа, люди неторопливо и уверенно делают свое дело и, по-видимому, работа геологов, буровиков-разведчиков в наше время, а тем более в ближайшем будущем окажется настолько обустроенной, что о романтике, героизме останется лишь вспоминать. Но к этим «вечерним» спокойным мыслям примешивается какое-то беспокойство. Не могу, да и не пытаюсь выяснить — засыпаю. Но уже совсем перед тем как «отключиться», внезапно понимаю: ведь буровая стоит, бурение не ведется! Осмыслить это не успеваю. Сплю.

Утром, едва поднявшись, спрашиваю, почему прекращено бурение. Грачев отрываясь от своих записей, спокойно смотрит на меня, что-то соображает, как бы отвлекаясь от занимающих его мыслей, прежде чем ответить. Наконец он говорит:

— Скважина дала газопроявление.

Я молчу, тогда он скупо обрисовывает ситуацию. Он говорит, а я своим ушам не верю: вся эта «апшеронская идиллия» предстает передо мной совсем в ином свете.

Они пробурили восемьсот метров и неожиданно наткнулись на мощный газоносный слой. Именно об этом негромко и сообщил вчера в рубке Грачеву Санган Салаев. Газ рвется вверх со страшной силой, всю свою сокрушающую ярость он может выместить на «Апшероне». Грачев и его друзья удерживают ярость подземной стихии ответным давлением сверхтяжелого раствора. А впрочем, для них это нормальный рабочий эпизод. Что же касается кратера, гибели, опасности, так ведь не зря же их работу называют героизмом: бывает, что она связана с риском для жизни. И их спокойствие не поза, а естественная реакция на случившееся. Подкачивают раствор в скважину, следят за показаниями приборов, за поведением «джинна». В сущности, они сидят на вулкане. Здесь опасная зона вулканизма, но именно потому здесь же имеются месторождения нефти и газа. И потому риск у них, так сказать, запрограммирован.

— Удержите?

— Удержим! — отвечает Грачев. — Удержим, нам ведь надо дальше в глубину — разведка не окончена.

— А если не хватит раствора? — Вот тут я, оказывается, попал в точку.

Алексей Афанасьевич хмурится, молчит, потом медленно, веско отвечает:

— Должно хватить! Хватит дней на пять — семь. Судну снабжения сейчас не подойти — в море вон что творится! Будем штормовать и экономить.

— А как в таком деле экономить?

— Как и в любом: думать, соображать, рассчитывать...

— А не боитесь?

— А вы не боитесь?

Не ожидая такого контрвопроса, я довольно нелепо отвечаю:

— Так я же здесь в командировке!

Грачев добродушно усмехается:

— Все мы тут в командировке. Так что бояться не приходится.

Глубина

Возвращаясь из морских командировок, я отчетливо представлял себе, что, несмотря на масштабы работ на Каспии, это еще нельзя назвать массовой эксплуатацией богатств шельфов. Если наука определяла береговую отмель как площадь дна, ограниченную береговой линией и началом материкового склона, то практика ввела дополнительное деление. Это нигде не сказано, но я четко различал две части: малый шельф и большой шельф. Малый ограничивал глубины моря в пределах двадцати метров. Там работали разведывательные плавучие буровые установки, там строились стационарные платформы для эксплуатационного бурения и размещения подсобных

блоков, там возводились транспортные эстакады, там прокладывались подводные нефтегазопроводы. И дело было вовсе не в том, что на мелководье безопаснее — нередко волнение опаснее именно там, где небольшая глубина. И не потому что поближе к берегу. Решающим обстоятельством было то, что на глубине в пределах двадцати метров может и умеет достаточно долго работать водолаз. Следовательно, для того чтобы подойти к стометровой отметке, перешагнуть ее, требовалась более совершенная техника и технология глубоководных работ, чем та, которой мы располагали в 60-е годы. Вот почему, говоря о морской добыче полезных ископаемых, мы в те годы не могли еще говорить о шельфе в целом: слишком ограниченными были наши возможности. И дело даже не в водолазной технике, сколько в технике, позволяющей точно и надежно вести весь основной комплекс работ с поверхности.

Бывая на Каспии, я много раз слышал о красивом проекте: создать нефтяной мост через море. Там, где Апшеронский полуостров клином выдвинут в море со стороны Азербайджана, с другой стороны тоже выступает суша — полуостров Челекен. А на дне между ними лежит так называемый Апшеронский порог — отмель с целым рядом нефтегазоносных месторождений. Мост, разумеется, художественный образ, Мыслится создание цепи крупных промыслов в море. Нефтяные Камни — один из прибрежных пролетов будущего моста. Однако Апшеронский порог хотя и отмель, но там есть глубины и в 100—200 метров. Именно потому, узнав, что на месторождении имени 28 апреля (день установления советской власти в Азербайджане в 1920 году) начата эксплуатация двух скважин на глубине больше ста метров и что там ведется разведка с новых полупогружных плавучих буровых установок, я понял: наступил новый этап работы. И потому снова собрался в Баку.

— Нет, нет, нет. Прежде чем отправляться в море, вы поедете в нашу гавань! — С хозяином спорить не приходится, тем более что Курбан Аббасович Аббасов действительно знает, что надо показать сперва, а что потом. — Когда в последний раз были у нас? — прищуривается он. — Ой, давно... Чехи говорят: «Тогда мы были молодыми и красивыми, теперь — только красивые». — Он хохочет.

Сразу видно, что не только красивый, но и та самая энергия «атомного реактора», что поразила меня в прошлый раз — при нем. Человек легендарной судьбы. Крестьянский парень из азербайджанского села, он в шестнадцать лет пришел подсобным рабочим на нефтяные промыслы. Тогда и море впервые увидел. Бушевала Великая Отечествовая. И бакинские нефтяники, сражаясь, как на фронте, отвоевывали каждую тонну черного золота для фронта. И с той самой поры Аббасов — нефтяник.

Какая самая главная черта характера Аббасова? Это знают все — бесстрашие. Бесстрашие взять на себя ответственность за самое трудное, опасное, рискованное. И еще сметка, быстрота реакции — это от длинного ряда поколений предков: воинов и земледельцев. И кроме этих качеств — любовь с первого взгляда. К морю, к сложному, опасному труду морских нефтегазодобытчиков. Все эти размышления возникают в ходе разговора, который я веду с ним, начальником Всесоюзного объединения «Каспморнефтегазпром», депутатом Верховного Совета СССР, Героем Социалистического труда. С хозяином Каспийского моря.

Скрипнула дверь его просторного кабинета, и вошел высокий красивый молодой человек с мужественным суровым лицом.

— Мой сын Октай, — со сдержанной гордостью представил его Аббасов.

Потом коротко переговорил с ним по-азербайджански, и Октай, молча поклонившись, вышел, а мой собеседник, прервав разговор о промыслах в море, о заводе, о новой разведочной технике, заговорил совсем о другом:

— Вот в чем самое главное... Мой сын инженер, с первых дней после института — в море. Прошел все от верхового — от первой рабочей специальности на вышке. Хороший инженер, толковый, знающий, дело любит. Все в море, жениться никак не соберется... Вот самое главное: чтобы хорошие дети у нас были, чтобы дело наше продолжали...

Сухопутная территория гавани до самого уреза воды заставлена гигантскими (с многоэтажный дом каждая) трубчатыми конструкциями. В этих стальных джунглях человек чувствует себя муравьем. Мой гид — директор одного из производственных объединений «Каспбурнефтегазпром», или, проще говоря, заместитель Аббасова по главной составной части труда морских добытчиков — бурению Субхи Гассанович Магеррамов. Невысокий, стройный, элегантный, с огромной копной седых волос. Так и вижу его с дирижерской палочкой в концертном зале или за чтением стихов перед

огромной аудиторией. Впрочем, и здесь, среди черных циклопических стальных колонн, он легко скользит, словно в фантастическом танце.

— Все это — блоки стационарных оснований,— проводит он рукой вокруг.— Мы их делаем сами, не дожидаясь пуска нового завода. Уже смонтировали одно основание на месторождении Двадцать восьмого апреля. Там две из многих скважин дают по триста тонн нефти ежедневно. Сейчас завершаем строительство второго основания и вот — готовим блоки для третьего.

— А какая там глубина?

— Примерно сто пятьдесят.

Ого! Вот оно — новое!

— И как, море не обижает?

— Все в порядке. Научились,— скупно улыбается он.

Острова в море. Стальные рукотворные острова. Они здесь передо мной «в разобранном виде». Конечно, не столь эффектно, как, скажем, атомоходы или космические ракеты, но морские основания из того же ряда высших достижений НТР. Стоит лишь вспомнить, что они созданы для успешного противоборства с могучей и грозной морской стихией! Мой спутник говорит, словно продолжая эти мысли:

— Ни ураганы, ни штормовые зимние атаки ледяных полей им не страшны. Можно спокойно работать, отдыхать...

А я вспоминаю в связи с этим, как недавно читал о любопытных идеях использования стальных островов на отработанных месторождениях в качестве морских оздоровительных комплексов: санаториев, домов отдыха. И позавидовал тем, кто будет здесь отдыхать и лечиться целебнейшим морским воздухом, этой тончайшей эмульсией живительных лекарственных веществ. О «морской терапии» еще в 20-е годы писал ленинградский врач и страстный яхтсмен профессор Я. Френкель.

— Очень надеюсь на Двадцать восьмое апреля,— возвращает меня в сегодняшний день Магеррамов.— И разведку там ведем и месторождение уже эксплуатируем. Большая нефть там!

Я уже знаю: мой путь в море — на «Шельф-1», который тоже трудится на 28-м апреля...

Наконец выходим на причал.

— Вот он — «Шельф», «Шельф-2», брат того, на который мы летим,— с гордостью говорит Субхи Гассанович.— Только что прибыл прямо с завода. Готовится к выходу на точку.

Но я не вижу, не слышу. И смотрю вовсе не туда, куда указывает мой спутник. Прямо напротив меня, господа, да какой же он... родной «Апшерон»! Тот самый, на котором я провел незабываемые дни и ночи пятнадцать лет назад. Скромный, серенький, незаметный, стоит он возле стенки, подняв высоко вверх свои четыре ноги. Магеррамов, заметив что-то неладное, вопросительно поглядывает на меня. Объясняю. Субхи Гассанович улыбается, кивает.

— И все ж посмотрите рядом... «Шельф»!

И только тогда я всматриваюсь и понимаю, что это «нечто», огромное и поначалу какое-то неясное, расплывчатое,— тоже буровая установка, как и «Апшерон», только неизмеримо больших размеров. Целый промышленный комплекс-город, взметенный на десятки метров вверх, покоящийся на переплетении могучих, прямо-таки космически прочных конструкций, которые в свою очередь укреплены на понтонах. И каждый из них величиной с подводную лодку. Вот она — ППБУ — полупогружная буровая установка!

— А теперь снова посмотрите на «Апшерон»,— еще шире улыбается Магеррамов.— И поверьте, мы вовсе не для вашего обозрения поставили их рядом. Случайность. А в общем, совсем как на плакате: техника шестидесятых — техника восьмидесятых!

Сзади нас сопровождает небольшая группа рабочих (или моряков? — здесь не определишь!).

— «Коптилка», — презрительно роняет молодой парень, поводя подбородком на «мой» «Апшерон».

— Ничего себе «коптилка»! Совсем недавно писал про него как про последнее слово морской разведывательной техники! — возмущенно восклицаю я, глядя на этого юнца и не соображая, что наша стычка выглядит смешно.

Парень ухмыляется, а Магеррамов понимающе кивает головой, говорит очень мягко, словно жалея кого-то:

— И тем не менее эту «новинку» мы уже списали... Отслужила...

Я мысленно произношу длинную тираду по собственному адресу: журналист, потерявший ощущение темпов НТР, сам подлежит «списанию».

— Вы должны, просто обязаны поставить эту «копилку» на вечный прикол и организовать музей! — горячо говорю я. — Ведь это же героическая история, а за ней — героический бакинский рабочий класс шестидесятых! Вы сейчас, пока не поздно, должны думать о таких вот свидетелях прошлого.

Мой спутник не ожидал подобной атаки. Он сосредоточенно молчит, потом кивает:

— Да. К сожалению, мы слишком заняты нашими сегодняшними делами, заботами. — Он улыбается и добавляет: — А будущее скользит через настоящее и исчезает в прошлом. Вы совершенно правы! — Он печально качает головой. — Не я, это старики у нас так говорят. Правильно. Надо думать об этом сейчас!

В гавани два гиганта: плавучий кран и катамаран с широкой платформой — верхней палубой. Эти работяги и занимаются постройкой островов в море. Крановое судно приподнимает гигантский блок метра на три-четыре над причалом, разворачивает стрелу на 180 градусов и укладывает на катамаран. Закончив погрузку, «приятели» отправляются в море и там на месте строительства третьей платформы на месторождении 28-го апреля устанавливают очередные конструкции на их «штатные места». Месторождение это — следующий шаг к туркменскому берегу, следующий пролет нефтяного моста. Там, на Апшеронском пороге, есть и двухсотметровые глубины, но они уже не проблема: пройден стометровый рубеж моряками-добытчиками, начато освоение каспийского шельфа. Однако все только начинается. Дело в том, что к югу от Апшеронского порога все дно Каспийского моря практически нефтеносный район. Только там уже не 100 и не 200 — там 600 и 900 метров. В общем, уже не шельф, а завтрашний день морских добытчиков.

...Старинный поселок Забрат километрах в двадцати от Баку. Здесь неподалеку от главного аэропорта — маленький служебный аэродром. Отсюда на вертолетах отправляются в море очередные вахты. В небольшой сосновой рощице возле стеклянного домика диспетчера полетов, у самого выхода на летное поле, на скамейках группы людей в легкой летней одежде, с небольшими чемоданчиками. Это наши попутчики — рабочие с «Шельфа-1». Они две недели отдыхали на берегу, а теперь их очередь сменить товарищей, две недели протрудившихся в море. Исподволь, незаметно приглядываюсь к ним, еще не занятым своими производственными делами, не вписавшимися в привычную обстановку. Очень хочется найти ответ на главные вопросы: отличаются ли они от тех, из шестидесятых, и если да — то чем?

Вертолет задерживается, и потому наблюдаю и размышляю я довольно долго. Первое, что сразу бросается в глаза, — подавляющее большинство молодежи, людей от восемнадцати до тридцати лет. В те прошлые годы в море трудились в основном люди между двадцатью пятью и сорока пятью годами. И еще мне показалось, что менее ярко и менее часто встречаются среди них черты «джеклондоновские», зато гораздо ярче выражен более высокий, чем в шестидесятых годах, общий уровень развития. Хотя, впрочем, все это предстоит увидеть на месте действия.

...Вертолет идет невысоко над землей, потом — над морем. Едва взлетели, под нами чуть в стороне Сураханы — старейшее и некогда известное месторождение, боевой оплот революционного бакинского пролетариата. Далее — остров Артема, промыслы в море, первые пятилетки. Еще несколько минут полета — и под нами остров Жилой. Первые стационарные платформы, первый выход на шельф. А потом потянулись стальные эстакады в открытом море. Они ветвились, разбегались в стороны, связывая воедино рукотворные острова — платформы, на которых то возвышались буровые вышки, то вырисовывались всевозможные производственные и хозяйственные сооружения или просто жилые многоэтажные дома, скверы, площадки, магазины... Нефтяные Камни! Слава и гордость Азербайджана послевоенной поры. Академия морской нефтедобычи.

Меньше чем за час полета мы имели возможность следить сверху за проплывавшими под нами промыслами: казалось, будто переворачиваем страницы нефтяной летописи республики за 60 лет советской власти. Артем, Жилой, Нефтяные — это и есть начало нефтяного моста дружбы. Под нами море. А вдали несколько точек. Промысел

имени 28-го апреля пока в самом начале. Та самая платформа-первооткрывательница, другая, строящаяся, полупогружная разведывательная установка «Каспморнефть», а вот и он — «Шельф-1»: бело-рыжий квадратный остров, в середине мощная решетчатая башня, напоминающая знаменитый гиперболоид из романа Алексея Толстого. Вертолет делает круг, и «Шельф» величественно поворачивается перед нашими взорами, позволяя рассматривать себя со всех сторон. А потом наша стрекоза стремительно опускается, словно на лифте, на круглую площадку, покрытую толстой сетью из пенькового каната. Приехали!

Люди, помидоры, капуста, баранина, газеты, какие-то тюки и свертки мгновенно оказываются на площадке, а ожидавшие отлета рабочие, наскоро помахав прибывшим руками, так же мгновенно устраниваются уже внутри и поглядывают сквозь иллюминаторы. Магеррамов, который любезно проводил меня до места, в том же темпе «престо» жмет мне руку, говорит напутственные слова, знакомит с начальником буровой установки — с симпатичным молодым азербайджанцем — и тоже уже смотрит на меня через иллюминатор. Мгновенный бешеный вихрь взметает волосы на голове, одежду, упруго давит на леера, потом бороздит волны далеко внизу, и вот вертолет превратился в небольшую птицу, стремительно уходящую в сторону Нефтяных. На мой взгляд, нет никакой необходимости в таком невероятном темпе высадки-посадки, но это сейчас, а вообще море и ветер не шутят, и потому и вертолетчики и рабочие давно привыкли к подобной эквилибристике. Осматриваюсь.

Первое впечатление здесь, на «Шельфе», — ощущение полной отъединенности от моря. Здесь я на прочной тверди, здесь вижу вышку и какие-то производственные помещения, прямо передо мной жилые блоки, а море, оно где-то далеко внизу. Ощущение высокого круглого берега, утеса над волнами. И такая же надежность. Слышу беспрерывный шумовой фон — работает ротор, идет бурение.

Мой новый хозяин приглашает вниз, к себе. С вертолетной площадки попадаем в некое подобие ходовой рубки на корабле. Здесь, в тихом светлом помещении, где безраздельно господствуют пульта и бесчисленные огоньки сигнализации, он представляется второй раз, так как наверху под рокот двигателя вертолета и свист ветра я ничего не разобрал: начальник ППБУ «Шельф-1» инженер Октай Мухтарович Муршудли.

— А здесь мы, — добавляет он, — в главном посту жизнеобеспечения. — И видя, как я с интересом присматриваюсь ко всем деталям обстановки, поясняет. — «Шельф» стоит на двух понтонах, притопленных более чем на десять метров, понтоны, в свою очередь, закреплены восемью якорями. Вес каждого — восемнадцать тонн. Такая стабилизация гарантирует спокойное бурение практически при любом состоянии моря.

У него очень приятная манера разговаривать: спокойная, вежливая, уверенная и в то же время предупредительная. Интеллигентный, спокойный, очень хорошо знающий свое дело собеседник.

Подходит высокий молодой человек — вахтенный инженер поста Николай Павлушин:

— Николай Павлушин, выпускник Одесского кораблестроительного института.

— Вы наверняка не представляли, что попадете сюда?

— Даже и не снилось...

— Вряд ли здесь у вас работа по специальности?

— А такая специальность, как моя нынешняя, не предусмотрена вузовскими перечнями профессий.

— И не жалеете, что так получилось?

— Что вы! Ведь это очень интересно. Такая техника!

И Николай рассказывает мне, какая это техника: едва стали на точку, забурились, как рванул ветерок — 37 метров в секунду.

— А знаете, что это значит? Ураган — это если до тридцати метров в секунду, а тут выходит — сверхураган!

— Ну и как?

— А никак. Стояли и бурили. Только чуть покачивало. Вполне в пределах допустимого.

— И не страшно было?

— Еще как страшно! Волны до половины высоты устоев поднимались, ветер такой, что на палубу не выйти! Очень мне хотелось метрика на два-три поднять «Шельф»!..

Потом он показал мне свое хозяйство. Главная задача службы жизнеобеспе-

ния: держать установку в неподвижном и горизонтальном положении независимо от любой погоды. К гигантским якорям идут гигантские (почти в километр длиной) якорь-цепи, а в понтонах имеются отсеки водного балласта. Манипулируя натяжением якорь-цепей и балластными системами, служба жизнеобеспечения достигает полной стабильности «стояния на точке». Ну, а когда необходимо поднять или опустить платформу по отношению к уровню моря, это делается за несколько секунд.

У дежурного инженера удобный уголок возле широкого окна: стол, кресло, полка с документацией, телефон внутренней связи и радио, вентилятор.

— Много работы на смене?

Он как-то неопределенно пожимает плечами:

— Работы? Да как сказать... В общем-то, я должен следить за показаниями датчиков, приборов, только и всего...

В каюте у начальника установки за чаем выясняю, что Муршудли старый моряк — прежде работал на самоподъемной установке, так сказать, близкой родственнице «Апшерона».

— Ну и как, в чем вы видите главное отличие «Шельфа» от тех «старушек»?

Он неторопливо откусывает крохотный кусочек сахара, отпивает чай.

— Ленкоранский, наш. Обратите внимание: несколько не хуже лучших индийских сортов! — Потом без паузы добавляет: — Только не надо заблуждаться: самоподъемные установки не вышли в тираж. И потому сравнивать не следует. Здесь, на Каспийском море, у нас вся гамма средств для разведки и разработки месторождений: буровое судно для маневренной работы в сложных условиях, целая семья «Шельфов» — мощных полупогружных установок. Вот мы сейчас над глубиной больше полутора метра. Ну а самоподъемные, те хороши для разведки прибрежного шельфа. Если лет десять — пятнадцать назад мы были ограничены в технических средствах, то нынче можем выбирать, где, чем и как выгоднее работать.

— И, как говорится, нет проблем...

Он улыбается и немного «редактирует» мои слова:

— И нет конца проблемам...

— Назовите основные! — прошу я, но он отрицательно качает головой, встает:

— Пойдемте прогуляемся по хозяйству!

...Мы шли через разнообразные помещения, которые мне живо напомнили подводную лодку. Своей насыщенностью приборами и механизмами. Своей трехмерностью: здесь техника размещена во всех цехах не на площадях (как это чаще всего бывает на обычных заводах), а в объемах пространства, на всех уровнях высоты.

— Экипаж — сто тридцать человек, притом больше половины с высшим и средним техническим образованием, — говорит Октай, — и тем не менее большинство из них впервые встретились со своей нынешней специальностью.

— Как так?

— Очень просто: все системы, все механизмы, все сопряжения здесь настолько специфичны, что в любой необходимой нам профессии требуется еще особая специализация для работы на шельфе, на ППБУ. Да вот возьмите того же Павлушина: он про эти якорные корабельные устройства, казалось бы, все изучил в своем институте. А вот чтобы их было восемь на одном судне и чтобы они сочетались с электроникой, с автоматической системой регулирования стабилизации, — о таком не слышал. Ни на одном судне подобной необходимости просто нет. И так у нас во всех службах, во всех подразделениях. Вот вам проблема номер раз.

— Иными словами, требуются кафедры и факультеты, а может быть, институты и техникумы для подготовки специалистов — моредобытчиков?

— Именно так. А пока их нет, познаем новые специальности на ходу, так сказать, без отрыва от производства.

— Значит, у вас тут работают будущие профессора и доценты будущих кафедр и факультетов? — пошутил я.

— А где же им быть? — без улыбки подтвердил Муршудли и продолжил: — Видите ли, у нас в Баку это давно известно: новинка, новое изобретение или новая технология на промыслах или на нефтехимических заводах сперва — учат людей на месте на практике, а потом эти люди с промыслов, с заводов сами учат молодежь... У нас от институтов до промыслов, от промыслов до НИИ, до лабораторий очень короткая дистанция. Взаимопроникновение... — улыбается он.

— Но тут необходимо учитывать еще одно обстоятельство, — вмешался старший

электромеханик Геннадий Борисович Щетинкин (мы беседовали, продолжая свою импровизированную экскурсию): — Техника, с которой мы работаем, нова не только для нас. В большинстве случаев это вообще совершенно новые машины. Понимаете, все КБ, все заводы стремятся выдать нам свое самое-самое для испытания в производственных условиях. Так что мы здесь и работники, и ученики, и испытатели одновременно.

— Испытатели людей,— тихо, словно про себя добавил Октай.

Мы шли через цеха, где жидкости бурлили и смешивались в строгих пропорциях, где порошкообразные вещества в точных дозировках перегонялись по пневмотрубам в смесители и насосы. И почти всюду здесь в поте лица трудилась автоматика. Лишь кое-где возле больших и малых пультов и табло виднелись молодые парни в джинсах и штормовках, просто в рубашках с закатанными рукавами, и трудно было сразу понять, кто они: инженеры, техники, рабочие?

— Здесь на ППБУ особенно понятно значение среднего образования для молодого человека,— заметил Октай.

— Физика, химия, математика?

Мой собеседник рассмеялся:

— О недостатках современного образования говорят и пишут предостаточно. Программы перегружены, умственная усталость учащихся, гиподинамия и так далее. Я не об этом. Есть у школы одно несомненное достоинство: вольно или невольно в течение десяти лет она учит наших акселератов быстро осваивать, ухватывать новые знания, особенно если они действительно практически необходимы молодому человеку. И вот когда салажонок, имея за спиной всего десять классов, сталкивается со всей этой электронной премудростью, он прямо-таки с первых дней начинает вживаться в нашу технику и, глядишь, через два—три месяца как рыба в воде.

— А те, у кого нет среднего образования?

— Вот в сравнении с ними и можно делать выводы. Таких у нас всего несколько человек. Отличные кадровые рабочие, буровики, нефтяники с большим стажем. И как раз им-то в новых условиях неизмеримо труднее.

Сердце «Шельфа», его главный цех — вышка со всем сложнейшим комплексом бурильных механизмов, приборов, систем. Мы успели добраться до нее только на другой день.

В те дни, когда мне довелось побывать на ППБУ, ветер дул со скоростью пятнадцать метров в секунду. Так сказать, полшторма, но волны были вполне приличными, и тюлени прыгали, переворачивались, ныряли и снова всплывали среди пенных гребней, ни на минуту не упуская из поля своего зрения отлично известную им дверь камбуза, явно выпрашивая подачки. «Шельф» солидно, с большим достоинством покачивался из стороны в сторону.

Однако бурение не прерывается ни на час — шарнирные и телескопические устройства здесь, на установке, и в устье скважины на глубине 158 метров обеспечивают стабильную работу инструмента. Кабина бурильщика — чудо комфорта и технической оснащенности. Здесь шутят, что это кабина космического корабля. Вообще в море, на шельфах часто вспоминают космос. И в частности, крылатую фразу единственного в мире космонавта, ставшего акванавтомом, — С. Карпентера, который утверждал, что гидрокосмос гораздо враждебнее по отношению к человеку, чем большой космос. В общем-то, бурильщик в работе, в окружении пультов и табло, телефонов, мониторов ТВ, в своем удобном кресле под плексовым колпаком мало чем отличается от инженера на любом автоматизированном производстве. И только вращающаяся четырехгранная стальная штанга, медленно уходящая в глубину под шалубой, указывает на значение происходящего.

Октай Мухтарович распорядился включить установку подводного телевидения. Вспыхивает экран монитора, и я вижу на нем идущую вверх толстую белую трубу. Это погружается на специальной установке с направляющими элементами и мощными светильниками телевизионная камера, а белая труба — райзер — так сказать, продолжение скважины в жидкой среде моря. Ведь одним из главных условий работы буровиков является полная герметизация. Бурильный раствор — кровь скважины — с помощью райзера циркулирует без потерь и под заданным давлением.

Камера продолжает погружение, и через несколько минут я вижу на экране сложное коническое устройство, метров на пять возвышающееся над сероватой волнистой поверхностью морского дна. Это и есть устье скважины. Оно снабжено мощными

задвигами, которые надежно перекрывают скважину в случае внезапного выброса нефти или газа. Тут же имеются захваты. При необходимости они будут держать всю колонну бурильных труб на весу, когда потребуется отойти от точки бурения. На устье еще и целая система акустических датчиков. С их помощью буровики найдут скважину и, вернувшись, произведут стыковку для продолжения работы.

На экране происходит что-то непонятное: сотни, тысячи каких-то светлых черточек кружатся вокруг конуса устья, порой совершенно заслоняя его. Что это такое?

— Рыба, — смеется Муршудли, — это такая любопытная публика, что иной раз приходится сильно стучать по трубе, чтобы отогнать ее — иначе на экране ничего не видать.

— Значит, там, на дне, все совершается без участия людей?

— Если все в порядке, то люди там не нужны. Но устье — сложное сооружение. Возьмите, например, систему задвижек и захватов: все они работают на гидравлике, ну примерно по принципу тормозов автомобиля. Там, на устье, имеются патрубки из прочной резины. И так же, как и на автомашине, эти патрубки — одно из слабых мест. Выйдет такая «резинка» из строя и — пиши пропало: бурение надо прекращать, демонтировать устье, поднимать его блоки наверх — словом, неделей не обойдешься, и то если скважина спокойна. В общем, когда все в работе нормально, люди на дне не требуются, но если что-то случится, человек должен немедленно идти на глубину. Для этого на «Шельфе» существует ГВК — глубоководный водолазный комплекс.

...Вечером, после ужина, все свободные от работы собираются в кают-компани. Современное, уютное, удобное помещение, совершенно естественное для любого нашего судна, будь то пассажирский лайнер, сухогруз или танкер. Но непривычно комфортабельное для буровиков-разведчиков, привыкших к столовкам и бытовкам барачного типа, а то и просто к палаткам. Кстати, и питание тут, на «Шельфе», поставлено по корабельному: сытно, вкусно.

По просьбе начальника установки я веду устный журнал. Причем я же и ведущий и автор всех «страниц журнала». А вообще-то просто рабочие хотят услышать новости от столичного журналиста. Рассказываю про Атлантиду, о том, что почти четверть века занимаюсь этой темой, обо всех гипотезах, поисках, проектах. Много рассказывал я им в тот вечер, слушали, как говорится, затаив дыхание...

В поздний час Октая буквально разогнал всех присутствующих: вопросам, комментариям, репликам не было конца. Некоторые предлагали продолжать до утра, мол, не часто получается такой разговор, но начальник был неумолим и прав. На «Шельфе» можно работать только со свежей головой.

— Ну как, убедились, что у нас действительно нег числа проблемам? — спросил меня Октая к концу моего нахождения на «корабле».

— Дьявольски трудная эта штука — быть первыми, — ответил я.

— И еще, знаете, я думаю, что писателям иногда полезно бывать в таких местах, как у нас, — сказал Октая. — Ведь возникают и такие проблемы, что поначалу даже мы не можем сообразить, что происходит. Что это еще за проблема?

Я посмотрел на него, стараясь угадать, что он имеет в виду. Муршудли понял мсняя и улыбнулся:

— Ни за что не догадаетесь. Знаете, что творится у меня с молодыми рабочими? Есть такие, которые хотят уходить с «Шельфа».

— Почему? Качки боятся? Страшно в море? Условия материальные не устраивают?

— Нет. Условия у нас лучше, чем в других местах. Жильем молодых людей тоже обеспечиваем, а молодые семьи через год-два получают отдельные квартиры.

— Так в чем же дело?! — взмолился я и услышал совершенно невероятный ответ:

— Скучно. Нет опасностей. Понимаете, молодежь у нас воспитана так, что ее приучили преодолевать трудности, препятствия, опасности. Если, допустим, в какой-то фантастической книжке описывается какая-то невиданная, скажем, космическая техника, то чаще всего автор строит конфликт вот на чем: в автоматике что-то не заладилось, ракета летит куда-то не туда, а героический экипаж нечеловеческими усилиями приводит все в порядок, наступает хеппи энд. Словом, романтика будущих взаимоотношений с совершенной техникой видится нашей молодежи в исправлении всяких неполадок, которые грозят успеху предприятия, а то и самой жизни коллектива. В общем, писатели идут здесь на поводу у простых и ясных желаний молодежи: жертвенность, совершение подвигов во имя победы, во имя коллектива. А если еще короче:

жизнь на самых высоких нагрузках, нервных и физических. Этого они и ждут, когда идут к нам на «Шельф». Потому что знают: мы — это самое последнее, самое новое, самое близкое к научной фантастике. А что они получают? Автоматика, электроника, кибернетика у нас работают, трудятся, вкальвают, а им ничего делать не надо. Это и есть их работа. Их главная, основная, определяющая задача в том, чтобы ничего не случилось. Для того она и создана — современная техника. Знаете, это все можно сравнить с полярниками: в прошлом, например, у челюскинцев случилась авария, и они героически спасли экспедицию, экипаж, проявили высшее мужество. А по современным меркам аварией на атомном ледоколе считается небольшая вмятина в бортовой обшивке. Вот и получается, что им скучно быть при приборах.

— Любопытно. Чего-то молодые недопонимают!

— Конечно, недопонимают. А недопонимают они то, что и романтика и героизм в наше время приобретают совершенно новое качество. Да, они должны уметь терпеливо и спокойно быть при приборах, но должны быть готовы в любой момент к такой концентрации ума, знаний и опыта, к такой быстроте реакций, к такой самостоятельности действий, какие и во сне не снились их отцам и старшим братьям. И еще, главное, что этот единственный момент может никогда не наступить, что мы всеми силами стремимся к тому, чтобы никогда ничего подобного не случилось!

— Но это же важнейшее направление воспитания молодых рабочих!

— Важнейшее.

— И вы видите пути решения этой, прямо скажем, кардинальной проблемы?

— Вижу только один: привитие высокой технической культуры. А техническая культура без общего высокого уровня культуры немыслима. Дело это очень трудное, долгое, может быть, дело не одного поколения.

Полярная нефть

...Мы привыкли видеть Северный Ледовитый океан в виде более или менее широкой каймы, обрамляющей сверху на карте северные побережья Евразии и Америки. Поэтому иной раз даже забываем, что кроме Атлантического, Индийского и Тихого есть еще четвертый — Северный Ледовитый океан.

Но существует специальная картографическая проекция — циркумполярная, это когда мы смотрим на нашу планету, как бы точно вертикально поднявшись над Северным полюсом. Вот тогда все становится наглядным: Северный Ледовитый хоть и самый малый из четырех, но самый настоящий океан. Есть у него два очень характерных отличия. Первое всем известно — это мощная ледяная шапка вокруг полюса. А про второе даже ученые узнали совсем недавно: он обладает огромным шельфом. Собственно, третья часть Северного Ледовитого океана — шельф. Чтобы сравнить, стоит привести такие данные: в Индийском, например, береговая отмель занимает всего несколько километров; вообще же средняя ширина шельфа в Мировом океане — 65 километров, а в Баренцевом море он вытянут более чем на 100 километров! И, что чрезвычайно важно, морские геологи установили: на шельфах Ледовитого океана есть запасы нефти и газа.

...В рубке службы динамического позиционирования бурового судна «Виктор Муравленко» — три мощных ЭВМ, в которые заведены каналы датчиков, сообщающих «искусственному интеллекту» все данные об окружающей среде, координаты судна, полученные и от системы навигационных спутников Земли, и от пеленгации радиомаяков, и от акустических маяков на дне моря, данные о работе двигательных и энергетических установок судна, о работе главных гребных винтов и подруливающих устройств. А результаты размышлений и действий компьютеров можно видеть на черных экранах дисплеев, а также (в виде кратких сообщений) на специальном экспресс-экране. «Обменяться мыслями» с ЭВМ, передать приказ, внести поправки можно с помощью специального телеграфа: вы набираете текст на клавиатуре, напоминающей обычный телеграфный аппарат, а машина отвечает вам, отбивая тексты сообщений на широкой ленте самописца.

Передо мной пульт комбинированного управления судном. Можно передать капитанские функции компьютерам, можно управлять самому, но с помощью компьютеров, а можно полностью взять управление на себя. Собственно, слова «управление судном» в данном случае звучат весьма своеобразно. Задача в том, чтобы с

предельной, невысказанной ранее точностью выйти к заданной точке в открытом море и держаться в радиусе пяти — семи метров в этой точке, несмотря на ветры, волны, течения, какие бывают в открытом море. Несмотря ни на что! Стоять, конечно, невозможно. Несмотря на могучие гребные винты и рули, несмотря на то, что у бурового судна в носу имеются три поперечных туннеля, в которых вращаются три подруливающих винта, а в корме — еще два таких же устройства, — несмотря на эти необыкновенные маневренные свойства, буровое судно все же вынуждено непрерывно маневрировать. Только курсы и галсы его измеряются не милями и не кабельтовыми, а... метрами! Это — маневрирование, невысказанное ни на одном корабле в недавнем прошлом. Отсюда и этот странный, противоречивый, на первый взгляд, термин: динамическое позиционирование.

...На розовом экране горят оранжевые слова: «Ураган от норда — 10 градусов; высота волнения — 6 метров, течение — 30 градусов; наружная температура воздуха — минус 10 градусов; температура воды — плюс 4 градуса».

Прямо передо мной — черный круг экрана дисплея. На нем зеленый крест из двух перпендикулярных диаметров, это стороны света: норд, зюйд, ост, вест. В центре перекрестья — маленький зеленый треугольничек, именно сюда нужно вывести судно. А вот и сам «Виктор Муравленко» — зеленый силуэт — правее и ниже точки пересечения. На экране загораются слова: «До «точки» — 5 кабельтовых». Силуэт на экране не стоит на месте: он движется вниз и вправо, мы дрейфуем под действием ураганного ветра и волнового течения. Пора! Моя правая рука сжимает большой рычаг с круглым шариком на конце. Это управление гребными винтами и подруливающими устройствами. Левая вращает маленькое колесико — современная модификация старого романтического штурвала. Поворачиваю колесико влево, а рычаг подаю вперед до отказа и тоже сдвигаю немного влево — это судно способно на такие маневры, какие невозможны на любом другом. Итак — полный вперед! Но почему же силуэт продолжает двигаться в прежнем направлении? Ну да, ведь масса и парусность очень велики, с ураганом и двадцать тысяч лошадей его энергоустановка справятся не сразу. Вот движение замедлилось, и постепенно судно стало приближаться к заветной точке. На экране горят цифры — 4, затем 3,5 кабельтовых... Но куда это меня поворачивает? Почему нос катится влево?! Ага, надо срочно ставить штурвал в нейтральное положение, и можно чуть-чуть сбавить ход. Нет — в нейтральное уже поздно, вращаю штурвал вправо. Стало жарко, расстегиваю «молнию» на куртке.

...Через час безуспешных попыток выхожу из рубки, облакачиваюсь на леера совершенно разбитый. «Ураган в открытом море» остался в рубке у диплистов. Я вынужден признать: компьютер переиграл меня, хотя за сорок лет занятий яхтингом я научился очень тонко чувствовать взаимодействие судна и ветра. Возвращаюсь назад в рубку.

— Ну а теперь пусть ведет судно сам компьютер! — прошу я хозяев службы динамического позиционирования.

— Снова закажем ураган? — тоном метрдотеля спрашивает начальник службы Эдуард Петрович Захаров.

— Давайте то же самое, только пусть судно уже стоит на точке, и задача компьютеру — удержаться несмотря ни на что.

Захаров кивает и на электрической пишущей машинке быстро печатает (впрочем, как точно называется у них это устройство, я спросить не успел) распоряжение пульту управления. Одновременно текст фиксируется на широкой ленте — для контроля.

На дисплее та же картинка, только силуэт судна на этот раз в центре, а треугольничек «точки», то есть устья скважины, — прямо в середине силуэта. Словом, имитатор-тренажер создает такую ситуацию, при которой буровое судно находится в море и бурит скважину. С земной твердью оно соединено лишь бурильными трубами.

— Что же, — спрашиваю Захарова, — когда начнем?

— Начали давно, — отвечает он и щелкает тумблером.

Теперь масштаб изображений уменьшен в десять раз, и, соответственно, все движения судна на дисплее смотрятся словно через сильное увеличительное стекло. Да! Оно движется! Но как! Короткий, в полтора метра длиной (!), галс в результате дрейфа, и тут же — полтора метра вперед. Чуть влево отклоняется нос судна, и тотчас винты носовых подруливающих устройств двигают нос в обратном направлении. Ви-

димо, ветер на какие-то секунды чуть ослабляет свой напор, и судно начинает выдвигаться вперед, но сразу же замирает на месте и подается назад. И так далее. Маневрирование ну прямо-таки ювелирного свойства, вот что это такое, динамическое позиционирование! И не зря же эта сложнейшая система из трех ЭВМ (одна работает, другая в резерве, а третья — на контроле той, что работает) и до двигателей подруливания оценивается в 50 процентов общей стоимости судна.

— Но все-таки для чего тогда органы ручного управления системой «дипи»? — спрашиваю я Захарова.

Тот слегка пожимает плечами:

— Если штиль, если судно подходит издалека к точке, то можно управлять вручную. Для этого у нас в штатном расписании есть такая должность: штурман-оператор. А если идет бурение, если судно стоит на точке, то не только в непогоду, но и при спокойном море вести динамическое позиционирование человек практически не может.

Я задумываюсь. Мой спутник прерывает молчание:

— Ходят на морях слухи, будто в мире есть два «ювелира», которые обладают таким искусством: один американец и один норвежец. Только я думаю, это байки вроде морских драконов или Летучего голландца.

— А если откажет компьютер?

Захаров размышляет:

— Ну, во-первых, буровики могут произвести мгновенное отсоединение от скважины и можно уходить. Но дело не в том. Вы неправильно задаете вопрос: «А если откажет компьютер?» Система такова, что ни один узел в ней отказать не должен. Не говоря уже о том, что мы здесь для того, чтобы все было в порядке. Понимаете?

По правде говоря, я не очень понял тогда, что он хотел этим сказать, но проведя на «Муравленко» несколько дней, осознал смысл сказанного. Это судно, эта техника была на целую ступень выше, чем на «Шельфе». Там, на полупогружной установке, прочно прикованной к дну моря восемью якорями, многое оставалось для непосредственного вмешательства человека. А здесь иное. Здесь основная задача — стоять на точке в открытом море, несмотря на ураганы, циквалы, течения, волны. И здесь задача просто выше природных возможностей человека. И потому человек вынужден полностью довериться машине. Отстранен человек? Совсем нет, даже более того: и ответственность его и сложность работы намного возросли. Трудно привыкнуть к такому. Ведь даже в космосе можно перейти на ручное управление! Что же это значит? Видимо, начинается та самая эра, которую давно освоили фантасты — эра роботов, искусственных интеллектов, нечеловеческих машинных возможностей. Поэтому не по себе становится от мысли, что в важнейшем, жизненно важном деле командование приходится уступать машине.

И все же интереснее всего — люди. Любопытно, как чувствуют себя на таком судне люди. Вот Эдуард Петрович Захаров. Сравнительно молодой человек, закончил два института, причем обе его специальности такие мудреные, что и не повторить. «Муравленко» всего два месяца назад принят от завода его экипажем. Так что всем, от капитана до кока, здесь все новое. Захаров, человек с большим опытом работы с компьютерами в различных условиях, пришел на судно из вычислительного центра гидрометеослужбы, но здесь он чувствует себя — как бы это поточнее сказать — как молодежь, справляющий медовый месяц. У меня даже не возникло желания спрашивать его: «Нравится?» — настолько все было очевидно.

А начальник буровой установки (он здесь второе лицо после капитана-директора) Владимир Иванович Герасимов являет собой соединение различных эмоций. Это и счастливое изумление великому счастью, выпавшему ему, и беспрекословное беспокойство по поводу того, чтобы ничего не упустить, не забыть и — вовремя забуриться.

Оборудование устья — самая «нежная» часть всей работы буровиков. На глубину сотен метров спускают многотонные блоки, которые должны соединиться с абсолютной точностью. Это единственный период — несколько дней во всем рабочем цикле бурения, — когда позарез нужна хорошая погода. А вообще буровые суда этого типа не боятся ни штормов, ни встреч с арктическими льдами!

Герасимов удивительно «органично сделан». Нефтяник-разведчик-полярник по опыту и практике работы. Богатырь с громовым баритоном. И еще — очень добрый,

отзывчивый, как говорят теперь — коммуникабельный. Я сказал ему, что если напишу пьесу про морских добытчиков, то попрошу пригласить на главную роль его. В театре есть амплуа — социальный герой. Герасимов — классический, эталонный, я бы сказал, социальный герой. Он со своими буровиками непрерывно трудится в вышке, в многочисленных цехах, прокручивает механизмы, проверяет готовность людей и машин, днем и ночью репетирует это и очень недоволен тем, что мы до сих пор стоим у стенки, до сих пор не ушли в море.

А моряки пропадают на берегу. И капитан, и два старпома (здесь ведь два дублирующих экипажа), и механики. Они стараются за оставшиеся дни до выхода в море раздобыть и выбить все необходимое. Берег заранее готовился к встрече буровых судов. Трест «Арктикморнефтегазразведка» ждал эскадру небывалых кораблей, но многое предусмотреть все же не успели. Я вместе со всеми на судне ругаю берег за то, что нет специально оборудованной гавани, нет вспомогательных судов снабжения, не решен вопрос со сменой вахт при работе в океане (бурят они очень далеко от берегов, вертолетом лететь опасно, а пассажирское судно, да и любое другое при швартовке могут сбить с «точки»). А потом на досуге соображаю: многое из того, чего нет, и предусмотреть было невозможно. Приход эскадры буровых судов в Арктику можно приравнять к маленькой технической революции. И тут всем приходится крутиться.

..Сижу в каюте капитана, виноват, капитана-директора (он еще и сам не привык к новой для себя «добавке»), беседую.

Капитан похож... на кого же он похож со своей модной прической, тонким интеллигентным лицом? Пожалуй, на героя какого-то научно-фантастического романа. Впрочем, капитан Дмитрий Вячеславович Дубасов, во-первых, потомственный полярный капитан, во-вторых, бывалый, заслуженный моряк, хотя человек он далеко не старый, скорее даже молодой. (Впрочем, мне с моей пятидесятилетней точки зрения многие кажутся молодыми.) Он не только полярный, но и «кругосветный» капитан, и потому я спрашиваю его, как он решил променять вольные скитания по морям-океанам на столь необычное плавание на «точке»? Капитан долго молчит и улыбается. Это у него такой прием в беседе: паузы у него очень многозначительны и растолковываются по-разному.

— Если скажу, что мне интересно, не поверите? — наконец отвечает он.

— Сколько стоит ваш «интерес»?

Кажется, он понимает мой вопрос, отвечает точно и быстро:

— Пятьсот рублей. Раньше я получал тысячу в месяц, теперь — пятьсот.

— А остальные все, как и вы, пришли «из интереса»?

Капитан немного думает, отвечает опять точно и кратко:

— Нет, разумеется, не все. Рыбаки, например, уходят на полгода, а то и больше, в море. А это хорошо только в молодости и еще... в красивых романах. Многих привлекает, что у нас полмесяца в море, а полмесяца дома. За это стоит «заплатить».

— Что, по-вашему, самое трудное для экипажа в данный момент? Снабжение?

Капитан пренебрежительно машет рукой:

— Снабжение... справимся! Друзей в Мурманске хватает. Понимают... — А потом неожиданно заканчивает: — Петь люди хором на судне не умеют, вот что плохо!

Он говорит очень серьезно, а я еще не «усек» границ его юмора.

— По утрам вместо физзарядки хочу ввести хоровое разучивание песен, — поясняет капитан, — начнем с песни, знаете: «Экипаж — одна семья!» Вот оно что!

— Значит, не умеют петь, говорите?

— Я не говорю не умеют петь. Наоборот, все тут у нас солисты, все народные и заслуженные... Вы же знаете, как у вас в столицах бьются режиссеры в театрах, чтобы заставить маститых в массовках выходить по заветам Константина Сергеевича?..

Ишь ты, куда загнул капитан! Молчим. У него какой-то шикарный чайник: вместо крышки сетчатый стаканчик, куда он насыпает чай, и сразу готов ароматный напиток. Он тоже любит побольше сахара, мне это нравится, а то меня все укоряют, мол, будет склероз или еще там всякая всячина...

— Трудно на судне потому, что буровики наши — асы первостатейные — привыкли: все и всё для них. А мастера ГВК у нас такие, что любому чемпиону-глубо-

ководнику нос утрут. И тоже своих амбиций хватает. А диписты — сами видели — академики, считают — без них судно вообще не судно. А моряки? Ведь сюда, между прочим, по согласованию с Москвой самых лучших отбирали. Моряки-то ведь здесь естественные хозяева. Кому же им уступать?! Вы вот, например, спрашивали Герасимова, кто они здесь?

— Спрашивал. Говорит — разведчики.

Капитан долго молчит. Наливаем по второму разу.

— А вы что ему сказали?

— А я сказал, что все вы тут моряки.

Капитан поднимает голову, смотрит на меня:

— Верно. Все, кто работает в море: рыбаки, ученые, а теперь вот — разведчики недр, — все моряки. И это должны понимать и там, в Москве, и у нас здесь, в тресте, и прежде всего на судне. И, между прочим, зарплату из одного кармана получать должны.

Молчим. Пьем чай. Капитан неожиданно смеется:

— А в общем, вы все это не берите в голову. Ведь мы же тут всего два месяца. До первого серьезного выхода на точку. А там, знаете, как грянем, что твоя филармония: «Экипаж — одна семья!»

В нашу беседу вклинивается резкий голос громкоговорящей связи:

— Через сорок минут уходим на открытый рейд. Экипажу — по местам стоять!

— Вот и кончилась наша береговая жизнь! — улыбается капитан. — Пойдем с нами в море — книжку напишете! — заманивает он.

А потом прибегает Герасимов:

— Непременно прилетайте, когда начнем забуриваться, сами увидите все этапы стыковки!

Захаров на прощание принес мне целую кипу проспектов и фотографий, на которых было все, все про «дипи».

Юный геолог Дима Кобушко всунул московский адрес: у него мама в Чертанове. А старпом Шамиль Абдуллин мигом составил список всех претензий по снабжению, обеспечению, организации: «Вам как журналисту пригодится...»

Сколько же за эти дни появилось у меня друзей на «Викторе Муравленко»!..

Сходил по трапу на пирс и физически чувствовал, как частица моего сердца остается там, на корабле. Ведь они уходили работать туда, где сорок лет назад на углу суденышке с двумя пушками на носу и корме, гордо именуемом «СКР-80», я начинал свою службу на флоте.

Начало

В кабинете начальника Главморнефтегаза Станислава Ивановича Юдина на стене удивительная карта. Кроме всего, что мы видим на обычной физической карте мира, на ней изображены моря и океаны так, словно по волшебному велению из них ментально исчезла вода. Грандиозные, поражающие наше воображение горные районы, протянувшиеся на многие десятки тысяч километров в срединных частях ложа океанов. Гигантские разломы, рассекающие в продольном направлении гребни срединно-океанических хребтов. Глубочайшие впадины, соседствующие с горными вершинами. Равнины, размерами превышающие материк и кажущиеся бескрайними. И еще многие другие совершенно не свойственные сухопутному рельефу образования. Вот она — таинственная «планета Океан»!

В ходе нашего разговора мой собеседник тоже часто поглядывает на стену. Только думает при этом он, очевидно, совсем об ином. Пока его интересы сосредоточены на сравнительно небольшой прибрежной полосе «планеты Океан». Но не боясь оказаться плохим пророком, наблюдая темпы и тенденции, я уверен, что через десять лет люди перейдут на материковый склон, а затем и на бескрайние абиссальные равнины, на глубины в несколько километров.

— Словом, взялись мы за шельфы всерьез, — говорит он, — по-нашенски, по-социалистически. Можете не спрашивать, где ведем работы — всюду: в Арктике, на Дальнем Востоке, на юге, на западе. Технику нашу сами видели: имеем, так сказать, все виды оружия. А организационно: создали на всех морях объединения, естественно, со своими особенностями в каждом регионе.

— И все это за три года?

— И все это за три года. Да добавьте полвека каспийского опыта Азербайджан, Каспий для нас и полигон, и академия, и — сегодня — основное направление глубоководной добычи нефти и газа.

— Значит, пришло время уходить в море? Значит, правда, что нефть на суше на исходе?

— Никогда так не считал и не считаю. Судите сами: Баку за всю историю нефтедобычи дал миллиард тонн. А в пластах осталась еще нефть. Пока не умеем взять. Открытие шельфовых месторождений позволит нашей экономике более гибко маневрировать силами и средствами. Скажем, выгодно в данный период — берем сырье из Западной Сибири. Изменится экономическая ситуация — перенесем основное внимание на шельфы. Станет выгодно в обозримом будущем — возвратимся к старым пластам в Баку, но уже с новой техникой извлечения нефти...

— Напоминает гамму различных способов получения электроэнергии...

— Вроде этого.

— Ваше дело совершенно новое! Даже имея в виду каспийский опыт. Как вам удалось за такой короткий срок получить небывалую ранее технику, овладеть ею, укомплектовать новые подразделения специалистами уникальных профессий?

— Я же сказал: размах у нас социалистический. А это значит, что на нас работает вся страна. Десятки, сотни заводов, научно-исследовательских институтов и лабораторий многих министерств и ведомств трудятся над реализацией наших программ. Кроме того, мы развиваем научно-технические связи с фирмами и компаниями многих стран мира. И мы идем на такое сотрудничество со всеми, кто за взаимовыгодные отношения.

— В какой степени используется опыт других государств?

— Мы приобретаем некоторые виды техники, используем методику разведочных работ. Однако надо помнить, что принципы освоения богатств океанского дна у нас и у западных государств различные. Разумеется, создание морской добывающей промышленности — новый крупный шаг в развитии нашего народного хозяйства, однако и научно-исследовательская работа и вся наша каспийская практика планомерно и последовательно подготавливали каждый новый этап. На Западе массовый выход на шельфы носил характер «золотой лихорадки» минувшего века. Ну а если говорить об условиях, в которых разворачиваются события нынешней «нефтяной лихорадки», то картина эта — классическая иллюстрация к политэкономии капитализма.

С невероятной скоростью рождалась новая техника, новая технология, совершенно новая морская горная промышленность. Возникали и лопались, как мыльные пузыри, компании по разведке и разработке вновь открытых богатств, появлялись мультимиллионеры, неистовствовала реклама. Все это, так сказать, фон. А по существу, происходило и происходит следующее: монополистический капитал прибирал к рукам морские богатства. Беспощадно уничтожал мелкие компании. Вел жестокие эксперименты «на выживаемость» с новой техникой. И, конечно же, за все издержки такого способа производства приходилось расплачиваться тем, кто непосредственно своими руками работал в море. В печальном перечне погибших буровых установок, как стационарных, так и подвижных, плавучих, уже не одно название, а в списках рабочих, отдавших жизни в этой гонке за большую нефть и большие прибыли, не одна сотня людей. Условия работы в море крайне тяжелы. Двенадцати-пятнадцатичасовой трудовой день выжимает у людей все силы. И как результат — частые травмы и увечья.

Положение лучше всего сформулировал один рабочий морских промыслов в беседе с журналистом: «Эти проклятые острова, порожденные техническим прогрессом, — настоящие плавучие каторги... Последние дни контракта там считаешь по часам и минутам, точно заключенный в тюрьме».

— У нас в море люди работают на промыслах тоже в трудных условиях. Имя одного из первооткрывателей Нефтяных Камней мастера Михаила Каверочкина, как и двадцати пяти его друзей, погибших в море, знает вся страна. Так что и у нас в море и работа не легче, и жертвы были. И тем не менее нигде и никто за многие годы не сказал мне — журналисту, что морские промыслы — каторга. Парадокс в том, что в самых трудных местах я встречал людей, влюбленных в свое дело.

— Помнится, как-то бакинцы мне рассказывали. Много лет назад, когда не было

еще «бума Северного моря», начиналась добыча на Нефтяных Камнях, приехал в Баку крупный американский нефтепромышленник. Показали ему наш нефтяной город в море, показали все без утайки. Осмотрел этот опытный бизнесмен все, до всего докопался, обо всем расспросил. А потом задумался. Поинтересовались, о чем, мол, «задумался детина»? А он и ответил: «Построить такой город в море я сумею: и денег и техники хватит. Но сколько я должен платить за страх? Этого я пока не знаю. Об этом и размышляю». Под словом «страх» этот делец подразумевал и опасности, и трудности работы в море и уже прикидывал, сколько надо платить. В конце концов он нашел ответ на свой вопрос, и, как видите, у них — западных капиталистов — морская добыча развивается. Только вот наши рабочие говорят про любовь, а у них про каторгу. Кстати имейте в виду: на морских промыслах рабочие у них получают немалые (по сравнению с сушей) деньги.

Мне кажется, что в крупных делах, требующих от человека полной отдачи, деньги «работают» плохо. Он все-таки был прав, тот американский делец: «страх» не купишь. А если и купишь, то ненадежная это покупка. В крупных делах действует такая странная в экономике штука, как любовь. К делу, к морю, к родине.

Человеку свойственно много трудиться. Это же не зря сказано, что труд сделал человека. И потому чем больше отдача в труде, чем отчетливее результаты труда, тем больше чувство удовлетворения испытывает сам человек. Это норма. Это наша самая сокровенная сущность, сложившаяся за миллионы лет эволюции. И это наша советская норма жизни и труда.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ЩЕКИН-КРОВОТА

★

СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА

Роберт Рафаилович Фальк (1886-1958) принадлежит к поколению художников, тесно связанных в своем творчестве с русской культурой начала XX века. Здесь нет необходимости говорить о сложности и противоречиях в творческом развитии художников этого поколения. Каждый из них за десятилетия советской власти претерпел сложную и плодотворную эволюцию.

Творчество Фалька не могло не зависеть от того, что совершалось вокруг него в искусстве в послереволюционные годы. Но решающее значение имели его собственное отношение к миру, его убеждения и привязанности, его мастерство, ставшее неотъемлемой частью его личности.

Жизнь Роберта Фалька во многом схожа с жизнью многих русских художников первой половины нашего века. Только годы учения и странствий у него затянулись, а годы признания быстро пролетели. В последний период жизни на плечи художника легло одиночество, что, впрочем, не мешало ему плодотворно трудиться до самой смерти.

Своим высоким мастерством Фальк во многом обязан французской школе. И все же его никогда не покидало сознание своей принадлежности к русской культуре, ему были близки ее глубина и искренность, стремление в искусстве решать большие вопросы бытия и духовной жизни человека. В его живописи самое главное не то, как ложатся на холст мазки и цветовые пятна (хотя известно, сколько труда положил он на то, чтобы их подчинить своей воле). Главное — это то, как они таинственно преобразуются в признаки духовного величия человека, каким образом мы, свидетели этого превращения, приобщаемся через них к самым высоким ценностям искусства.

Те, кому уже после смерти художника удалось побывать в его мансарде в большом кирпичном доме на набережной Москвы-реки, погрузиться в мир его живописи, выслушать волнующий рассказ о нем его вдовы А. В. Щекин-Кротовой, обычно уходили, покоренные ощущением, что соприкоснулись с чем-то светлым и большим. Здесь же нам предстоит познакомиться с бесхитростными и искренними воспоминаниями Ангелины Васильевны о жизни этого замечательного художника.

Мемуарный жанр всегда таит в себе некоторую опасность: тот, кто пишет воспоминания, по мере углубления в прошлое легко заменяет свой объект собою. Надо быть чрезвычайно преданным своему предмету, чтобы не заслонить его собой, чтобы постараться слиться с ним, раствориться в нем, оставив себя в тени. В идеальном варианте автор воспоминаний выступает как медиум своего героя, как воскреситель времени, со-бытий и обстоятельств.

Именно таким вариантом и являются воспоминания Ангелины Васильевны Щекин-Кротовой. Со времени смерти Фалька прошло четверть столетия. За этот период со-бытия прошлых лет не только не сгладились в памяти мемуариста, а, наоборот, обострились, как бы прояснились, выстроились в ясную перспективу. Произошло это потому, что автор воспоминаний все прошедшие годы жила этой памятью, была занята наследием художника, приведением в порядок оставшихся от него произведений, составлением каталога, распределением картин по различным музеям. Судьба Фалька-художника как бы получила свое продолжение после физической его смерти.

А. В. Щекин-Кротова прожила вместе с Р. Р. Фальком двадцать лет: с конца 30-х годов, когда художник вернулся в Москву из Парижа, до 1958 года — времени его смерти. Воспоминания об этих годах оказываются поэтому наиболее достоверными и

приобретают характер первоисточника. Что касается предшествующих периодов жизни и творчества художника, то здесь мы имеем как бы воспоминания о воспоминаниях. Фальк много рассказывал жене о детстве, о годах обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о бурных событиях в период создания общества «Бубновый валет», о деятельности художников в годы революции, о ВХУТЕМАСе и, наконец, о своем десятилетнем пребывании в Париже. А. В. Шекин-Кротова эти разделы своих мемуаров постаралась подкрепить разного рода документами — свидетельствами других лиц, письмами мужа, записями его лекций, когда-то прочитанных и исправленных автором, рассказами учеников. В результате складывается целостный образ человека, художника, педагога. Фальк предстает перед нами мудрым и простодушным, простым и сложным, добрым, но непримиримым. Он погружен в свои творческие проблемы. Но творчество для него не просто отвлеченная игра формами. За каждым движением кисти стоит отношение к человеку, природе, вещам — к миру. В постоянном общении с ним, в общении, необходимом ему как дыханию, художник постигает первоосновы этого мира, сущность человеческого бытия.

Автор не ставит перед собой искусствоведческой задачи — не разбирает картины, не сопоставляет художника с другими мастерами, работавшими в то же время. Но для понимания творчества мастера свидетельства живого наблюдателя могут подчас дать больше, чем критическое исследование. Фалька очень многие любители искусства понимают и принимают без всякой подсказки критика. А когда перед зрителем вырисовывается живой Фальк, искусство его становится еще ближе и понятней. Именно в этом достоинства воспоминаний А. В. Шекин-Кротовой.

М. АЛПАТОВ,
академик.

Первые встречи

Когда в 1938 году Фальк приехал в Москву из Парижа, прожив там без малого десять лет, многие, в том числе и я, забыли о его существовании. Картины его не висели на стенах музеев, о нем не писали в журналах. Откровенно говоря, я даже думала, что он давно умер.

Я работала тогда в изосекторе Центрального дома художественного воспитания детей. Художники, занимавшиеся с ребятами в кружках и студиях, — в большинстве своем бывшие вхутейновки, ученицы Фалька, — взволнованно заговорили между собой о приезде художника. А вскоре я увидела и его самого. Он приехал по приглашению своих бывших учениц со своим другом А. Б. Юмашевым посмотреть работы детей. На моей обязанности лежало, между прочим, показывать посетителям нашу постоянную выставку детского творчества. Я сначала и не поняла, что на этот раз посетители были особые. И никак не ожидала, что этот атлетического сложения человек с серьезным добрым лицом и синими детскими глазами, в прекрасно сшитом просторном костюме — Фальк. Я представляла его совсем иным: нервным, изможденным. А приветливый красавец Юмашев держался так непринужденно и просто, так послушно внимал тихим словам своего старшего спутника, что я не могла и подумать, что это тот самый герой летчик, слава которого гремела тогда по всему миру. И лишь когда они расписались в нашей книге гостей, я поняла, кто это был.

Весной 1939 года в Доме писателей на улице Воровского открылась небольшая выставка парижских работ Фалька. Не было ни афиш, ни сообщений в прессе. Я узнала о ней от своих товарищей по работе, пошла и... стала ходить туда каждый день сразу после работы.

В последний день перед закрытием выставки ко мне подошел Фальк: «Я часто вижу вас здесь. Вам нравятся мои картины?» «Не то... Я их будто бы давно знала, во сне их видела», — пыталась объяснить я мои впечатления. Фальк смущенно улыбнулся и пригласил меня посетить его мастерскую. Долго не решалась я воспользоваться этим приглашением. Все раздумывала: почему мне так близки и необходимы картины Фалька? Гармония и тревога? Дыхание нашего века и классическое мастерство? И главное — очень индивидуально, очень по-своему. Это как в музыке. Можно преклоняться перед Бахом и Моцартом, они вошли в состав нашей души, но уже невозможно жить без Прокофьева и Шостаковича — они задевают в нас такие струны, которые именно сегодня отвечают их музыке. Нет, мне казалось навязчивым врываться в мастерскую такого художника. Помог случай. Встретились в концерте.

Давали «Реквием» Моцарта Я увидела художника в толпе, по-видимому, у него был только входной билет, потому что он не садился, а выжидал, когда все рассядутся, и искал глазами свободное место. Я была с моей приятельницей и ее дочерью. Мы тихо посоветовались, я втиснулась с девочкой на один стул (тогда я была тоненькой) и предложила Фальку освободившееся место. Он слушал музыку, как пьют жаждущие воду, — неотрывно, взахлеб. Исполнение было неважное, но видно было, что Фальку достаточно лишь напоминания — он слушал музыку внутри себя, весь погруженный в нее. По окончании концерта попросил разрешения проводить меня. Постепенно мы разговорились. Оказалось, что вкусы наши во многом очень сходятся: оба любили Моцарта больше, чем Бетховена, Донателло больше, чем Микеланджело. Оба превыше всего ценили Баха, Рембрандта и Сезанна.

Фальк пригласил меня к себе на воскресенье. Мастерская его помещалась под самой крышей кирпичного дома на берегу Москвы-реки. Красные стены его были изукрашены яркими изразцовыми панно на сказочные темы, и сам дом напоминал причудливый неуклюжий терем. Я поднялась по широкой парадной лестнице на четвертый этаж, на дубовой двери висело объявление Студии. Пройдя в длинный коридор, заставленный старыми рамами, бочками с глиной, подрамниками. Узкая винтовая железная лестница вела в мастерскую. Подымалась я по ней с душевным трепетом и каким-то страхом. Фальк встретил меня на пороге огромного помещения, именуемого мансардой. На первый взгляд мне оно показалось совсем пустым, но потом я разглядела в мутном свете, падающем сквозь пыльные стекла окон в откосе крыши, штабеля картин, составленных лицом к стене, и кучи ненатянутых холстов на полу. В маленькое окошечко в углу виден был, как в раме, пейзаж: зубчатые стены Кремля, золотые маковки соборов, белая свеча Ивана Великого и излучина Москвы-реки. Мебели в комнате почти что и не было: стол для предметов живописного ремесла: этюдник, тюбики с красками, кисти, банки. Но убожества не было, так как не было быта, а только самое-самое необходимое. На белой стене японская гравюра, красивая льняная ткань на матрасе, букет полевых цветов в кринке на хромоногом шкафчике. Фальк усадил меня в кресло и молча стал ставить на мольберт картину за картиной. Много, долго, пока не стемнело. Это было прекрасно!

Я стала частым гостем в этой мастерской, а вскоре и совсем осталась там жить вместе с Фальком, и прожили мы там почти двадцать лет, до самой его смерти.

Фальк очень любил показывать мне свои работы, рассказывать долгую и сложную повесть своей жизни. И вот теперь мне кажется, что знакома я с ним чуть ли не со дня его рождения.

После его смерти я принялась приводить в порядок его наследие. Друзья помогали мне в этом. С помощью Д. В. Сарабьянова, написавшего большую монографию о Фальке, вышедшую в Дрездене в 1974 году, мне удалось установить даты создания произведений, распределить их по периодам. А потом стала изучать художественную критику 10-х, 20-х и 30-х годов, зарылась в документацию. Моя встреча с Фальком не кончилась с его смертью, она будет длиться до последнего дня моей жизни.

Первые шаги

Фальк родился в 1886 году 27 октября. Родители его были интеллигентные и, кажется, довольно обеспеченные люди. Отец — присяжный поверенный и, кроме того, известный шахматист. У Фалька было два брата: Владимир, моложе его на один год, и Эммануил, «маленький», любимец матери, родившийся через двенадцать лет после первого ребенка.

Родители говорили по-немецки, так как дедушка был выходцем из Курляндии (теперь Латвия). Дети посещали московскую Петер-Пауль-школе, реальное училище, где все предметы преподавались на немецком языке, и знания там давались солидные. Однако Фальк с отвращением вспоминал жестокую муштру и дисциплину, царившие в училище. Несмотря на то, что семья ни в чем не нуждалась, старшие сыновья воспитывались в черном теле, им прививали с раннего детства спартанские навыки и правила скрупулезной экономии. Уютно было мальчику лишь в кухне, где жила кухарка, которую он очень любил.

Уезжая с родителями летом на курорт, он непременно зарисовывал все впечатления в тетрадь, «рисовальный дневник», чтобы потом все подробно рассказать своей

подружке. Ему очень нравился ее уголок в кухне за печкой, где стояла кровать, покрытая пестрым стеганым лоскутным одеялом, и сундучок, в котором она хранила свое нехитрое имущество. На внутренней стороне крышки сундука были наклеены яркие лубочные картинки, обертки от душистого мыла, рекламные этикетки. Мальчик с удовольствием их разглядывал. Фальк рассказывал, что «кухарке был обязан первыми эстетическими впечатлениями», так как ничего столь красивого и яркого в квартире родителей не было — обычная обстановка буржуазной семьи, «все как у людей», «как принято в обществе».

В 1903 году Фальк оканчивает реальное училище и готовится поступать в консерваторию. Его преподавательница возлагала на него большие надежды и разрыдалась, когда узнала, что Роби изменил музыке ради живописи и будет поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества. Вот что пишет Фальк в краткой автобиографии: «...летом 1903 года мне подарили масляные краски, и я снова страстно увлекся живописью. По целым дням я проводил со своим этюдником где-нибудь у пруда, на солнечной полянке леса, на огороде у плетня, с необыкновенным старанием я старался передать все подробности полюбившегося мне пейзажа. Это был, может быть, единственный счастливый период, когда я был вполне доволен своими произведениями. Я решил бросить совсем музыку и стать во что бы то ни стало художником». Это решение отнюдь не обрадовало родителей. Они мечтали о какой-нибудь солидной, уважаемой профессии для старшего сына: адвокат, доктор, даже зубной врач, на худой конец музыкант, но уж никак не художник! Это не карьера, это голодная жизнь, без всякого порядка, без определенного заработка. Одним словом — богема!

Фальк рассказывал мне: он так радовался, когда прошел по конкурсу одним из первых, что ходил по улицам и пел: «Я принят! Я принят! Я принят!» Это было в 1905 году. Передо мной лежат сейчас письма Роберта брату Владимиру. Они как раз относятся ко времени поступления в училище и первого года обучения в нем. Владимир учился тогда в Дерпте, письма написаны по-немецки, я перевожу их здесь на русский язык. «Ну, наконец пишу я тебе, что я теперь окончательно решил стать художником. Родители говорят мне, что я будто бы мало одарен к этой профессии, но я думаю, что можно всего добиться, если для этого есть основание».

И в следующем письме: «В училище живописи профессор Серов открывает свою мастерскую. Быть может, мне удастся поступить туда, тогда я буду учеником лучшего художника России». И наконец: «Я выдержал экзамен... Когда я пошел на экзамен, у меня было мало надежды пройти. Всего 9 мест на 35 экзаменующихся...»

Затем следуют письма, рисующие интересы и занятия молодого студента — Фальку было в то время девятнадцать — двадцать лет:

«Я сейчас занят подготовкой к выставке. Я приглашен принять участие в выставке, куда имеют доступ лишь самые левые художники», «Перевожу на русский язык для журнала, который хочет издавать группа студентов, в том числе и я, и помещать в нем статьи о современных художниках — Ван Гог, Сезанне, Гогене и др...», «У нас в училище я организовал мастерскую, где студенты работают одни, без профессора. У нас полная свобода...»

Основными своими учителями Фальк считал Серова и Коровина. Он с большой теплотой говорил о них, особенно о К. А. Коровине. Серов был замкнутый, суровый учитель. Говорил очень лаконично, делал на первый взгляд загадочные замечания, например: «Пяточку точишь? (Ученику, рисующему живую обнаженную натуру.) Ну точи, точи». И вдруг сердито бросал: «Когда пятку рисуешь, то в глаз надо смотреть!» «Это он хотел заставить нас думать, чтобы поняли — надо исходить в деталях от целого», — разъяснял мне Фальк. Перед Серовым, по словам Фалька, трепетали. Он был очень требователен не только к другим, но и к себе, занятия проводил педантично и часто бывал хмурым, недовольным. А вот Коровин совсем наоборот — никакого педантизма, давал ученикам полную свободу. Бывало, придет в пасмурный осенний день, рассказывал Фальк, по стеклам давно не мытых окон в мастерской текут мутные струи дождя. «Господа, бросьте писать — разве можно видеть цвет в такой темноте?» И садился на подоконник, охватывал руками колени, поеживался зябко, накидывал на плечи какую-то заячью пелеринку и начинал рассказывать. О Париже, его бульварах, кафе, цветущих каштанах. Или о рыбной ловле, охоте под Москвой. Или о своих друзьях-художниках в России и во Франции. «Если верить Сезанну,

что основное качество художника — чувство искусства, то Константин Алексеевич развивал в нас своими беседами это чувство постоянно», — говорил Фальк.

Уже с 1906 года Фальк участвует не только в ученических выставках, с 1908 года — в передвижных (Товарищества передвижных выставок) и в 1909 году в Салоне «Золотое руно», где выставки устраивал одноименный журнал, орган символизма. Е. С. Потехина, его соученица, на которой он женился еще в стенах училища, тоже выставляет там свои картины. Судя по сохранившимся в архиве документам, оба в 1909 и 1910 годах преподают рисование в школах. Родители им не помогают.

Поиск своего пути

В конце 1910 — начале 1911 года молодые художники, охваченные желанием создать художественное содружество, бросающее вызов канонам академического искусства, эстетизму и символизму, объединились под вызывающим, эпатазирующим названием «Бубновый валет». Членами-учредителями в него вошли Лентулов, Кончаловский, Куприн, Рождественский, Машков, Фальк и целый ряд художников, которые впоследствии возглавили различные авангардистские течения. Фальк показывал мне маленькие книжечки-каталоги выставок с изображением игровой карты — бубнового валаета. Там наряду с именами русских можно было прочесть имена зарубежных художников: Пикассо, Глез, Руссо, Синьяк, Делоне, Леже, Матисс, Франц Марк и другие.

Почему «Бубновый валет»? Фальк мне рассказывал: на старых итальянских игральных картах бубновый валет изображался с палитрой в руках — символ молодого художника. Вот он и перекочевал в «герб» объединения. С мягким юмором рассказывал Фальк, как и помещение выставки и сами картины поражали пришедшую на выставку публику, которая привыкла видеть благообразные портреты, пейзажи «с настроением», красивые натюрморты объединения «Союз русских художников» или дворцы и парки, где прогуливаются французские Людовики и русские императрицы художников из «Мира искусства». По воспоминаниям Фалька, первая выставка в конце 1910 года открыта была чуть ли не в каком-то сарае, пол в опилках, картины развешаны без рам, сплошными рядами. У молодого объединения не было средств на более приличное помещение, а публика восприняла это как «пощечину обществу вкусу», как вызов приличиям и традициям. Да так оно, по существу, и было. Поэт и художник Максимилиан Волошин в своей рецензии на первую выставку «Бубнового валаета», состоявшуюся в декабре 1910 — январе 1911 года, писал в «Русской художественной летописи»:

«Еще до своего открытия «Бубновый Валет» одним своим именем вызывал единодушное негодование московских ценителей искусства... Наконец, состоялся вернисаж. Надо отдать справедливость устроителям выставки: они сделали все, чтобы привести в неистовство глаз посетителя. В первой комнате они повесили самые ключие и геометрически-угловатые композиции Такке и Фалька. В средней зале — огромное, как бы программное, полотно Ильи Машкова, изображающее его самого и Петра Кончаловского голыми (в костюме борцов), с великолепными мускулами... На следующий день и в газетах, и на выставке стали появляться статьи и люди, свидетельствующие своими выражениями (как то: шарлатаны, мошенники, подлецы) обо всех степенях иступления... Однако вина «Валетов» вовсе не так велика: они просто вынесли на большую публику интимную обстановку большой мастерской, в которой работает много талантливых и молодых художников... На «Бубновом Валете», конечно, есть много вещей «*rouge épaté*», много наивных подражаний наинновейшим образцам, много неверных теорий, заводящих в живописные тупики, но вместе с тем — много действительной талантливости и «веселого ремесла», а главное — молодости».

На первой же выставке «Бубнового валаета» у Фалька купили картину, кажется, за 300 рублей. Сумма по тем временам не маленькая, но и не столь велика, чтобы путешествовать с полным комфортом. Фальк поехал в Италию. Прошел ее пешком, обедал в придорожных трактирах (тратториях), ночевал в дешевых постоялых дворах (альберго). Зато узнал жизнь народа, увидел достопримечательности страны не по указке гида, а по своему разумению и желанию. Он обошел города Ассизи, Падую, Рим, Орвьето, Пизу, Сиену, Верону, Венецию, Виченцу, Парму, Мантую и Милан. В Италии он ничего не писал, не рисовал, просто наслаждался свободным своим странствием по прекрасным городам, бродил по улицам и переулкам, вдоль кана-

лов, по берегам рек, по голубым холмам. Даже музеи его привлекали менее, чем живая жизнь среди веселого, доброго народа. Ему очень понравились итальянцы, их темперамент, их звучная речь и какая-то легкая беззаботность. Интересно, что мастеров Высокого Возрождения он словно бы, по его словам, там не заметил. Привлек его внимание Джотто своей тяжеловатой простотой и наивностью (ведь это было время бубнововалетских вкусов Фалька). Огромное впечатление произвели мозаики Равенны, и оно осталось у него на всю жизнь, он сам стремился к «драгоценной» живописи и ценил художников, обладающих тайной сияющего цвета: Сезанна, Руо.

Несмотря на полное неприятие широкой публикой искусства бубнововалетцев, они были полны творческой и организаторской энергии. Одна за другой ежегодно следуют выставки не только в Москве, но и в Петербурге. На каждой выставке каждый член общества представляет около десятка новых работ. Постепенно «бубновые валеты» завоевывают если не признание (в печати их продолжают бранить), то, во всяком случае, интерес сведущих зрителей.

Художники. Они были ими до мозга костей, каждый из них — ярко выраженной индивидуальностью, и в то же время их содружество помогало им проявлять свои способности наилучшим образом, искать свой путь в обществе, взаимный обмен не только идей, но и приемов, даже технических рецептов, общность устремлений делала их творчество особенно плодотворным. Они выступают в печати, издают за счет доходов от членских взносов и выставок литографированные альбомы, сборники.

Современник Фалька народный художник СССР Мартирос Сарьян в предисловии к каталогу посмертной выставки произведений Р. Р. Фалька (Москва, 1966) писал: «Несомненно, в критических тенденциях «Бубнового валета» (и других группировок начала века) были явные перехлесты. Но ведь вместе с тем в работах художников, примыкавших к этому объединению, ясно чувствовался великолепный напор жизненных сил, молодой восторг перед красотой мира, стремление найти новый живописный язык, который сумел бы точно и глубоко передать ощущение действительности тех лет, ее волнений и страстей, ее порывов и мечтаний. Крайности впоследствии отпали, а известное обновление средств художественной выразительности было достигнуто. Подобное обновление периодически необходимо искусству, без него оно не может органично развиваться и говорить языком своего времени».

В автобиографии Фальк так характеризует свое творчество времени «Бубнового валета»: «В этот период я любил яркие, контрастные сочетания, обобщенные выразительные контуры, даже подчеркивал их темной краской... В какой-то мере я отдал дань кубизму, многие вещи мои того времени отличаются сдвигами формы. Но это не был логический прием конструктивизма, а я стремился сдвигами форм акцентировать эмоциональную выразительность».

Фальк любил рассказывать об этом времени — молодом, боевом, даже озорном. Основное ядро группы держалось крепко: личная дружба и симпатия, совместные поиски выразительных средств спаяли группу в сильный, яркий коллектив.

В анкете (1926), хранящейся в ЦГАЛИ (Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве), Фальк так характеризует свой творческий путь:

«В период творчества от 1906 по 1918 гг. придерживался ориентации: вначале импрессионистической, затем, через Сезанна — некоторый уклон к кубизму. Техника и форма более или менее обладали признаками, свойственными этим учениям. С последующего момента — 1918 г. — начинается все более резкое отхождение.

В настоящее время интерес к нескольким мастерам старой школы:

- 1) Рембрандт
- 2) Вермеер Дельфтский
- 3) Тициан
- 4) испанцы: а) Веласкес, б) Греко, в) Зурбаран, г) Гойя
- 5) французы: а) Ватто, б) Шарден.

В своем последнем этапе нахожу нужным специфически-технические приемы, так же как и композиционные, не подчеркивать. Считаю нужным, чтоб об их присутствии догадывались бы, но не более».

В автобиографии Фальк пишет:

«Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции я начал активно работать в Народном комиссариате просвещения — я был членом Всероссийской Коллегии изобразительных искусств (то есть организационного центра перестройки

художественной деятельности и профессионального образования на новых социальных основах).

Примерно к этому времени я стал на более реалистические позиции в искусстве».

20-е годы

Когда смотришь официальные документы Фалька 20-х годов, то вырисовывается вполне благополучная картина: профессор живописи с 1918 года (в Свободных мастерских, преобразованных затем во ВХУТЕМАС, потом во ВХУТЕИИ), член коллегии по делам изобразительного искусства при Наркомпросе (1918—1920), действительный член Государственной Академии художественных наук, член Союза работников искусств с момента его основания, декан живописного факультета ВХУТЕИИа (1926—1928). В его мастерскую стремится попасть молодежь, его картины покупаются столичными и периферийными музеями, а также организованным по инициативе А. В. Луначарского Музеем живописной культуры. Фальк непререкаемый участник всех более или менее значительных выставок советского искусства в своей стране и за рубежом. В 1924 году в Третьяковской галерее открывается его персональная ретроспективная выставка, а в 1927 году — выставка его работ 20-х годов в Доме ученых (ЦЕКУБУ). О нем постоянно упоминается в прессе, о нем пишут крупные искусствоведы того времени. Благоприятные отзывы зарубежной печати появляются вслед за выставками советского искусства в Берлине (1923), Венеции (1924 и 1928).

Но это картина чисто внешнего благополучия. На самом деле это годы мучительных поисков, сомнений, колебаний. Не только Фальк, но и его товарищи переживают душевный кризис, пересмотр своих позиций в искусстве.

В моем архиве хранится письмо, написанное, по всей вероятности, в 1922 году А. В. Куприну, который жил тогда в Нижнем Новгороде (ныне Горький). Это письмо чрезвычайно характерно для переломного момента в творчестве Фалька. Оно беспошадно искренне:

«...Я все более и более смотрю назад, к старым мастерам. И мне становится ясно, что искусство последнего времени переживает тяжелую болезнь. У стариков были ощущения реальности, и они реально ощущали: то и другое одинаково важно. О таком «маленьком своем ощущении» говорил Сезанн. От этого у них и является такое совершенство техники. Мы же довольствуемся рваной и случайной техникой ввиду неясности и случайности нашего ощущения. Поэтому для меня не столь важно найти внешнюю сторону картины, как докопаться до того, для чего и почему я художник. Тогда остальное очень просто наладится. Я считаю, что почти все, что делалось после Сезанна, — эстетизм или скверный модерно-академизм. Мы, Бубновы Валеты, грешны в этом в очень сильной мере. От неясности и слабости наших ощущений и происходит то, что мы все обостренно подчеркиваем сдвигами, мы, так сказать, кнутом себя подхлестываем и заменяем недостаток нашего реального переживания вкусовыми ощущениями, а это мелкое искусство, это эстетизм. Я боюсь, что Вы меня не поймете. Я хочу то сказать, что у нас ослабело восприятие реальностей мира и вместе с тем, конечно, и реальностей их выражения, в данном случае — живописного искусства. Отсюда стремление к отвлеченности, к умственному искусству. Подальше, подальше от переживания — и так докатились до супрематизма. До художников-скопцов в искусстве. Почти все мы делаем хорошие, очень порядочные вещи, но лучше было бы, если бы у нас почаще выходили бы в некотором смысле плохие вещи. Смотрите, до чего ограничена стала область наших художественных эмоций. Мы не пишем, мы не можем писать легкое, прозрачное небо, полевые цветы на лугу, розовую эмаль щек и т. д. без конца. Все превращается в мертвые схемы, выражаемые заранее готовыми рецептами. То есть в нашем искусстве пропала сама душа искусства — его содержание (не сюжет), а осталось одно мертвое тело — его форма».

Сами картины Фалька свидетельствуют об этих новых устремлениях, об этих поисках нового восприятия мира. В конце 10-х и самом начале 20-х годов еще сильны характерные для бубнововалетцев сдвиги формы, преувеличенность масштабов, повышенная интенсивность цвета («Поющие бутылки» в Национальной галерее в Праге, «Береза» в музее «Усадьба Абрамцево», «Девочка в лиловом» в Днепропетровском художественном музее). Но вот уже в 1921 году яркость уступает сдержанному колориту, разрабатывается и укрепляется та живописная система Фалька, ко-

торой он будет следовать до конца своей жизни. Если в 10-е годы бубнововалетцы могли бы повторять за Маяковским: «Бывало — сезон, наш бог — Ван-Гог, другой сезон — Сезанн», то в 20-е годы богом Фалька становится Рембрандт — сложная живопись с ее темным, сумрачным колоритом, сотканным из светоносного цвета, его человечность, его доброта и сложность духовного мира. В картинах Фалька появляется глубокий, многослойный сумрачный колорит, цвет светится изнутри, словно скрытый огонь под пеплом («Обнаженная в кресле», «Лежащая обнаженная», 1922—1923). Жизнь цвета, его фактура, его живые переливы глубоко волнуют Фалька. В его мастерской студентки ВХУТЕМАСа при появлении учителя начинали шептаться: «Цвет, цвет, цвет!» — это они предупреждали друг друга, что строгий учитель вошел в аудиторию. «Цвет, цвет, цвет! Вот еще одно новое понятие, которое вошло в мою жизнь и перевернуло все, что я знала, все, что я называла этим цветом прежде», — записывает в дневнике своем ученица Фалька Р. В. Идельсон в 1920 году.

Художница Е. Е. Рожкова, также ученица ВХУТЕМАСа, вспоминает, что Фальк учил живописи не отвлеченными рассуждениями, а самими натурными постановками, заданиями. Ставил ли он обнаженную модель или натюрморт, все было так гармонично и так активно в цвете, что поневоле глаз настраивался на передачу именно этих цветовых отношений, так как любое отклонение от них, любая неточность цветового пятна или даже мазка воспринимались как фальшивая нота в музыкальной фразе. Фальк строил свои натюрморты чрезвычайно обдуманно, таинство создания постановки происходило на глазах у студентов: профессор подбирал предметы не для бытового правдоподобия или эффектной декоративности. Он то изменял расстановку вещей, то добавлял какой-нибудь предмет, добываясь, чтобы возник гармонический образ реального мира, выраженный через музыку цветовых соотношений. В процессе работы возникали вопросы студентов, объяснения учителя, беседы, то есть «философия живописи» осуществлялась в конкретной работе красками на холсте. Это был трудный, медленный по результатам, но радостный поиск, он поэтизировал ремесло, возвышая его до уровня мастерства, до постижения закономерностей прекрасного реального мира.

Я хорошо помню уроки Фалька молодым художникам в 40-е годы в нашей мастерской. В это время он не был уже таким фанатичным проповедником исключительно цветового видения мира. Он признавал, что прекрасные произведения можно создавать иными пластическими средствами (мелодией линии и ритма, волшебной игрой светотени и т. д.), но сам мог вести учеников только тем путем, которым шел сам.

Художник К. Г. Дорохов в своей книге «Записки художника» пишет о Фальке в его мастерской во ВХУТЕИНе:

«У него была в институте чуть ли не самая интересная мастерская. Здесь писали добротнo и без каких-либо вывертов и фокусов. Едва ли не самым первым из профессоров Фальк начал ставить постановки, отвечающие современности. Портрет стояра за работой, точильщика, натюрморт из индустриальных предметов и другие. Возможно, все это было неглубоко, но желание сделать академические постановки жизненными было налицо.

Тяга в мастерскую Фалька необычайна. Почти каждый из живописцев мечтал к нему попасть, но попасть к нему было не легко. Ежегодно осенью у дверей мастерской Фалька выстраивалась длинная очередь с холстами и палками. Но после просмотра, который Фальк проводил вместе со своими ассистентами, немногие попадали к нему, и все неприятые с горестным видом разбредались по остальным мастерским.

Чем Р. Фальк умел пробудить такое уважение к своей мастерской? Авторитет его, как мне думается, складывался главным образом из следующих вещей. Во-первых, в Третьяковской галерее у Фалька была отдельная комната работ, которые казались нам весьма интересными. Глубокий суровый колорит, тщательно писанные холсты, нежелание прибегать к внешним дешевым эффектам — все это рисовало нам его как серьезного художника. Во-вторых, сам состав мастерской был таким, что на полугодовых студенческих выставках мастерская Фалька выглядела всегда строгой и по-своему реалистической».

В воспоминаниях художников, воспитанников ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, в их устных рассказах и публикациях много говорится о той суровой обстановке, в которой протекала жизнь студентов и профессоров. Во-первых, холод в мастерских, отоп-

ливались помещения железными печурками-ремянками (их называли тогда буржуйками), топили их чем попало, что могли притащить в мастерскую студенты: плаху от забора, доску от развалившейся хибары и т. п.

Из дневника Р. В. Идельсон, ученицы и жены Р. Р. Фалька:

«Большинство работает в валенках и телогрейках. Мастерская большая, много окон. Холодно, очень холодно! От времени до времени выходим в коридор погреться, там теплее, оттого что много народа из разных мастерских. Из мастерской Кончаловского, Машкова, Шевченко, Штеренберга, Лентулова и других. Говорят о живописи, о скульптуре и спорят, спорят без конца...»

Это было удивительное время: голод, скудная еда, рваная обувь, худая одежда — но как будто бы это и не замечалось и такой аскетизм казался тогда естественным. А жизнь была ключом. И я тоже помню, как наполненно и ярко жили мы, школьники 20-х годов. Нас обуревала тяга к знаниям. Нас не удовлетворяли школьные задания, мы организовывали кружки и вечера, ставили спектакли, ходили на диспуты в Политехнический музей.

Как мне довелось слышать впоследствии от художников — учеников Фалька, преподаватели много времени уделяли воспитательной работе со студентами, а попросту говоря, человеческому, не казенному общению с ними. Вот строки воспоминаний С. А. Чуйкова: «Он говорил с нами всегда не как учитель, «натаскивающий» своих учеников, а как художник, как артист. В его мастерской реже слышались речи об анатомии или перспективе, о мазке, пятне или линии, а чаще о красоте, о правде, о характере, о подлинности и искренности».

О том, как ярко протекала жизнь в стенах ВХУТЕМАСа, свидетельствуют воспоминания бывших студентов. К. Г. Дорохов пишет в своей книге, которую я уже цитировала выше:

«Неистощимым весельем и красочностью отличались студенческие вечера тех лет. Почти все, за небольшим исключением, они приурочивались к знаменательным датам и после торжественной части заканчивались концертом. Танцев не было совершенно — «танцулек», как в то время презрительно называли танцы, стены ВХУТЕМАСа не знали. Присутствие на вечерах «под градусом» исключалось.

За все время моего пребывания в институте не было отмечено ни одного случая пьянства, хотя, казалось бы, такие случаи вполне возможны.

Вся наша жизнь протекала на фоне бушующего нэпа: на каждой улице — широкое разветвление пивных, ресторанов и прочих подобных заведений. Но молодежь тех лет как бы имела особый иммунитет, исключаящий пьянство...

Частыми гостями у нас бывали А. Безыменский, М. Голодный, Н. Асеев, С. Кирсанов, И. Уткин, но над всеми возвышался, конечно, В. Маяковский, его успех был не сравним ни с чем.

Году в 1924-м у актеров-чтецов широкое развитие получила новая для того времени форма — литературный монтаж, или, как его называли, «литмонтаж». И одним из зачинателей этого жанра был молодой тогда актер Театра имени Мейерхольда — В. Яхонтов.

Мне было поручено пригласить его на один из студенческих вечеров. Рано утром явился я в театр...

«Что же мне прочесть вхутемасовцам?» — сказал Яхонтов, сразу дав согласие на выступление. Надо сказать, что тогда у нас охотно выступали все, кого мы приглашали.

«Проверю-ка я на вас свою научную работу. Прочту я вам литмонтаж по «Капиталу» Маркса».

И когда прочел, стекла декоративного зала, где проходил вечер, дрожали от рукоплесканий».

Чуткость и внимание преподавателей к своей пастве просто поражают: они входили не только в нужды, но и в настроения своих студентов. Чуйков рассказывает, что профессора Фалька в шутку студенты прозвали доктором за то, что он очень внимательно расспрашивал студентов об их самочувствии. Рожкова вспоминает о том, как Фальк, узнав, как ей трудно работать в мастерской, забитой мольбертами и холстами, давал ей задания на дом и приходил к ней вместе со своей женой Р. В. Идельсон смотреть, как она справилась с ними.

Постепенно, однако, требования времени как-то изменили и состав преподавателей ВХУТЕМАСа, и настроения учащейся молодежи. Все большее влияние при-

обретала АХРР — Ассоциация художников революционной России, созданная для консолидации художников, следовавшая по стопам поздних передвижников. Надо сказать, что АХРР правильно уловила дух и вкус времени. Я не искусствовед и поэтому позволю себе для обоснования моего мнения привести строки из книги Д. В. Сарбабянова «Роберт Фальк»:

«Выставки и их зритель в корне изменились после революции. Масса художников, часто даже не профессиональных, хлынула в выставочные организации, взбодренная общим подъемом. Революция всколыхнула широкие слои населения, выявив повсеместное стремление к участию в культурном и общественном строительстве. Музеи широко распахнули двери перед новым зрителем, который, быть может, до революции никогда не видел подлинной картины и жадно искал в искусстве отражения насущных социальных проблем. В эти годы обозначился резкий водораздел между художниками левых направлений, выражавших революционные идеи языком отвлеченных форм, и художниками, стремившимися быть максимально доходчивыми, понятными широким массам непросвещенного зрителя и прибегавшими к средствам наглядного рассказа о том или ином событии. Широкий успех Ассоциации художников революционной России (АХРР), продолжавших традиции передвижников, заставил многих живописцев пересмотреть свои позиции в искусстве. Фальк, как и его товарищи, также искал новых способов общения со зрителем. В 1924 году А. В. Луначарский писал: «Новые черты в живописи «Бубнового Валета» — переход к углубленному реализму, насыщенному эмоциональностью и психологичностью, обращение к традициям классических мастеров старого западноевропейского искусства, преломленным сквозь призму современности...»

Вероятно, ни Фальк, ни другие художники не искали вот так, напрямую общения со зрителем, но их уже не удовлетворяли поиски и находки прошлых своих лет.

Картины Фалька начала 20-х годов полны живым, энергичным и как бы светящимся изнутри цветом. Сам художник считал свои работы 1922—1923 годов наиболее удачными для того времени, но после 1924 года что-то исчезает из его полотен: какое-то внутреннее напряжение, то, что он называет пафосом, они становятся прозаичнее. В чем причины? — спрашивала я. Причин много: во-первых, громадная усталость от педагогической и административной работы. «Художнику надо иметь свободное время для живописи и, главное, свободную голову от мыслей о ней», — говорил он. А может ли быть свободная голова и свободное время у человека, который ежедневно должен входить утром в класс и просматривать там несколько десятков ученических работ, пусть даже очень талантливых?

Администрирование было не по нем. В 1927 году он надолго и тяжело заболевает, тут, правда, сказались и условия трудных для всех лет революции и гражданской войны. Мне рассказывали Чуйков и Ромадин, что в 1926—1927 годах Фальк так плохо ходил, что они, ученики, провожали его через двор от ВХУТЕМАСа до квартиры и помогали подняться по лестнице на восьмой этаж (этажи старого дома, где потолки недосягаемы и марши лестниц длиннее в два-три раза, чем в наших новых домах). Ко всем этим обстоятельствам следует добавить, что в семейной, то есть личной жизни Фалька, быть может по его вине, возникли тяжелые осложнения, трудная, почти неразрешимая при мягкости его характера ситуация. Но об этом не хочется говорить подробно и тревожить светлые тени усопших, прекрасных людей, горячо любивших и поэтому жестоко мучивших друг друга.

В 1928 году летом Фальк получает отпуск и разрешение выехать с женой Р. В. Идельсон на несколько месяцев за границу «для изучения классического наследия» и с надеждами поправить там вконец расшатавшееся здоровье и устроить выставку своих работ как проверку своих принципов в атмосфере искусства Парижа — этой Мекки живописцев всего света.

Франция. Париж

О Париже Фальк вспоминал очень часто и рассказывал очень много. И не только мне одной, а художникам, друзьям, знакомым, ученикам. Друзья приводили своих друзей, знакомые — знакомых. Всем хотелось посмотреть картины Фалька и послушать его рассказы. Париж в конце 30-х годов и позже казался нам всем другой планетой. Многих интересовали картины Фалька парижского периода (он прожил там около десяти лет), хотя работы последних лет Фалька в Советском Союзе ни-

чуть не хуже, если не лучше парижских: глубже, значительней. Рассказывая об одном и том же, Фальк всегда находил новые краски, новые детали. Он умел видеть, наблюдать и четко, конкретно вспоминать. Что бы он ни говорил: о своем одиночестве в Париже, о трудной жизни художников, об экономическом кризисе 30-х годов в Европе,— все-таки Париж вспоминался как нечто прекрасное, так вспоминают трудную и большую любовь.

После смерти Фалька, спустя некоторое время, дочь его К. Р. Барановская-Фальк передала в мое распоряжение большую пачку писем отца из Парижа, адресованных Марии Борисовне — матери художника и его брату. Получила я письма Фалька и от других корреспондентов. По ним можно проследить год за годом жизнь художника в Париже. Но особенно интересны и колоритны его воспоминания, записанные с его слов мною и тщательно им отредактированные. Он много рассказывал о Париже в лекциях студентам художественных школ, эвакуированных во время войны в Самарканд, куда эвакуировался и сам. «Мой приезд совпал с национальным праздником — днем взятия Бастилии. Как сейчас помню: сумерки, бумажные фонарики и вся улица танцует. Около каждого кафе — лампочки горят, играет оркестрик, иногда просто аккордеонист. Париж меня встретил романтически». Но далее начались деловые хлопоты по устройству выставки. «Жизнь у нас здесь весьма деловая,— пишет он матери.— Заводим знакомства, не простые, а всякие такие, имеющие отношение к будущей выставке. Критики, знакомые критиков, торговцы картинами. С утра к нам приходят люди, которым приходится показывать картины, а после этого выслушивать комплименты... И, как всегда, у меня начинается раздражение против такой жизни. Хочется писать, писать и писать, и чтобы обо всей прозе забыть...»

В марте 1929 года выставка состоялась в галерее Зак и имела определенный успех. Об этом свидетельствуют отзывы как зарубежной, так и советской прессы. Все критики писали о своеобразии колорита и живописной манере художника.

Фальк путешествовал по Бретани, восхищаясь ее суровой, средневековой красотой, побывал на Корсике, проезжал Арль и удивился, что у «Ван Гога он гораздо красивее». Жил в Эксе, «где все наполнено Сезанном». Но больше всего полюбился ему Париж. «...это не город, а целая страна. Кварталы Парижа — это отдельные города, часто совсем не похожие ничем друг на друга. Париж так полюбился мне, что я почти все время во Франции провел в Париже и за 9 лет 13 раз менял квартиру, чтобы пожить в разных городах, то есть в разных кварталах Парижа» (из письма Ж. Кайму, 1956). Он с восхищением рассказывал о природном вкусе парижан, об изяществе и грации женщин, о пластичности, жизнерадостности рабочих, об оживленных, наполненных веселым остроумным народом улицах Парижа. В мастерской Фалька сохранилось много набросков, рисунков, акварелей, которые свидетельствуют о замыслах художника запечатлеть кипучую жизнь великого города. В самом начале 1929 года он пишет матери: «У меня такой хороший вид из окна гостиницы, что всегда жалко отсюда уходить. Очень весело смотреть отсюда. Старинный мост — почти 400 лет тому назад построенный, и так хорош, что по нему тяжелые автобусы ходят; пароходики, подъемные краны, баржи, лодки, рабочие, прачки, угольщики и т. д.! Я написал из окна несколько пейзажей, акварелей, но они, конечно, всего веселого оживления не передают». Кажется, что он стремится слиться с толпой, наполняющей улицы, кафе, быстро, лавки, метро.

...И вместе с тем когда на стареньком мольберте Фальк ставил свои французские пейзажи, они отнюдь не были наполнены весельем и шумом, не блистали огнями. Наоборот: лишь кое-где на тихих улочках возникала одинокая фигурка, по старым арочным мостам не проезжали автобусы, пустынно были элегические набережные Сены и простодушные пейзажи предместий, в них чудилась какая-то несвойственная французскому искусству российская шемпящая тоска, грустная задумчивость, тревога.

«Пишу я почти исключительно улицы Парижа, но не тот Париж, который все любят, знают. Не Большие бульвары, не грандиозные площади, перспективы. Нет, наоборот! — серые, бедные улицы, мрачные дома, пустыри и т. д. И нахожу в этом большую для себя прелесть и поэзию. Мне кажется, что это мой настоящий жанр», — пишет Фальк матери в Москву в середине 30-х годов (такой Париж мы и увидели здесь, на его выставках в Москве).

В книге «Люди, годы, жизнь» читаем у Эренбурга: «Парижей много: мы знаем омывтый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идилический и захоластный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяже-

лый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой».

Работ первых лет его пребывания во Франции—1928 и 1929, даже 1930 — почти не сохранилось. Фальк мне рассказывал, что перед отъездом на родину он очень придирчиво пересмотрел все созданное им и многое уничтожил — сжег в печке мастерской. Привез же он другой Париж, появившийся в его творчестве позднее. Он говорил, что приехал в Париж одной эпохи, эпохи процветания, а уехал из него в эпоху его упадка. Много рассказывал художник о страшном кризисе начала 30-х годов, разразившемся тогда в Европе, о тех последствиях, которые он внес в художественную жизнь Парижа. В каждом его письме домой описание «падения» Парижа. «Здесь, в Западной Европе, по-прежнему продолжается экономический, но, главным образом, моральный кризис. Конечно, это особенно остро отражается во всех областях искусств. У людей все меньше и меньше интереса к «поэзии» жизни, и все больше реагируют они на вопросы, связанные с „прозой“» (письмо к М. Б. Фальк от 11 декабря 1933 года).

Этому же адресату: «...здесь у большинства населения подавленная психика. Если сравнивать то, что было 4 года тому назад, то просто небо и земля. Но это ведь и естественно. Нельзя ведь требовать, чтобы все люди были вроде артистов и художников, которые, как я, например, находят иногда свое удовлетворение в нескольких удачно положенных мазках на холсте».

Как это ни парадоксально, но он находил, что «кризис имел в здешней художественной жизни и некоторые благоприятные последствия. Картины перестали быть объектом той безумной спекуляции, каким еще были 3—4 года тому назад. Поэтому прекратилась деятельность всяких посредников, картинных трестов, абсолютно продажных критиков. Как-то очистилась атмосфера. Сейчас занимаются искусством только фанатики или уж очень обеспеченные люди» (1932).

Именно одиночество, изолированность от каких бы то ни было группировок и направлений, от борьбы мнений дорогих ему друзей, а главное, от забот административного характера позволило ему отключиться от всего, что мешало работе, сосредоточиться, а именно это соответствовало лирико-философскому складу его души. Ведь в Париж Фальк приехал уже вполне сложившимся художником, там он только как бы снова нашел самого себя, об этом он пишет в своих письмах домой. Огромное значение придавал он влиянию на него, на его глаз, прекрасного, гармоничного парижского света. Влажный воздух Парижа, где чувствовалось отдаленное дыхание Атлантического океана, преображал в чудо самые обыкновенные, казалось бы, городские пейзажи.

И как бы ни было Фальку тоскливо в Париже, как бы ни тревожили его заботы о москвичах, но Париж пленил его как художника. Все-таки, все-таки это «праздник, который всегда с тобой».

Когда перечитываешь письма Фалька, то создается впечатление, что он не десять лет, а всего лишь десять дней не был дома. Чуть ли не каждый день он пишет матери, жене, вскоре уехавшей из Парижа. Одиночество... О страшном одиночестве человека в Париже Фальк рассказывал мне часто и говорил, что в Париже «до тебя нет никому дела, никто к тебе не пристает, но никто о тебе и не думает, там можно спокойно подохнуть, и никто этого не заметит». До чего же был счастлив Фальк, когда в 1933 году к нему приехал сын Валерик.

У французов совсем другой обиход, отличный от нашего, русского; к ним нельзя забрести на огонек без предупреждения вечером, без приглашения. Да и вообще у них не принято широко открывать двери дома «для званных и незванных». Они встречаются в кафе, в бистро. Виделся он со своим учителем К. А. Коровиным, с Ильей Эренбургом, иногда с Ларионовым.

Когда в воздухе запахло грозой, приближением войны, художника нестерпимо потянуло домой. Он понял, что если он не вернется домой сейчас, то уж никогда ему, или, во всяком случае, долго, не придется вернуться в Россию. Так говорил он мне, и я понимала его.

В замечательной этюде о творчестве Фалька («Живопись Фалька» в книге «Этюды по всеобщей истории искусств») Михаил Владимирович Алпатов подчеркивает нерасторжимую связь Фалька с русской культурой и ее традициями. «Своим высоким мастерством Фальк во многом обязан французской школе. И все же его

никогда не покидало сознание своей принадлежности к русской культуре... Ему были близки ее глубина и искренность, стремление в искусстве решать большие вопросы бытия и духовной жизни человека».

Возвращение на родину

Фальк уехал в Москву, отказавшись от выгодного предложения: Воллар, один из самых видных маршанов, владелец галереи, предложил ему устроить выставку-распродажу. Подобное же предложение получил художник и от маршанов в Соединенных Штатах. Однако он поспешил оформить свой отъезд на родину, не дождавшись даже результатов своей последней персональной выставки в Париже. Он хотел привезти свои лучшие картины, созданные во Франции, домой. Его выставки в Москве в 1939 году (небольшая в Доме писателей и побольше в Доме работников искусств), которые он рассматривал как творческий отчет о своей зарубежной командировке, прошли чрезвычайно камерно: без прессы, без афиши. Ни в официальных кругах, ни у широкого зрителя они успеха не имели.

«В Москве я часто слышу упреки, что мой Париж «не парижский». У нас представление, что Париж — это бульвары с гуляющей публикой, цветистые огни кафе, веселье так и брызжет. Да, таков был Париж «для иностранцев», в центре, в некоторых кварталах. Да, таков был. А наряду с этим существует другой, трудовой Париж. Рабочие, фабричные районы с темными закопченными домами, каналы с бедной «водяной» жизнью: угольные баржи, пароходики с грузами овощей, лодки. Мне был по душе этот Париж», — рассказывал Фальк.

И все же эти выставки принесли Фальку известное удовлетворение: он сам увидел целиком свой путь за 30-е годы и приобрел много искренних почитателей своей живописи и новых друзей. Чтобы прокормиться, ему пришлось браться за работу в театре. Он имел в этой области не только опыт, но и известное признание как интересный театральный художник. И все же он считал, что театр отвлекает его от основной жизненной цели — живописи. Но равнодушно, только для заработка он работать не умел. Волновался, увлекался, спорил с режиссерами и артистами, вникал в каждую деталь бутафории и костюмов.

Перед войной я тяжело и долго болела. Фальку пришлось не только зарабатывать на жизнь, но и хозяйничать и ухаживать за больной. Но никогда он не дал мне почувствовать, как трудно ему было все успевать. Ни тени раздражения, ни жалоб — казалось, что все заботы и труды доставляют ему даже удовольствие.

Весной 1941 года Фальк вывез меня на дачу, мы сняли комнату у милой женщины Лидии Александровны Мироновой в Удельной по Казанской железной дороге. Помню первое утро войны. Слякучее, еще не жаркое, но уже летнее. Я только-только начала вставать с постели, лежала в шезлонге на террасе. Фальк писал букетик анютиных глазок, поставленный на подоконник: первая его работа «для себя» после утомительной театральной страды. За окном благоухал свежей зеленью заботливо возделанный сад. И вдруг... прибежал сосед, бледный, полуодетый. Включили радио. Мы остолбенели, замерли, а Фальк продолжал писать. Только когда закончил акварель, понял: война!

Вскоре мы эвакуировались с небольшим коллективом семей театральных работников в Башкирию. Когда-то, в 1910 году, Фальк был здесь с Елизаветой Сергеевной, первой женой, — она лечилась кумысом от туберкулеза. Тогда он написал картину «Пейзаж с собакой». Яркая, удивительно мажорная, напоминающая первые таянские пейзажи Гогена. А теперь перед нами Башкирия расстилась серо-зеленой степью, в селениях белые мазанки прятались под мощным кровом серебристых старых ветел. Небо — мгlistое от зноя, дымчато-серое. Пейзаж — для теперешнего Фалька. Но он не мог сейчас думать о живописи. Его мучили сомнения: быть может, надо было и ему принять участие в войне, идти переводчиком на фронт или в штаб. Он даже советовался об этом с Эренбургом. А куда же девать меня, тогда совсем беспомощную, больную? Спасая меня, он оставил в Москве сына, близких друзей, всегда рассчитывавших на его помощь. Бесконечная тревога, угрызения совести, постоянно его угнетавшие, не только писать — спать не давали. Мы выехали налегке, с одним чемоданом и папкой с несколькими парижскими акварелями, пачкой бумаги и маленькой коробочкой акварельных красок. По моему настоянию в Башки-

ри он все же сделал несколько небольших этюдов акварелью с гуашевыми белилами. О масляной живописи, основной технике Фалька, не могло быть и речи.

Приближалась осень. Ночами резко холодало. Мы жили в избе с дощатым полом, без фундамента, сырость пронизывала все насквозь. Под нарами, на которых мы спали, хранились овощи. Я опять расхворалась. Фальк тоже плохо переносил здешний суровый климат. Отсутствие «работы по специальности» его томило, писать же было не на чем, нечем и негде — на улице стыли руки и замерзала вода. А это был всего лишь сентябрь! Надвигалась страшная зима 1941/42 года. И вот, голосуя, на попутных машинах мы поехали по полям, на которых звенели, как хрустальные, необрунные хлеба, обледенелые от неожиданно наступивших морозов: убирать хлеб было некому. Нас позвало письмо из Самарканда. Друзья сообщили Фальку, что он может найти там работу по специальности, есть место преподавателя в художественном училище. И мы двинулись в нелегкий, далекий путь.

Средняя Азия

Когда смотришь строгие и величавые среднеазиатские картины и легкие, нежные акварели Фалька, то забываешь, что они написаны в основном в тревожные годы войны, в эвакуации, где пришлось пережить столько горя и лишений. И лишь где-то, словно отдаленные раскаты грома, слышишь за ними грозный гул войны — то ли в сверкающей синеве неба, то ли во взволнованном ритме, то ли в борьбе света и тени...

Вероятно, мне повезло: друзья сохранили и передали мне недавно пачку писем, которые я и Фальк писали из Самарканда в Москву в течение 1942—1943 годов. Эти письма позволили более конкретно восстановить в памяти атмосферу тех лет, дней, полных тревог и забот, и счастливые часы общения с друзьями, с природой и жизнью изумительной, сказочно прекрасной страны.

Мы приехали в Самарканд осенью 1941 года. После затемненной Москвы с воем сирен и гулом самолетов, после суровой осени в башкирских степях Самарканд ошеломил нас солнцем, теплом, блеском синего-синего неба, горами плодов и овощей на шумных и пестрых базарах.

Но это было лишь первое впечатление. И здесь отцы и матери, жены, сестры и братья с тревогой ждали с далекого фронта треугольнички солдатских писем. И здесь на плечи стариков и женщин легли обязанности молодых мужчин. Война шла далеко, но жила внутри нас. Город заполнили беженцы и эвакуированные, их темные фигуры мелькали тут и там среди цветной толпы местных жителей.

У Фалька были в Самарканде друзья и знакомые — он не впервые очутился здесь. Весной 1938 года Роберт Рафаилович по приглашению А. Б. Юмашева (с ним он познакомился в Париже) отправился с ним в длительное путешествие по Крыму и Средней Азии. Побывали в Хиве, Бухаре, Ташкенте, Самарканде. Андрей Борнсович — один из первых Героев Советского Союза, из плеяды славных летчиков-героев, перелетевших впервые через Северный полюс в Америку. Встречали Юмашева всюду восторгами, ликованием. Фальк тоже присутствовал на торжественных собраниях, празднествах, трапезах. Тогда Средняя Азия раскрылась художнику как ослепительная феерия.

В нынешний приезд Фальк получил место преподавателя в Самаркандском художественном училище, а затем и в Московском декоративно-прикладном институте (Самарканд оказался средоточием эвакуированных из Москвы и Ленинграда художественных вузов).

Мы поселились вначале в старом доме, в запущенной квартире печальной вдовы местного художника. Посреди двора высился мрачный карагач, под окнами пробегал мутный арык, пыльные акации осеняли прозрачной тенью пустынную улицу. Помню, сколько утешения доставило нам старенькое пианино нашей хозяйки. Нашлись у нас и ноты. В редкие свободные часы Фальк играл Баха, Моцарта, Шопена. Но каждым часом свободного времени он пользовался, чтобы писать. Если он приходил с работы еще засветло, то, не поев как следует, сразу хватал папку с бумагой, коробочку с красками и устремлялся куда-нибудь поблизости, в окрестные поля и сады. Или же ставил на столе ветку цветущей вишни, гроздь акации, желтые осенние листья и жадно писал их. Зимой он приходил домой уже в полной темноте; электричество часто не горело. И вот при мигающем скудном свете коптилки он

писал мои портреты. Один такой портрет «При копилке» («Женщина с пиналой») он сделал в канун нового, 1942 года. Валерик, осенью 1941 года приехавший к нам из Москвы, ушел встречать Новый год к знакомым, хозяйка тоже куда-то ушла, и мы остались вдвоем. В полночь мы вышли на улицу и слушали из репродуктора торжественный бой часов на Красной площади. Молча вернулись в комнату. Фальк принялся писать меня среди танцующих теней (по примете, чтобы писать целый год). Я очень люблю этот свой портрет. В нем не столько от модели, сколько от времени, такого тревожного, сурового и в то же время полного надежд. В женском образе и глубокая печаль, и стойкость, и спокойная уверенность. (Этот портрет — в собрании Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.)

Зима 1942 года была для всей нашей страны очень трудной. Весной Валерик ушел в армию, а Фальк лег в больницу — заболел страшной местной болезнью бруцеллезом. Болезнь проходила очень тяжело. Больница была переполнена, и Фалька положили в саду — дождей ведь летом там не бывает. Врачи были хорошие, но дело осложнялось тем, что подорванное уже здоровье Фалька не позволило применять интенсивные методы лечения. Делали все что можно, но основная забота легла на мои плечи: уход и питание.

Помог также самаркандский Союз художников. Прислала деньги и посылку с лекарствами дочь Фалька Кирилла из Москвы. Фальк стал поправляться. Чуть только он смог приподняться, попросил меня принести папку с бумагой и акварельные краски. В больнице он сделал целый ряд пейзажей в саду, таких мощных по рисунку и цвету, что нельзя было поверить, что их сделал человек, с трудом державшийся на ногах.

В августе я тоже заболела — брюшным тифом. Конечно, мы бы погибли, если б были предоставлены самим себе. В те тяжелые времена многие люди были необычайно отзывчивы, внимательны друг к другу. Общее несчастье объединяло всех. Знакомые и незнакомые, друзья и те, имена которых мы даже не запомнили, вдруг оказывались рядом в самые критические моменты и помогали чем могли. Дружба возникала быстро и надолго, иногда на всю жизнь. И хотя все мелочи быта выростали тогда в чудовищные проблемы, разговоров об этом в нашей среде почти не было. В длинных и долгих очередях за хлебом завязывались иногда интереснейшие беседы не только на самые насущные темы военных событий, но рассматривались и вполне отдаленные от настоящего момента проблемы.

В свои пятьдесят шесть лет Фальк был еще очень молод, полон жадного интереса ко всему новому. К нему тянулись люди самых разных профессий и возрастов, его нарасхват приглашали в гости как местные, так и эвакуированные, старые друзья и новые знакомые. Он не только сам умел удивительно образно рассказывать, но мог вызвать у каждого желание высказать свои самые сокровенные и самые возвышенные мысли.

Стремление что-то познать, изучить присуще было Фальку до последних дней жизни. В одном из писем друзьям Фальк пишет весной 1943 года: «Работа моя для заработка следующая. Здесь есть краеведческий музей. Открывается там комната по эволюционному учению. Заказали портреты Дарвина (в старости, в молодости), Тимирязева. Кроме того, на стене нужно написать вроде фрески — куры самых различных пород. Я окупился в литературу по биологии. Прочел ряд томов Дарвина, Тимирязева, Энгельса...».

Летом 1943 года мы с Фальком переехали с Лермонтовской улицы в Регистан, средневековый архитектурный ансамбль. Нам отвели художеру во дворе медресе Улугбека. На работу теперь Фальку было недалеко ходить, ибо учебные помещения были в Старом городе. Фальк получил возможность писать маслом — удалось достать краски и холст. До этого он работал только акварелью, гуашью, используя при этом любой клочок бумаги, вплоть до оберточной. Наконец-то он поселился в гуще своих сюжетов. Тут и рынок неподалеку, и уютная чайхана, и тихие водоемы под тенистыми деревьями. На улице и площади перед Регистаном царило всегда большое оживление: местные жители в своих цветистых одеяниях сновали туда и сюда, растекаясь по узким извилистым улочкам Старого города. Тут же мелькали исхудавшие, полураздетые студенты с этюдниками. Важно выступали верблюды, и ослики орали истошно, таща громоздкие тюки, из-под которых были видны только их тонкие ножки и длинные уши. Но над всей этой сутолокой и гомоном царственно вы-

сились мощные стены Регистана и взлетали в небо голубые минареты. А чуть по-дальше виднелся легкий силуэт развалин мечети Биби-Ханым. Фальк устанавливал свой мольберт прямо посреди улицы, не обращая внимания на толпу, на прыгавших вокруг него мальчишек-озорников. На его холстах возникали торжественные гимны солнцу, земле, деревьям. В его пейзажах люди и животные живут неспешно, словно замороженные медлительным ритмом мерно текущего времени. Он редко вносил в свои пейзажи признаки сиюминутного момента, высвобождая из хаоса быта извечные, строгие законы бытия.

Быт наш был до крайности примитивен: две ложки, две плоски, два кирпичика вместо очага. Да и готовить почти не приходилось: кисть винограда или несколько персиков да кусок пайкового хлеба составляли наше меню, а также служили натюр-мортами, которые Фальк писал в жаркие дни в прохладном полумраке нашей художеры. Фальку очень нравилась крайняя простота нашего существования: «Так чувствуешь себя ближе к земле». Наш двор, отгороженный толстыми стенами от шума и гомона улицы, был, как колодезь, наполнен тишиной. Двор был вымощен широкими каменными плитами, звук шагов отдавался в нем музыкально, словно ты ступал по клавишам старинных клавикордов. На ночь мы расстилали тонкий войлок на прогретых солнцем за день камнях. Стены, арки, минареты мощным силуэтом выступали на фоне роящегося крупными звездами неба. «Как грандиозно, какая соразмерности! — восхищался Фальк. — Это как орган, как fuga Баха!»

В картине «Регистан» (она находится в Государственном Русском музее в Ленинграде), суровой и строгой, изображен торжественный распорядок каменных масс, грозная синева неба, чудится глубокое дыхание вечности.

Здесь, в этом же дворе, прочел Фальк целый курс лекций о французском искусстве, рассказал о своих впечатлениях о Париже. На эти лекции собирались не только студенты, но и интеллигенция Самарканда. Небольшая пачка репродукций импрессионистов, Сезанна, Ван Гога передавалась из рук в руки. Публика сидела прямо на плитах двора, Фальк — на ящике, принесенном из соседней чайханы.

Я подробно записала все лекции Фалька (ныне они опубликованы). Он рассказывал не только о пластической радости французского искусства, но и о трагических судьбах художников, о трудности быта людей искусства в Париже 30-х годов. Цикл свой закончил он следующими словами: «Я много ждал от Парижа и много получил от него: укрепился в своем пути художника, уточнил глаз, познакомился с величайшей пластической культурой. Но работать там становилось все труднее. Не материальные трудности мешали мне. Я скромно, но вполне достаточно получал от продажи моих картин даже во время кризиса. Но это ощущение катастрофы, ощущение заката, общий грустный тонус, общий темп какого-то «уходящего» города действовал очень пессимистически на людей искусства... Здесь я пока не нашел применения своим картинам, которые я привез из Франции, но работать мне очень хочется, аппетит к работе большой, меня поддерживает какая-то вера в общий подъем страны даже в это трудное время войны».

Соседний двор Регистана — медресе Шир-Дор был плотно населен. Там жили Фаворские, Истомины, Матвеевы и другие семьи профессоров, а также семейные студенты. Фаворский, как и Фальк, работал чрезвычайно много. Он резал свою самаркандскую сюиту. Краеведческий музей устроил летом 1943 года в своих стенах сначала выставку Фаворского, где были показаны многочисленные работы, выполненные им в Самарканде (рисунки, акварели, гравюры), а позже выставку акварелей и гуашей Фалька.

Трудно подвести лучший итог творчеству Фалька в Средней Азии, чем это сделал Д. В. Сарабьянов:

«Хоть и было немало трудностей, невзгод, Фальк увидел солнечный край во всей его неповторимости. Роберт Рафаилович сумел и в эвакуации оставаться подлинным художником. Он думал не о куске хлеба, а о красоте, его окружавшей. Сказалась великая вера художника в жизнь, в людей и во все то, что сотворено их руками».

Снова дома

Зимой 1943 года мы целым поездом москвичей уехали в Москву. Поездка длилась больше месяца. В дороге я заболела воспалением легких. Сквозь забытие слышала часто интереснейшие разговоры Фалька, Фаворского, Матвеевых. К сожалению,

они путались у меня с моим бредом, и я не могу сейчас их восстановить. Помню только, что из всей литературы о художниках Фальк и Фаворский выделили два произведения: «Портрет» Гоголя и «Неведомый шедевр» Бальзака. А все остальные книги о художниках Фальк назвал сплошным враньем. Особенно он возмущался Золя: «Ведь вот — друг художников, а ничегошеньки не понимает в психике художника. «Портрет» Гоголя я бы положил на ночной столик каждому молодому художнику, чтобы он мог перечитывать эту вещь на сон грядущий, как верующий читает Евангелие!»

Москва встретила нас снегом, огнями салюта, мягким морозцем, горестной вестью — в битве под Сталинградом погиб сын.

Ужасающий холод и сырость пронизывали мастерскую. Но как я любила холодную, пустынную мастерскую с ее голыми побеленными стенами, дощатым полом, ветхой мебелью! В ней всегда царил полумрак, так как всего одно наклонное окно на скате крыши и одно маленькое в стене, выходящее в сторону реки и Кремля, скудно освещали большую комнату. Но не только мы любили наш очаг, многие друзья находили, что у нас очень красиво и поэтично. А Ксения Некрасова, поэт божьей милостью, посвятила Фальку прелестное стихотворение. Вот строки из него:

В Замоскворечье живет
живописец,
Роскошнейшие убранства
от купола
до половиц
неостывающими светильниками
мерцают из тихих рам.
* * * * *
и отгадки бытия
стоят, прислонясь к стене, —
рисунком внутрь
и холстом на свет.
* * * * *
А в комнате нет ковра,
сосновый в комнате пол,
и стул один,
и кресло одно,
и железная печка
в своем уголке
как вздохнет,
так багряный цветок упадет
из горячего черного рта...

Ксана часто приходила к нам.

Люблю в пристанище я это
заходить,
под крышей этой
забываю я
и горести, и странности мои... —

писала она о нашем доме.

Фальк часто рисовал ее, написал маслом на холсте большой ее портрет. На нем она изображена во весь рост, сидящей на табурете, с руками, сложенными на коленях, в своем красном бумазейном платье, с самодельными бусами из фасоли на шее. Смотрит на зрителя своими карими глазами отрешенно и восторженно. Фальк говорил, что в ее портрете ему хотелось дать образ ее поэзии, целомудренной и народной. Хотел вылепить ее округло, крепко, как вятскую игрушку из глины. Портрет К. Некрасовой находится в Русском музее в Ленинграде, а несколько акварельных и графических портретов — в Литературном музее в Москве.

Всегда за работой

Итак, с 1944 года до конца жизни Фальк и я жили в нашей мастерской. Несколько раз за это время он предпринимал на летние месяцы дальние путешествия: в 1950 году в Крым, где жил по приглашению А. Б. Юмашева в Алупке; в 1953 году мы ездили на курорт в Литву, в Палангу; в 1951 и 1952 годах Фальк провел лето в Молдавии. Везде, конечно, он писал, но все-таки лучшие работы за последние годы создал в Москве и Подмосковье. Он очень любил наш подмосковный

пейзаж. В 40-е и 50-е годы мы снимали на лето где-нибудь в дачном поселке или в деревне комнату, перевозили туда холсты, краски и прочие принадлежности живописи и очень скромный запас бытовых вещей. Больше, чем на даче, Фальк любил поселяться в простой крестьянской избе.

В 40-х и 50-х годах мы жили в деревнях Репихово, Арханово, в поселках Софрино, Абрамцево, на 57-м км Северной (Ярославской) железной дороги. С давних пор Фальк очень любил старые русские города, с увлечением работал в Хотькове, Загорске. Наезжал в Загорск и зимой, написал там из окон домика на Школьной улице у Т. А. Шевченко-Тютчевой целую серию загорских пейзажей, которые, пожалуй, относятся к самым удачным. Очень любил писать на фоне пейзажа букеты цветов — полевые цветы в кринке, в кувшине, в стеклянной банке из-под варенья. Он называл их «пейзажи в горсти» и радовался, когда мне удавалось с трудом составить удивляющий его букет, чтобы получилось «как попало», «случайно». «Ты ставишь букеты почти так же талантливо, как французская консервжка», — вознаграждал он меня милостивым замечанием за мои труды. Этулов, так же как и картин тематического характера, Фальк не писал. Он сразу писал с натуры на большом холсте, предварительно в карандашных набросках на листочках бумаги, установив композицию. И писал долго, много сеансов. Любимый размер 60 × 80, 80 × 60, но размеры зависели от выбранного мотива, к их выбору Фальк относился очень придирчиво.

Дома, в Москве, Фальк тоже писал и цветы и натюрморты, составленные из окружающих нас предметов. У нас в мастерской была прибитая деревянная полка, на которой в ряд стояли вещи, «вызывающие аппетит к живописи»: деревенские крышки, кувшины, стеклянные старинные бутылки, народные игрушки и т. д. Иногда Фальк исходил в постановке натюрморта из понравившегося ему предмета, долго подбирал к нему «товарища для разговора». Как бы неожиданны ни были сочетания различных предметов, всегда, на взгляд Фалька, между ними должна была быть очень оправданная связь. Помню, как долго выбирал он «собеседников» к черной голове африканской скульптуры, которую выпросил у знакомой «погостить» у нас. Долго гостила голова, пока постепенно, тоже путем собирания подходящих к ней вещей, Фальк установил в темном углу комнаты группу из трех предметов. С негром «беседовали» красный кувшинчик и кораллового цвета чашечка. (Этот «Натюрморт с африканской скульптурой» приобретен теперь Третьяковской галереей, а было время, когда его из-за драматического цветового настроения не решались брать на выставку.) В натюрмортах Фалька мало предметов. Часто только одинокий предмет и фон — мерцающее пространство нашей пустынной мастерской.

Кстати, о фоне. «Фона нет, — говорил Фальк. — Все одинаково важно, каждый квадратный сантиметр холста должен быть полноценным, даже драгоценным».

В 1956 году мы жили в деревне Арханово, в доме у Крыжовниковых. Лето стояло дождливое, и Фальку удалось написать только один пейзаж на задах нашего дома. Целое лето он писал в комнате: «Фигус» (ныне — в собрании Государственной картинной галереи) у открытого окна и «Герань». «Фигус» — в пасмурную погоду, «Герань» — при солнце. Так как погода менялась по нескольку раз в день, Фальк переходил от одного холста к другому. В «Фигусе» справа у окна висит светло-серая занавесочка. И совсем она будто бы незаметна. Боже, как измучил меня Фальк с этой занавеской! «Повесь так, чтобы складки падали как бы случайно». И все же так, все не то! Наконец я поехала в библиотеку Музея изобразительных искусств имени Пушкина (тайно от Фалька) и стала срисовывать складки с репродукций итальянцев, Рембрандта. Выбрала «Девушку с письмом» Вермеера и заколола дома складки по рисунку, в отсутствие Фалька, конечно. «Вот прекрасно! Видишь, как хорошо получается, когда не стараешься! Всегда надо проще, проще», — убеждал меня Фальк. Я его не разочаровывала. Бывало, Фальк как бы выхватывал натюрморт прямо из жизни, как бы захватывал его врасплох — поставишь тарелку с фруктами на стол и вдруг: «Не трогай! Буду писать вот так, как есть». Часто мы ели не за столом, а где-нибудь на табуретке, так как на столе стояло что-нибудь «вызывающее аппетит к живописи». Бывало, что натюрморт задумывался как определенное цветовое звучание, и тут уж не играло никакой роли логическое сочетание предметов. Все натюрморты, как правило, были очень аскетичны, немногословны по композиции, но чрезвычайно тонко разработаны в цвете. Но больше всего Фальк любил писать людей (он не любил слово «портрет», в нем ему чудился привкус нарочито

сти). Чаще всего он писал самых близких людей, с которыми жил, видел их каждый день: жену, сына. Казалось бы, что от этого притупляется поэтическое чувство. Но как раз эти портреты самые одухотворенные у него и самые емкие. Таковы его портреты: «Женщина у пианино» (Е. С. Потехина), «Женщина в белой повязке» (Р. В. Идельсон), «Персонаж из Диккенса» (портрет сына), мои портреты — «В белой шали», «В черной шали», «В желтой кофте», «В розовой шали» (сейчас эти картины — в музеях Москвы, Ленинграда, Еревана и Тбилиси).

Я знаю не менее 20 автопортретов Фалька. При мне он написал 5 автопортретов: автопортрет в Башкирии — акварель с гуашью, остальные маслом на холсте — «В серой блузе» (Картинная галерея Армении), «В желтой шляпе» (Музей имени Бахрушина), «В коричневой куртке» (частное собрание, Ленинград) и последний «В красной феске». Фальк вовсе не был в себя влюблен, даже очень критически относился к своей наружности, но себя он писал часто по многим причинам: хотелось писать портрет, но не было модели, тем более такой терпеливой, как сам художник; или хотел решить какую-то живописную задачу: в последнем автопортрете — целый итог жизни мудрого, гордого, беспощадного к себе человека, сознающего и свое предназначение и свою судьбу. Если выставить подряд все автопортреты Фалька, мы увидим и течение времени в облике одного человека и прочтем судьбу поколения.

Прежде чем начать писать чей-либо портрет, Фальк делал множество набросков карандашом, пастелью, рисунки-штудии, композиционные наброски, в разных положениях, размерах, то детальные рисунки, то как бы лишь намеки. Он никогда не диктовал модели позы. Во время набросков шла интересная беседа, Фальк удивительно умел настроиться на собеседника. Модель постепенно находила сама наиболее удобное и свойственное ей положение. Работа над портретом, да и над пейзажем и натюрмортом долго длилась. Писал Фальк медленно, пристально вглядываясь в модель, потом долго смешивая краску и только потом — легкое прикосновение к холсту, один-единственный мазочек. И снова вглядывание в натуру. А может быть, глубоко в самого себя? А ведь уже с первого сеанса Фальк быстро и крепко встраивал в холст фигуру, через два-три сеанса портрет был уже очень похож, красив по цвету, верен по рисунку. Но ему этого было мало. Он хотел сделать всю поверхность холста драгоценной, преодолеть сырость и грубость масляной краски, заставить ее светиться, как цветное стекло, переливаться, как майолика, волнами цвета под поверхность. Его картины многослойны, но слои эти прозрачны, они как бы высвечивают из глубины, мерцают, словно бы дышат.

Женские портреты Фалька всегда полны тайны, обаяния. И чтобы увидеть себя в таком свете, какая женщина не согласилась бы немного помучиться? Выразительны и даже страшны его портреты старух! Вспоминаешь провозительные образы Бальзака, гоголевского Плюшкина. В Париже он написал несколько таких портретов. Это словно повести о трудной, тяжелой судьбе, хотя никакого рассказа в них нет, образ создается чисто пластическими средствами. Если его любимый художник Сезанн требовал от портретируемого полной неподвижности и молчания, то Фальк, наоборот, старался освободить модель от напряжения, застенчивости, разговорить ее, выслушать, вникнуть в ее интересы, думы, узнать ее прошлое.

Фальк — признанный мастер станковой живописи. Тем не менее графика занимает в его творчестве большое место.

Во всем блеске «технической рафинированности» предстала графика на выставке «Акварель, гуашь, рисунок Р. Р. Фалька» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Она открылась 22 декабря 1981 года. В Мраморной колоннаде разместилось около 100 листов начиная с эскизов и набросков 10-х и 20-х годов (в витринах) и кончая работами последних лет. Прелестные акварели — элégические набережные, старинные мосты в районе собора Парижской богоматери, печальные окраины промышленных районов, просторы океана в Бретани, грациозные луга, зеленые луга Подмосковья, цветущие сады Крыма, выжженные солнцем величавые развалины Бухары и Самарканда, заснеженные улочки Загорска, хмурые московские сумерки — все такое разное, то прозрачное и сверкающее, то туманно-пасмурное и густое. Многие молодые художники ходили на эту выставку каждый день и часами простаивали и перед пейзажами, и перед нежными, будто бы благоухающими букетами цветов, и перед острыми и точными портретами, набросками и этюдами. В ряде городов состоялись в последние годы выставки графики Фалька. Начал

Академгородок Новосибирска, а потом Челябинск, Алма-Ата, Семипалатинск, Псков, Тбилиси. И везде эти выставки воспринимались как второе открытие Фалька — Фалька легкого, звонкого искусства графики.

Штрихи к портрету

Основные черты характера Фалька — доброта и скромность в сочетании с чувством собственного достоинства. Обладая талантом большого художника, он никогда не успокаивался на достигнутом; работал не покладая рук, подгоняя себя все новыми и новыми задачами. Он говорил, что путь художника подобен тернистому пути в горах — достигнув намеченной вершины, открываешь впереди новые, еще более труднодостижимые цели. И так до самой смерти.

В общении с людьми он был прост, но не фамильярен, радушен, но сдержан. Любил новые знакомства, но оставался верен старым друзьям. Он не был легкомыслен, наоборот — очень серьезен и обладал громадным чувством ответственности, но в своих увлечениях был неустойчив. Каждое новое чувство налагало на него новые цепи, прибавляя их к старым тяготам. Он очень любил своих детей, сына и дочь, и, покинув их в раннем детстве, никогда не переставал о них заботиться и дружить с ними.

В быту он был совершенно неприязнителен, почти аскетичен, довольствовался самым необходимым и даже враждебно относился к излишествам, считая, что художнику вредно жить в роскоши. (Впрочем, ни излишества, ни тем более роскошная жизнь нам не угрожали.) Когда я вспоминаю, как безропотно и ласково ухаживал он за мной во время моей длительной болезни, я преклоняюсь перед его терпением.

Дома мы много музицировали. Фальк часами мог сидеть за роялем, любил аккомпанировать и играть в четыре руки. Перед посещением концертов он проигрывал для себя всю программу, чтобы подготовиться к активному восприятию музыки. Бывал у Г. Г. Нейгауза, Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, А. Ведерникова и беседовал с ними о музыке как музыкант. В свою очередь, они посещали мастерскую, и он устраивал для них «концерт из живописи». Одно время Святослав Рихтер брал у Фалька уроки живописи, и Фальк уверял, что если бы Рихтер не был великим пианистом, он был бы крупным художником. А Рихтер в своих комментариях в каталоге к выставке «Музыкант и его встречи в искусстве», состоявшейся в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в 1978 году, писал: «Все, кто бывал у него (у Фалька.— А. Щ.-К.) в мастерской на его показах — концертах живописи,— никогда их не забудут».

Хочется рассказать о первой встрече Фалька с музыкой Рихтера. Еще шла война, ходить по улицам разрешалось только до 12 ночи. Мы поздно засиделись у Сарры Дмитриевны Лебедевой и торопливо шли бульварами домой. Сыпал колочий снежок, хопелось скорей очутиться дома. На столбе у Кропоткинских ворот черная тарелка репродуктора, хрип и заикаясь, передавала «Аппассионату» Бетховена. Фальк остановился как вкопанный. «Ступай домой!» — бросил он мне, и я побежала вниз по Соймоновскому проезду к нашему дому. Растопила печурку. Меня охватило беспокойство: не забрал ли его патруль? Но вот и он ввалился в комнату весь в снегу, взволнованный и счастливый. «Поздравляю — у нас есть молодой музыкант, который ничуть не ниже Рахманинова».

А. Каменский в своей книге «Вернисажи» — она вышла в 1974 году — в статье «Живописный симфонизм» писал: «Фальк очень любил музыку, она была вторым его призванием, и это наложило особый отпечаток на все его творчество. Любое из его произведений создано по законам не только изобразительной, но и музыкальной гармонии».

Фальк любил поэзию, и многие поэты также были частыми гостями в мастерской.

Широкий по своим интересам, доброжелательный, он всегда охотно смотрел работы своих товарищей. Любил «милого сказочника Тышлера», восхищался его рисунками, «доведенными до совершенства каллиграфией», любовался артистичными акварелями Фонвизина, даже выпросил у него одну акварель из цикла «Цирк» в обмен на свою. Посещал Осмеркина, Лентулова, Кончаловского, всегда просил их показать свои работы. От всей души радовался удачам своих товарищей. Павла Кузнецова называл поэтом, мудрецом, очень восхищался его киргизскими вещами и не знал,

кого же он больше любит — раннего Кузнецова или раннего Сарьяна. «Оба лучше, как дети говорят», — повторял он.

К своим бывшим ученикам относился заботливо, нежно и строго.

Внешность Фалька описывали в воспоминаниях его ученики и ученицы, писатели Эренбург и Каверин, но мне по душе портрет Фалька в стихотворении Бориса Слуцкого. Я попросила как-то Бориса Абрамовича написать воспоминания о художнике, о его картинах, о беседах с ним. Но поэт сказал, что ему сподручнее писать стихи, а не мемуары. И прислал мне следующие строфы о Фальке последних лет:

СТАРОЕ СИНЕЕ

Громыхая костями,
но спину почти не горбят,
в старом лыжном костюме,
на старом и пыльном Арбате,
в середине июля,
в середине московского лета —
Фальк!
Мы тотчас свернули,
мне точно запомнилось это.

У величья бывают
одежды любого пошива,
и оно надевает
костюмы любого пошиба.
Старый лыжный костюм
он таскал фатовато и свойски,
словно старый мундир
небывалого старого войска.

Я же рядом шагал,
молчаливо любясь мундиром
тех полков, где Шагал —
рядовым, а Рембрандт —
командиром,
и где краски берут
прямо с неба — с небес отдирают,
где не тягостен труд
и где мертвые не умирают.

Так под небом Москвы,
синим небом, застиранным, старым,
не склонив головы,
твердым шагом, ничуть не усталым,
шел художник, влачил
свои старые синие крылья,
и не важно, о чем
мы тогда говорили.

Только за год до смерти, на семьдесят первом году жизни Фальк состарился: болезнь скрутила его и целый год он лежал — то в больнице, то дома. А до этого он вел себя как молодой, полный сил человек. В молодости он много занимался спортом: плавал, ездил верхом, играл в волейбол в команде ВХУТЕМАСа. Под старость много ходил пешком, прекрасно ориентировался в лесу, в новом городе.

Умирал он тяжело, но никогда не жаловался. Наоборот, говорил, что он счастливый человек, его любят, о нем заботятся.

В год его смерти состоялось в МОСХе, в Ермолаевском переулке (ныне улица Жолтовского), его небольшая выставка. В этом же зале поставили спустя полгода гроб с телом Фалька. Было много цветов, музыки: играла Мария Гринберг Шопена и Бетховена, пела Нина Дорлпак Баха. На стенах зала художники повесили картины Фалька. Народу было много, это были друзья и почитатели. Их горе было искренним; последнее слово сказал Эренбург. Он предсказал, что вскоре наступит то время, когда музены будут спорить из-за картин Фалька. Это время уже пришло.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. ШКОЛЕНКО,
доктор философских наук



КОСМОС, ЧЕЛОВЕК, КНИГИ

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.

Иммануил Кант.

Космос привлекал мыслителей и поэтов с незапамятных времен — как только появились мыслители и поэты. Античная, пифагорейско-платоновская традиция изображала его как идеальный порядок (вспомним, что «космос» по-древнегречески означает не только Вселенную, но и упорядоченность, гармонию в отличие от «хаоса» — дисгармонии и беспорядка), в котором находил свое место и человек. Идея единства человека и космоса была ценнейшим приобретением человеческой мысли в эпоху человеческого детства.

Сирано де Бержерак в своих фантазиях поднимался в колеснице к империям и государствам Луны и Солнца». Это было прямым возрождением полета к Солнцу хотя и мифического, но смертного Икара на крыльях из орлиных перьев, скрепленных воском (боги у эллинов летали давно, а вот полетел и смертный). Пробивала себе путь концепция человеческой активности вне Земли...

Благоговел перед грандиозностью Вселенной Ломоносов: «Открылась бездна, звезд полна...». Примерно столетие спустя Тютчев мысленно уже увидел Землю из Вселенной:

«...и мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены».

Пылающая бездна! И это о черном небе, лишь местами проколотом точками звезд! Потоки солнечного света в космосе «застылают» звезды, хотя небо остается черным. Русский поэт предвосхитил зрительные ощущения космонавтов.

Бывали прозрения и еще более глубокие.

Интеллектуальное единение человека со Вселенной и с Землей как частью Вселенной получало впоследствии разные названия, в том числе «космическое сознание». Это понятие может иметь вполне материалистический смысл и выражать сознательное или подсознательное ощущение единства человека и мироздания, всеобщей взаимосвязи вещей и явлений, о которой впервые догадались античные диалектики.

Любопытно, что термин «космическое сознание» вышел из-под пера одного английского идеалиста и мистика (Р. М. Бёкка), который на заре нашего века выпустил книгу именно с таким названием (переведенную на русский язык в 1915 году петроградским книгоиздательством «Новый чело-

век»). Правда, Бёкк считал, что «космическое сознание» есть особая форма религиозного озарения и приходит внезапно, обычно в «возрасте Христа» (30—35 лет), завершая предыдущие озарения, имеющие биологическую подоснову (первое ощущение смертности индивидуума, первая любовь). Переводчик книги присовокупил к примерам спонтанного явления «космического сознания» и пушкинского «Пророка»...

Любопытно и то, что явившиеся людям в те времена ощущение величия Вселенной, чувство единения человечества и причастности человека к космосу Бёкк объясняет первыми взлетами младенческой тогда авиации. «Перед воздухоплаванием,— писал он,— исчезнут, как тени, национальные границы, таможенные тарифы и, может быть, даже различия языков». Примерно в те же годы, на грани веков, престарелый русский драматург А. В. Сухово-Кобылин выступил с «философией Всемира» (сохранившейся в рукописи), где восторгался... велосипедом, полагая, что новая скорость передвижения будет иметь последствия для биологической эволюции человека, у которого в конце концов даже могут отрасти крылья. При всей наивности и фантастичности восторженных прогнозов Бёкка и Сухово-Кобылина отметим, что впервые «вселенское», космическое мышление стало основываться на реальных достижениях человеческой техники, а не на простом и многовековом лицемерии звездного неба.

Заметим, что если «воздушная» тема вообще так и не отвоевала себе сколько-нибудь значительного места в художественной литературе (одно из немногих исключений — «Ночной полет» Антуана де Сент-Экзюпери), то тема космическая восходит к древности, развивается в веках. Это тема мировоззренческая, философская и поэтому художественная. Неудивительно, что летчик Сент-Экзюпери не преминул написать и «Маленького принца» — превосходную космическую сказку...

Космос остается беспредельным полем для развертывания социальных гипотез, прогнозов, утопий или антиутопий. Современные научные открытия астрономии, астрофизики и космонавтики понемногу подчиняют себе, ориентируют и научную фантастику и научно-фантастические аспекты иных, по существу реалистических, произведений. «Аэлита» Алексея Толстого останется памятником вселенского революционного пафоса 20-х годов. Но кто будет писать в наше время о жизни и тем более разуме на Марсе после того, как там не было зарегистриро-

вано (точнейшими приборами!) ни единого микроба? С другой стороны, новые знания о Вселенной явно обогащают фантастику. В «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова действовали демонические силы как таковые, безотносительно к пространству их обитания, и были довольно традиционны по своим повадкам. В «Алтысте Данилове» Владимира Орлова демонические силы обитают во Вселенной с черными дырами, внеземными цивилизациями и фридмановскими «микровселенными» и имеют дело с ракетно-ядерным оружием и летающими тарелками. То были 30-е годы (у Булгакова), а теперь 80-е (у Орлова).

Современные фантасты любят обыгрывать парадоксы времени и пространства. Однако время необратимо в материальном мире, а пространство трехмерно, не пора ли учитывать эти аксиомы, ведь не пишут же больше нигде о вечных двигателях!

В последнее время появляются даже попытки связать некоторые феномены общественного сознания, в частности культуру и искусство, с естественными феноменами во Вселенной, сопоставить нащупываемые нами законы эволюции последней с законами эволюции человеческого общества. Задача на первый взгляд экстравагантная, но в принципе не лишенная смысла. К сожалению, подчас она решается на уровне умозрительных построений, по сути дела идеалистических и граничащих с мистикой. Например, американский физик Хейнц Пейджелс полагает, что единый «космический код», представляющий собой некое «послание» (от кого?), управляет не только естественными процессами во Вселенной, но и социальными процессами в человеческом обществе включая культурную эволюцию.

Проникновение в тайну генетического кода, программирующего развитие всего живого на Земле, конечно, может приоткрыть завесу еще более грандиозной тайны — возникновения живого из неживого. Этот процесс, как показывают последние данные астрофизики и земной планетологии, явно имеет не только земные, но и космические истоки. Однако считать запрограммированным этим генетическим кодом (в свою очередь ведущим начало от «космического кода») развитие разума на Земле было бы не менее явным псевдонаучным методом исследования социальных явлений.

На мой взгляд, далек от строгой научности и Константин Кедров в статье «Звездная книга» («Новый мир», 1982, № 9), когда он проводит мысль о действии в фольклоре разных народов некоего «метакода»,

раскрытие которого якобы позволяет многое прояснить и в загадках древних цивилизаций и в современном осмыслении единства человека и космоса.

Космическая тема теперь привлекает фантастов, утопистов и реалистов преимущественно с точки зрения не естественно-научной, а гуманитарной. Иными словами, их интересуют гипотезы о других очагах разума, о внеземных цивилизациях, о контактах с ними. Хотя других цивилизаций пока не обнаружено ни средствами астрономии, ни средствами космонавтики, теория цивилизаций (человеческой и гипотетических иных) все-таки заметно продвигается вперед. Правомерно ставится знак равенства (или примерного равенства) между актуально действующей гипотетической суперцивилизацией и человечеством далекого грядущего. Мы теперь не только существуем в качестве бесспорной цивилизации во Вселенной, но мы вышли в космос и стали цивилизацией космической!

Правомерно утверждается, что любая цивилизация Вселенной должна быть коллективом существ и располагать техническими средствами взаимодействия с «космой» природой, иначе она не будет отличаться от последней. Техника, производство, труд порождают и оттачивают разум, который не возникает спонтанно и беспричинно. (Дельфины, например, не разумны, а лишь сообразительны, хотя и стали сенсацией недавнего прошлого: «цивилизация рядом с нами».) Энгельсова трудовая теория цивилизации выходит, таким образом, на вселенский уровень и снимает многие экзотические и досужие представления о разумных существах других миров в виде плесени на камнях, плещущего океана или ленточной конфигурации, напоминающей знак доллара. Правомерно, наконец, предполагается, что первейший признак любого разума — это терпимое, бережное, поистине разумное отношение ко всякому другому разуму и что чрезвычайно высокий уровень научно-технического развития цивилизации не может быть достигнут без соответствующего социального и нравственного уровня.

Это последнее обстоятельство весьма существенно. Космонавтика засвидетельствовала отсутствие внеземного разума и жизни в Солнечной системе. Для контактов с гипотетическими внеземными цивилизациями остаются межзвездные расстояния. Техника межзвездных перелетов для нас — дело очень далекого грядущего. И если бы для «них» она, эта межзвездная техника, стала сегодняшней, то это значило бы, что «они»

преодолели свои внутриобщественные антагонизмы. Иначе не преодолеть межзвездные расстояния — не хватит сил, если силы разобщены. «Они» должны быть разумными и гуманными существами, от которых мы вправе ждать мирных и дружественных намерений, — хочется верить в это.

Таково сегодня мнение естественных и общественных наук. Не совсем так в художественной практике (в рассматриваемой нами области), где все еще наблюдается разноречивость, объясняемый то ли действием отживших традиций, то ли неприятием теории, исходящей из того, что экологическая ниша человека — не только наша планета, а вся обозримая Вселенная до крайних туманностей Метагалактики, ибо без совокупности условий мироздания человек не родился бы на Земле — по-видимому, в районе выхода к поверхности урановых руд в Восточной Африке — три миллиона лет тому назад. Но если так, то нет особых случайностей в мире, экологическая ниша широка и вмещает многих братьев по разуму — именно братьев, антропоморфных если не по виду, то по духу, разумных существ (все это получило название «антропного принципа» в космологии). А раз так, то думается, что эволюция всех разумных существ мироздания едина в своем генеральном направлении. И опасаться того, что «они» (внеземные цивилизации) не поймут или не заметят нас, — это то же самое, как если бы мы сами когда-нибудь не поняли или не заметили нашего прошлого.

В 30-е годы американский режиссер Орсон Уэллес выпустил в эфир радиопостановку по роману Герберта Уэллса «Война миров» и сделал это столь «натурально», что жители нескольких городов США, охваченные паникой, устремились в пригороды и сельскую местность. Понятна такая «восприимчивость»: в мир вползала вторая мировая война (в наше время она, эта «восприимчивость», пожалуй, еще острее, но опасность исходит скорее от землян, чем от марсиан).

С конца прошлого века в фантастике стойко держится «агрессивная традиция», начатая «Войной миров» Герберта Уэллса.

Внеземной высший интеллект агрессивен по отношению к людям. Вселенная враждебна человечеству и неумолима — вот лейтмотив множества зарубежных произведений «сайенс-фикшн» и киносюжетов вплоть до внешне эффектных и дорогостоящих галактических вестернов 70-х и начала 80-х го-

дов, например, фильма «Звездные войны» и его продолжения «Новые удары космической империи» и «Возвращение Джедай», выпущенных студией «XX век — Фокс». Откуда такая тенденция? Почему бы не стать на ту точку зрения, что нынешние суперцивилизации Вселенной — это, по существу, человеческая цивилизация в будущем. А дело в том, что рассматриваемый нами вид искусства (в данном случае буржуазного) несет на себе социальную, идеологическую нагрузку — демонстрировать якобы имманентную врожденность, неистребимость, вечность агрессивности в человеческом обществе. Это теория, сулящая агрессии и капитализму мультимиллионлетнее царствие...

Иван Ефремов в «Туманности Андромеды» нарисовал коммунистическое будущее, где люди, стяхнув с себя все наносное, начали свою новую историю, соединив чувство гармонии эллинов с технологией развитой космической цивилизации.

Но порой даже в буржуазной фантастике косвенно признается новая социальная ситуация в земном мире. Американская писательница Урсула Ле Гуин в романе «Изгнанники. Двусмысленная утопия» рассказывает о двух обществах на двух планетах — коммунистическом неавторитарном обществе на пустынной планете Анаррес и загнивающим, хотя и богатом, обществе на планете Уррас. Герой романа, молодой физик, пытается примирить оба эти мира. Конечно, перед нами — обычная теория конвергенции двух противоположных социальных систем, выраженная в художественно-космической форме. Но вот что симптоматично: целая планета под властью загнивающего капитализма — это, в общем-то, не фантазия, такой была Земля до Октября 1917 года; но целая коммунистическая планета — это уже нечто новое для той фантастики, что обычно выступает апологетом мира частной собственности и отчуждения. Поистине двусмысленная утопия!

Симптоматично также, что в нашей советской литературе линия сотрудничества и солидарности куда сильнее линии агрессивной. Сегодняшние инопланетяне (и завтрашние мы) миролюбивы и доброжелательны, они убеждают нас в том, что миролюбие и доброжелательность — неотъемлемые свойства разума. Правда, на этой волне возникают и такие сюжеты, когда социально разобщенная Земля оказывается просто напросто неподготовленной к инопланетной чуткости и доброте. И думаешь: но почему же у фантастов эта высокоразвитая доброта, овладевшая мощными силами природы,

пасует перед современной человеческой неподготовленностью, слабостью человеческой, по сути дела? Если доброта — неотъемлемое свойство разума, то разве бессилие — неотъемлемое свойство доброты? Или в данном случае имеется в виду такое невмешательство со стороны высших цивилизаций, как мы теперь стараемся поменьше вмешиваться в окружающую природу? Можно, наконец, предположить ответ: наш антропоцентризм, человеческая гордыня (небезосновательная, впрочем) не особенно приемлет фантазии о том, как нас перевоспитывают суперцивилизированные инопланетяне (исключение составляют произведения типа книг и фильмов Эриха фон Дэннигена о формировании человека усилиями пришельцев в далеком прошлом, но антинаучность таких произведений давно разоблачена). Мы охотнее сами перевоспитываем и передельваем страдающие чужие очаги разума. Об этом — множество произведений научно-фантастического жанра.

Что же касается «неподготовленности», то известный кинофильм 70-х годов «Молчание доктора Ивенса» (сценарий и постановка Будимира Метальникова, исполнитель заглавной роли Сергей Бондарчук) — пожалуй, наиболее прямолинейное ее выражение. Под пушечными выстрелами зарубежных детективов гибнет представительница высочайшей внеземной цивилизации, умеющая мгновенно перемещаться в пространстве и гипнотически лишать силы воли отъявленных негодяев. Земное зло (персонифицированное в представителях капиталистического Запада) оказалось сильнее. Но борьбу за гуманизм, за солидарность, за разум продолжает землянин доктор Ивенс. И это правильно: нам нечего ждать спасения от сверхцивилизаций космоса. Оставим это ожидание Дэннику с его «Воспоминаниями о будущем». Надо рассчитывать на собственные силы, иначе можно впасть в массовый психоз летающих тарелок, которые якобы следят за человеческими действиями, не одобряют милитаризации планеты и в последний момент спасут де людей от ядерного самоистребления...

Тема «неподготовленности», как известно, звучит и в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» — произведении насквозь реалистическом. Космическо-фантастическая линия для него оказывается, однако, не прикладной, а входящей органически в идейную ткань.

Но все же в талантливой книге Айтматова, поставившей столько острых мировоз-

зренческих, философских, социальных, даже эволюционных вопросов, на мой взгляд, все-таки обнаруживает себя старая традиция пассивно-созерцательного отношения к космосу...

В иных книгах наших дней дает себя знать этакая «ностальгия по докосмическому». Она проявляется и у экологов и у писателей. Зачем космос, спрашивают они, когда столько неупорядоченного на Земле? Эдак мы доберемся до Луны на куче отбросов, которую быстро воздвигает цивилизация. Зачем вторгаться в макрокосм, когда в микрокосме столько забот?

Ответы на эти вопросы были еще далеко не ясны, когда мир услышал сообщение ТАСС о первом спутнике, первую декларацию космической эры, содержащую слова: «Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям...»

Долго были живы иллюзии о цивилизации на Марсе и динозаврах на Венере, — межпланетные путешествия сулили одиссею поживописной гомеровской. Но Марс предстал пустыней с кратерами, подобными лунным, а камни Венеры имеют температуру красного каления. Это не значит, что космос оказался неинтересен. Взять хотя бы огнедышащие вулканы на маленькой Ио, спутнице Юпитера, или переплетающиеся кольца Сатурна. Или — еще ближе — химически чистое железо и связанный кислород в лунном грунте. Могут возразить, что это привлекательно для фундаментальной науки, но не для живого человека и не для его искусства и литературы. Но и человек и искусство сегодня вряд ли могут обойти такую «материальность» стороной

Однако продолжим перечень открытий космонавтики. Горная складчатость под наносным слоем равнин. Косяки рыб, порода которых определяется по спектру жирового слоя на поверхности океана. Распространение саранчи. Вызревание урожаяв. Миграция диких животных и птиц. Пылевые шлейфы на сотни километров от промышленно-городских агломераций. Лесные пожары. Зарождение «ока» тайфуна... Все это видно из космоса. Это называется «эффектом просвечивания» (недр и водных глубин) и наблюдением генерализированных процессов. Можно это назвать и «макроскопом», сводящим необъятное до обозримого. Опять наука, могут возразить, хотя теперь не фундаментальная, а прикладная. Верно. Однако это уже ближе к человеческому бытию.

То, что мы перечислили (далеко не пол-

ностью, а выборочно и бегло), — это в сумме есть новый взгляд человека на Землю и на остальной мир. Гётевский Фауст из «околоземного космоса» разглядел тот участок на планете, где можно отвоевать у моря сушу, соорудив дамбу, и взрастить там сады. Таков сюжетный и идейный финал великой поэмы. Пусть успокоятся приверженцы земной экологии и всего земного: в обозримом будущем (а обозреть мы научились далеко) человек не будет обитать вне Земли, но будет там работать (уже работает) ради жизни на Земле.

Постепенно мы освобождаемся от «тарелочных» психозов, которые порядком надоели. Они засоряют наш «умственный космос», как начинают засорять физический космос отработавшие космические аппараты. Но надо сказать, что космос — это теперь не только и не столько перспектива межпланетных путешествий в поисках братьев по разуму или экспериментов по эйнштейновской теории относительности с возвращением сравнительно молодых космонавтов к своим постаревшим праправнукам (один из ходовых сюжетов фантастики). Космос теперь — реальность, увидеть и обрисовать контуры которой, в том числе и художественными средствами, настало время на исходе третьего десятилетия космической эры.

В литературе — фантастической или реалистической — было бы неразумно ограничивать космическую тематику взвешенными цивилизациями (пусть даже и не в «тарелочном» варианте). экстравагантностями пространства и времени, «шекоучими» здравый смысл. Такая традиция может легко превратиться в инерцию. Реальность космонавтики, ее подлинные перспективы фантастичнее всякой современной фантастики, а главное — гораздо продуктивнее для художественного наблюдения и особенно прогноза, нежели поверхностные разговоры о свойствах эйнштейновского пространства-времени и о взвешенном разуме. Разговоры, которые постепенно становятся бесплодными, не получая достаточного и своевременного питания от эмпирики астрономии и космонавтики.

Фантасты смотрят в космос. Космонавтика смотрит на Землю. И она смотрит в будущее, больше того — она устремлена в него, но это будущее — по преимуществу будущее Земли. В плане научно-прикладном космонавтика обещает изумительно много: передача на Землю дополнительной солнечной энергии — световой с помощью зеркал и преобразованной в электрическую

с электростанций на орбитах (по каналам микроволнового излучения), использование энергии Солнца непосредственно в космосе, производство уникальных изделий: полупроводниковых монокристаллов, медикаментов и других материалов в условиях невесомости и естественного вакуума, что сулит новую промышленную революцию, сулит тем самым освобождение планеты от энергоемких и материалоемких производств, улучшение экологической обстановки на Земле, создание на ней комфортных условий обитания.

Но и в плане человеческого космонавтика обещает тоже немало. Если освоение и использование околоземного космоса есть своего рода расширение Земли (а отнюдь не начало ее покидания человечеством, которому якобы предстоит мигрировать по Вселенной в поисках «свежих земель», как утверждают некоторые зарубежные футурологи, напуганные собственными экологическими, сырьевыми, демографическими предсказаниями), то одновременно оно есть расширение человеческого мира, человеческого кругозора. «Эффект просвечивания» можно отнести и к способности людей по-новому видеть Землю, самих себя. Когда-то Луна казалась человеку плоским кружком на небосводе. Теперь человек и Землю видит шаром — маленьким и хрупким.

Первым художником — «очевидцем» космоса — по праву следует считать К. Э. Циолковского. Он был не только ученым-теоретиком и ученым-экспериментатором, но и научным фантастом. А в научной фантастике он был и философом, и тонким и точным предсказателем будущей реальности (повести «Грезы о Земле и небе», «Вне Земли», «Живые существа в космосе» и другие). Циолковский писал, например, о том, что на Луне с ее шестикратно уменьшенной силой тяжести в сравнении с земной передвигаться лучше всего прыжками, отталкиваясь от грунта двумя ногами вместе. Циолковский писал далее, что после длительного пребывания в космосе люди, вернувшись на Землю, чувствуют себя не вполне уютно: звезды тусклы, холодно и сыро, горизонт сузился и как бы давит обручем. Космонавты после многомесячных витков в «Салюте», конечно, радуются Земле, ее запахам и дождям, но признаются, что нечто в духе описания Циолковского тяготеет над ними, требуя психологической реадaptации.

Начало пилотируемой космонавтики было и началом космической художественной

публицистики и художественного очерка. Выпущены книги «Есть пламя!» и «Дорога в космос» Ю. А. Гагарина, «Угол атаки» Г. Т. Берегового, «Дневник над облаками» В. И. Севастьянова, «Люди и космос» В. А. Шаталова... Они содержат бесценную информацию из первых рук, часто фиксируемую в бортовых журналах непосредственно за переживаемыми мгновениями, информацию о новом мире человека, о беспрецедентных космическо-земных условиях обитания в кораблях и станциях с земными воздухом и давлением и с космической невесомостью, с отсутствием суток и времен года. Свидетельства о новых способностях организма и органов чувств «гомо сапиенс» — единственного живого существа, вышедшего в неживой мир нашего солнечно-планетного уголка Вселенной. Космонавт Виталий Севастьянов невооруженным глазом увидел из «Союза-18» домик в Сочи, где он родился. А ведь по первым снимкам Земли с таких же самых орбит нельзя было даже судить, обитаема ли наша планета.

Сложный мир космонавта и космонавтики настойчиво требует к себе внимания профессионалов литературы и искусства. И дело не в том, что число космонавтов в мире давно перешагнуло за сотню. Этого все еще чрезвычайно мало, чтобы выводить в большой литературе стабильный профессиональный типаж, как он выведен, скажем, применительно к профессии врача или геолога. Да и не так совсем стоит проблема.

Дело в том, что с наступлением космической эры произошел, быть может, малозаметный, но глубокий сдвиг в нашем восприятии и мышлении. Фотографии, доставленные из космоса, явили лик самой уникальной планеты Солнечной системы, а по некоторым предположениям и всей нашей Галактики — планеты Земля с ее тонким слоем биосферы — сферы жизни — в густой черноте космоса. Что Земля маленькая в сравнении с планетами-гигантами Юпитером, Сатурном, Ураном — это было давно известно из астрономии. Теперь появился эпитет «хрупкая» применительно к нашей в общем достаточно твердой планете. Очертания континентов были давно известны по глобусам и картам. Но увидеть «натуральную» Землю величиной с глобус — это совсем иное.

Родился образ — «космический корабль Земля». С экипажем в четыре с половиной миллиарда «космонавтов» этот «корабль» делает годичный виток за витком вокруг Солнца, а вместе с ним совершает один оборот примерно за двести миллионов лет

вокруг центра Галактики. «Космический корабль Земля» имеет ресурсы возобновимые, но и ресурсы невозобновимые или трудновозобновимые — нефть, уголь, пресная вода, леса. Ежегодно бесследно исчезает по одному виду животных. Об этом не устают повторять экологи, и эта печальная констатация приобретает теперь космологическое звучание: дронг, странствующий голубь, сумчатый волк, стеллерова корова ушли в небытие не только с поверхности Земли, но и с просторов Галактики.

Такой психологический «переворот равновесия» хорошо иллюстрируется и символизируется уже ходовыми ныне фотоснимками лунного пейзажа с Землей на лунном небосводе. «Серп Земли» называется повесть Виктора Степанова, которая в своей документальности, публицистичности как бы продолжает книги космонавтов. Но она о людях — Гагарине, Армстронге, Леонове, Королеве, а не о пейзажах, даже лунных.

Лунный пейзаж с серпом Земли — лишь эмблема, знак времени.

Обостренное ощущение родового единства «гомо сапиенс», вплотную столкнувшегося со Вселенной и оказавшегося в ней (пока) одиноким, усиливает необходимость единства социального, превращает его в категорический императив. Это начинают понимать даже некоторые представители мира отчуждения и индивидуализма. Американский социолог Дональд Микаэл писал еще на заре космической эры: «В недавние годы человек вне закона или человек, живущий по своим собственным законам (например, с «частным» взглядом на вещи), был идеалом многих. Сдвиг в направлении к высокодисциплинированному и самоотверженному астронавту должен быть радикальным, требуя и предполагая другие сдвиги в основных оценках, существующих в обществе».

Так вплотную земной мир подводится к идеалам коллективизма, и это определенно совершается не без участия космонавтики.



М. Б. ХРАПЧЕНКО

★

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья вторая *

I

В отличие от поэзии в художественной прозе, если рассматривать художественную прозу в ее широком течении, на первом плане не броское образное высказывание, не метафора, а постепенная обрисовка событий, людей, где важная роль принадлежит также «нужному», выразительному слову, которое открывает не только близкие, но и отдаленные связи явлений. В различных жанрах прозы, в творчестве многих писателей свое большое типизирующее, эмоциональное значение сохраняют эпитет, сравнение, иносказание.

Наряду с живым интересом прозаиков к повествованию, в котором метафора играет значительную роль, нередко наблюдается отрицательное отношение к метафоре как средству повествовательного изображения явлений жизни. «Стремись наполнить свои произведения идеей, мыслью, — пишет В. Катаев, — я всячески ограничиваю словарь. Я довожу его до возможной краткости. Я добиваюсь в то же время наибольшей нагрузки слова. Я хочу, чтобы слово с максимальной точностью соответствовало мысли, которая в нем заложена. Я хочу изгнать из романа метафору, этот капустный кочан, эту словесную луковицу, в которой «триста одежек и все без застежек» и в которой вместо сердцевины — пустота».

Трудно согласиться с общей оценкой В. Катаевым метафоры как художественно-повествовательного средства, но вряд ли кто станет оспаривать его намерение обходиться (по возможности) без метафор. В. Катаев отмечает: «В ранние годы Горький тоже увлекался метафорой, но потом стал значительно «скромнее», сдержаннее. Только в самые высокие моменты повествования уместны метафорические описания. Так соз-

даны, например, строки, в которых Толстой описывает бред раненого Андрея Болконского. Так в романе «Война и мир» появляется великолепная, развернутая метафора дуба — там, где писателю надо было передать самые значительные переживания своего героя»¹. Таким образом, метафора полностью все же не изгоняется из повествования. При изображении различных жизненных, психологических ситуаций она оказывается не только художественно оправданной, но и необходимой.

Для характеристики различий языка поэзии и художественной прозы несомненный интерес представляют стихотворения в прозе, занимающие пограничную территорию между двумя видами словесного творчества. По своей обобщающей силе, глубине содержания, совершенству формы «Стихотворения в прозе» Тургенева — замечательный образец произведений этого жанра. В них мы находим своеобразный сплав некоторых особенностей прозы и поэзии. Им свойственны своя афористичность, словесный лаконизм, и в то же время это повествование. Многие рассказы заканчиваются небольшими итоговыми формулами — сентенциями. (Этюд «Воробей», повествующий о мужестве маленькой птицы, которая самоотверженно бросается на защиту своего детиса, заканчивается словами: «Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».)

В тургеневских стихотворениях в прозе почти отсутствуют метафора, метонимия как специфический способ воплощения поэтической мысли. И вместе с тем язык стихотворений в прозе отличается удивительной

* Статью первую см. «Новый мир», 1983, № 9.

¹ Валентин Катаев. Разное. М. «Советский писатель». 1970, стр. 308, 32.

сжатостью. Вот, например, как строится повествование в рассказе «Эгоист»:

«Он родился здоровым, родился богатым... Он был безукоризненно честен!.. И, гордый сознанием своей честности, давил ею всех: родных, друзей, знакомых.

Честность была его капиталом... и он брал с него ростовщицьи проценты».

Афористичность, свойственная многим тургеневским стихотворениям в прозе, рельефно раскрывается и в «Эгоисте». «Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной — столь примерной! — особы, и искренне возмущался, если и другие так же старательно не заботились о ней!»

Тургеневский герой лишен однолинейности:

«...он не считал себя эгоистом — и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм! Еще бы! Чужой эгоизм мешал его собственному.

Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь, со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружен самим собою».

От бытовых примет и до своего рода философского обобщения — таков внутренний диапазон образа, созданного художником при совершенном использовании словесных средств.

Одну страничку печатного текста занимает рассказ «Порог». Здесь очень сильно изображена русская девушка-революционерка, по своим душевным качествам решительно отличающаяся от героя «Эгоиста» и от многих окружавших его людей:

«...О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает?»

— Знаю, — отвечает девушка.

«Холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?»

— Знаю.

«Отчуждение полное, одиночество?»

— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

«Не только от врагов, но и от родных, от друзей?»

— Да... и от них».

Рассказ строится на лаконичном диалоге, на неуклонно возрастающей эмоциональной напряженности.

«Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею.

«Дура!» — проскрежетал кто-то сзади.

«Святая!» — пронеслось откуда-то в от-
вет».

Острые внутренние контрасты, эмоциональная напряженность, лаконизм составляют своеобразные черты целого ряда стихотворений в прозе Тургенева. В своих романах и повестях писатель пользовался иными художественными средствами.

Не проводя резкой разграничительной линии между языком поэзии и прозы, следует тем не менее подчеркнуть, что в прозе слово призвано охарактеризовать целый комплекс жизненных явлений, известный круг действующих лиц, их взаимоотношения, окружающую их предметную, природную, социальную среду и т. д., охарактеризовать все это не в форме лирического высказывания или описания, а в виде развернутого повествования. Попутно отмечу, что поэма, роман в стихах — по-своему такие же «промежуточные» явления между прозой и поэзией, как и стихотворения в прозе.

Свойственная языку самых различных литературных жанров глубокая внутренняя связь слова с образными обобщениями в прозе получает свое широкое, многоликое выражение. Целям эстетического освоения мира здесь служит описание быта, пейзаж, портрет, речевая характеристика героя, развитие сюжета, авторские отступления и т. д. Каждый из этих компонентов выполняет свою функцию, вносит свой вклад в создание образа. Для того чтобы слово действительно воплощало авторский замысел и образные обобщения, художник производит целенаправленный отбор всего словесного состава повествования, всей совокупности лексических средств, которые способны с наибольшей впечатляющей силой передать то, что открыто, познано писателем.

Как уже сказано, искусство слова не терпит перечислительной описательности. Оно тяготеет к концентрированному раскрытию примечательного, существенного в явлениях действительности, человеческой жизни. Эту функцию и выполняет нужное, емкое слово, которое стремится найти писатель. Отсюда вовсе не следует, что каждое слово в повествовании обладает одинаковой эстетической энергией, одинаковой смысловой нагрузкой. Подлинный мастер и не стремится сделать художественную речь своего рода перенасыщенным раствором. Энергия слова в этом случае перестает быть ощутимой, она оказывается за пределами внимания читателя.

Достоевский высмеивал писателей, которые с чрезмерным усердием пользуются языковыми «эссенциями». Произведения этих авторов, речь их героев переполнены разного рода «поговорочными» речевыми

оборотами, «приметными» словечками. «...дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят э с с е н ц и я м и, т. е. как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре... Драгоценное правило, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое, давным-давно уже не в привычках наших художников. Мало меры. Чувство меры уже совсем исчезает». Достоевский глубоко прав, что в использовании языковой характеристики огромное значение имеет чувство меры, которое предполагает глубокое чувство внутренних свойств, «весомости» слова.

Одним из важнейших критериев выразительности языка художественных произведений является его экономность, наиболее полное достижение творческих целей при минимуме средств словесного выражения. Подлинно художественная речь решительно не признает ничего лишнего, хотя бы в малой степени не оправданного существом творческого замысла писателя, особенностями образного строя произведения. Лишнее в языке немедленно отзывается ослаблением силы художественного обобщения. Едва ли не главный враг художественной речи — многословие, неумение, а нередко и нежелание малоопытного литератора отсеять ненужное: иногда сами по себе «хорошие» слова в образном контексте произведения оказываются лишними, необязательными. Они работают не на впечатляющее раскрытие идеи, образа, а обычно в ущерб им. Недаром многие крупные мастера в своих советах молодым писателям постоянно предостерегали их от словесных излишеств, многословия как от одной из весьма серьезных опасностей на пути к подлинному искусству.

Однако этим далеко не исчерпывается сложность проблемы. Дело в том, что принцип экономности художественной речи неоднозначно преломляется в творчестве несхожих между собой мастеров слова и даже в разных произведениях одного и того же автора. Художественная экономность отнюдь не всегда равнозначна словесному лаконизму. Нередко писатель широко использует подробности, мелочи жизни для того, чтобы ярче, глубже обрисовать обыденные, «повседневные» характеры, ведущие начала жизни. Но при этом у выдающегося мастера каждая мелочь, каждое слово, рисующие подробности жизни, имеют не равнодушно-описательный характер, существуют не сами по себе, а открывают путь к большим художественным обобщениям. Они, что называется, всегда к месту, всегда необходимы. Так поступал Гоголь, у которого де-

тальность описания перерастает в глубину и рельефность художественного образа. С точки зрения тех творческих целей, которые ставил перед собой писатель, в языке его произведений нет ничего лишнего, неоправданного.

Иную функцию выполняет детализированное описание в «Войне и мире» и «Анне Карениной» Толстого. Обращаясь ко многим подробностям жизни, писатель стремился передать, во-первых, течение жизни во многих несходных между собой потоках, течение жизни как опору и критерий естественных начал человеческого бытия. И во-вторых, изображение деталей было необходимо Толстому для того, чтобы раскрыть контрасты в намерениях и действиях людей, противоречия в их сложном внутреннем мире. Все это раскрывает многообразие действительности. С таким подходом тесно связано рождение особого — простого и в то же время «усложненного» — языка Толстого, который покоряет своей органичностью, внутренней цельностью.

Типизирующая функция слова по-разному проявляется в различных компонентах литературного произведения, но особенно рельефно в тех его звеньях, которые непосредственно раскрывают образ человека, образ мира. Отсюда в художественной прозе, в ее лучших образцах, скажем, пейзаж играет существенную роль, характеризуя свойства окружающей человека природной среды, ее сложные и неоднородные связи с жизнью людей.

И. Бунин — крупный художник и превосходный мастер пейзажа. В повести «Суходол» писатель рисует угасание дворянского захолустья. Правдивое, проникновенное изображение жизни овеяно чувством эглической печали. Общий тон произведения выразительно оттеняется пейзажем с его сумрачным колоритом. «Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал. Привлекают к себе внимание и «ослепительно-быстрые огненные змеи молний», и «черно-лиловая туча», которая «тяжко свалилась к северо-западу», и равнина хлебов,

которая зеленела «мертвенно-бледно», и шлепанье лошадей «по синей грязи».

Описание грозы находит свое продолжение в рассказе о вечерней поре того же дня. «Вечер же был сумрачный... Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллен, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем». И этот мастерски написанный пейзаж несет на себе отпечаток сдержанной грусти.

Совсем иной колорит присущ пейзажу, который мы встречаем, например, в рассказе «Антоновские яблоки»: «...да и спешить не хочется,— так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крыльшками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге». Великолепны творческие находки писателя в этом пейзаже. Радостное удивление вызывают и «небо легкое и такое просторное», и раскинувшиеся косяками «пышно-зеленые озими», и проволока на телеграфных столбах, точно «серебряные струны», и кобчики — «совсем черные значки на нотной бумаге».

Талантливый писатель умеет экономно, концентрированно и в то же время с широкой внутренней объемомостью охарактеризовать самые разнообразные и сложные процессы человеческого бытия. Такова, например, картина жизни дореволюционной России, нарисованная Л. Леоновым в «Русском лесе», картина, воссозданная через восприятие молодого Вихрова. «Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь,— мимо ярманок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золь,— сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается

народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданиями святославовых времен, кандальников за мирское дело... похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе». Каждое слово, каждая строка здесь заключает в себе большой смысл; сжато, с подлинной экспрессией воссоздан полный контрастов, встревоженный мир. Отличаясь свежестью, оригинальностью, леоновская художественная речь рельефно запечатлевает пестрый противоречивый облик дореволюционной русской деревни.

Л. Леонов — признанный знаток и мастер русского слова. Его язык привлекает читателя своей красочностью, самобытностью. Приведу еще некоторые примеры силы и меткости художественной речи, взятые из «Русского леса». Вот описание Москвы летом и осенью 1941 года, Москвы, ожидающей налета немецко-фашистской авиации. «С наступлением темноты стаи серебряных аэростатов заполняли небо. а в шумовую мелодию города вступали властные, никогда не освоенные человеческим ухом инструменты воздушной тревоги. Они заставляли умолкнуть все, даже шелест листвы и детский плач, словно живое страшилось обнаружить себя, а улицы становились такими длинными, что казалось, никак не добежишь до их конца». Лаконичная и глубоко выразительная картина! Замечательны по своей психологической проникновенности слова автора «словно живое страшилось обнаружить себя» и то, что «улицы становились такими длинными». Они действительно оказывались такими для тех, кого угроза воздушного нападения заставляла искать убежища.

При обрисовке героя, его индивидуальных черт писатели часто обращаются к изображению его внешнего облика. Существует множество различных путей и средств такого изображения. Одни из них прямо ведут к раскрытию духовного мира человека — таковы, например, портреты действующих лиц в гоголевских «Мертвых душах». В других случаях это достигается более опосредованным способом. Нередко внешний портрет создается в качестве своеобразного контраста духовному облику героя; тогда он существенно усиливает восприятие реальных свойств действующего лица.

У Леонова мы находим разные способы изображения героя, его внешних особеннос-

тей, его внутреннего мира. Важнейшие черты душевного склада Вихрова, основного героя «Русского леса», Леонов очень удачно характеризует через описание его быта, окружающей обстановки, описание, в котором ясно ощущается полемическое начало: «Не было здесь плюшевых гардин, да они и не обязательны для жилища, где хозяйева, по лесному обычаю, встают и ложатся со светом; не только золота не виднелось нигде, но и старинных, с позолотой, фолиантов, живописно нарисованных враждебным воображением, книг-олимпийцев, свысока, сквозь зеркальные стекла наблюдающих бесполезную суету смертных. Лишь настоящему ученому нужны именно такие книготруженики, с оборванными корешками и полосками исписанных вкладок: их можно марать заметками, совать в рюкзак перед экспедицией, даже употреблять для баррикадного боя, тем более что все не уместившееся на дощатых прогнувшихся полках громоздилось на подоконниках и даже подпирало потолок, увязанное в плотные, непробиваемые блоки». Книги-труженики, составляющие главный предмет внимания Вихрова, отсутствие всего, что хотя бы отдаленно напоминает привязанность к комфорту, роскоши, — верные свидетельства жизненной, духовной устремленности героя, свидетельства, краткие по объему и в то же время обширные по своему содержанию.

Портрет другого действующего лица романа, Грацианского, писатель выразительно рисует в контрастном сопоставлении с его духовным миром. Иезуит и доносчик, он предстает перед читателем в облике интеллектуального благообразия, в позе благородного защитника истины и справедливости: «У него было продолговатое, аскетической худобы, овечное непримиримым величием и не без оттенка надменной гордости лицо с матовым цветом кожи и с небрежной, чуть сединую тронутой бородкой; как бы ветерком вдохновенья вздыбленные волосы его были умеренно длинные, и слегка мерцающие тени лежали во впадинах под высоким лбом. Все это придавало ему образцово-показательную внешность стойкого борца за нечто в высшей степени благородное, что, в свою очередь, вызывало самые глубокие к нему симпатии».

В приведенных примерах очень ясно выступает типизирующая сила портрета, его важная функция в развитии повествования. Как и во всех иных компонентах литературного произведения, определяющее значение имеет не номинативная перечислительность, а открытие характерного, воссоздание его посредством нужного слова.

II

Художественная речь, как уже отмечалось, обладает способностью не только воплотить характерное, примечательное в жизни, но и оказывать эмоциональное воздействие на читателей. То эстетическое впечатление, которое производит литературное произведение, идет не помимо образного слова, а через него. Эта особенность языка художественной литературы определяется его интонационным богатством, широкими интонационными возможностями. Художественная речь не существует вне определенной интонации или, точнее, гаммы интонаций, вне воплощенного в литературном произведении эмоционального отношения к явлениям действительности.

Разнообразие интонаций отличает как разговорно-бытовую речь, так и письменный язык. Но именно в художественной речи они выполняют чрезвычайно важную структурную роль. Свое выражение интонация находит прежде всего в основном тоне произведения.

Некоторые ученые высказывают мысль, что интонация присуща лишь поэтической речи в силу ее особой эмоциональной насыщенности. Но такой взгляд нельзя признать верным. Одна из существенных черт художественной речи в целом — ее подчеркнута выраженный интонационный характер, ее способность передавать многообразие эмоционального восприятия мира.

Интонация представляет собой отнюдь не украшающее начало художественной речи, а ее органическое свойство. По своей сути, по своей функции интонация — неотъемлемая часть образного обобщения, неотъемлемая прежде всего по той причине, что она тесно связана с изображаемым предметом, явлением, раскрытием их качеств. Интонация художественной речи — это своеобразный ориентир, позволяющий прояснить характерные черты людей, окружающего мира. Вместе с тем интонация содержит в себе и отношение к явлениям жизни, эмоциональный ракурс их восприятия и изображения.

Художественные произведения, особенно крупного повествовательного масштаба, содержат в себе анализ и обобщение многих явлений жизни, многих сторон бытия человека, его психологии. Поэтому интонационный их строй чаще всего сложен: наряду с преобладающим тоном в произведении мы улавливаем и другие, находящиеся в тесной связи с ним, нередко неоднородные тональности, в целом образующие то в определенной мере противоречивое единство,

которое и характеризует подлинное, исполненное глубокой жизненной правды художественное творение².

Особенности интонационного строя литературного произведения с достаточной отчетливостью можно показать на многих примерах. Но, вероятно, целесообразнее всего это сделать на примере повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат», в которой тесно соприкасаются между собой и одновременно сталкиваются различные потоки повествования.

Сквозной нитью через всю повесть проходит сопоставление устремлений властительных деспотов, отличающихся жестокостью, лицемерием, и людей, на судьбе которых глубоко драматически сказывается бесчеловечность как «хозяев», так и исполнителей их воли. Господствующими в «Хаджи-Мурате» являются два интонационных начала, неотделимых одно от другого и в то же время отчетливо контрастных. Это прежде всего тон напряженного драматизма, по преимуществу внешне сдержанного, лишеного черт аффектации, и затем ирония при освещении людей и событий, переходящая в сарказм при изображении грозных властителей. Как первое, так и второе интонационные начала проявляются в различных формах; им — особенно драматическому повествованию — сопутствуют и другие тональности рассказа.

Начальные главы произведения, посвященные Хаджи-Мурату, написаны в подчеркнуто спокойном тоне, сквозь который просвечивает подлинный драматизм. Преследуемый мюридами Шамиля Хаджи-Мурат скрывается у преданных ему людей, он намерен перейти на сторону русских. Садо, хозяин сакли, в которой остановился Хаджи-Мурат, говорит ему о том, что «от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным». Сообщение Садо не вызывает у Хаджи-Мурата никаких внешне выраженных эмоций. Он совершенно спокоен. «Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо».

² Более подробно об интонационном строе литературных произведений см в моих книгах «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» (М. «Художественная литература». 1977, гл. III), «Художественное творчество, действительность, человек» (М. «Советский писатель». 1978, гл. «Жизнь в веках»).

Речь Хаджи-Мурата, так же как тех, с кем он ведет беседу, немногословна. «Вербка хороша длинная, а речь короткая», — замечает Хаджи-Мурат. Внимание писателя сосредоточено не столько на диалоге, сколько на описании действий персонажей повести. Особое значение он придает выражению глаз героев, которое открывает их душевное состояние. Хаджи-Мурат «ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей»³. Затем: «Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших». Старик, отец Садо, не желающий говорить о том, что он знает, глядел «не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами». Услужливый мюрид Хаджи-Мурата Элдар «молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговарившегося старика». Садо «был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына...».

Сцена отъезда Хаджи-Мурата из аула выдержана в том же ключе, что и первая глава, — внешняя безэмоциональность сочетается с большим внутренним беспокойством.

Отказываясь от детального раскрытия переживаний Хаджи-Мурата, Толстой переносит центр тяжести повествования на воссоздание динамики событий, оттеняющих сложность и напряжение жизненной ситуации. Жители аула хотят насильно задержать Хаджи-Мурата. «Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их шелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом».

При встрече с первым русским командиром — Полторацким — на лице у Хаджи-

³ Здесь и далее разрядка моя. — М. Х.

Мурата, сохраняющем чувство достоинства, играет улыбка. «Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца... Перед ним был самый простой человек, улыбающийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко поставленные глаза, которые внимательно, пронзительно и спокойно смотрели в глаза другим людям». И в сцене беседы Хаджи-Мурата с Воронцовым-младшим и его приближенными «веселая улыбка светилась в его глазах». Однако совсем по-другому изображен герой, когда он оказывается наедине с собой.

«Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности. Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже».

Повествование о Хаджи-Мурате перебивается и по-своему дополняется рассказом о малоприметной, казалось бы, драме русского солдата Авдеева, умершего от раны, полученной во время минутной перестрелки с горцами. Тяжелая судьба Авдеева, его смерть не взволновали никого, кроме старой матери, с болью в сердце вспоминающей о сыне в далекой русской деревне.

И вместе с тем гибель Авдеева находит свое отражение в проникнутом ложью официальном донесении: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

Официальная версия приобретает у Толстого ироническое звучание. Иронией проникнуто описание дома Воронцова-старшего, его стремлений к утверждению своей власти и популярности. Подобострастное восхищение приближенных Воронцова его делами, его пронзительностью, чрезмерное

усердие «двора» настолько очевидны, что они становятся не очень приятными и самому прославленному сановнику. «Князь Воронцов старался умерить волны лестии, которые начинали уже заливать его».

Сцена встречи Хаджи-Мурата и Воронцова-старшего характеризует столкновение настороженного спокойствия, даже надменности Хаджи-Мурата и утонченной коварной хитрости князя Воронцова. «Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним».

Общий колорит тех частей повести, в которых Хаджи-Мурат рассказывает о своей жизни, об отношениях с Шамилем, отличается слиянием драматического с ужасным. Рассказ выходит за рамки повествования о судьбе героя, он раскрывает жестокую борьбу за власть, борьбу, участники которой не знают угрызений совести, размышлений на моральные темы. Но и здесь ощущается напряженная сдержанность рассказа, которая, однако, отлична от колорита первых глав. И только в конце рассказа Хаджи-Мурата сквозь суровую сдержанность прорывается чувство глубокой тревоги:

«Он (Шамиль. — М. Х.) требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семья я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардару: пока семья там, я ничего не могу делать».

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке».

Однако судьба Хаджи-Мурата зависит не только от Шамиля, но в еще большей мере и от верховного правителя России — Николая I. Его воля, пристрастия, капризы определяют судьбы многих людей, калечат их жизнь. Пятнадцатая глава повести, изображающая Николая I, носит иронико-

сатирический характер, который ясно сказывается в различных эпизодах главы, в том числе и в портрете императора: «Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного...» В отличие от изображения Хаджи-Мурата и ряда других действующих лиц повести Толстой подчеркивает в облике Николая I безжизненность его взгляда. Деталь эта неоднократно повторяется, выявляя внутреннюю сущность персонажа. «С безжизненным взглядом, с выпяченной грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид».

Толстой создает обобщенный образ самодержавного правителя России. В различных сторонах его деятельности, которые характеризует писатель, проявляются одни и те же черты: безразличие к людям, их страданиям, горю, тупая жестокость, необычайно высокая оценка собственной персоны. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства.— Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа».

Глубокой иронией, сарказмом пронизана характеристика Николая I.

Смена настроений, капризы самодержца сказались и в деле Хаджи-Мурата — «благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время». Следствием доклада явилось распоряжение императора «усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией».

Главы, рассказывающие о беспощадном разорении горского аула, вносят в драматическую линию повести новые существенные краски. Их трагическое содержание непосредственно перекликается с теми страницами, где сатирически обрисован деспотизм.

В пятнадцатой главе повести охарактеризован европейский деспотизм Николая I, в главе девятнадцатой изображен восточный деспотизм Шамиля. В их обрисовке

есть сходные черты и различия. Сходство здесь и в общем тоне повествования, и в способе изображения действующих лиц. Так же как в облике Николая, в портрете Шамиля подчеркнуты две-три характерные особенности. «Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого». И далее снова отмечается «неподвижно каменное лицо» Шамиля как свидетельство внутренней отчужденности его от людей.

И вместе с тем именно в главе о Шамиле деспот изображен в соприкосновении со своей жертвой. В сцене встречи с сыном Хаджи-Мурата выявляется расчетливая бесчеловечность Шамиля, его страшная жажда кровавого мщения. «Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прошу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабу, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову...— Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам».

По своей тональности выразительным контрастом к главам повести, посвященным Николаю I и Шамилю, является описание отношений Хаджи-Мурата с Бутлером и Марией Дмитриевной. Это отношения дружбы, человеческого участия, взаимной симпатии; они противопоставлены вражде и ненависти, с которыми герои повести так часто сталкиваются.

Однако после небольшого интервала глубокий драматизм рассказа начинает нарастать. Различные планы спасения семьи без непосредственного участия самого Хаджи-Мурата рушатся. «Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было...» «Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?» «Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя. «Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

О бегстве и гибели Хаджи-Мурата читатель узнаёт прежде, чем знакомится с подробным их описанием. С тем большим вниманием и волнением читатель воспринимает само развитие событий, детали рассказа.

Жизненные, психологические коллизии достигают своей высшей точки. Развертывается финал глубокой драмы Хаджи-Мурата, но это драма со смертельным исходом также и для немалого числа из тех людей, кто пытался помешать его бегству в горы.

Толстой и в этой последней картине повести, так же как и в ряде других, не характеризует эмоций Хаджи-Мурата, избегает психологической усложненности повествования. И тем сильнее выступает внутреннее, психологическое напряжение рассказа, которое достигается заостренным динамичным изображением отчаянно смелой, безудержной борьбы Хаджи-Мурата, борьбы до последнего — не только за свою жизнь, но и за жизнь своей семьи.

Сочетание различных повествовательных линий, разных тональностей рассказа позволяет писателю передать сложность процессов жизни, выразить к ним свое отношение. Как уже было отмечено, это не обособленные друг от друга начала, а взаимопроникающие, тесно взаимодействующие между собой.

Очевидно, что интонационный строй каждого крупного литературного произведения неповторим. Однако он так или иначе соприкасается с особенностями интонационного строя других произведений того же автора. Черты некоторой общности в интонации нередко наблюдаются и в творчестве писателей, принадлежащих к одному литературному течению. Свообразие, оригинальность интонационного строя произведений крупных мастеров — один из важнейших признаков оригинальности, самобытности их творчества.

III

При всем несомненном значении художественного слова для создания образных обобщений нередко высказываются суждения, которые отводят ему чисто служебную роль. Ранее уже рассматривалась теория «преобразования» слова в литературно-художественном произведении, преобразования, при котором оно лишается важнейших своих свойств. Взгляды, принижающие значение художественной речи, существуют и в иных вариациях. Так один из участников дискуссии «Слово и образ», организованной в свое время журналом «Вопросы литературы», В. Назаренко, писал: «Интересуясь художественным мастерством писателя, мы вправе отвлекаться от речевой оболочки... и вникать в движение образов жизни, выбираемых, осмысляемых творчеством, говорящих нам то, что хочет ска-

зать писатель»⁴. Представления о языке художественного произведения как о «речевой оболочке» в искаженном виде характеризуют связи, соотношения языка и образа, процесс его создания. С этой точки зрения оказывается малополезным или даже совсем ненужным тот огромный труд, который затрачивает писатель, отбирая языковые средства для того, чтобы воплотить дорогие ему идеи и образы.

Оболочка — это нечто внешнее, от нее легко освободиться. Об этом, собственно, и говорил В. Назаренко: «...и в литературе не слова для нас главное. Донеся до нас образы, они как-то отодвигаются в сторону... Мы так хорошо видим мысленно, например, Плюшкина... Но — как это, на первый взгляд, ни поразительно — образ Плюшкина живет в нашем сознании, уже отделившись от той «языковой оболочки», в которой он явился в книге»⁵. Однако тут, естественно, возникает вопрос: почему, благодаря каким обстоятельствам мы мысленно видим Плюшкина и других героев Гоголя? Бесспорно, что это результат творческой работы гениального художника над словом, мудрого использования его изобразительных и выразительных возможностей. Иных путей и способов увидеть действующих лиц литературных произведений не существует.

Достаточно широким признанием пользуется точка зрения, согласно которой слово в литературном творчестве — это своего рода строительный материал. Без него, разумеется, невозможно создать литературное произведение, но тем не менее самостоятельного значения оно не имеет. Роль художественной речи мыслится аналогичной той функции, которую выполняет материал в других видах искусства. Согласиться с этой точкой зрения никак нельзя.

Если материал, скажем, в скульптуре не оказывает решающего влияния на внутренние свойства самого художественного образа, то совсем по-иному обстоит дело в литературе. Здесь совокупность речевых средств формирует характер действующего лица, образ природы, определяет сюжетное развитие и т. д. Можно сказать, что художественное слово не подсобное средство, не инертный строительный материал, а действенный инструмент, орудие, с помощью которого писатель формирует содержание, весь строй своего произведения, его образные обобщения.

⁴ «Вопросы литературы», 1958, № 6, стр. 78.

⁵ Вадим Назаренко. Язык искусства. Л. «Советский писатель», 1961, стр. 24—25.

Необходимую предпосылку рассматриваемой нами теории составляет взгляд на художественную речь как на некое нейтральное, чисто информативное явление. Но это неверно. Об активности языка художественной литературы, его эмоциональном напряжении уже шла речь. Художественное слово всегда целеустремленно, имеет свой цвет, свою окраску. Оно целеустремленно тогда, когда выявляет характерное, ранее неизвестное в явлениях жизни, оно не нейтрально и в той его важнейшей функции, когда передает интонационный строй произведения, выражает отношение художника к действительности.

Конструктивная роль художественного слова, пожалуй, наиболее приметно, в своей открытой форме, выступает в тех произведениях, в которых действует рассказчик, наделенный отчетливо выраженными языковыми особенностями. Они, эти особенности, не только характеризуют повествователя, но и под определенным углом зрения раскрывают существенные черты объекта изображения. Сюда же относятся и литературные сочинения сказового характера. В известной мере тот же принцип используется и при изображении действующих лиц, их внутреннего мира с помощью последовательного раскрытия своеобразия речи героев, их языковой манеры. Такой способ характеристики персонажей художественных произведений нашел широкое и многоголубое выражение в реалистической литературе разных периодов времени.

Но к подобной открытой форме конструктивная функция художественного слова, естественно, не сводится. Литература различных направлений знает и многие другие пути действительного, целеустремленного использования внутренних возможностей слова.

В творчестве ряда писателей конца XIX и XX веков многостороннее эффективное развитие получила так называемая несобственно-прямая речь. Ее сущность заключается в том, что в авторское повествование включаются высказывания, речевые обороты, характерные для того или иного действующего лица повести, новеллы, романа. Речь автора и речь героя, авторский взгляд на явления жизни и взгляд персонажа тем самым как бы сближаются, выявляя живую непосредственность восприятия действительности. Слово при этом приобретает свою новую окраску, выразительную силу.

Замечательным примером мастерского исполнения несобственно-прямой речи может служить рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Отношение его героя гробовщика

Якова Бронзы к жизни, своеобразие его мыслей и чувств читатель ясно ощущает, начиная уже с первых фраз рассказа, ощущает не столько через их описание, сколько благодаря включению в авторское повествование несобственно-прямой речи. «Гробок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные».

Авторское слово полностью не сливается со словом действующего лица, то и другое временами соединяется друг с другом, а затем как бы расходится, развивается самостоятельно. Чехов не стремится передать всех особенностей речи, высказываний героя; с большим тактом он вкрапливает в авторский рассказ слова, речевые обороты, характеризующие главное в раздумьях и переживаниях действующего лица: «Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенье и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток!..» Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом».

По своей тональности несобственно-прямая речь в «Скрипке Ротшильда» неодинакова. В начале рассказа в ней выступают юмористические черты, но по мере развития повествования преобладающими становятся трагические ноты. Жена Бронзы при смерти. Строгое, суровое отношение к ней, которое сохранялось у гробовщика на протяжении многих лет, претерпевает изменения «Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками...»

Несобственно-прямая речь находит свое продолжение и углубление в непосредственных высказываниях, замечаниях героя рассказа. Это касается прежде всего его диалога с фельдшером, музыкантом Ротшильдом. Но сочетание этих двух начал так или иначе проявляется и в авторском повествовании: «Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: „Хорошая работа!“».

Тема утрат, «убытков» проходит сквозной нитью через «Скрипку Ротшильда», принимая разные формы, находя свое различное воплощение и в несобственно-прямой речи. Реальное сливается с воображаемым, с фантазией, сохраняя, однако, свою психологическую остроту. Бронза «недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустынная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк... наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки!»

Слово, строй речи героя, наполняясь трагическим содержанием, становится красноречивым свидетельством бесплодных усилий, жизни, растроченной впустую: «...жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, и за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков?»

В последней фразе слышится уже голос автора. Он ясно звучит и в последующих строках. «Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену... Зачем вообще лю-

ди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки!» Чехов не случайно пользуется словом героя для того, чтобы высказать свое отношение к бесплодно прожитой жизни. Слово это метафорически меткое, выразительное. Красочны и весомы различные формы несобственно-прямой речи, вся словесная ткань «Скрипки Ротшильда».

Но как бы верно художественное слово ни схватывало характерные черты предмета, явления, оно живет, функционирует не само по себе, не отдельно, а в реальном контексте, и не только в атмосфере повествовательного эпизода, но и в контексте всего произведения. В. В. Виноградов писал: «Слова и выражения в художественном произведении обращены не только к действительности, но и к другим словам и выражениям, входящим в строй того же произведения. Правила и приемы их употребления и сочетания зависят от стиля произведения в целом. В контексте всего произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой перспективе целого»⁶.

Вопрос о взаимоотношении языка художественного произведения и его стиля — самостоятельная большая тема. Я не имею возможности в рамках данной статьи сколько-нибудь подробно ее рассматривать. Однако некоторые соображения по этому поводу мне хочется высказать.

Очевидно, что язык и стиль произведения — явления, близкие друг к другу, но отнюдь не тождественные. Категория «стиль произведения» шире, чем понятие «язык». Еще более широким по своему содержанию является понятие «стиль писателя». Помимо языка стиль, скажем, художественно-прозаического произведения включает в себя способ компоновки творческого создания в целом и отдельных его частей, приемы использования повествовательного пространства и времени, особенности развития сюжета, обрисовки действующих лиц, окружающей их среды, интонационный строй произведения.

Наиболее крепкое, органичное сопряжение слова, языка произведения со всеми другими его компонентами, со структурой стиля происходит через интонацию, тональность произведения. Основной его тон и соприкасающиеся с ним тональности окрашивают слово, придают ему определенное

⁶ В. В. Виноградов. О языке художественной литературы. М. ГИХЛ 1959, стр. 233—234.

эмоциональное звучание, но одновременно с тем от слова художественной речи, от его удачного выбора зависит сила, убедительность как отдельной интонации, так и интонационного строя произведения в целом.

Однако внутрискладовые сопряжения слова этим не ограничиваются. Именно потому, что оно действительный инструмент познания и выражения образного содержания, его участие ощутимо в различных компонентах стиля: в обрисовке персонажей, их связей с действительностью, в развитии сюжета и т. д. Выбор речевых средств, их окраска, их звучание здесь не менее важны, чем в создании общей эмоциональной атмосферы произведения.

В свое время мною было предложено определение стиля как способа выражения образного освоения мира, способа убеждать и увлекать читателей. Мне и сейчас определение это кажется верным. Оно учитывает двоякую природу стиля — воплощение и воздействие, выражение и способность увлекать. При таком подходе к стилю особо подчеркивается действительная функция языка как важнейшей составной части стиля. Художественной речи принадлежит активная роль в выражении образного освоения мира, она в немалой степени определяет и силу воздействия литературного произведения.

В этой связи необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что язык художественной литературы, обладая своими специфическими свойствами, отличается в то же самое время огромным разнообразием. Оно зависит прежде всего от особенностей того или иного национального языка, а затем в большей степени от творческих устремлений и индивидуальности крупных художников слова. Именно потому, что язык художественной литературы воплощает образное освоение действительности, своеобразие этого освоения, присущее творчеству отдельных мастеров литературы, он характеризуется сложной внутренней дифференциацией и особой динамичностью.

IV

Очевидно, что развитие, совершенствование языка художественной литературы неразрывно связано с целеустремленным использованием богатств национального языка, его речевых сокровищ. Крупных художников слова постоянно волновала мысль о творческом освоении ценнейших россыпей народно-разговорной речи, бытового, повседневного языка, языка народной поэзии. Оспаривая взгляды защитников тощей изысканности светской речи, Пушкин писал: «Разговорный язык простого народа (не

читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфьери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком». Обращаясь к молодым литераторам, поэт советовал: «Вслушайтесь в простонародное наречие, молодые писатели, вы в нем можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах». Пушкин высоко ценил речевые богатства русской народной поэзии. В заметках о французской словесности он отмечал: «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.»⁷.

Пушкин явился основоположником русского литературного языка, действительно объединив в нем различные начала русской речи, широко и органично использовал в своих произведениях лексику, формы сочетания слов повседневного языка, народной речи. Языковые преобразования, осуществленные Пушкиным, вызвали, как известно, острые критические нападки «староверов», людей, стоявших на позициях незыблемости литературных и языковых канонов. Величие дела Пушкина глубоко и тонко понял Гоголь. Он писал: «В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство».

В свою очередь сам Гоголь сделал чрезвычайно много для обогащения русского литературного языка, языка художественной литературы. Он смело и с большим творческим результатом использовал словесные ресурсы бытовой речи для рельефного изображения «обыденных» и героических характеров, повседневной жизни и больших исторических событий. Писатель восхищался меткостью русской народной речи, богатством, многообразием русского языка и неизменно опирался на эти его свойства в своей напряженной работе над художественным словом. «...необыкновенный язык наш есть еще тайна, — писал Гоголь. — В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой

⁷ «Русские писатели о языке». Л. «Советский писатель», 1954, стр. 80, 78.

как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязаюно непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт...»⁸

Достижение тесных связей языка художественной литературы с общенародным языком, с бытовой речью является вдохновляющей целью многих других, если не всех, крупных русских писателей XIX века. Помимо глубоких художественных мотивов здесь ясно проявилось стремление к демократизации литературы, ее языка, к расширению читательской аудитории. Пожалуй, наиболее отчетливо эта тенденция сказалась в творческой деятельности Льва Толстого, особенно во второй ее половине. В письме Н. Н. Страхову Толстой заявлял: «...язык, к[оторым] говорит народ и в к[отором] есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот, кроме того — и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу... Я... просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в нашем»⁹.

Народно-разговорный язык, повседневная, бытовая речь не остаются стабильными. С течением времени они претерпевают существенные изменения, особенно в лексическом составе. Соприкасаясь в своем развитии с новыми явлениями жизни и психологии человека, художественная литература использует и не может не использовать речевые накопления, которые возникают в повседневной речи.

Проблемы эти весьма актуальны и для современной советской литературы. Свидетельством тому могут служить возникающие одна за другой дискуссии о языке художественной литературы. В них чаще всего сталкиваются две тенденции: одни из участников дискуссии взволнованно выска-

зывают доводы в пользу обогащения языка художественной литературы, широкого освоения того лучшего, что рождается в повседневной речи, другие горячо ратуют за ясность, выразительность и чистоту языка художественной литературы. Сталкиваются как будто бы разные точки зрения, но принципиально, по существу своему они не противостоят одна другой, если, однако, не считать крайностей, присущих обеим тенденциям (апологетическое отношение ко всем проявлениям, формам бытовой речи или, наоборот, воинствующий пуризм).

Вопреки мнению некоторых писателей и исследователей в бытовой, повседневной речи, в языке народных говоров далеко не все равноценно. Наряду со словесными жемчужинами в них нередко встречаются уродливые слова, слова-пустышки, непродуктивные обороты речи. Литературное творчество — и об этом подробно говорилось ранее — неотделимо от взыскательного отбора речевых средств, нужных для убедительного, яркого изображения жизни. Этот принцип художественного творчества в полной мере распространяется и на освоение накоплений бытовой речи, диалектного языка. О необходимости такого взыскательного отбора неоднократно писали крупные художники слова.

К сожалению, далеко не всегда в современной литературе подход этот реализуется с необходимой последовательностью. Зачастую литераторами используются слова, обороты речи из повседневного языка, народных говоров, просторечия не в силу их нужности, их смысловой ценности, а вследствие того неверного предположения, что все знакомые литератору с детства слова народно-разговорного языка могут обогатить язык художественного произведения. Временами проявляется элементарное стремление расцветить рассказ малозвестным, «колоритным» словом, речевым оборотом без учета того, как светит, как звучит то или иное речевое нововведение. И тогда закономерно возникает вопрос о чистоте, ясности языка художественной литературы. Между тем богатство художественной речи — в лучших ее образцах — сочетается с ее ясностью и чистотой. Не существует двух разных критериев совершенства языка художественных произведений. Единый критерий включает в себя то и другое.

При этом, однако, необходимо подчеркнуть различия между языком персонажей и авторской речью. В то время как авторская речь носит в значительной мере нормативный характер, речь персонажей шире, свободнее впитывает в себя особенности на-

⁸ Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. М. Издательство Академии наук СССР. 1952, т. VIII, стр. 50, 408—409.

⁹ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. М. ГИХЛ. 1953, т. 61, стр. 278.

родно-разговорного языка. Однако это вовсе не значит, что речь персонажей должна копировать бытовую речь. Языковой натурализм, так же как и натурализм в обрисовке действующих лиц литературного произведения, не приносит положительных художественных результатов. Они достигаются, в частности, путем целенаправленного отбора речевых средств, их постоянной шлифовкой художниками слова.

И потому, что язык художественной литературы отличается высокой степенью художественной обработки, он оказывает большое влияние на развитие национального литературного языка. М. Горький писал: «...начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот «великий, прекрасный язык», служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Толстого»¹⁰.

Роль художественной литературы в совершенствовании литературного языка заключается прежде всего в том, что через ее посредство, при самом деятельном ее участии происходят испытания речевых средств, в том числе вновь используемых. Пройдя строгую проверку в горниле литературного творчества на выразительность и силу воздействия, речевые средства получают нечто вроде знака качества, они обретают широкое признание (иногда с течением времени), становятся достоянием национального литературного языка. Восприняв от общенародной речи ее существенные элементы, язык художественной литературы возвращает ей многие речевые средства в усовершенствованном виде, наделенными способностью выполнять сложные функции. Лингвисты справедливо отмечают, что усовершенствования эти касаются прежде всего лексико-семантических и стилистических свойств литературного языка и почти не затрагивают его грамматической структуры.

Иногда влияние языка художественной литературы на национальный литературный язык сводят преимущественно к словотворчеству отдельных крупных писателей. Однако это неправомерно уже потому, что процесс художественного словотворчества сравнительно редко имеет интенсивный характер. В русской литературе можно назвать лишь нескольких писателей, примечательных в этом плане. Среди них Карамзин, Маяковский, Андрей Белый, Хлебников.

Но если Карамзину удалось ввести в речевой обиход целый ряд новых слов (таковы, например, «промышленность», «общественность», «человечный», «общепользительный», «будущность», «достижимый», «усовершенствовать» и т. д.), то словотворчество Маяковского, Андрея Белого, Хлебникова не получило широкого признания. Достоянием поэтического словаря Маяковского остались такие, например, созданные им слова, как «громась», «многопудье», «рыд», «звяк», «людье», «визголосье», «дребезга» и другие. Однако сила Маяковского не в словотворчестве, а в глубоком воплощении социалистического мироощущения, в ярчайшем раскрытии становления — в борьбе и труде — нового мира.

Место художественной речи в системе общенародного языка не ограничивается ее весьма важной ролью в обработке, совершенствовании национального литературного языка. Художественная речь выполняет и более широкую функцию. Как было уже отмечено, в каждом языке существуют знаковые и незнаковые явления, между которыми вместе с постоянными их взаимодействиями происходят и непрерывные столкновения. Речевые стандарты, словесные штампы, постепенное омертвление слов, оборотов речи — всему этому свойственны тенденции к неоправданному расширению и усилению. Но это как раз и означает обеднение общенародного языка, ослабление его эффективности. Художественная речь в силу своих внутренних свойств, вследствие своего воздействия на общественное сознание служит преградой для экспансии речевых шаблонов, штампов, препятствием для экспансии знаковых явлений языка.

И не только препятствием. Используя емкое, выразительное слово, новые действенные типы и формы словесного выражения, художественная речь открывает перспективы для иных, чем речевые стандарты, способов общения, становится по отношению к ним своего рода альтернативой. Язык художественной литературы оказывает существенное влияние не только на литературный язык, но и на повседневную, разговорную речь.

В этом смысле очень характерно восприятие, например, языка Гоголя. Известный критик В. Стасов вспоминает о годах своей юности (конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века): «Тогдашний восторг от Гоголя — ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем... С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительной бой-

¹⁰ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М. ГИХЛ. 1953, т. 27, стр. 168—169.

костью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление... Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком»¹¹.

Разумеется, освоение достижений художественной речи в повседневном языке — процесс сложный и даже извилистый, но его реальность совершенно несомненна.

Художественная литература зачастую ведет прямое наступление на застывшие канонические формы языка, речевые шаблоны и одновременно на автоматизм человеческих мыслей и действий, дискредитируя те и другие.

¹¹ В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах. М. «Искусство». 1952, т. 2, стр. 336.

То обстоятельство, что язык художественной литературы является своеобразным регулятором языковой нормы в широком смысле этого слова, подчеркивает его значительное, а отнюдь не периферийное место, как иногда думают, в общенародном языке, многообразии и сложности функций, которые он выполняет. Влияние художественной литературы, народной поэзии позволяет яснее видеть, понимать соотношение знаковых и незнаковых языковых явлений. Все это тесно связано с той ролью, которую литература играет в жизни общества, в эстетическом освоении мира. Язык художественной литературы передает завоевания, открытия, характеризующие важную сферу духовной деятельности человека.



СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Игорь Дедков. Под знаком беды... — Маргарита Алигер. Встреча с трубаду-ром

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Кузнецова. Коренные проблемы современного Востока. — Ст. Тютюкин. Заря российского марксизма. — Борис Носин. Доктор из джунглей.

Литература и искусство

ПОД ЗНАКОМ БЕДЫ...

Василь Быков. Знак беды. Повесть. «Дружба народов», 1983, №№ 3, 4.

Пока еще видно: здесь жили люди; еще можно угадать, где стоял их дом и где был колодец; еще можно понять, что жизнь ушла отсюда не сама, не по своей воле и что обгорелое изуродованное дерево над зарослями крапивы и лопухов — знак беды...

Это первый знак беды, может быть, главный, с него начато; еще много тревожных, недобрых знаков ждет нас впереди. Впрочем, первый знак в то же время — последний, если догадаться, что эта опустелая земля со следами былой жизни — как раз то, к чему все в повести придет и на чем оборвется.

Печальной этой картиной — малой горькой подробностью белорусского ландшафта — писатель мог бы не начать, а закончить повесть, но тогда бы, пожалуй, чересчур сильно и категорически прозвучал мотив неизбежности и прочности забвения, нашего фатального неведения и беспамятства. Будто случившееся случилось, прошлое перечеркнуто, отпало, и люди на этой земле будто не жили, не гнули на ней спину и все бывшее их судьбой — до последнего вздоха и вскрика — смыто временем и отринуто потомками как лишнее бремя и докука Или проще сказать: забыто. Если не помнишь ничего, не знаешь, знать не хочешь — до чего свободно и удобно жить чья-то давняя ноша, пусть даже твоих отцов, твоего народа — чужая ноша, даже след ее тяжести чувствовать — зачем с какой стати?

Начать с мертвого хутора — не значит ли не смириться с этим хладом законченности и завершенности как с итогом и попытаться

пробиться к далеким живым дням и живым голосам, к живой истории этого трагического исхода, «расшифровать» знак беды?

Пока живы память и воображение художника, ничто не завершено и не подвести последней черты... Открывшаяся нам жизнь Степаниды и Петрока в сорок первом под немцем и прежняя, в двадцатые и тридцатые, опровергает затерянность и ничтожность их судеб, отрицает бесследность, бессмысленность их стертого с лица земли бытия.

Все сгнуло, пепел развеян — так нет же! Пока мы живы, говорит нам писатель, мы помним, и как бы ни мешала спокойно жить ноша памяти и ответственности, она с нами, и только пока мы верны ей, мы чего-нибудь да стоим, и лишь тогда, может быть, на самом строгом судилище стыд не выест нам очи.

Что десятилетия? Такая ли это крошечная мгла и даль, когда живем среди их отголосков, отзвуков, знаков, прямых и косвенных результатов? Когда-то аукнулось, а все еще откликается, когда-то посеяно, а жатва все идет и идет, давно вроде бы остыла зола на старом пепелище, а прикоснись — жжет. И Василю Быкову больно касаться, и Алесю Адамовичу, и Ивану Чигринову, и Виктору Козько тоже больно, и читателю вслед за ними — тоже больно и горестно, ну а как прикажете жить и быть? Или так — по ироническому слову поэта: «Давай пройдем на цыпочках, стороной, давай притрусим рытвины соломкой, давай смолчим, прикнемся, давай не тронем тот горелый каравай» (Л. Григорьян)?

Василь Быков никогда не обещал нам

и не предлагал ничего легкого или легко разрешимого. Быков остается Быковым, и это благо, что он такой. И если в этой повести он выходит в новые для себя пределы, то все равно ни в чем себе не изменяет и не противоречит; он остается самим собой даже там, где вступает на земли деревенской прозы, уже, казалось бы, поднятые Ф. Абрамовым, И. Мележем, Б. Можаяевым, В. Беловым и другими. Быков и здесь никого не повторяет; это его — быковский — выбор героев и ситуаций, его понимание народного характера, крестьянской судьбы и сложного хода истории. Он узнаваем в полной мере: та же преданность человеку обостренной совестливости, непокорному и непокоренному, не способному бесконечно претерпевать любые обстоятельства и потому — героическому.

«Знак беды» — не такая уж неожиданность, как может показаться. Еще в «Журавлином крике» (1959) Быков пытался объяснить поведение своих героев на фронте их довоенной жизнью. Был среди них и молодой крестьянин по фамилии Пшеничный с судьбой искаженной и как бы провоцирующей его на измену. Однако в конспективных предысториях Пшеничного и других персонажей Быков больше был публицистом, чем художником, а потом долгое время едва касался обстоятельств предвоенного житья-бытья своих героев. Лишь начиная с «Сотникова» писатель все чаще стал искать решающие объяснения человеку — как он жил и что делал в прошлом; публицистический антисхематизм, заметный в ранних повестях, все более уступал место свободному художественному анализу.

Одновременно в «партизанских» повестях нарастал интерес автора к затаившейся, обыденной жизни деревень, расположенной чуть поодаль, как бы на обочине основных событий. Вьются над крышами утренние печные дымы, простоволосая девушка плещет на снег помой, мальчик при свете коптилки читает Жюль Верна... За каждым таким проявлением обычной, наперекор всему продолжающейся жизни всегда что-то оставалось, таилось: какая-то неизвестность, другие судьбы, другие повороты мысли и надежды, другая, тоже небезразличная ему участь, иной вариант все той же обшей, не милующей никого драмы.

У Быкова пять повестей о партизанской борьбе. В «Знаке беды» — ни партизан, ни того, что чаще всего называем борьбой. Затаившаяся деревенская жизнь сместилась с обочины в центр; она здесь главное. И еще новость: небывало для Быкова разрослась предыстория событий; прошлое впер-

вые обрело художественное равноправие с настоящим; именно прошлое придает всему остальному важнейший дополнительный смысл и генетическую глубину. Изображать трагические события на хуторе как сиюминутные, беспочвенные, случайные было бы явным упрощением, неправдой. Быков предпочел искать и проявлять связь фактов, старых и новых интересов, побуждений, поступков. Это было необходимо, этого требовал сам материал: впервые он рассказывал не о людях, соединенных одним окопом, одной боевой задачей, одной партизанской вылазкой, а о тех, кого война застала дома, в родных стенах, в своем привычном крестьянском мире и кругу, где все если не родня, то все равно — свои, наши, одного корня, одного племени...

«Твердый земляной пол» истопки, к которому припала Степанида в последние мгновения жизни, был утопан за многие годы «ногами панов, шляхтичей, батраков, ногами Петрока, ее мужа, и ее детей»; то было прикосновение к давнишнему и родному, к тому, что шло издалека и продолжалось ею, ее семьей... Да и все вокруг хутора — старые липы у ворот, картофельное поле, всякий взгорок и овражек, всякий уголок подворья — было насыщено памятью о пережитом, былыми надеждами, радостями и отчаянием, былыми заботами и трудами, и каждое встречное лицо несло в себе столько знакомого, хорошего или плохого, совместно испробованного, испытанного, словно издавна и навсегда были все они, здешние, повиты одною крепкою веревочкой...

«Знак беды» — это мир Степаниды и Петрока: все, что было в нем, все, что есть, все, что исчезнет с ними вместе. То глазами Петрока, то глазами Степаниды смотрим вокруг; это их ощущение и понимание того, какова жизнь и чего она от них хочет; это боль и мысль людей, пытающихся спасти свой дом, друг друга, свое человеческое достоинство.

Поначалу кажется, что ни боли единой, ни единой мысли нет и в помине; зреет, нарастает противостояние Степаниды и Петрока, как когда-то Сотникова и Рыбака, Зоси Нарейко и Антона Голубина. Такие они разные, Степанида и Петрок, настолько разные, что припоминается известная притча о рожденных летать и рожденных ползать. И, конечно, Петрок в таком случае — из тех, не летающих, Степанида же — из тех гордых, кто рвется ввысь. Очень это похоже на правду, но окажется — неправда. Романтическая дифференциация человечества в этом духе Быкову чужда. Писателю дороги оба — и Петрок

и Степанида, он понимает их равным образом: может быть, Петрока даже лучше и полнее или вообще всех на свете Петроков вместе с ним? Или Петроков просто больше? У истоков этого характера — батрацкая доля, стойкое ощущение своей отчужденности, малости, какой-то неминуемой подвластности сильному миру сего («...был научен за долгую жизнь всего побаиваться»)... И все-таки, как ни терпелив и осторожен Петрок, как ни смела отчаянно Степанида, противостояния не будет — в несходстве откроется их глубокое, прекрасное сходство и родство, когда все различия характеров не могут помешать чему-то более важному, соединившему их когда-то и достаточно для того, чтобы встречать и выдерживать любые беды вместе, не отшатываясь, не отступаясь друг от друга. О любви ли сейчас пишу? Или о чем-то другом, связанном с нею, — об общем чувстве правды и справедливости? Пусть Петрок скрепя сердце потрафляет сегодня непрошеным гостям, а Степанида выдает корову на землю, лишь бы не этим гадам, пусть так, послушание и сопротивление рядом, два способа беззащитных защитить себя и свое, но заметим: чем меньше становится нравственной возможности жить и защищаться, тем все ближе и ближе друг к другу эти немолодые, уставшие люди, тем пронзительнее жалость каждого из них не к себе — к другому, тем сильнее их нарастающее общее непокорство, их отказ так жить и терпеть!

Степанида и Петрок — это иное бытие художника, его добровольно принятое на себя страдание; их живое, конкретное, крестьянское зрение — это конкретность его воображения, его художественного взгляда. В этом взгляде есть неизбежная и необходимая сторонность: он в них, своих героях, но и рядом с ними; он видит их со стороны, когда их не видит никто. Тогда ли, когда Петрок блуждает в минских улицах, тогда ли, когда Степанида перепрыгивает бомбу... Писателю открыта неслучайность их судьбы, ее обусловленность многими обстоятельствами, ее исторический характер.

Сколько знаков беды в этой повести! Один к одному, они отступают и преследуют, и чувство тревоги нарастает. Стучат топоры у реки — немцы наводят мост, сняты тяжелые сны, каркает ворона над хутором, вспоминается мертвый жаворонок из той давней, счастливой весны, когда после батрачества впервые в жизни пахали свою землю... И не отвести глаз от несчастного Янку, живого знака и воплощения страшной, потрясшей мальчика беды. Смерть Ян-

ки тем мучительнее для Степаниды, что на глазах погублен — добит! — безгрешный, безвинный, а с ним оборвался, кончился хороший крестьянский род, будто ненадобен он больше этой земле...

Знаков беды столько, что сжимается сердце. Петрок оглядывает свой хутор: похоже, скоро ему уезжать куда-то; Степанида прячет поросенка, словно вместе с этим теплым, живым существом спасает что-то очень дорогое, какую-то надежду, едва ли не самую гонимую жизнь... Мир, согретый теплотой, участием, состраданием Степаниды, еще существует; она жалеет всех: корову Бобовку, кур, поросеночка, кроткого, тихого Петрока, деток своих, куда-то заброшенных войной, безвинного страдальца Янку, сгнувшего Левона, скупого Корнилу, старого работающего Гужа... Но близок час, и она увидит, как немецкий солдат разрубает, разделяет то, что было ее Бобовкой, и как под ударами топора подскакивают коровьи ноги... Родной, выстоявший в стольких бедах мир меркнет, всему нормальному приходит конец...

Спорят о реализме наших дней: нужны ли детали, не велик ли риск описательности, не наскучила ли предметность, не примешивать ли побольше фантазии и «магии», но искусство все-таки начинается не с предварительных правил и рецептуры: оно найдет, как сказать, было бы что говорить... Сколько вроде бы можно писать крестьянский обиход: пасут и доят корову, закладывают бурт картошки, то поросенка кормят, то кур... У Быкова разве не так ли? Да еще с какой тщательностью, будто ничего нельзя пропустить! Но не наполнена ли, не оправдана ли здесь каждая подробность быта особым, острым, печальным смыслом, потому что все это, может статься, прощание и неизвестно, повторится ли то, что повторялось изо дня в день, из года в год, и сечка, рубящая траву в корытце, не в последний ли раз стучит?

Здесь дом Петрока и Степаниды, здесь все родное, пусть бедное и неказистое, но ничего лучшего нет, не нажито; приход немцев — это вторжение чужого, бесстыдного, бесцеремонного; твое, родное вдруг заполняется чужим; и тебя вытесняют, ты — никто, не в счет. Это страшно, но боли и горечи в Степаниде больше, чем страха. Когда немецкий офицер войдет в хату, она вдруг увидит свое жилище, стены, оклеенные пожелтевшими газетами, давно не мытый пол его глазами, будто с ним впервые перешагнет этот старый черный порог... Может быть, Быков, чувствующий и видящий так, — какой-то чуть другой Бы-

ков, более художественно тонкий, что ли, более глубоко берущий... Припомним, как написаны незрячие глаза немцев: то ли не видят «туземцев» в упор, то ли прячут глаза, чтобы полетче было совести... Припомним новый, враз почужевший для Степаниды мост — все толстое, грубое, мощно сбитое и свинченное болтами, — мост, проложивший дорогу беде... Или опять же вместе со Степанидой увидим, как чужие, такие разные по характеру руки забирают из старенькой корзинки яйца, и каждое то яичко обласкано ее взглядом, словно оно тоже что-то чувствует и переживает, и прикосновение этих жадных, привередливых рук противно... Или еще припомним, как Степанида и Петрок испытывают неловкость перед хозяином хутора из-за того, что «новая власть» оделила их двумя десятинами его, хозяйской, земли... Ну а забудем ли, как надрылся Петрок на том поле, что прозвут Голгофой, и как вкопал он в ту каменистую, недобрую землю огромный дубовый крест — знак беды и мольбы, спланный чуть позже ревнителями атеистического пейзажа...

Да, нормальная жизнь хутора под липами кончена; явятся еще и «свои», переметнувшиеся, усердные, усердствующие; кажется, не внешний мир меркнет — само сознание... Мысль о будущем укорачивается: «Может, не убьют, не застрелят до вечера, еще поживем немного...»

По-белорусски это звучит так: «...яшчэ пажывем трохі...» Но мысль жива, бьется, ищет спасения: пожить бы еще трохі и еще трохі...

Когда растаскивали в местечке магазины, Петроку не досталось ни сахару, ни соли, и он оправдывался перед женой: зато притащил керосину, скоро зима, пригодится!

Керосин пригодился. Неспроста же слово что-то сулила, на что-то тревожное намекала, на глаза попадалась эта бутылка с керосином.

Это ли не знакомо? Если в первом акте драмы висит ружье, оно выстрелит в третьем. Ружью — стрелять, керосину — вспыхивать, а если на стене висит скрипка, то она обязана заиграть.

Скрипка Петрока — причуда и отрада его молодых лет — и в самом деле сыграет, потешит чужое ухо — откупаясь, спасаясь, убажывая! — но звук ее донесется до нас глухо, из-за стены, как из неволи, а в «третьем акте» музыки вовсе не будет.

Какой, однако, благовоспитанной нормой жизни и реализма, какой упорядоченностью веет от ружья, что стреляет под занавес!

Не угодно ли чего-нибудь поабсурднее и посмешнее из новой эпохи и новой логики: скрипка обменена на змеевик, на музыку самогонного аппарата, а славный поросенок Степаниды отдан другу молодости в обмен на авиационную невзорвавшуюся бомбу. Бомба, кажется, сию минуту «выстрелит», не стерпит, когда Степанида выложит ее за хвост, и взорвется, сотрясая и обрывая повесть, да вот не взорвется совсем...

Спрятанная бомба остается лежать в земле, то ли угрожая, то ли напоминая о чем-то, и трудно даже сказать, какого часа она ждет, эта страшная железная заноза.

Муки Петрока из-за самогона — во спасение жизни варил это зелье! — и какая-то полубезумная Степанидина возня с бомбой — во имя мщенья, одна мысль в голове, одна цель! — могут напомнить о некоторых страницах «Леса Богов» Балиса Сруоги, где страшное, жестокое переходило «мыслимые» пределы, становилось чем-то абсурдным и неожиданно, в каких-то подробностях, смешным... Словно смех, пусть неловкий, сам себя пугающийся, остается после всего, когда, кажется, ничего уже не осталось. Столько страшной нелепости, жестокого вздора, что разум не выдерживает, защищается...

Степанида и Петрок не виноваты, что их жизнь заканчивается в таком мире, который каких-нибудь два месяца назад нельзя было вообразить. Глупая деревенская баба! Возиться с какой-то бомбой! Глупый бедный Петрок! Разве напоишь эту банду, разве залыешь эти глотки, разве откупишь-ся?

Вот беда-бедствие: Степаниду и Петрока изводят чужие и бывшие «свои», словно безвинность их особенно нестерпима, словно безвинность — та же вина, да еще какая!

Быков написал ясно: ради таких тружеников, как Степанида и Петрок, была совершена революция. Червяков, случайно оказавшийся в их хате, знал это хорошо и по-особому понял это еще раз. Можно предположить, что понял именно по-особому, когда молча сидел у стола посреди застигнутой им врасплох крестьянской жизни, слушал, смотрел... В сущности, он попал к людям, верящим ему, и надежды их на лучшую жизнь неизбежно связывались с ним и с такими, как он, с их мудростью и справедливостью. Быков дал нам понять, что Червяков это почувствовал. Подвести этих людей было бы чем-то непоправимым, непростительным.

В смысле революции Степанида разбира-

лась, пожалуй, лучше своего Петрока. Скучная земля Голгофы не принесет ни богатства, ни счастья; вся надежда, что с колхозом-то наконец они выйдут из нужды. В Степаниде есть черты характера, может быть, недостающего нашей деревенской прозе (исключение — творчество Ф. Абрамова). Перед нами — натура деятельная, сильная, самостоятельная, способная не претерпевать обстоятельства, но перечить и препятствовать им. Это характер, разбуженный революцией, ее светом, и если он чужд все сносящему терпению, иногда воспеваемому, то это не значит, что он не нарочен.

Петрок — другой; он задумчиво смолит свою сигарку, будто навсегда озадачен жизнью и опасно ждет, куда это она еще надумает повернуть. Любовь к земле? — как бы говорит он нам. Любовь-то любовью, но есть еще борьба с землей, и это как крест нести... Петрок — из терпеливцев, из усталых и наработавшихся, но, как многие герои писателя, он знает край, за которым жить-терпеть не сможет, не захочет.

Народный характер, трудящийся человек, белорусский крестьянин дороги Быкову, но он никогда не забывает, что существует высший спрос с человека. И тут никакая любовь не должна застить наши глаза; никто не огражден, никому грехи заранее не отпущены — спрос тот же. И как ни горьки впечатления от Корнилы или Недосеки, от Колонденка или еще кого, ничего не поделаешь: истина дороже, да и лечит лучше.

«Почему и за что?», «Мы перед ними вины не имеем» — какие странные, наивные вопросы и мысли проносятся в сознании Степаниды и Петрока. Какое, можно сказать, глубокое непонимание вещей, объективных обстоятельств истории, расстановки мировых социальных сил и т. д.!

Однако же какая великая правота жизни в этом недоумении, какая чистая вера в наказание всех виновных, в спасение безвинных, какое горькое непонимание своей участи, и какой долгой тревогой отзывается оно в сердцах живущих!

Пишем, помним о великих событиях, но внутри их всегда бьется малая жизнь, великое множество малых жизней; у великих событий — обычный человеческий состав, но на популярном языке многозначных цифр это невыразимо.

Там, внутри, — Петроки, Степаниды, Сотниковы, Гужи и Колонденки, да и кого там только нет; хорошая литература считает единицами, у нее — каждый в счет.

На этом конкретном уровне самые сложные события становятся понятнее и ближе, они как бы начинают принадлежать собственно человеческой истории.

Люди, как всегда, что-то понимают, чего-то не понимают, люди поступают так или иначе, думают, спрашивают, допытываются, иногда — на пределе своих умственных и моральных сил, потому что это совершается, проходит их единственная жизнь.

Степанида думает, что зло «не может породить ничего, кроме зла, на другое оно неспособно», без силы доброты с ним не справится, «зло считается лишь с силой и страшится лишь наказания». Но сколько бы ни скопилось зла, «тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом».

Отвлеченности? Модернизация? Из наших дней вся эта моралистика занесена?

Но сначала о том, что значит почувствовать себя человеком. Что значит это в контексте повести? За словами Степаниды — не просто достойная трудовая жизнь, за ними — ее поступки, когда в одиночку вступалась за людей, за чистоту революции, не желая возвращаться к батраческому послушанию и покорству...

Еще Степанида думала, что вроде бы и не жила на этом свете, все откладывала и что долгие ее годы «были словно подступом, подготовкой к лучшему будущему».

Опять мысль, занесенная из наших дней? Авторское обдумывание судьбы героя?

Некоторые современники Л. Толстого были убеждены, что писатель вложил в князя Андрея «мысли и страдания человека позднейшего времени». Почему-то иные люди считают, что в такие-то и такие-то исторические времена человеческая мысль могла существовать в таких-то только пределах и за установленную — кем? — черту не переходила. Но многие реальные факты и свидетельства (в том числе дневники, письма и т. п.) ясно говорят нам, что жизнь всегда себя обдумывает достаточно полно и независимо. Это совершается на всех уровнях, и на безвестном — тоже.

Может быть, близко время, когда в военной прозе будет совершаться более полное самообдумывание жизни; не такое, скажем, как в последних романах Залыгина или повестях Распутина, — в иных формах, но будет, и это увеличит ее духовную силу.

В «Знаке беды» война вобрала в себя всю прежнюю жизнь и в какой-то мере продолжила ее; довоенное в людях войны нигде не исчезло. Разве не так бывает всегда? В какое бы событие мы ни вступили, какую бы черту ни перешли, мы явим-

ся туда со всем своим воспитанием, опытом, характером, общественной и прочей закалкой. Вполне возможно, что военная проза еще вберет, впустит в себя много предвоенного, и деревенского и городского, тем самым еще основательнее включив человеческую историю войны в общий еди-

ный текст нашей истории во всей ее сложности.

...Зола на старом пепелище, там, где жили Степанида и Петрок, еще не остыла. Мы чувствуем, как она жжет.

Игорь ДЕДКОВ.

Кострома.



ВСТРЕЧА С ТРУБАДУРОМ

К. М. Бельман. Песни Фредмана. Послания Фредмана. Л. «Художественная литература». 1982. 159 стр.

С поэзией разные люди общаются по-разному, и существуют разные формы человеческих отношений с ней. Есть любители поэзии, те, кому она доставляет истинное, почти чувственное наслаждение, украшая и наполняя их жизнь, делая ее значительнее и богаче. Есть знатоки поэзии, хранящие в памяти и в сознании своем не только великое множество стихов, но и множество разных вариантов, оттенков и подробностей; те, с кем лучше не вступать в споры о поэзии и о поэтах, ибо споры, несомненно, будут проиграны. Но есть еще и собиратели поэзии, те, кто старается воссоздать картину поэтического восприятия мира, поэтического осмысления его во все времена и на всех языках и наречиях. Или, пожалуй, верней будет сказать, что они воссоздают карту поэтического неба, как астрономы, вглядываясь в его глубины, как астрономы, ликуя и торжествуя, когда им удастся разглядеть и нанести на свою карту какую-нибудь новую звезду.

Эти последние получили в минувшем году дорогой подарок — сборник стихов Карла Микаэля Бельмана, шведского поэта-трубадура XVIII века. Книгу открывает, предвзято даже титульный лист, воспроизведенный портрет поэта — в рубашке с кружевами, в красной жилетке, с лютней в руках. Очевидно, для автора стихи его неотделимы от музыкального сопровождения. Переводчик со шведского, ленинградец Игн. Ивановский, осмелился их отделить друг от друга, воспроизведя в книге своих переводов только несколько музыкальных сопровождений. Это смелый и рискованный поступок. Кто знает, как бы к нему отнесся Карл Микаэль Бельман!

Швеция середины XVIII века была уже вполне просвещенной страной, со своей Академией наук, печатными изданиями и театром. Шведская культура заметно стремилась выйти из-под немецкого влияния и ощутимо тяготела к Англии и Франции. В

поэзии Швеции той поры еще торжествовал классицизм, нравоучительный и морализующий тон, что поддерживал и королевский двор, и нарождающемуся романтизму нелегко было утвердиться и пробить себе дорогу.

Бельман прожил свои неполные пятьдесят пять лет в феодально-сословном обществе. Он окончил университет в Упсале, стал незначительным чиновником, обзавелся немалой семьей. Таков был реальный, открытый людям образ его жизни, но за всем этим шла другая жизнь Бельмана, жизнь его души, пристально вглядывающейся в окружающий мир, в судьбы тех людей, до которых не снисходила поэзия церемонного классицизма, которых не пустили бы на порог сколь-нибудь знатного дома. Но именно они, эти люди — разорившийся часовщик Фредман, отставной капрал Мольберг, музыкант Мувиц, уличная девица Улла Винблад, — именно они и были народом Швеции и друзьями Бельмана. Он любил этих людей, охотно и часто общался с ними, вникал в их судьбы, сочувствовал и помогал им. В сущности, это было дно жизни, дно Стокгольма, но именно то, что поэт проник в его жизнь, увидел, что жители этого дна — люди горячих чувств и живой души, и стал петь их чувства и переживания, именно это и сделало его поэтом нужным, даже необходимым этим людям и всему его родному народу.

Мы не знаем, когда Бельман начал писать и стал известным, но ему, безусловно, помогло то, что его зрелая и, надо полагать, наиболее активная творчески жизнь совпала с царствованием короля Густава III, короля, испытывавшего сильнейшее французское влияние, который старался казаться чуть ли не вольтерьянцем, общался и беседовал с учеными и литераторами, по-своему любил литературу, искусство и театр и весьма ошутимо поддерживал их в Швеции. Один из воспитателей Густава в отро-

ческие годы сумел обратить его внимание на выдающийся талант шведского трубадура, и он охотно слушал песни и импровизации Бельмана и впоследствии дал ему должность и звание королевского секретаря. Эта должность настолько хорошо оплачивалась, что за половину ее предприимчивый трубадур нанял чиновника, который исполнял все его секретарские обязанности, а оставшаяся половина давала ему с семьей возможность существовать достаточно свободно. Тогда только Бельман смог оставить чиновничью службу и целиком отдаться творчеству.

Он много писал, и то, что писал, вполне созвучно его времени и литературе тех времен: нравоучительные стихи и стихи на различные случаи, стихотворные пьесы по заказам королевского двора, вполне невинные сатиры, тексты хоров и кантат. Шведское Бельмановское общество с 20-х годов нашего столетия издает академическое собрание сочинений Бельмана. Оно составило двенадцать томов, снабженных подробнейшими иллюстрированными комментариями. Эти двенадцать томов присутствуют в любой шведской библиотеке, но только первые два тома залистаны и зачитаны до дыр — те тома, которые содержат главные и, очевидно, лучшие произведения поэта-трубадура: 147 песен, «Послания Фредмана» и «Песни Фредмана» — с приложением нот. То есть бессмертным оказалось то, что писалось или, вернее, складывалось почти что в игре, на ходу, без всяких академических задач: свободные чувства, свободные движения сердца, шутки и забавы дружеского общения с простыми и добрыми людьми. Эти люди живут весело и непринужденно, и поэт рассказывает об их похождениях, любовных изъяснениях, пикниках, драках, болезнях, похоронах, лихих застольях, о живых человеческих чувствах. Бельман говорит о них с полным сочувствием и пониманием, с доброй дружеской иронией. Дружество, дружелюбие, когда-то пронизывающее его отношения с героями песен, сохранилось в стихах навсегда, и это драгоценно.

Шведские поэты, предшественники Бельмана, часто полагали, что реальная действительность и поэзия суть величины не сочетаемые, мир их поэзии искусствен и отчужден и поэтому, вероятно, не очень-то нужен людям. Бельман первый у себя на родине заговорил поэтическим языком о живой жизни, живых чувствах, живых людях, и они, эти люди, благодарно откликнулись и горячо полюбили его песни. Автор их стал, в сущности, первым по времени шведским национальным поэтом, и это от-

ношение к нему сохранилось до сих пор. Вероятно, он дорог шведам еще и тем, что в песнях своих выражает те чувства, живые и непосредственные, которые шведский национальный характер обычно сдерживает и таит, — общительность и открытость, отзывчивость и праздничность. Шведы благодарны своему поэту за то, что он почувствовал и раскрыл их сущность, их тайное тайных, то, что они не умеют открывать людям, но что присутствует в их душах и взаимоотношениях. Песни Бельмана и сегодня звучат в Швеции в полный голос, звучат с эстрады, по радио, с телеэкрана, на дружеских сборищах и просто на улице. Ежегодно летом 26 июля в самом большом парке Стокгольма Хаге собираются тысячные толпы поклонников Бельмана и звучит «Хага», 64-я песня Фредмана. Современные шведские певцы охотно и по-разному исполняют его песни. Эти песни звучат в различных постановках современных шведских театров. Поэт и впрямь обрел у себя на родине истинное бессмертие.

Впрочем, именно на родине Бельмана его редко, а может быть, и вообще не называют поэтом. Его называют трубадуром, а чаще всего просто Бельманом — и этим все сказано. Тексты «Посланий Фредмана» и «Песен Фредмана» никогда не звучат отдельно от музыки, и в этой неразрывности заключен огромный внутренний смысл, который шведы тщательно берегут. Они понимали силу этой неразрывности всегда и всегда тревожились о том, чтобы она не была утрачена. Юхан Чельгрэн, глава современной Бельману шведской поэзии, в свое время писал: «...тому, кто оценил эти стихотворения только как стихи, открылась лишь половина их ценности. Никогда еще искусство поэзии и искусство музыки не объединялись столь по-братски. Это не стихи, написанные на данную музыку, и не музыка, созданная на данные стихи; они так подошли друг другу, так слились в одном прекрасном единстве, что трудно сказать, что более пострадало бы — стихи, если бы у них отнять музыку, или музыка, если бы у нее отнять стихи».

Игн. Ивановский, переводчик Бельмана, человек музыкальный, с приятным голосом, почувствовал и передал Бельмана «в одном прекрасном единстве» и показывает людям свою работу в ее первоначальном звучании, то есть поет их под музыку лютни. Так я их услышала впервые, и это было обаятельно и своеобразно. Но в книжке ему пришлось совершить то «кошунство», против которого выступал еще Юхан Чельгрэн: разорвать стихи и музыку. И теперь уже можно отве-

тить на вопрос того же Чельгрена: «...что более пострадало бы — стихи, если бы у них отнять музыку, или музыка, если бы у нее отнять стихи». Разумеется, стихи, лишенные музыки, во многом теряют свое неповторимое очарование, но иначе решить задачу было ведь невозможно. Игн. Ивановский совершил смелый поступок и сделал все, что было в его силах, для того чтобы Бельман стал не только песней, но и книгой, своеобразным поэтическим памятником своего времени, своего народа. Он очень тщателен, переводчик, очень бережен, очень осторожен с языком шведского поэта XVIII века, и, читая его переводы самым придир-

чивым образом, я нашла только один грех, одну строку, которая, пожалуй, звучит несколько не во времени:

Ну, а со штурманом что за Девница?
Томно ему на плечо улеглась,
В будни прядет, в выходной веселится...

Вот этот «выходной», пожалуй, несколько режет ухо.

Вероятно, Бельман в переводах Игн. Ивановского станет и музыкальной пластинкой, и наши читатели и любители поэзии узнают его в полной мере и обрадуются новой встрече с поэтом, уже известным им по сборнику стихов.

Маргарита АЛИГЕР.



Политика и наука

КОРЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВОСТОКА

Г. Ф. Ким. От национального освобождения к социальному. Социально-политические аспекты современных национально-освободительных революций. М. «Наука», 1982. 296 стр.

Известные ленинские слова о пробуждении Азии констатировали подъем национально-освободительного и революционного движения в Азии под влиянием русской революции 1905 года. Но не только. Они разрывали стереотип «спящего Востока», глубоко внедрившийся в общественное сознание (многие, к примеру, с детства помнят лермонтовское стихотворение «Спор», в котором поэт, создавая образы дремлющего «в дыму кальяна» Тегерана, «дряхлого Востока», где род людской «спит глубоко уж девятый век», вложил в уста Шат-горы общепринятое мнение). Однако стереотипы исчезают медленно, обычно для этого требуется коренное изменение ситуации. Даже в 1919 году мысль Ленина о том, что «за периодом пробуждения Востока в современной революции наступает период участия всех народов Востока в решении судеб всего мира», была скорее гениальным предвидением, чем отражением международной обстановки тех лет.

В послевоенные годы распалась колониальная система империализма и на арену истории вышли десятки новых независимых государств. К 70-м и началу 80-х годов роль Востока в «решении судеб всего мира» резко возросла. Это было признано даже теми, для кого Восток «спящий» куда привлекательнее «пробужденного». Именно тогда появились новые, пропагандируемые буржуазной публицистикой стереотипы о «дуге нестабильности» на Востоке, угрожающей Западу, о шейхах, скупающих все богатства Европы и способных вот-вот остать ее без бензина и денег, и т. д.

Какова же в действительности роль Востока в наши дни? Что происходит в его пределах? Как, наконец, очертить эти пределы?

Если оставить в стороне историческое (а ныне — политическое) противопоставление Восток — Запад, где Восток включает нередко или даже прежде всего Россию, то после второй мировой войны Восток обрел новые «границы». Раньше для многих западных политиков существовали лишь некоторые азиатские страны, не утратившие самостоятельности, а знатоки культуры исследовали в основном Индию, Китай, Японию, Ближний Восток. Теперь всем приходится считаться с десятками абсолютно разных государств, в то же время в определенном смысле объединенных между собой. Усложнившаяся реальность потребовала от исследователей трудов, построенных на анализе положения во многих или, по возможности, во всех этих странах, обобщающих разнохарактерный «восточный» материал, содержащих попытки определить главные тенденции развития Востока. К таким трудам относится монография видного советского востоковеда, члена-корреспондента АН СССР Г. Кима «От национального освобождения к социальному».

В самом ее названии определяется одно из основных направлений общественного развития на современном Востоке, что находит проявление, пишет автор, «и в обостряющихся внутренних социальных коллизиях, размежевании противоборствующих классов и социальных групп; и в усиливающейся конфронтации освободившихся стран с империализмом и неокOLONИализмом на

экономической и политической основе; наконец, в упрочении и углублении курса на социалистическую ориентацию, в неуклонном расширении левого фланга национально-освободительного движения».

Иначе говоря, речь идет о внутренних и международных проблемах молодых государств (при этом зачастую наследников древнейших цивилизаций), степень социально-экономического развития которых столь различна, что, казалось бы, стоящие перед ними задачи не могут иметь ничего общего. Однако включенность этих стран в мировую экономику и политику объединяет их и одновременно превращает освободившиеся народы из объекта в важный субъект всемирной истории.

Прежде всего — о «материальном фоне» социально-политических и идеологических сдвигов и напряжений на Востоке.

К концу 70-х годов экономические и социальные проблемы в развивающихся странах (в книге Г. Кима они часто рассматриваются в целом) существенно обострились, несмотря на значительный рост экономики в 60—70-е годы, поскольку плоды этого роста распределялись неравномерно и по странам и по отдельным группам населения. Согласно приводимым в монографии подсчетам, в 1975 году в Азии, Африке, Латинской Америке 644 миллиона человек (более трети населения) жили в условиях абсолютной нищеты (ниже черты бедности). На начало 80-х годов в этих условиях ориентировочно находятся 800 миллионов (40 процентов). Удручающе выглядит и прогноз на 2000 год с его весьма скромным улучшением: 589—475 миллионов человек (20—16 процентов населения) — ниже черты бедности.

Одна из основных причин столь ужасающей массовой бедности и нищеты — безработица, а еще чаще — неполная занятость. По данным Международной организации труда, в середине 70-х годов в Азии было, соответственно, 18 и 168 миллионов безработных и неполностью занятых, в Африке — 10 и 53; к началу 80-х годов эти цифры существенно увеличились. Автор считает, что «проблема занятости в ближайшие десятилетия приобретет еще большую остроту и станет центральным звеном социальной стратегии развития». Пути развития понимаются, впрочем, в разных странах по-разному.

Империалистические идеологи долгое время трактовали модернизацию экономики молодых государств только как «вестернизацию», то есть капиталистическую модернизацию, несущую разрушение всех тради-

ционных отношений. Но революция в Иране (независимо от ее исхода) была именно протестом против подобного «прогресса», навязанного стране диктаторским шахским режимом сверху. Продемонстрировав всему миру значение культурно-исторической, в том числе культурно-религиозной традиции в революционной ситуации, иранская революция, а также рост влияния ислама во многих странах Азии и Африки придали особую актуальность проблеме «традиции и современность», которой уделено в книге большое внимание.

По этой проблеме ведутся острые дискуссии. Как следует использовать культурное наследие? Что в нем отжило свой век и что необходимо сохранить, соединив с сегодняшними достижениями? Задача ликвидации отсталости оказывается тесно связанной с традициями, ибо необходимая для ее решения перестройка жизни широких масс невозможна без использования в той или иной мере присущих им форм поведения и ценностных ориентаций. Иначе разрушение вековых патриархальных связей воспринимается затронутыми этим процессом людьми как распад общества, как утрата самого смысла жизни.

Много раньше процесс разрушения патриархальной культуры под натиском капитализма был подробно описан в русской и западноевропейской литературе. В современной Азии и Африке этот же процесс принял больший размах, а разрыв между крушением старого и утверждением нового затянулся. Поэтому настроениями разлада пропитана вся афро-азиатская литература, констатирует Г. Ким.

Реакция традиционалистски настроенных масс на тягостные последствия капиталистической перестройки жизни противоречива: она может способствовать зарождению массовых движений против западного влияния и деспотизма, против обуржуазивания общества, но вместе с тем может приобрести и реакционную форму, стать орудием борьбы фанатиков и реакционеров. Подобная двойственность особенно заметна в феномене «исламского взрыва» — так назван автором подъем религиозно-политической активности в конце 70-х — начале 80-х годов в мусульманских странах (сейчас в мире примерно 800 миллионов мусульман, они составляют абсолютное большинство в 33 государствах Азии и Африки и влиятельное меньшинство — в 14). Ислам был знаменем антишахской революции в Иране, носившей на начальном этапе четкий антиимпериалистический, антиэксплуататорский характер. Под эгидой ислама порой прово-

дятся реформы в странах социалистической ориентации. В то же время к исламу обращаются и реакционные политические режимы и феодально-помещичьи круги, мусульманский фанатизм, как правило, сочетается с антикоммунизмом.

Исламом на Востоке, конечно, не исчерпывается обращение к традициям в целях их использования в современных условиях. Различные концепции — «национального социализма», «культурной самобытности», «третьего пути» — в чем-то близки к религиозным концепциям и так же осуждают капиталистическую модернизацию, хотя их основной тезис — культурная специфика Востока. Специфика эта разъясняется как ориентация на дух солидарности, чувство братства, сердечность, терпимость, способность к взаимопониманию, любовь к людям, стремление к добру и т. п. Далее следуют утверждения о якобы внутренне присущем культуре Востока гуманизме, противостоящем отчужденному рационализму западного мира. Подобные идеи культурной исключительности Востока имеют то консервативную (антинаучную, антимарксистскую), то радикальную (антиимпериалистическую, антикапиталистическую) окраску. Они связаны и с популистским толкованием социализма. Так, ряд азиатских и африканских идеологов сводят социализм в основном к принципам традиционной солидарности, рисуют его как возвращение мифического «золотого века». Однако исторический опыт последних десятилетий недвусмысленно доказал нереальность перестройки социальных отношений на основе столь утопических представлений.

Постепенно, по мере созревания общественного сознания, улучшение жизни народа все решительнее ставится в зависимость от глубоких социальных преобразований и всемерного развития производства. «Понятие социализма приобретает в этом случае иной, не реставраторский, а созидательный характер. Тесную связь между социализмом и прогрессом производства проводили в частности, Дж. Неру, Насер, К. Нкрума, А. Секу Туре и другие видные политические деятели... Таким образом, — приходит к выводу автор, — демократические мыслители делают значительный шаг вперед в решении проблемы соотношения традиций и современности».

Соотношение это очень сложно: некоторые буржуазно-либеральные доктрины 70-х годов, не столько ломающие, сколько приспособляющие «традиционный фактор» к потребностям капитализма, оказались весь-

ма устойчивыми, в то время как ряд режимов, игнорировавших этот фактор, потерпел крах. Таким образом, правильная оценка роли традиций в борьбе за социальный прогресс — необходимое условие последнего.

На 80-е годы Г. Ким прогнозирует дальнейший сдвиг от национального к социальному освобождению, дальнейшее усиление социальной поляризации в странах Востока при одновременном упрочении национальной, политической целостности и суверенитета государств этого региона.

Осуществление глубоких общественных преобразований потребует весьма продолжительного переходного периода, и автор предупреждает о неизбежности возрастания социально-политической напряженности во многих странах Востока. Конечно, это не означает обязательного революционного взрыва (господствующие классы на Востоке тоже учатся маневрировать), но «кнет и «обратного» автоматизма: хотя на нынешнем этапе исторического развития большинство стран Востока избрали капиталистический путь развития, это не значит, что этот путь не может быть прерван... Аналогичным образом было бы неправомерно говорить о «заданности» общественных процессов в странах социалистической ориентации». Творческий марксизм-ленинизм показывает, что освободившиеся страны, естественно, не будут просто копировать существующее: неизбежны различные вариации путей становления капитализма или перехода к социализму. Но при всех вариациях углубятся противоречия между национально-освободительными силами и империализмом. Соответственно закономерен вывод автора о том, что ближайшие десятилетия будут периодом дальнейшего упрочения политического, экономического, научно-технического, культурного и других форм сотрудничества между освободившимися странами и мировым социализмом.

Это сотрудничество не просто взаимовыгодно. Оно служит важным стабилизатором международной обстановки. Постоянные конфликты, вооруженные столкновения и малые войны стали как бы неперенными атрибутами развивающегося мира. Газетные сообщения о гибели тысяч и тысяч людей, огромном ущербе, нанесенном войной экономике, звучат привычно. Между тем империализм использует эти конфликты для обострения международной ситуации. Процесс всеобщей разрядки немыслим без участия народов развивающихся стран Востока.

С. КУЗНЕЦОВА,
доктор исторических наук.



ЗАРЯ РОССИЙСКОГО МАРКСИЗМА

И. Н. Курбатова. Начало распространения марксизма в России. Литературно-издательская деятельность группы «Освобождение труда». М. «Мысль». 1983. 268 стр.

Все великое начинается с малого. Эта старая истина невольно приходит на память, когда думаешь о первой российской марксистской организации — группе «Освобождение труда», столетие которой отмечалось в сентябре этого года. Да, у истоков великого коммунистического движения в нашей стране стояла маленькая группа революционеров-эмигрантов, положившая начало распространению марксистских идей в России. И хотя сами «освободители труда», как называли современники основателя группы Г. В. Плеханова и его товарищей В. И. Засулич, П. Б. Аксельрода, Л. Г. Дейча, сошли затем с прямой революционной дороги и оказались среди идейных противников Ленина, они все же сделали свое дело. Совершив первый шаг навстречу поднимавшемуся на родине рабочему движению, вооружив его теоретически, группа «Освобождение труда» заняла почетное место в истории марксизма и революционной борьбы в России.

Эта история и, в частности, деятельность группы «Освобождение труда» уже давно стали объектом острой идеологической борьбы, идущей в современном мире. Буржуазные историки, философы, политологи стремятся изобразить «Освобождение труда» как некий ортодоксальный реликт, судьба которого якобы олицетворяет судьбу марксистского учения в целом. В модной сейчас на Западе «Истории марксизма», выпущенной итальянским издательством «Эйнауди», есть специальный раздел о Плеханове с характерным подзаголовком: «Проклятие ортодоксии». Источник основных ошибок Плеханова автор (американский историк И. Гетцлер) видит в его слепой приверженности марксизму, а все идейное наследие Плеханова рассматривает в чисто негативном плане как позорное фиаско самонадеянной попытки «европеизировать» Россию. Одновременно Плеханову инкриминируется отступление от принципов столь милого сердцу всех советологов «демократического социализма» и идейная близость в некоторых вопросах с Лениным, причем особую ненависть вызывает знаменитая плехановская формула: «Благо революции — высший закон».

Совершенно очевидно, что советская историческая наука не может принять ни огульного очернительства Плеханова и его группы, которую Ленин называл основатель-

ницей, представительницей и верной хранительницей идей научного социализма в революционном движении России, ни беспринципной апологетики в адрес плехановцев, а она тоже нередко встречается в трудах западных авторов. Коммунисты хорошо помнят ленинские слова о том, что «вопрос о роли группы «Освобождение труда» в русской социал-демократии никогда не был, никогда не будет и никогда не может быть *частным делом*».

Показателем глубокого уважения и интереса советских людей к первым российским марксистам служат и большие тиражи, которыми переиздаются у нас сочинения Плеханова, и появление все новых и новых работ о группе «Освобождение труда» и отдельных ее членах, в том числе книги «Начало распространения марксизма в России».

Автор книги Ирина Курбатова — доктор исторических наук, хозяйка ленинградского Дома Плеханова, где находится библиотека и архив первоорусского марксиста и его товарищей по группе «Освобождение труда». Широкому читателю хорошо известна вышедшая в 1977 году в серии «Жизнь замечательных людей» книга о Плеханове, написанная И. Курбатовой и видным советским философом М. Иовчуком.

Ученые-архивисты, которые ежедневно в буквальном смысле слова прикасаются ко времени, обычно выделяются среди своих коллег-историков каким-то подчеркнуто бережным, уважительным отношением к историческому факту. Этим качеством в полной мере обладает и новая монография И. Курбатовой, которая буквально по крупицам собрала ценнейшую информацию о каждом издании группы «Освобождение труда», ставшей своеобразным соединительным звеном между «вольной русской прессой», созданной за границей Герценом, и ленинской «Искрой».

В наши дни, когда перевод и распространение произведений классиков марксизма-ленинизма стали большим, интернациональным делом, уместно напомнить, что подлинный пионер в этой области в последней трети XIX века — именно русская революционная интеллигенция. Как известно, несколько работ Маркса и Энгельса было издано на русском языке за границей еще революционерами-народниками. В 1872 году был осуществлен перевод на русский

язык первого тома «Капитала», который удалось легально издать в России. Однако качественный скачок в пропаганде произведений Маркса и Энгельса в нашей стране связан с издательской деятельностью группы «Освобождение труда». В 80—90-х годах ее женева́ская типография выпустила (полностью или в больших отрывках) переводы 30 работ Маркса и Энгельса, немало их копировалось затем на множительных аппаратах социал-демократами в самой России.

Несмотря на большие трудности, связанные со спецификой марксистской терминологии (она только начинала еще усваиваться и переводчиками и читателями) и отсутствием профессиональных переводческих навыков, члены группы «Освобождение труда» в целом превосходно справились с новым для них делом. Основная его тяжесть легла на плечи Плеханова и Засулич. Плеханов перевел 13 работ Маркса и Энгельса, в том числе «Манифест Коммунистической партии», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», и Засулич — 12 (среди них были «Нищета философии» и «Развитие социализма от утопии к науке»).

Параллельно группа «Освобождение труда» публиковала оригинальные марксистские исследования, цель которых — критика народничества и рассмотрение важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма. По подсчетам И. Курбатовой, до конца 1900 года, когда члены группы «Освобождение труда» влились в редакции газеты «Искра» и журнала «Заря», было выпущено в общей сложности 84 издания (брошюры, сборники, отдельные номера журналов, листовки). Один только Плеханов опубликовал за это время за границей и в России 147 работ на русском, французском, немецком, болгарском, английском, итальянском, польском, венгерском и румынском языках. Заметим, что в истории международного социалистического движения подобные факты встречаются не часто.

И. Курбатова подробно проанализировала содержание основных произведений Плеханова рассматриваемого периода, составивших целую эпоху в развитии русской общественно-политической мысли и оказавших решающее воздействие на становление мировоззрения нескольких поколений революционеров в России. Большое место уделила автор и гораздо менее известным широкому читателю трудам Засулич, в частности «Очерку истории Международного общества рабочих» (I Интернационала),

книгам о Вольтере и Руссо, статье о Писареве.

Все эти работы с их сильными и слабыми сторонами как в зеркале отразили специфические черты той исторической эпохи, в которую развернулась деятельность группы «Освобождение труда». В Западной Европе и США это был период сравнительно мирного развития капитализма, наступивший после поражения Парижской коммуны. В России — время перехода от разnochинского к пролетарскому этапу освободительного движения, когда в стране еще не было массового революционного движения, далеко не закончился процесс размежевания либеральных и демократических общественных сил, а идеи марксизма в остром противоборстве с народнической идеологией лишь прокладывали путь к умам и сердцам революционной интеллигенции и передовых рабочих. Поэтому не приходится удивляться тому, что в работах членов группы «Освобождение труда» были и излишняя абстрактность, и серьезные противоречия, и прямые ошибки, в частности тенденции к недооценке революционных возможностей крестьянства и преувеличение оппозиционности русской либеральной буржуазии.

Однако эти недостатки обусловлены не столько изъянами в теоретическом осмыслении членами группы явлений российской действительности, сколько переходным ее характером, когда социальные отношения в стране еще не успели приобрести после реформы 1861 года откристиализовавшийся вид, а общественно-политическое лицо отдельных классов еще не выявилось с необходимой определенностью. В итоге достоинства политической платформы группы «Освобождение труда» (а их было немало, скажем — постановка вопроса о развитии капитализма в России, критика народничества, признание пролетариата главной революционной силой страны, четкое деление революционного процесса на общедемократический и социалистический этапы) несомненно перевешивали ее слабости.

Недаром Ленин, приступая к разработке программы марксистской партии нового типа, подчеркивал, что проект программы группы «Освобождение труда» «в общем и целом вполне удовлетворительно... разрешает свою задачу и стоит вполне на уровне современной социал-демократической теории», а основные положения этой программы получали с тех пор «все новые и новые подтверждения как в развитии социалистической теории, так и в развитии рабочего движения всех стран».

Приведенный И. Курбатовой фактический материал убедительно опровергает измышления буржуазных фальсификаторов истории о якобы полной изоляции группы «Освобождение труда» от революционного движения в России. Сведя воедино архивные материалы, воспоминания современников и данные из работ советских историков, автор рецензируемой книги показала, что в 80—90-х годах XIX века издания группы распространялись в 39 городах России, в том числе в Петербурге, Москве, Киеве, Риге, Одессе, Екатеринославе, Центральном промышленном районе, Поволжье, Сибири. «Освобождение труда» поддерживала отношения с марксистскими организациями Благоева и Бруснева, с социал-демократа-

ми Украины и других мест. Различные поручения группы выполняли такие известные в дальнейшем революционеры, как Курнатовский, Луначарский, Бауман, Бонч-Бруевич.

В книге рассказывается и о связях группы «Освобождение труда» с молодым Лениным, который в 1895 году приезжал в Швейцарию, а затем активно сотрудничал с группой. В 1896—1900 годах Плеханов и его товарищи опубликовали за границей 7 ленинских работ. Контакты с Лениным стали источником новых сил для членов группы, укрепляли их взаимодействие с рабочим движением в России.

Ст. ТЮТЮКИН,
кандидат исторических наук.



ДОКТОР ИЗ ДЖУНГЛЕЙ

Пауль Герберт Фрайер. Альберт Швейцер. Картина жизни. М. «Наука». 1982. 228 стр.

Это было восемнадцать лет тому назад. В сырых джунглях Экваториальной Африки умирал старый доктор. Он умирал спокойно — как опадают листья в лесу по осени. Как умели умирать его пациенты — африканцы.

Под окнами его комнаты собрались врачи и сестры его больницы, добровольные помощники из многих стран: сестра-голландка и врач-чех, врач из Японии, сестра-эльзаска, санитар-габонец... А в доме звучала музыка. Почувствовав приближение смерти, девяностолетний доктор попросил поставить пластинку Баха, композитора, который так много значил в его жизни. Ведь еще в юности, задолго до того, как сострадание к людям побудило Альберта Швейцера окончить медицинский факультет и открыты на свои средства больницу в джунглях Габона, где он жил и работал многие годы, он уже был знаменитым организмом, одним из лучших в Европе интерпретаторов Баха. Был музыковедом, автором обширной монографии о Бахе и признанным знатоком органов. Был известным философом, автором многих книг, приват-доцентом в одном из старейших университетов Европы. Был лицензиатом теологии и директором семинарии в Страсбурге... Старого доктора, умирающего в джунглях, знали во всем мире.

Имя этого всесторонне одаренного человека, «зарывшего свой талант» в многострадальную африканскую землю, упоминают персонажи телефильмов и романов, читатели говорят о нем в письмах, медики,

философы и биологи прислушиваются к его суждениям. Случайны ли эта популярность «доктора из джунглей», интерес к его судьбе и взглядам? Думается, что нет. Не только пример жизни, без остатка посвященной людям, но и принципы благородной швейцеровской философии «уважения к жизни» оказались очень актуальны.

О Швейцере сегодня много пишут, в том числе в нашей стране и в социалистических странах Европы, особенно в ГДР, где один из ведущих государственных деятелей заявил однажды, что швейцеровское «уважение к жизни» должно стать важнейшим принципом строительства нового общества. Многие улицы, детские сады, школы, предприятия и рабочие бригады ГДР названы именем Альберта Швейцера; проводятся научные конференции и симпозиумы, посвященные разработке идей Швейцера; книги его самого и о нем издаются и переиздаются ежегодно (пять раз была издана, например, только русская биография Швейцера). Одной из новых работ о Швейцере стала и книга немецкого писателя и киносценариста Пауля Фрайера.

Он поставил перед собой задачу дать как можно более полный очерк жизни и мыслей Альберта Швейцера. При этом писатель из ГДР обладал бесценным для автора биографического очерка преимуществом (которого были, к примеру, лишены русские авторы, писавшие о Швейцере): Пауль Фрайер лично знал доктора, бывал в его африканской больнице в Ламбарене, не раз беседовал с ним.

Надо сказать, что П. Фрайеру в его книге удалось весьма многое. Он сообщает не только интересные и обширные сведения, уже знакомые тем, кто читал автобиографические произведения Швейцера (на русский язык они переведены пока, к сожалению, не все), но приводит и многие малоизвестные факты. Некоторые из них воистину впечатляющи — например, рассказ о 6 августа 1945 года В ночь на шестое доктору из джунглей и его добровольным помощникам пришлось бороться за жизнь новорожденного африканского младенца и его матери. А утром, когда нелегкая эта борьба увенчалась наконец успехом, измученный персонал лесной больницы потрясло страшное сообщение: на Хиросиму сброшена атомная бомба, в один миг уничтожившая десятки тысяч людей. Перед лицом этого массового убийства такими бессмысленными показались вдруг все кропотливые труды, все отчаянные и самоотверженные усилия горстки медиков в джунглях, все мечтания гуманистов земли...

В тот день после долгих странствий добралась в Ламбарене верная помощница Швейцера Матильда Коттман, которую война застала на родине, в Эльзасе, и надолго отрезала от больницы в джунглях. Позднее, через много лет, Матильда Коттман рассказывала:

«Когда я очутилась лицом к лицу с доктором, мы сначала долго глядели друг на друга, потом он спросил:

— Что же ты привезла?

— Себя, и только.— Я не сразу выдавила из себя ответ. Потом я удрученно спросила: — Может, мало этого?

Доктор обнял меня. Я все еще сжимала в руках свой чемоданчик.

— Нет, это уже много,— ответил он.— Очень много.

Затем он произнес слова, которые, сколько буду жить, я никогда не забуду:

— Когда одной-единственной бомбой убивают сто тысяч человек — моя обязанность доказать миру, насколько ценна одна-единственная человеческая жизнь!»

В книге есть и другие запоминающиеся эпизоды, впечатляющие детали и подробности. И все же приходится признать, что картина жизни получилась у П. Фрайера недостаточно яркой. Может, не хватило изобразительных средств и оттого не удалось живо передать атмосферу Гюнсбаха (которую неплохо воссоздают автобиографические книги самого Швейцера) и Страсбурга конца прошлого — начала нашего века, а главное — атмосферу больничных

трудовых будней в джунглях Габона. Пожалуй, для этого и не понадобились бы многие страницы описаний или перечисление всего, что успел сделать доктор; вполне возможно, что хватило бы нескольких эпизодов...

Автору этой рецензии довелось однажды в Гюнсбахе беседовать с девятиностидвухлетней (сейчас ей уже девяносто восемь) свояченицей доктора Швейцера мадам Эмой Швейцер-Мюнх. Занятая приготовлениями к приему вечерних гостей, то и дело выбегая (да, да, я не оговорился — выбегая) в кухню, мадам Швейцер рассказывала, как красив был черноусый, высокий Альберт Швейцер в свои тридцать.

— Он был звездой нашего велоклуба,— сказала мадам Швейцер, продолжая свой рассказ, и постепенно мне представился Страсбург начала века, велосипедные прогулки в горы, вечера танцев, вальс, споры о культуре, о самопожертвовании, о гуманизме, об истинном патриотизме.— Он был такой добрый, Альберт. На вечерах он всегда приглашал на танец девушку, которая весь вечер просидела у стены...

Книга П. Фрайера не только картина жизни, но и обзор философии Швейцера, ибо он был одним из тех редких философов, которые сумели жить в соответствии с отстаиваемым ими идеалом. Это не так уж часто удается человеку. Швейцер писал о Шопенгауэре: «Не в силах жить в согласии с провозглашенным им мировоззрением отрицания жизни, он цепляется за жизнь и за деньги, наслаждается кухней, как, впрочем, и любовью, и больше презирает людей, чем сострадает им». Сам Швейцер, движимый состраданием, идеей великого «братства боли» и своим принципом «уважения к жизни», сумел, преодолев все трудности, осуществить свой идеал помощи людям и сделать свою жизнь аргументом своей философии «Единственная возможность придать смысл собственному бытию,— писал Швейцер,— состоит в том, чтобы человек свое естественное отношение к миру поднял на уровень духовного... Как существо деятельное, он устанавливает духовную связь с миром тем, что он живет не для себя, а осознает свое сродство со всей жизнью, которая окружает его, переживает ее судьбы как свою собственную: всегда, сколько может, помогает ей и воспринимает свою помощь и спасение жизни как величайшее счастье, какое только может быть ему доступно» Это благородное убеждение связано для Швейцера с его принципом «уважения к жизни», который он формулирует так: «Я — жизнь, которая стре-

мится к жизни в гуще других жизней, которые стремятся к жизни».

Наш век с необычной остротой поставил перед человечеством проблему взаимосвязей с окружающим его миром природы, и мало-помалу стало ясно, что не только на практике, но и в теории отношение человека к природе было неправильным, недалеким, неэтичным, наконец. Философы все чаще подвергают сегодня сомнению и критике декартовское суждение о человеке как венце творения и царе природы. Системный подход к процессам, происходящим в окружающем нас мире, и универсальная этика приходят на смену некоторой самоуверенности XVIII—XIX веков, и ученые самых разных специальностей вспоминают при этом слова Маркса и Энгельса об опасностях культуры, которая развивается стихийно, оставляя за собой пустыню. Вспоминают и «философа из джунглей», чьи идеи еще в середине нашего века так часто и с такой надменностью называли наивным преувеличением. Совсем иначе обстоит дело теперь. Откройте, например, книгу биолога Жана Дорста об охране среды — предупреждения и формулировки Швейцера встречаются в них многократно, прорываются даже в эпиграф, помогают сформулировать принципы наших сегодняшних взаимоотношений с окружающим миром — во имя сохранения жизни на земле.

Три года назад автору этих строк и книги о Швейцере в серии «ЖЗЛ» привелось участвовать в международном симпозиуме в ГДР, посвященном развитию идей Швейцера. Собравшиеся говорили о той роли, которую пропаганда этики Альберта Швейцера может сыграть в ликвидации экологического невежества, а оно представляет сегодня одну из главных опасностей, угрожающих нашей планете (может быть, не меньшую, чем угроза ядерной войны, против которой с такой страстью выступил на закате жизни старый доктор из джунглей)

Предлагалось, в частности, ввести в программы начальной школы преподавание основных принципов взаимоотношений человека с окружающим миром...

Возвращаясь к рецензируемой книге, хочу отметить, что когда П. Фрайер касается этики Швейцера, то прежде всего характеризует его как идеалиста. Действительно, гуманистическому в своей основе швейцеровскому принципу «уважения к жизни» свойственны известная внеисторичность, внеклассовость, абсолютизация ряда философских категорий — добра и зла, например. «Швейцер,— развивает эту мысль в своем послесловии к книге советский философ В. Петрицкий,— стремился создать этическую систему, приемлемую для всех времен и народов, но, как справедливо указал Ф. Энгельс, подобные построения приобретают абстрактный характер»

Согласен я и с еще одним выводом В. Петрицкого, обращающего внимание на неоднозначность оценки этических взглядов Швейцера П. Фрайером, которая затрудняет понимание своеобразия швейцеровской этики, ее объективно-позитивных сторон и историко-философских корней. Наиболее существенными в книге представляются именно те страницы, где автор пишет о примере Швейцера. Ведь уже неоднократно исследователи Швейцера приходили к выводу, что Доктор из джунглей, этот великий гуманист XX века, важен для человечества не только и не столько тем, что он сам успел сделать за свою долгую и прекрасную жизнь, наполненную трудами, сколько тем, что сделают другие, вдохновленные его примером, движимые импульсом добра и сострадания, которые заложены в жизни и трудах Альберта Швейцера. Вот для этих «других», для всех нас и написана книга Пауля Герберта Фрайера.

Борис НОСИК.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ. Витязь чести. Повесть о Шандоре Петефи. («Пламенные революционеры») М. Политиздат. 1982. 431 стр.

Авторы книг, выходящих в серии «Пламенные революционеры», не рассказывают биографии своих героев ради самих только этих биографий, как бы возвышенны и увлекательны они ни были. За внешней канвой событий просматривается некий «внутренний сюжет» или, говоря точнее, идея, выражение и доказательство которой автор узрел в жизни своего героя. Как правило, сформулировать эту идею можно, только сильно ее упростив. Так происходит и при попытке логически изложить основную идею повести Е. Парнова о Шандоре Петефи: только все время помня о степени упрощенности, можно определить сюжет повести как единоборство, противостояние и столкновение двух сил — бесстрашного бойца и всеисильного зла. Композиционно повесть как в целом, так и в главных своих эпизодах построена по этой модели. Петефи все время единоборствует с превосходящим его силой противником — от Австро-Венгерской империи, воплощенной в мрачной фигуре Меттерниха, до самой беспощадной смерти, преследующей поэта буквально по пятам в течение его до обидного краткой жизни.

Автор определил свое произведение как повесть, но получилось у него, как свидетельствуют и внутренний сюжет и романтически-приподнятый стиль, нечто иное. Я бы назвала эту книгу так, как назвал одно из своих героико-скорбных симфонических творений другой гениальный венгр, не менее блистательный, но гораздо более счастливый — Ференц Лист: «Héroïde funèbre». В этой книге не надо искать объективного, сухого, трезвого повествования, уравновешенного тона, неторопливого анализа, в ней все определяется фигурой главного героя, все подчинено ему, все направлено на создание его образа. Е. Парнов, видя своего героя на громадной сцене, окружает его вихрями метели, языками пламени, солнечным сиянием и гробовым мраком. Бытовые, житейские подробности, которыми отнюдь не бедна повесть, все-таки тонут в том стремительном потоке, которым представляется жизнь Петефи.

Тем не менее Шандор Петефи, каким мы его видим в повести, не только возвышенный и идеальный «витязь чести». Он еще и просто юноша, пылкий и беспомощный, влюбчивый и робкий, ищущий тепла и любви. Это двойное освещение становится

особенно контрастным в одном из эпизодов книги. Когда будущая жена поэта, романтическая Юлишка, рассматривает портрет, приложенный к сборнику его стихов, она предпочитает видеть своего возлюбленного «с вдохновенно поднятой головой и, конечно, с распахнутым воротом...». Читатель же не так впечатлителен, он не забывает трогательно-некрасивого, способного мгновенно преобразиться истинного лица поэта. Застенчивая улыбка на лице крамольного бунтаря превращает романтического мятежника в страдающего мальчика, быть может, не во всем понятного, но чем-то очень близкого юношам более поздних времен.

Загадка Петефи в книге так и остается загадкой, автор, видимо, не столько хотел разгадать ее, сколько снова привлечь к ней внимание. Как в столь юном возрасте человек достигает гражданской и творческой зрелости, полноты жизненных проявлений — это загадка не одного Петефи. Перед тем же вопросом ставит нас судьба Лермонтова и судьбы многих других юношей, оставивших след в революции и искусстве...

Создав яркий, трагический образ Петефи, автор, мне кажется, не уберется от одной опасности: он настолько увлечен гибельной красотой своего героя, что не всегда соблюдает ту дистанцию, необходимость которой диктуется принадлежностью книги к серии «Пламенные революционеры». На фоне сверкающей нравственной безупречности Петефи сложная, неоднозначная фигура Лайоша Кошута, сыгравшего в революции 1848 года не меньшую роль, выглядит бледной соглашательской тенью. А ведь и сам Петефи не был столь пленительно прямолинеен, как он изображается в повести, — сложности и ему было не занимать. И если бы в повести было больше сказано о той культурной и исторической почве, на которой выросла революционная поэзия Петефи, о тех сложнейших связях, которые соединяли ее с поэзией европейской и мировой, то... Но тогда бы это была другая книга. Парнов предпочел иной путь и написал повесть по-своему цельную и впечатляющую, введя в читательский кругозор еще одного героя, чья жизнь целиком была отдана борьбе за лучшее будущее венгерского народа. Петефи был поэтом и, любя свой народ, видел за ним все человечество, весь мир.

Галина Гордеева.



АЛЕКСАНДР ЯШИН. Границы души. Стихи из дневников. Строфы. Лирические записи. Поэмы. М. «Современник». 1982. 125 стр.

«Зажмурься, но скажи правду!» — одна из дневниковых записей Александра Яшина, воспроизведенная в его посмертном сборнике (это — не «Избранное», книга вышла в серии «Новинки «Современника»). Искренность и честность были настоящим нравственным императивом этого замечательного писателя. Будем и мы откровенны: далеко не все, что вошло в рецензируемый сборник, сам писатель с присущей ему взыскательностью стал бы печатать или перепечатывать. Здесь есть и отрывочное, и недописанное, и недоработанное (так, например, в разделе «Строфы» опубликованы не поэтические миниатюры, а и в самом деле отдельные строфы, и это, как правило, только зерна, из которых могли вырасти полноценные стихотворения). Но мотивы составителей понятны: теперь и недописанное представляет интерес, если не как художественный факт творческой биографии Яшина, то как человеческий документ, как вехи трудной душевной и духовной работы, постоянного бодрствования писательской мысли.

Внимательный читатель, неравнодушный к творчеству Александра Яшина, найдет в сборнике примечательные образцы его литературного наследия. «От стихов, как от боли, никуда уйти не могу» (запись 1968 года) — и такой живой болью дышит стихотворение того же 1968 года «Вязы», написанное за несколько месяцев до смерти, пронзительное и очень «яшинское».

...Милые мои вязы,
Вы мне — как братья.
Давайте начнем с азбуки.
Всю жизнь сначала.

В детстве я был огненно-рыжим,
Почти красным.
Как столько прожил

и выжил —

Самому неясно.

А все мне мало,
Мало!

Вы смените листья —
Для вас опять лето.
А со мной —
Раз оголиться,
И моя песня спета.

Пожалуй, самое интересное в сборнике — «прямая речь» писателя, выдержки из его дневников, к сожалению, немногочисленные. А вот военные поэмы вызывают противоречивые чувства: с одной стороны — искреннее уважение к поэту, очевидцу и участнику трагических событий в жизни народа, с другой — трезвое понимание того, что мы имеем дело скорее со стихотворными «свидетельствами», чем с произведениями искусства. И это ни в коей мере не запоздалый упрек лично Александру Яшину. «Ленинградская поэма» писалась в 1942—1943 годах, а начал Яшин ее писать в Ленинградском военно-морском госпитале (дистрофия, цинга, туберкулез). «Город гнева (Сталинградские эпизоды)» писалась в августе — сентябре 1942-го на кораблях Волжской военной флотилии. Обстановка,

разумеется, не располагала к неторопливой художественной работе. Но ведь в искусстве так: написал или не написал, сумел или не сумел — вот главное. Искусство вообще жестоко по отношению к автору: к читателю уходит текст, писатель же остается при «обстоятельствах» (а они преходящи, да и автор не вечен...).

Александр Яшин обстоятельствами не прикрывался. Он с неизменной серьезностью относился к литературе — делу своей жизни. Многие страницы его архива (дневниковые записи, неоконченная проза) еще ждут опубликования. Но лучшие его произведения уже стали неотъемлемой частью нашей литературы.

Андрей Василевский.



НИКОЛАЙ САМОХИН. Сходить на войну. Три повести. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1982. 239 стр.

В предисловии к своей книжке Николай Самохин признается, что только закончив последнюю из трех повестей, он вдруг осознал, насколько внутренне тесно увязаны они между собой. «...выходит... я писал не разные и совершенно самостоятельные вещи, — хотя менял имена героев или вовсе оставлял их безымянными, уступал право повествования третьему лицу, — а как бы продолжал главы одной и той же книги, «укрупняя» по очереди разных ее героев, — с удивлением замечает автор. — То есть путешествовал по кругу, опять и опять возвращаясь в прошлое — чтобы послушать рассказы отца-солдата, побыть с матерью, постоять на берегу все той же речки-замарашки».

В самом деле, написанные в разные годы и вроде бы независимо друг от друга повести «Сходить на войну» и «Наследство» словно выросли из первой — «Где-то в городе, на окраине» — и вместе образовали триптих: полнокровные и самостоятельные по сюжету вещи имеют как бы общую систему, крепко связаны временем и героями. И еще. Повести написаны в одном стилистическом ключе — незатейливая простота, «обыкновенность» описываемого возводятся автором как бы в художественный принцип. Писателя интересует жизнь в самых привычных и заурядных ее проявлениях. Военное детство мальчика, выросшего на окраинной улице маленького провинциального города («Где-то в городе...»), шесть рядовых дней войны его отца-солдата («Сходить на войну»), жизнь «как у всех» его матери, самоотверженно и скромно разделявшей участь женщины, ко-

торые приняли на свои плечи все тяготы военного и послевоенного времени («Наследство»). Оттого не происходит в повестях сколько-нибудь необыкновенных событий. Оттого герои их — люди самые рядовые: вчерашние колхозники, переживавшие в город, не очень грамотные, и ученые, познающие мир через собственный житейский опыт да народный здравый смысл

Это нарочитое, как мне кажется, стремление заземлить происходящее, показать глубинное, своеобразное через привычное, обыденное становится иной раз в книжке своего рода веригами, — варьируется кое-что уже известное: память, случается, услужливо подкашивает нам литературные параллели. Скажем, когда речь идет о предвоенном и военном детстве героя, об уличных драках, первой учительнице и первой любви («Где-то в городе, на окраине») Что-то знакомое проступает временами и в повести «Наследство», где сын едет в другой город на похороны матери и в поезде, вспоминая всю ее честную трудовую жизнь, запоздало осознает человеческую незаурядность матери, казнится, что в суете городской жизни часто забывал о ней, мало помогал и заботился.

Но заметить лишь это в повестях Н. Самохина означало бы все-таки не понять, не почувствовать в книге самого главного.

Писатель не только хорошо знает, но и любит своих героев. По-настоящему любит. Ему действительно важно, чтобы за внешней их обыкновенностью читатель разглядел своеобразный и богатый мир простого человека, его непоказную доброту, трудолюбие, честность, чувство достоинства и надежность. Человека, не стремящегося податься куда полегче, не способного словчить, выгадать что-то для себя за счет другого. Особенно все это ощущается в повести «Сходить на войну».

Шесть дней только-то и успел провоевать Отец до своего ранения. И каждый день был для него, сугубо мирного человека, важным этапом освоения новой, непривычной военной действительности — страшной, грубой, противоестественной. Но даже оказавшись в самом пекле, Отец сохраняет присущие ему крестьянскую сметку, стремление сделать свою работу добросовестно и основательно. И органичную, неистребимую совестливость. Надежно и бесстрашно ведет себя Отец в самые напряженные минуты боев. Всегда заботится прежде всего о товарищах, принимая на себя то, что потруднее. Нас трогают его горькие размышления о погибающих рядом молодых ребятах. Хотя ведь и он сам при этом может по-

гибнуть каждую минуту. «Не должны воевать молодые... Такие... которые «мама» кричат при разрывах (он сам слышал), — не должны... Воевать надо мужикам пожившим... у которых руки потрескались от работы и кости закаменели... которые уже нахлебались в жизни всякого, навкальвались досыта... и детей нарожали... Такой мужик, если даже увечным вернется, без ноги или без руки, все равно мужик, а не обрубок. И для работы он мужик, и для жень: своей — тоже...»

Писателю важно, чтобы любимые его герои, люди, о которых он «знает лучше», чем другие романисты и кинематографисты, и о которых «никто другой не расскажет», не ушли бесследно из жизни вместе со своим временем. И он торопится поведать о них, о их жизни и смерти. «Может быть, хитрость моя наивна, но я рассказал о своем солдате, чтобы пожил он и после того, когда не станет меня», — признается Н. Самохин в повести «Сходить на войну».

Ну что ж, «хитрость» эта читателю по душе. Ибо движет писателем при этом чувство долга — сыновнего, гражданского.

Г. Петрова.



ДАВИД БРОМБЕРГ. Нити годов. Стихи. Перевод с еврейского Владимира Цыбина. М. «Советский писатель». 1982. 94 стр.

Шолом-Алейхему принадлежит горестно-улыбчивое определение двух половин человеческой жизни: до определенного возраста человек как бы едет «на ярмарку», а потом — «с ярмарки». В новой книге стихов известный еврейский советский поэт Давид Бромберг неоднократно признается, что едет «с ярмарки», говоря о своем суровом возрасте, о седине своего поколения, перешагнувшего рубеж седьмого десятилетия. И все-таки при чтении этого яркого сборника ощущаешь удивительную молодость и свежесть авторского мировосприятия. Д. Бромберга не назовешь открыто публицистичным, однако он художник глубокого гражданского порыва. На долю поэта выпало немало испытаний, и прежде всего в годы минувшей войны. Многие строки посвящены поэтом памяти матери, погибшей от рук гитлеровцев. И, надо сказать, голос автора звучит не просто гневно — это голос современного художника, протестующего против фашистского варварства. «О как, земля, позволить ты мог-

ла, скажи, — не тяжело ли видеть мне того, чтоб мать покоилась моя с убийцею ее в одной земле?..» — так автор выражает трагедию, столь памятную ныне живущим поколениям. Он размышляет: «Дожить до моей свадьбы мечтала моя мама. И отомстил я, мама, врагам. Но в сердце — рана. Эй, музыканты, пусть же льет музыка волною! Пускай же моя мама поет, как встарь, со мною».

Когда же Д. Бромберг обращается к мирным дням, к темам труда, созидания, быта, простой и естественной человеческой жизни, на первый план выходят своеобразная натурфилософия поэта, чувство единения с землей, природой, мажорное приятие естественных основ бытия (особенно отчетливы такие мотивы в стихотворении «Что деревом стал я, приснилось мне это»). Вместе с тем поэту свойственно обостренное восприятие краткости бытия, стремление сберечь каждый миг в душе, ибо каждый миг — чудо, даже если он несладок. «И что же жизнь? Вокзал, в котором все есть. И все тревожней сердцу моему, что каждый миг отходит скорый поезд, но не вернуться никогда ему...»

Следует отметить, что переводчик книги В. Цыбин точно уловил пластику, внутреннюю музыку стиха Д. Бромберга. Особенно удачно передает В. Цыбин строй авторской речи, когда в стихотворении схвачены яркие черты национальных характеров, запечатлен местный колорит. В стихах Д. Бромберга перед нами скульптурно вылепленные, зримые фигуры простых тружеников. В стихотворениях «Часовщик Мойша», «Арифметика дяди Ици», «Этя-Лея» Бромберг как раз и продолжает традиции Шолом-Алейхема. Эти и другие стихи исполнены острого и шедрого юмора. В своих героях поэт подчеркивает созидательное начало, утверждая советскую основу их характеров. Он любит людей, о которых пишет.

Когда я прохожу у дома тети Хаи,
В сердце гордость всходит, как трава,
Вижу — вновь в окне ее светает.
Боже, тетя Хая-то жива!

Белая, как зимняя погода,
Сколько знает сказок — не сочтешь.
Не из книг они,
А от народа,
Слушаешь, бывало, не заснешь...

Стали уже падалось те звери,
Что убить надеялись ее.
Как приятно помнить, в самом деле,
Что она живая все еще!..

Действительно, хорошо, что есть такие люди. И хорошо, что есть талантливый поэт, написавший о них добрую и умную книгу стихов.

Ст. Золотцев.



ВЛ. ТИХВИНСКИЙ. Свет на горе. Повесть. М. «Советский писатель». 1983. 328 стр.

Страшная человеческая правда, рассказанная в этой повести, скрыта в деталях дробного письма, в мелких подробностях каждодневного быта, в текучей фактуре исполненного мелким штрихом повествования, и жаль, если читатель, привыкший к большому сюжетному напряжению, эту правду упустит. Тем более что по теме Вл. Тихвинский вроде бы ступает вслед другим авторам, писавшим о войне как бы с той стороны фронта, из глубины оккупационного ада, а написано об этом немало от Вит. Семина до А. Адамовича и от Ю. Щеглова до Л. Гурченко. Тихвинский пишет оккупационный ад именно в его повседневности: доставание еды, шепот соседей, косой взгляд идущего мимо полицая, человек в нарукавниках, ставящий штамп в бумагах, монетка, заработанная чисткой сапог у немецкого офицера, тоска и безысходность ползущих дней. «Ничего не происходит...» Немцы даже не «вмешиваются», они проходят по фону этой оцепеневшей картины, проходят безликой и безглазой механизированной гусеницей, но присутствие этой стальной гусеницы ощущается в каждой клеточке города, в каждой клетушке-квартирке, набитой жильцами, в каждой грудной клеточке сжавшимся от предчувствия сердцем. «Свет на горе» бесконечно далек, и в этой донной тьме человеческое существование обнаруживает страшные и странные закономерности, невидимые сверху и неведомые ранее. Приглушенная, дробная манера письма у Тихвинского не случайна. Нет ожидаемого крупного фабульного действия, нет даже того ощущения «последней ясности», которое мы знаем по другим военным и партизанским повестям. Здесь другой драматизм.

Даже исход в гетто пишет Тихвинский в красках, которые после Ан. Рыбакова и его «Тяжелого песка» кажутся невероятными: это не путь ужаса и отчаяния, это путь какого-то смертного, почти эйфорического оцепенения. Велено евреям переселяться в брошенные бараки за автомобильным заводом — они идут, с саночками, со скарбом, везут семейные реликвии, фотоальбомы, везут дипломы и свидетельства о профессии: наконец-то о них «вспомнили», с ними «что-то происходит», с ними «что-то делают» — это все-таки лучше, чем зловеющая неопределенность и брошенность. Вы читаете это с ощущением бездны, медленно и мягко разверзающейся под ногами. Знают ли они, за чем их переселяют? Знают умом. Душа не верит. Тепловатый гипноз разливается, перекидывается от переселенцев к провожающим их соседям: им помогают тащить санки, помогают обставиться; их провожают так, как до войны провожали знакомых на юг, в пионерский лагерь, в туристское путешествие.. На улице делаетсялюдно, как в праздник. Что это? Слепота? Или инстинкт: помочь людям вынести неизбежное?.. Так или иначе — дантовской жутью несет от этого шествия. Одному страшно, одному безнадежно, но когда какая-то не имеющая очертаний сила строит массу в колонну, в

подобие коллектива — возникает эта inferнальная невесомость, этот переход в небытие задолго до первой автоматной очереди. Нигде до Вл. Тихвинского я не читал такого реквиема. Первое время из тех барачников можно было свободно уйти — они не охранялись. Бабушка ушла, и тетя Галя ушла. Они вернулись домой и спрятались. «Бабушка нервничала, жаловалась, даже порывалась вернуться в бараки...»

Что может вывести человека из этого заколдованного круга? А вот вдумайтесь.

Однажды из роддома, где тетя Галя работала до войны врачом, донесся крик: эсэсовцы ворвались в палаты и начали насилловать рожениц. И тетя Галя нарушила конспирацию. Она надела свой белый халат, вышла из дому, побежала в роддом, привычным шагом вошла в палату и... за претила эсэсовцам безобразничать. И эти звери... слышите? — прежде чем схватить ее и повесить на площади с табличкой «Партизан» на груди, — эти звери на какое-то мгновение пришли в замешательство. Они прекратили насилловать! Они в тот раз недонасиловали. Маленькая докторша Галина Исаковна испортила им оргию.

Незаметно и тихо входит в человека ужас смертного оцепенения, и так же незаметно для себя наивным шагом он переступает магический круг. И делает шаг к подвигу.

К свету на горе К победе.

Л. Аннинский.



ВИКТОР УТКОВ. Предвестники. Связь времен. М. «Мысль». 1982. 188 стр.

Книга Виктора Уткова — это в большинстве своем очерки о людях, целиком посвятивших себя исследованию Сибири, но, к сожалению, малоизвестных широкому кругу читателей.

«Страной умных людей» назвал Сибирь Пушкин в разговоре с автором «Конька-горбунка» сибиряком Ершовым. Правда, по мнению Ершова, поэт имел в виду сосланных декабристов, но это, разумеется, не значит, что талант и ум были для сибирского края лишь привозной и редкой вещью.

Есть определенная логика в соседстве очерка «Путешествие в Сибирь Александра Радищева» со следующим — «Подвиг Петра Словцова». В то самое время, когда автор знаменитой опальной книги отбывал ссылку, недавний питомец столичной Александровской семинарии, вернувшись в родной Тобольск, произносил удивительные проповеди: «Тишина народная — есть молчание принужденное, продолжающееся дотопле, пока неудовольствие, постепенно раздражая общественное терпение, наконец не прервет оно... от повиновения до согласия столько же расстояния, сколько от невольника до гражданина... Могущество монархии — есть коварное орудие, истощающее оную... К чему трофей, когда омочены они слезами народов?»

Ноты радищевские, как справедливо замечает В. Утков. Близка радищевской и дальнейшая судьба оратора: арест, закрытый замок, петербургский застеноч, заточение в Валаамове монастыре. А впереди — обманчивый проблеск свободы и надежд после

смерти Екатерины II: столичная жизнь, бурная деятельность, признание «необыкновенных способностей» недавнего узника. И новое крушение — обвинение во взяточничестве и предписание Александра I отправить «виновного» на службу в Сибирь. И это еще не все повороты судьбы Словцова в условиях, когда, по его горькому позднему выражению, «юриспруденция дошла до Урала и повернулась к Сибири спиной...».

И все же ледяным ветрам, обрушившимся на Словцова, не удалось задуть в нем огонь пытливого интереса к родным просторам и страстных размышлений об их возможностях и будущем. Сделанный В. Утковым обзор книг Словцова — «Писем из Сибири 1826 года», «Прогулок вокруг Тобольска в 1830 году» и «Исторического обозрения Сибири» — убеждает в прозорливости их автора, в точности его оценок природных богатств края и способностей местных жителей, к которым он относится с поразительной для той поры объективностью и упорно именует не «кинородцами», как было принято, а «согражданами».

Таким же подвижником предстает в очерке «Открыватели новых дорог» сын народа коми Василий Латкин. Поистине «дивным делом», по выражению современника, были латкинские проекты освоения печорского края, поиски мест, пригодных для соединения каналами рек, и попытка основать в устье Печоры порт.

Увы, в то время труды и мечты Латкина и его талантливых единомышленников — промышленника М. К. Сидорова, путешественника Ю. А. Кушелевского — были сведены на нет инертностью и консерватизмом правящих сфер. Характерно, что предложение Сидорова создать в Иркутске университет, сопровождавшееся щедрым личным жертвованьем, привело к форменной травле «зарвавшегося купчишки» высшими сибирскими сановниками.

Атмосфера равнодушия, а то и подозрительности и прямой вражды ко всяким смелым начинаниям, по-видимому, парализовала и мечты о создании общества для исследования Сибири, которые строил еще в Петербургском университете П. П. Ершов. Рассказывающий об этом очерк «Неосуществленный замысел» завершается грустными словами из дневника современника (А. В. Никитенко): «Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху, когда всякое развитие душевных сил считается нарушением общественного порядка».

И все же знаменитые пушкинские слова об искре, из которой возгорится пламя, оказались пророческими и по отношению к мечтам о будущем Сибири, долго бывшим достоянием лишь «умных людей» — и тех, о ком шла речь, и тех, кого имел в виду Пушкин.

Многое из того, на что надеялись, о чем думали «предвестники», ныне осуществилось, другое — на очереди.

«Связь времен» — этот подзаголовок книги верно определяет ее главную мысль, ее пафос, который можно более пространно пояснить следующими словами Виктора Уткова: «Поиски связи времен приведут к следам других незаслуженно забытых людей Урала, Сибири, Дальнего Востока, внесших в свое время неоценимый вклад в изу-

чение и освоение этих громадных территорий. Ниточка следов, оставленных ими и их потомками, неизбежно приведет к нашим дням...»

А. Турков.



ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ. Москва: диалог путеводителей. М. «Московский рабочий». 1982. 496 стр.

Такое издание могло бы состоять из многих томов, но и тот единственный, который выпущен «Московским рабочим», кажется своего рода энциклопедией. По существу, книга эта — краткий энциклопедический словарь города Москвы. Словарь его истории, определившей принципы причудливой, однако очень логичной географии. Перелистывая страницы, движешься как бы вверх-вниз в огромном археологическом раскопе, где экскурсию ведет москвовед Юрий Александров, автор интересного издания «Москва: диалог путеводителей».

Я не оговорила, назвав Ю. Н. Александрова автором издания. В самом деле, в его книге осуществлены, пожалуй, все издательские принципы: расположение неохватного материала по «единству места и времени», как в классической драматургии; подбор уникальных иллюстраций, меняющих общие планы на крупные; сюжет исторического исследования, сталкивающего разнообразные источники, культура полиграфического исполнения. Старые дагеротипы и репродукции древних изданий, как и цитаты былых — от 1782 года! — московских путеводителей, напечатаны в книге сангиной, а фотографии XX века и сегодняшние сведения о столице — черной краской. Не так уж много, к сожалению, публикаций этого уровня у наших издательств.

Обратимся к главному — сюжету книги. Здесь сопоставлены сведения об одних и тех же местах, взятые в «Описании императорского столичного города Москвы», вышедшем при Екатерине; в каразинской «Записке о московских достопамятностях», составленной после Отечественной войны 1812 года, чтоб не забыли граждане, каким был сожженный Наполеоном город; в «Путеводителе в Москве...», изданном Сергеем Глинкой в год декабристского восстания; в путеводителях, выходявших во время мертвого тридцатилетия царствования Николая I; в описаниях последней трети прошлого века; и, наконец, в интереснейших изданиях начала нынешнего века — «Москве златоглавой», «По Москве» и других. Это своеобразный коллаж фактов и преданий, документов и легенд, городских анекдотов и апокрифических цифр. Александров исследует не только логические связи эпох в «генетической памяти» московских улиц, площадей, бульваров. Он дает читателю понятие о закономерностях развития города-гиганта. Постепенно втекали в столичные стены старые околomosковские села и слободы, так идет и ныне...

Читая «Диалог путеводителей», ловишь себя на некоем детективном чувстве, которое часто сопровождает знакомство с книгами о путешествиях и дальних странах. То уда-

ляешься в века, то приближаешься к нынешним дням, с интересом рассматриваешь силуэт крыш и узорочье садовых решеток, стараешься запомнить имена давних торжищ и древних храмов, постигнуть замечательные мечты московских зодчих. Идешь пешим путем по городу любимому и знакомому, таинственному и словно впервые открывающемуся тебе и словно постигаешь истоки собственной родословной.

Так эта книга, ни разу не произнесшая звонких слов и сосредоточенная только на объективно существующем, вызывает в читателе патристические чувства, желание пройти по всем маршрутам города и запомнить все удивительное из сообщений бедекера, который словно бы озвучил твою доселе немую любовь к родному для всякого из нас городу. Для всякого, в каком бы краю отечества нашего он ни появился на свет.

Александра Пистунова.



АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ. Вesy доверия. М. Политиздат. 1983. 375 стр.

Книга А. Левикова — о роли доверия в личных и особенно в деловых взаимоотношениях людей.

Роль эта исключительно важна. Сегодня, считает автор, уже нельзя успешно решать производственные вопросы, опираясь лишь на вещные факторы, мобилизуя только резервы себестоимости и капитальных вложений. Умелый руководитель нашего времени хорошо знает, что не меньшее значение имеют резервы души, законы сохранения совести, без учета которых происходит, по словам поэта, «худшая из амортизаций». Использовать эти резервы можно, увидев в каждом человеке личность, поняв, что нет людей незамеченных, а есть люди незамеченные, обладающие неповторимыми способностями и талантами. Доверие к ним превращает «сопротивление человеческого материала» в ускоряющую силу, окрыляет, как говорит в книге один из собеседников автора А. Райкин, преобразует счастливые эмоции в новую движущую энергию.

А. Левиков начинает свой рассказ о доверии от экономики, этой кровеносной системы всех деловых связей. Если экономика ставит в лучшее положение честного и порядочного, если с нарушившим слово она обходится как с отторгаемым ею явлением, то такая экономика сама себе санитарный врач, лечащий разрушающую ее болезнь недоверия. Так экономические категории переплавляются в нравственные. А поскольку экономика «работает» на всех, то формируется общий климат искренности, а не отдельные «производственные» альтруисты.

Но вот мы видим — есть коллективы, сознательно занижающие план, ищущие способы схитрить, отбиться от заказов. Многие замечают этот обман, но он не исчезает. Нужны новые экономические формы, вроде хозрасчетной бригады, которые изнутри стучатся в тесную скорлупу привычных хозяйственных отношений, пробивая ее. Не зря же еще Макаренко писал, что хозрасчет — лучший воспитатель. Есть и другие прогрес-

сивные экономические идеи, создающие в коллективе атмосферу доверия, но хочется сказать именно о бригадах, ведь А. Левиков еще книгой «Калужский вариант» одним из первых публицистов стал в ряды борцов за бригадный хозрасчет. В новой своей книге автор изменяется, но не изменяет этому актуальному, требующему страстной и доказательной пропаганды партийному делу.

Обманул руководитель рабочего — тот перестал ему верить, стал хуже трудиться. Предприятие подвело своих смежников, сорвало поставки — доверие к нему ослабло, а вместе с этим снизился общий выход продукции. Чтобы такие и подобные им случаи не могли иметь места, нужно смелее переводить стрелку финансирования предприятий в положение самофинансирования, когда необходимо считать и эффективно расходовать каждый рубль, когда безусловное соблюдение договорной дисциплины выгодно, когда обман становится нерентабельным. Именно об этом и идет речь в книге «Весы доверия».

Автор верно улавливает «розу ветров» хозяйственного механизма, замечает в нем как то, что загрязняет внутреннюю среду, так и то, что призвано ее очистить, зовет к синтезу экономических принципов с принципами моральными. Левиков за их встречное движение и слияние в единое дело и слово, ибо не только экономика делает нас, но

и мы делаем экономику. Гражданственные нормативы — отражение и преломление хозяйственных конструкций и в то же время мощное средство их преобразования.

Книга соткана из размышлений автора, интервью, суждений людей самых разных должностных уровней и профессий. Среди них первый заместитель министра электротехнической промышленности СССР Г. П. Вороновский, профессор Г. Х. Попов, архитекторы Н. Б. Соколов и Ф. А. Новиков, директоры предприятий Р. Е. Никитин, И. М. Еднерал, Е. В. Таранов, инженеры И. Ф. Мухрыгин и В. С. Смирнов, публицист И. Н. Бубнов и другие. Широта «амплитуды» способствует формированию у читателей самостоятельного мнения, отвечает разнообразию вкусов и предпочтений. Поэтому в целом книга — без рецептов, без пунктов и формул. Так, по-моему, и надо: рано канонизировать определения, пусть, пользуясь данными и фактами, положенными автором на его «Весы...», каждый сам продумает, как быстрее доставить ценнейший груз доверия до станции назначения. Это в традициях дискуссии вообще и ее начала в особенности, а Левиков в книге «Весы доверия», на мой взгляд, именно начинатель. Последователи могут быть категоричнее.

П. Бунич,
член-корреспондент АН СССР.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. 118 стр. Цена 15 к.
И. Геевский. Мафия. ЦРУ. Уотергейт. Изд. 2-е дополненное. 288 стр. Цена 65 к.
К 80-летию создания ленинской партии. Документы, материалы. 240 стр. Цена 55 к.
И. Щеголихин. Слишком доброе сердце. Повесть о Михаиле Михайлове. («Пламенные революционеры») 399 стр. Цена 1 р. 40 к.

ВОЕНИЗДАТ

М. Колесников. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 1. Все ураганы в лицо. 448 стр. Цена 2 р. 10 к.
А. Силаков. Внимание: воздушный мост! Роман. 255 стр. Цена 1 р. 10 к.
Д. Фурманов. Чапаев. Мятёж. Романы. 591 стр. Цена 1 р. 30 к.
М. Шолохов. Они сражались за Родину. Наука ненависти. Судьба человека. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Г. Баженов. Пространство и время. Повести и рассказы. 286 стр. Цена 95 к.
Г. Граубин. Моя страна Сибирь. 151 стр. Цена 55 к.
Д. Кугультинов. Жизнь и размышления. Стихи. Перевод с калмыцкого. 111 стр. Цена 40 к.
Г. Марнов. Грядущему веку. Роман. 301 стр. Цена 1 р. 30 к.
А. Тунницкий. Жители нового дома. Повести. 271 стр. Цена 80 к.

«РАДУГА»

Ж. Амаду. Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар. Роман. Перевод с португальского. 310 стр. Цена 1 р. 50 к.
Н. Веля. Поздняя встреча. Рассказы. Перевод с румынского. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.
Возвращение. Современная проза Анголы. Перевод с португальского. 234 стр. Цена 1 р. 40 к.
Ф. Сиониль. Дерево. Мой брат, мой палач. Романы. Перевод с английского. 448 стр. Цена 2 р. 80 к.
Современный нидерландский детектив. Перевод с нидерландского. 430 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Плутарх. Сочинения. Перевод с древнегреческого. 703 стр. Цена 3 р. 60 к.

А. Софронов. Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 1. Стихотворения. 1930—1981. Песни. 1936—1980. 670 стр. Цена 2 р. 80 к.
Тысяча и одна ночь. Избранные сказки. Перевод с арабского. 542 стр. Цена 2 р. 90 к.

Чудеса совершаются не сразу. Рассказы нигерийских писателей. Перевод с английского. 190 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Аббасаде. Водоворот. Роман, повести. 575 стр. Цена 2 р. 40 к.
Г. Абрамов. День до вечера. Рассказы и повести. 296 стр. Цена 1 р. 10 к.
Н. Думбадзе. Закон вечности. Роман. Перевод с грузинского. 223 стр. Цена 1 р. 70 к.
Ф. Исхандер. Защита Чика. Рассказы и повести. 448 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Воронин. Ради земли своей. Повести, рассказы. 336 стр. Цена 1 р. 60 к.
В. Железняк. Зарницы над Русью. Рассказы. 272 стр. Цена 95 к.
А. Радичев. Путешествие из Петербурга в Москву. Вступительная статья Д. Благого. 236 стр. Цена 50 к.
А. Фет. Стихотворения. 32 стр. Цена 15 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Ю. Казаков. Осень в дубовых лесах. Рассказы, повести. 575 стр. Цена 2 р. 30 к.
О. Пащенко. Родичи. Повесть. Предисловие В. Астафьева. 303 стр. Цена 95 к.
Русские народные баллады. Вступительная статья, подготовка текста Д. М. Валашова. 311 стр. Цена 5 р.
В. Шефнер. Годы и миги. Книга стихов. 327 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Бондарев. Горячий снег. Роман. («Военная библиотечка школьника») 335 стр. Цена 95 к.
А. Дюма. Сорок пять. Роман. Перевод с французского. («Библиотечка приключений и научной фантастики») 560 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Линдгрэн. Пеппи Длинный чулок. Повесть-сказка. Перевод со шведского. 239 стр. Цена 90 к.
А. Неверов. Ташкент — город хлебный. Повесть. («Золотая библиотека») 111 стр. Цена 35 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 12. 08. 83 г. Подписано к печати 06. 10. 83 г. А 04177.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,12 уч. изд. Л. Тираж 363 000 экз. (1-й завод 1—183 000 экз.) Зак. 2874.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл. 5.

Отпечатано с матриц ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94, в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Выписывайте газету «Известия»!

Оформление подписки будет проводиться до 31 октября 1983 года с доставкой с января, а с 1 ноября — с доставкой с февраля и последующих месяцев 1984 года.

Подписка принимается без ограничений предприятиями «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями по месту работы, учебы и жительства.

Подписку можно оформить с перерывом на часть срока (отпуск, каникулы в высших и средних учебных заведениях).

Газета «Известия» с 1 июля ежедневно выходит на шести страницах.

Подписная цена прежняя:

на год — 9 рублей, на 6 месяцев — 4 рубля 50 копеек, на 3 месяца — 2 рубля 25 копеек, на один месяц — 75 копеек.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»